

Звезда

- Семен Ласкин
Роман со странностями.
- Александр Жолковский
Книга книг Пастернака.
- Борис Парамонов
Потомки Достоевского.

1997 (12)

ГАВРИИЛ РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН

НА НОВЫЙ ГОД

Рассекши огненной стезею
Небесный синеватый свод,
Багряной облечен зарею,
Сошел на землю новый год;
Сошел — и гласы раздалися,
Мечты, надежды понеслися
Навстречу божеству сему.

Гряди, сын вечности прекрасный!
Гряди, часов и дней отец!
Совет счастливый и несчастный:
Поддай желаниям венец!
И самого среди блаженства
Желаем блага совершенства,
И недовольны мы судьбой.

Еще вельможа возвышаться,
Еще сильнее хочет быть;
Богач богатством осыпаться
И горы злата накопить;
Герой бессмертной жаждет славы,
Корысти — льстец, Лукулл — забавы,
И счастья игрок в игре.

Мое желание: предаться
Всевышнего во всем судьбе,
За счастьем в свете не гоняться,
Искать его в самом себе.
Меня здоровье, совесть права,
Достаток нужный, добра слава
Творят счастливее царей.

А если милой и приятной
Любим Пленирой я моей,
И в светской жизни коловратной
Имею искренних друзей,
Живу с моим соседом в мире,
Умею петь, играть на лире, —
То кто счастливее меня?

От должностей в часы свободны
Пою моих я радость дней;
Пою творцу хвалы духовны
И добрых я пою царей.
Приятней гласы становятся,
И слезы нежности катятся,
Как россов мать я пою.

Петры, и Генрихи, и Титы
В народных век живут сердцах;
Екатерины не забыты
Пребудут в тысящи веках.
Уже я вижу монументы,
Которых свергнуть элементы
И время не имеют сил.

Декабрь 1780 или январь 1781

Звезда

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
НЕЗАВИСИМЫЙ
ЖУРНАЛ**

**Издается
с января
1924
года**

1997(12)

Санкт-Петербург

Учредитель: АОЗТ «Журнал Звезда»

Директор Я. А. ГОРДИН

Соредакторы: А. Ю. АРЬЕВ, Я. А. ГОРДИН

Редакционная коллегия:

**К. М. АЗАДОВСКИЙ, Ю. Ф. КАРЯКИН, И. С. КУЗЬМИЧЕВ, А. С. КУШНЕР,
Н. К. НЕУЙМИНА, Г. Ф. НИКОЛАЕВ, А. А. НИНОВ, М. М. ПАНИН,
Б. М. ПАРАМОНОВ (Нью-Йорк), В. Г. ПОПОВ, А. Б. РОГИНСКИЙ,
Б. Н. СТРУГАЦКИЙ, С. С. ТХОРЖЕВСКИЙ,
А. А. ФУРСЕНКО, М. М. ЧУЛАКИ**

Редакция:

**М. М. ПАНИН, Н. А. ЧЕЧУЛИНА (проза); А. А. ПУРИН (поэзия);
Н. К. НЕУЙМИНА (публицистика); А. К. СЛАВИНСКАЯ (критика)
Зам. гл. редактора В. В. РОГУШИНА Зам. гл. редактора В. И. ЗАВОРОТНЫЙ
Зав. редакцией А. Д. РОЗЕН Отв. секретарь А. А. ПУРИН
Корректоры: Ф. Н. АВРУНИНА, Н. В. ВИНОГРАДОВА, О. А. НАЗАРОВА
Компьютерная группа: Ю. А. СМИРЕННИКОВ, Н. П. ЕГОРОВА, О. В. МУРАТОВА**

При перепечатке материалов ссылка на „Звезду“ обязательна.

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Подписаться на журнал можно непосредственно в редакции.

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и библиотеки ряда стран СНГ 1806 экз. журнала.

Адрес редакции: 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, 20. Телефоны:
соредакторы и зам. гл. редактора — (812) 272-89-48, зав. редакцией —
(812) 273-37-24, редакция — (812) 272-71-38, факс — (812) 273-52-56

© «Звезда», 1997

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

АНАТОЛИЙ НАЙМАН

* * *

Осип-Эмильич — стилет, Мандельштам — доска
голая, и на ней «Иосиф Эмильевич»
наискось процарапывает рука
царская — вместо «казнить» или «миловать».

Клан Мандельштамов, ерусалимских бояр,
с вестью истерики, с ересью нищенства борется:
Осип-Эмильич вложен, как роза, в футляр
и с динамитом отправлен в Чердынь из Санкт-Морица —

через таврический, через сарматский снежок,
редкий над морем, резкий над степью, крупчатый:
свечек одних по корчмам-то на сколько нажег,
плюс разночинные минус столичные вычеты.

Стесан в пенек перочинным графит «кохинор»,
что к трехсотлетью Романовых те приготовили —
как не сердиться? Бросали-то мальчики нож
в Угличе в тычку, а почва расселась в Московии.

Каторжный труд, прибыльный торг зачеркнуть
мог только он! Это крах «Мандельштам и компании»!
Но не фамильного дела — руины не нуль,
а почему — при тюремном узнаем свидании.

Осип-Эмильич, вы там, где ни Невок, ни Кам,
где не щебечет синица блокадная «вылечу»,
где адвокат, генерал и дантист Мандельштам
ходят в обнимку, но кланяясь Осип-Эмильичу.

Анатолий Генрихович Найман (род. в 1936 г.) — поэт, переводчик, прозаик, автор поэтических книг «Стихотворения Анатолия Наймана» (1989), «Облака в конце века» (1993) и книг прозы «Рассказы о Анне Ахматовой» (1989), «Статуя командора и другие рассказы» (1992), «Поэзия и неправда» (1994), «Славный конец бесславных поколений» (1997). Живет в Москве.

Три года тому назад между нашим давним другом и автором А. Г. Найманом и редакцией журнала в газете «Сегодня» и «Звезде» (1995, № 4) возникла неприятная для обеих сторон переписка, касающаяся наследия Анны Ахматовой, о которой мы взаимно сожалеем. Настоящая публикация свидетельствует об исчерпанности конфликта.

Рег.

КОЛОМЕНСКАЯ ЧАСТЬ

Пропись проста: август, западный ветер.
Ровный. Устье реки. Высокий тополь.
Солнце висит над верфью, но время — вечер.
Город не *Питер*, а именно что *Петрополь*.

Дерево с запада выпукло, цинково-бело.
Вогнуто, черно-суконно с востока. Цинк налегает.
Листья трепещут. Верфи скрежещут. В дело
и там, и тут клепка идет и лекало.

Это не всё. Дагерротип зданий казенных
рябью сполоснут: охра, кармин, белила.
И наконец: кто-то в дверях балконных.
Смотрит. Смотрит в лицо, но видит с тыла.

Вид примитивен: дерево, речка, парус —
герб на фанере, а ведь висит, не коробясь.
Помнишь: «Снимаю! Птичка!»? Птичка попалась.
Средство универсально. Точная пропись.

ПЕСЕНКА

Когда мне было десять лет —
мир потерял впервые прелесть:
я думал, милиционер
меня нечаянно застрелит.

Когда мне стало двадцать лет
я обкуривался Ницше,
я знал, с другими уцелев,
что нас зарежут коммунисты.

Когда мне стало тридцать лет,
я перестал бояться внешних,
но ждал, когда, напав на след,
меня задушит кагебешник.

Вокруг был город Ленинград,
и царь, скача на дальний
берег,
наставил конский медный зад
на Исаакиевский скверик,

а справа, где сыра земля
под складом величаво-грязным,
шел — позади с еще двумя —
немолодой мужчина в красном,

и хоронилась за стеной,
как на картине у Симоне
Мартини, с книжкой записной
в руке и с дырочкой в короне,

вполоборота, вся, от пят
до темени, в плаще с запахом,
теперь, когда мне шестьдесят,
пришедшая на место страхам.

Мне с ней — нам было... Боже мой,
да Ты нас знаешь. Время било
себя, как моль. Сам свет был моль.
Был день. Был хлеб. Был страх.
Мне было.

ДОРОГА 95

Автобус компании «Питер Пен» на спине хайвея,
я еду на нем в город Нью-Йорк, благоговей —
обочина здесь широка, как плечо, а съезды — как ласты
тюленя: хайвеи, как звери, стремительны и коренасты.

Ди-Си в грязи — позади. Продувной Балтимор и Филу
в воде и тумане обходим мостами сверху и с тылу.
Река течет направо слева — я еду на север.
Навстречу гуси летят — не клин, а скорее веер.

Осенний пейзаж со стадом машин, топчущим осень.
Что штат Делавер, что Пенсильвания — «Милости просим!»
повесили щит на бензоколонках, лесах и фермах,
но «Питер Пен» нас мимо несет, Яблоку верных.

Кто раз хотя бы Его надкусил — навсегда отравлен
 Плодом, скатившимся в центр того, чему нет окраин.
 Червями источен, гнильца на боку, обгрызан, обглодан —
 мираж в пустыне, имя которой — Париж и Лондон.

В ПАРИЖЕ

В Париже, в облаве вселенской забавы,
 где курсом фонарного шествия виселиц
 аллеи плывут, расфуфырясь как павы,
 от кладбищ к гуляниям, к центру от выселок,

где, стало быть, вечно набодрены лыжи,
 в Париже, в граненом флаконе, в удушьи
 бенгальских огней (воспари же! бери же!)
 и ритмов, которым сдаешься, не слушая,

в Париже, в Париже, в Париже, в трех тактах
 которого главным четвертый проскальзывал,
 четвертый — в пяти опереточных актах,
 в бульварной спирали, в Лютеции вальсовой, —

куда тебе деться — в застенках забавы,
 где ты в лучшем случае имя без отчества,
 в столице, в алькове космической Бабы,
 в постели великого одиночества?

* * *

М. Я.

Надеваю на сердце, на грозди желез
 свод хребта, из ключиц и из ребер каркас:
 миг — и корни притерлись, и сердце вжилось
 в стельку торса, хотя был прикинут на глаз.

Надеваю рубаху, лелею тепло
 коченеющей кожи, нагого плеча:
 миг — и тело к льняным рукавам приросло,
 и пора уже прятать их в крылья плаща.

И тогда, под одеждой нахохлясь, как дрозд,
 остается напяливать сверху избу
 вместе с ветром над крышей, бросаемым в дрожь
 перед тем, как он сумеркам сдастся и сну.

Вот теперь и скажи-ка себе самому,
 что такое душа, если все это дом
 и желанье его — только кутаться в тьму
 всем узором спасенным нутра, всем нутром.

* * *

День оттискивает на моей щеке
 язычком ужа, окуньковым зубом
 иероглиф и сводит кожу к щепе,
 воспаляемой начертательным зудом,
 подбородок роя, виски жуя,
 мне на череп кладет он улиток букли

и на шею папоротниковые кружева,
 гравированные на мелу и угле, —
 и глаза мои, как обрывы шахт,
 начинают течь чернотой и влагой,
 чтобы было выпить чем брудершафт
 мне с землей и лицу моему с бумагой.

НЕМНОГО ХИМИИ

Ни ангелу свеча, ни черту кочерга,
жизнь совестью копчу и пеплом мозга перчу.
Льну спичкой к фитильку — вон ночь-то как черна!
А кровь-то чуть тепла —затапливаю печку.

Дым мраморный, как столб, и бронзовый квадрат
окна — вот я, вот всё, чем кажется деревене
ватт лепестка, ларца горящего карат
и шелк золы: а чем зола не удобренье!

Но выжженных моих соль шпилек, брошек, игл
растворена в крови, в вине, в огне, как калий,
меж бусин, и семян, и хмеля, и белил,
чьих формул нет среди фабричных химикалий.

В органике судьбы, как минеральный сон,
которого следы я вылижу и вытру,
растворена, язык покальвая, соль,
не вываренная в казенную селитру.

Горение судьбы на хрупком фитиле
и в сундуке печи — есть жар, и свет, и сажа,
и дым. Спасибо им, но больше всех — золе:
она мой прах — и соль преджизненного кряжа.

А что мой свет коптил и быстро жар потух,
так все всегда легко встают, а как-то лягут?..
Хотел быть кочергой, но так был хворост сух,
что нет нужды; хотел свечой, но воск был мягок.

DIES DOMINI

День — беда, даже праздник — беда.
Не катать, птичье горло, горошину.
Нет же, нет же... Нет, все-таки да:
не по-умному пусть — по-хорошему.

День — беда, всякий — мука души:
что не вытравит свет, выпьют сумерки.
Ты не тех, петушок, тормоши,
кто под утро вздремнул, а — кто умерли.

Ты вот их подними по свистку,
а уж я с ними Господу в сретенье
сам с кровати себя сволоку:
день — беда, да другого нет времени.

СЕМЕН ЛАСКИН

РОМАН СО СТРАННОСТЯМИ

Памяти моего друга, замечательного художника и удивительного человека Николая Ивановича Кострова.

Светлый же узнает, что нет во Вселенной пустого места и всё дух и душа везде: вода отражает звезду, и он видит душу воды, и бессмертную душу их встречи, и узнает, что для всякого бессмертия бывает воскресение в светлом.

Елена Гуро. «Бедный рыцарь»

I

Я долго мучался, не зная, с чего начинать эту книгу. Может, с того, что лет десять назад, бывая в мастерской старого художника Николая Васильевича Керова, подолгу смотрел на один удивительный холст... Сезанна. Да, да! — великого Поля Сезанна. Широкая белая полоса загрунтованного, но незаписанного пространства разделила по вертикали пейзаж надвое — казалось, Сезанн, задумывая работу, пытался решить — какой из намеченных мотивов ему стоит продолжить.

Конечно, сомнения у меня были. Трудно себе представить скромную питерскую квартиру с полотном гениального французского мастера.

Дома, разглядывая альбом московского Пушкинского музея, я вдруг сообразил, что на стене у Николая Васильевича копии двух фрагментов известных холстов. Правая — три дерева, была уменьшенным повторением знаменитого «Акведука», левая — «Горы святого Виктория».

Вот теперь я и спросил у Керова:

— Кто же это делал?

— Вера Михайловна Ермолаева, — сказал Керов, совершенно не представляя, какие муки испытал я, размышляя над странной загадкой. — В начале двадцатых она работала у Малевича. Всем сподвижникам и ученикам Казимира Севериновича нужно было прийти к супрематизму через импрессионизм и Сезанна, и они делали копии известных холстов, пыта-

Семен Борисович Ласкин (род. в 1930 г.) — прозаик, драматург, сценарист. Автор многих книг прозы, среди последних: «Голос» (1990), «Вечности заложник» (1991), «Вокруг дуэли» (1993), «И сказал Господь, говоря...» (1995). Пьесы С. Ласкина идут во многих городах страны, а также за границей («Акселераты», «Палоумыч»), фильм «Дела сердечные» — призер кинофестиваля в Чикаго (1980), фильм «На исходе лета» был награжден «Золотой нимфой» в Монте-Карло (1982). Живет в С.-Петербурге.

ясь понять тайны великих французов. Тогда Ермолаева и поехала из Ленинграда в Москву...

— Ермолаева? — с волнением переспросил я, зная о трагической судьбе этой потрясающей художницы.

Как оказалось, оба фрагмента были написаны в двадцать пятом году в Институте художественной культуры. Ермолаева тогда занималась «цветом». Ее отдел именовался ОЖК, отдел живописи, институт — ГИНХУ-Ком, — все сокращалось, и в этом тоже проявлялось время. Рядом трудились Татлин, Матюшин, Мансуров, Пунин. Задачи, которые ставил Малевич и перед мастерами и перед учениками, — а это были и Стерлигов, и Рождественский, и Юдин, — решали все. Изучали главные направления в мировой живописи, делали копии классических работ.

Как же попал к старому художнику этот холст? Помнил ли он сам Веру Михайловну Ермолаеву? Ее ли это подарок?

Оказалось, работа принадлежала художнику Б. Б., который в двадцатые годы тоже занимался у Малевича. Копия могла быть подарена автором без особого повода.

Пожалуй, стоит сказать, что жизнь Б. Б., в отличие от многих гинхуковцев, сложилась более чем благополучно. И Ермолаеву, и Стерлигова, и Нину Коган, и Машу Казанскую в начале тридцатых арестовали. Ермолаева погибла. Что касается Б. Б., то он в это же время... был послан в Париж, делал там выставку, оформлял советский павильон, да и в последующие годы его отправляли то в Индию, то в Европу. Б. Б. и подарил Николаю Васильевичу этот холст. А вот почему подарил, ответить трудно, скорее всего, судьба Ермолаевой, даже в поздние годы, когда Б. Б. уже стал академиком, продолжала отчего-то беспокоить его память. Впрочем, к этому я вернусь...

Итак, Б. Б. отдал холст питерскому приятелю. Керов жил тихо, работал незаметно, никто из власть имущих у него не бывал, а если бы даже и зашел, то, вероятно, не стал бы интересоваться какой-то копией.

— А вы-то сами как объясняете его подарок? — спросил я Николая Васильевича.

Керов явно затруднился с ответом. Пятидесятые — дикое время. Холсты и постимпрессионистов, и импрессионистов прятались в запасниках, как формалистические, вредные для советского искусства. На стенах царствовал китч. Что касается Музея имени Пушкина в Москве, то на месте Сезанна расположился огромный отдел подарков Сталину к его семидесятилетию. Возможно, Б. Б. просто боялся этой вещи, как бы там ни было, но Ермолаева шла по разряду «врагов народа».

— Мы понимали, что копия великолепна, да и имя Веры Михайловны много для нас значило. Б. Б. держал ее как пустяк, висела она у него в коридоре, и тогда Анечка просто попросила холст. Конечно, чужим людям и мы имени Ермолаевой не называли, побаивались, но потом времена изменились...

Николай Васильевич внезапно спросил:

— Нравится?

— Очень!

— Вот и возьмите ее, мы уже стары, а для вас и копия может представлять интерес, тем более, что это, возможно, единственная сохранившаяся учебная работа группы Малевича, не уверен, что подобное есть даже в Русском музее.

Что к тому времени я знал о Ермолаевой? Немного. Правда, выставку ее работ в Ленинградском Союзе художников в 1972 году я хорошо помнил. Тогда оставшиеся после ареста Веры Михайловны гуаши и акварели были в основном у наследников ученицы и друга Ермолаевой, тоже арестованной в 1935-м, Маши Казанской.

Трудно забыть потрясение от листов на темы книги Лукреция «О природе вещей», прекрасные гуаши из серии «Дон Кихот». Да и ее натюрмор-

ты так и стоят перед глазами — абсолютная гармония неожиданных сочетаний черного и белого. И пейзажи, и лодочки в далеком пространстве залива, прекрасно решенная перспектива...

Друг и «поделец» Ермолаевой Владимир Васильевич Стерлигов предложил афишу. Черная лента обвивала годы рождения и смерти: 1893—1937, роковые даты покрывал знаменитый стерлиговский купол, а по краю тоже шла черная полоса, символизирующая трагедию оборванной жизни.

Конечно, в том коммунистическом семидесятом сделанное Стерлиговым вывесить так и не удалось. И некий услужливый прикладник скромно написал фамилию художницы, а даты жизни и смерти припрятал: год тридцать седьмой говорил сам за себя. Начальство приказало «не дразнить гусей».

Хорошо помню обсуждение выставки. В Союз художников меня привел поклонник и собиратель живописи, старый писатель Геннадий Гор. Он дружил с искусствоведом Всеволодом Петровым, для него Севочкой, может, поэтому я и запомнил нервную Севочкину речь. Нет, я не хочу доверяться памяти, стенограммы творческих обсуждений продолжали жить в захламленных шкафах секции графики ЛОСХа, я отыскал забытую филиппику, позволю себе процитировать несколько его фраз: «В историю искусства возвращается творчество художника, который обладал высочайшим талантом, высочайшей культурой и изощренным профессиональным мастерством. Надо сказать, что мы уже не раз встречались с примерами возвращений и запоздалого признания огромных явлений искусства. Когда на открытии выставки я впервые увидел работы Ермолаевой, узнал о ее жизненном пути, то у меня возникала настойчивая параллель между ее живописью и поэзией Марины Цветаевой, которая вернулась в литературу после долгого забвения. Подобно тому, как русскую поэзию невозможно представить без Цветаевой, так и невозможно представить историю нашего изобразительного искусства без Ермолаевой. Без нее оно было бы неверным и неполным. Этих двух мастеров роднит многое: огненная напряженность чувства, из которого вытекает и вдохновение, волевое и энергичное мужество, строгое решение профессиональных задач. Я хотел бы указать и на глубокий национальный, русский характер творчества двух женщин. И если мы сможем рассказать о ней, то Ермолаеву ждет та же слава, что и слава Цветаевой».

Как и за что была арестована Вера Михайловна, по сути никто не знал. Где находилась тюрьма или лагерь, тоже говорилось разное. Один из искусствоведов рассказывал, будто бы она была вывезена на какой-то неведомый остров и там оставлена умирать вместе с другими политическими заключенными.

О беспомощности Ермолаевой вспоминали все старики. Даже те, кто в тридцатые годы были еще детьми, учились у Веры Михайловны, не забыли ее костыли, на которых она буквально перетаскивала себя с этажа на этаж. Дочь художника Тырсы Анна Николаевна так и говорила мне, что они, дети, слышали приближение Ермолаевой к их классу в художественной школе с того момента, когда она «вносила себя» в парадную.

Происходила Вера Михайловна из богатой семьи, говорили, будто бы в раннем детстве она упала с лошади, повредила позвоночник, отец увез ее за границу, где для нее заказали корсет с подвижными металлическими сочленениями, что и помогало Ермолаевой чувствовать себя равной с другими.

Что еще я мог бы припомнить из рассказов друзей Ермолаевой? Те, кто хорошо знал ее работы, уверяли, что Вера Михайловна равна Малевичу. Прожив какое-то время в его свите, пройдя под его влиянием через открытия супрематизма, она все же вернулась к цвету, развивая, как говорил ее друг Лев Александрович Юдин, «пластический реализм».

Книга, которую я кончал перед подарком Керова, была совсем о другом. И все же интерес к Ермолаевой не стал пустым любопытством. Теперь я собирал о ней факты и слухи. Зачем? Пожалуй, уверенно не могу это объяснить даже себе. По крайней мере, мыслей о возможном романе

тогда у меня не было. А был просто интерес к жизни неведомого, пропавшего в трагический год художника. И все же, все же...

Первое, что я записал в дневнике, это рассказ знакомого искусствоведа, как «шили дело» Вере Михайловне.

Ермолаева оформляла для издательства сатирическую поэму Гете «Рейнеке-Лис», а в ней одним из героев был медведь. А другой Медведь, как известно, был начальником ГПУ в Ленинграде.

В 1989 году был издан альбом с многообещающим названием: «Авангард, остановленный на бегу». На супере, как эпитафия, стояла фраза: «Книга про то, как на берегах Аральского моря пропала художница Вера Ермолаева, а потом куда-то пропало и море...» Рядом с фразой был нарисован кораблик, возможно, дизайнер и тут подумал о Вере Михайловне, преподававшей в двадцатые детям.

Есть в альбоме и несколько фотографий: Вера Михайловна — девочкой, она же в середине десятых в саратовском имени отца: высокая, в полный рост, но с палочкой, — это всегда и всюду, — в юбке, закрывающей ноги. Теперь-то я знаю, что была она в вечном движении, не выносила сидеть на одном месте, постоянно ездила на натуру, плавала в лодках по рекам, гребла, обожала пригороды...

«После убийства Кирова, — писал автор, — начались аресты интеллигенции... В декабре 1934 года взяли Веру Михайловну Ермолаеву и ее ученицу Марию Казанскую, Владимира Васильевича Стерлигова и его учеников: Александра Батурина и Олега Коржакова... Творческая судьба Ермолаевой была тесно связана с Казимиром Малевичем. В первые годы революции она сменила Марка Шагала, как руководитель витебской художественной школы. По ее приглашению в Витебск приехал Малевич, возникла группа УНОВИС — устроители нового искусства, в руководстве которой была и Ермолаева... С 1923 года она снова в Петрограде. Увлеченная стихией цвета, Ермолаева всю жизнь занималась живописью. С двадцатых годов она одна из ведущих сотрудников Дэтгиза, трудится для журналов «Чиж» и «Еж», иллюстрирует стихи Введенского, Хармса, Заболоцкого.

В последнем цикле гуашей к «Рейнеке-Лису», над которыми она работает в конце 1934 года, были, по свидетельству очевидцев, критические мотивы, отразившие ленинградскую действительность. К Медведю, начальнику ГПУ, волки в буденовках тащат перепуганных зверей...

Когда вошли с арестом, то сразу направились к шкафу, где лежали листы «Рейнеке-Лиса»...

Даже в скудных фактах видно бесспорное: некто из близких навещал квартиру Ермолаевой, следил за ней, докладывал в ГПУ. А как бы иначе они «вошли и... направились к шкафу»?

Могу представить, как спускалась на костылях эта женщина, как записывали ее в «черный ворон»...

До романа, который я писал в тот период, существовала еще книга — история также пропавшего во времени замечательного художника Василия Павловича Калужнина. Несколько лет потратил на поиски его архива — об этом и был написан роман «Вечности заложник». Пытаясь рассказать подлинную историю, боялся выглядеть в глазах читателя не совсем точным, память — условная категория, поэтому слово «роман» как бы становилось защитой.

С выходом «Вечности заложника» я стал надеяться на новые документы. Казалось, должны же объявиться люди, помнящие Калужнина. Но шли годы, однако никто так и не откликнулся. Видимо, все возможное было исчерпано...

Позволю себе повторить начало давно вышедшей книги.

Фамилию Калужнин я услышал случайно от искусствоведа Бориса Давыдовича Суриса. В Лавке писателей на Невском проспекте я листал кни-

гу об обществе художников двадцатых годов «Круг» — это была группа выпускников Академии, ставших позднее широко известными.

— Конечно, талантливые ребята, — сказал стоявший рядом Сурис, — но не забывайте, им было тогда по двадцать, каждому еще многое предстояло понять, а жизнь тридцатых не шибко тому способствовала...

В шестидесятые, то есть сравнительно недавно, на одной из зональных выставок к нему подошел плохо одетый старик и назвал себя живописцем. Старик стал приглашать домой, ему хотелось показать понимающему человеку свое искусство.

— Вначале я испугался его нищего вида, но, как говорят, любопытство победило. Пошли. Поднялись на третий этаж. Войдя в комнату, мысленно выругал себя за мягкость, чего-то серьезного в окружившей меня грязи ждать было глупо.

Мы шли к Русскому музею, и Сурис густым голосом продолжал рассказывать о том неведомом, наверняка давно умершем, странном человеке.

— Грязь совершенно не беспокоила хозяина, он подозвал меня к окну. Боком я прошел к мольберту... — Борис Давыдович помолчал, как бы подыскивая точные слова для пережитого, и, не найдя, воскликнул: — Передо мной был огромный талант!

К сожалению, Сурис запомнил только фамилию, а вот улица, дом и квартира — все стерлось. Единственно, что сохранилось, — это ощущение восторга от встречи с живописью, чувство незабываемого потрясения.

Позднее я нашел архив забытого мастера. И все же, несмотря на несколько выставок в Ленинграде, мой герой, как и его замечательное искусство опять начали забываться.

Итак, я писал совершенно другую книгу, когда раздался телефонный звонок. Я почти сразу узнал голос моего одноклассника Виктора Кригера. Друзьями мы не были, но расположенность сохранялась долгие годы. Следует напомнить, что одноклассниками остаются и в шестьдесят и в восемьдесят. По возрасту мы незаметно переходили в категорию пожилых, но ощущения старости так и не появлялось. Встречаясь раз в несколько лет на случайных перекрестках, мы били друг друга по плечам, молодо хохотали, вспоминали школьные байки. Время мчалось назад, чтобы тут же вернуться к реальности, стоило сделать пару шагов друг от друга.

Виктор, а для меня Витька, всегда считался умником и эрудитом. Не могу забыть, как однажды на спор он выучил страницу учебника химии, чего я не только не мог бы сделать, но и понять до конца был не в состоянии. Знал он действительно много. Его мать — высокая, худая, желтолицая дама — была искусствоведом в Эрмитаже. Именно в их доме мы и собирались большой компанией, когда в девятом классе стали издавать школьный рукописный журнал «Восход». Скорее всего, журнал был Витькиной идеей, вряд ли мы, одноклассники, могли что-то подобное придумать сами. Что касается Кригера, то хотя он и жил, как и все мы, в привычной в ту пору бедности, уровень его культуры ни в какое сравнение с нашей не шел. Мама его занималась английским искусством, конечно, знала язык.

В послевоенной школе все, как правило, учили немецкий, совершенно не понимая, для чего это нужно. Германия была побеждена, ехать туда никто не собирался. Слово «туризм» мы если и произносили, то связывали с походом в ближайший лес. И вдруг Витька предложил в наш журнал перевод Лонгфелло, не только неслыханного нами автора, но и сделанный с почти экзотического английского языка.

Перевод был переписан девочками соседней женской школы, приходившими в дом Кригеров на литературные журфиксы и, пожалуй, боготворившими его. Остальные выступали в журнале в более понятных жанрах. Я — с баснями, а Витькин двоюродный брат Федька и еще один прекрасный парень Генка Калущкий с рассказом «Клопы». По уверениям переписчиц-девчонок, Виктор был склонен к классическому романтизму, я — к сатире, конкурируя с устаревшим баснописцем Иваном Крыловым.

Кригер стал солидным ученым. Теперь мы изредка пересекались на городских вернисажах, он любил живопись.

В этот раз разговор по телефону начался его взволнованным восклицанием.

— Старик! — кричал Виктор, и я подумал, что отыскать в старых бумагах мой телефон его заставила какая-то не совсем пустяковая причина. — Не можешь ли ты ответить, кто такая художница Ермолаева?

Странно! Именно в эти дни я и принес от Керова копию Сезанна и пытался найти все, что известно о Вере Михайловне. Если бы его звонок был за неделю до этого, то и моя реакция оказалась бы совершенно другой. Выходило, что Ермолаева в эти дни волновала не только меня!

— Зачем тебе? — удивился я.

— Любопытствую, — сказал Виктор. — Люди посоветовали обратиться к тебе, говорят, вдруг знает.

— Это великая русская художница, трагической судьбы человек, — сказал я. И в течение минуты говорил ему в том же духе.

Он, видимо, раздумывал о чем-то своем. Становилось неловко. Виктору явно хотелось более основательного ответа. Тогда я решил предложить ему телефоны моих друзей, искусствоведов, которые занимались группой Малевича, тем ГИНХУКом, где работала Вера Михайловна в середине двадцатых.

Поговорили о постороннем. Дела его, как и мои, шли «нормально».

На следующий день мне позвонил искусствовед Русского музея, к которому я адресовал Виктора, и сказал, что вчера к нему обратился мужчина со странной просьбой: «Человек интересовался художником, о котором никто лучше вас в городе знать не может».

— Вы о Ермолаевой? — удивился я.

— Нет, о Калужнине.

Я был поражен. Конечно, о Василии Петровиче Калужнине я мог бы рассказать Виктору и сам, по крайней мере, я подарил бы ему давно вышедшую книгу.

— Я вынужден был адресовать вашего знакомого обратно. Он позвонит. Я так и сказал: «О Калужнине знает Семен Борисович». Правда, я не сразу его понял, он называл художника «Вася Калутин».

Кригер действительно позвонил.

— Семен, — сказал он, — я изучаю твой роман. Оказывается, книга была у нас, ее читал сын, но я об этом даже не слышал, — он замялся. — Дело в том, что Вася...

— Калужнин, — помог я.

— Так вот, твой Вася Калужнин дружил с моим отцом.

Теперь пришла моя очередь удивляться: у Виктора, как я писал, были мать, бабушка и тетка — я очень хорошо их помнил, — но отцов в нашем послевоенном классе было немного, и мы никогда про них даже не спрашивали. Если и были, это нормально, а не были, как тогда говорили, тоже «законно». У многих мужчины не вернулись с фронта. Я и теперь не знаю, скажем, погиб ли отец у Генки Калужного, или был разведен с матерью, тогда мы редко слышали про разведенных.

— Отцом?! — переспросил я.

— Да, — вздохнул он. — Кригер — фамилия мамы. Отец — Гальперин, художник, его арестовали в 1934 году вместе с Ермолаевой. Я получил разрешение в Комитете госбезопасности ознакомиться с его «делом». Старик, это ужасно! Твоя «великая» Ермолаева просто гадина!

Бог мой, за полвека знакомства он впервые назвал собственную фамилию! Дом Виктора, как теперь выясняется, явно отличался от моего, где самой большой бедой оказалось увольнение отца с работы. Помню, как отец, от которого в райкоме партии требовали снять восемь главных врачей-евреев, но этим сохранить себя как заведующего районным отделом, пришел домой совершенно счастливый. Его уволили первым, и он проспал около суток, к большому нашему с мамой удивлению.

Дом Виктора, выходит, представлял совершенно иное: его отец был изъят из жизни, и вот теперь, спустя более полувека, сын может без страха кому-то сказать и об этом.

Наверное, в ту минуту я не должен был спрашивать о других, но я растерялся, разговор был так неожиданен.

— А «дело» Ермолаевой ты видел?

Голос Виктора стал пронзительным, казалось, еще немного, и он перейдет на крик.

— Они выдали только «дело» отца! Но там есть их очная ставка. Ты бы прочитал, как она его топчет!..

Губастый интеллигент, вполне вроде бы добродушный, он теперь напоминал разъяренного африканца. Ненависть к Ермолаевой поражала — в конце-то концов, кто знает, как бы в той ситуации вел себя каждый из нас.

— А Калужнин? Он-то какое отношение имеет к отцу?

Голос Виктора сразу смягчился.

— Калужнин лет тридцать назад передал несколько десятков рисунков отца моей тетке, с той поры я и мечтал познакомиться с его «делом».

— А мама разве не интересовалась?

Он отвечал неохотно, но теперь хранить прежнюю тайну стало труднее.

— Они были в разводе, поэтому мы и сохранились. Отец жил с нами в одной квартире, его арестовали, когда мне исполнилось три года. Знаешь, его комнатой была та, в которой мы выпускали «Восход», может, помнишь пейзаж на стене — это его работа.

Да, конечно, я помнил и комнату, и квартиру. Что касается пейзажа, то вряд ли тогда это могло быть для меня интересным.

Дома Виктора уже давно не существует, он снесен. После женитьбы я перебрался с Охты в центр города, в коммуналку, а в конце шестидесятых мы с женой и сыном снова переехали на Большую Охту, в новостройку. И удивительно, дом, в котором я живу почти тридцать лет, находится на том месте, где раньше стоял их дом, где когда-то жил возникший из небытия отец Виктора. Видимо, там бывал и герой моей прошлой книги — Калужнин.

Неожиданно я подумал, что вот уже более четверти века нахожусь в духовном поле Гальперина. Впрочем, мысль о «духовном поле» пришла чуть позднее. Тогда я посчитал все это забавным совпадением.

На следующий день Виктор пришел ко мне — грузноватый, благополучный профессор, не очень-то много оставалось в нем от послевоенного худенького девятиклассника, — и мы обсудили всех стариков-художников, с которыми ему было бы полезно встретиться: вдруг кто-то помнил отца?

Кроме тех, кого я знал в Ленинграде, в Мурманске жили Юрий Исакович и Светлана Александровна Анкудиновы, владельцы архива Калужнина, — очень милые люди. Несколько лет назад, когда мы были еще незнакомы, а я почти без предупреждения свалился на них в поисках картин Василия Павловича, они показали лишь часть архива, и только в случайных разговорах я вдруг начинал понимать, что некоторых работ, и тем более документов, так и не видел. Я дал Кригеру адрес.

— Думаю, находка маловероятна, но пока Калужнин — единственный известный человек, кто хранил рисунки отца.

Мне, как ни странно, выдали все «дела», которые я выписал из архива: Ермолаевой, Гальперина, Стерлигова, Казанской, Коган — один конволют.

Я полностью переписал несколько старых папок. По сути о жизни художников знаний не прибавлялось. Пожелтевшие бумаги хранили иное, в них было то, что скорее всего стоило назвать жизнью после жизни: арестованные отвечали на вопросы, подписывали протоколы, иногда умопомрачительные по глупости, в каждой фразе можно было увидеть не того, кого допрашивали некие Федоров и Тарновский, а самих следователь, их безнадежно низкую культуру.

Доброжелательность нынешних сотрудников управления госбезопасности показалась мне удивительной, совсем другое рассказывал Кригер. Правда, «дело» отца ему дали, но рядом уселся неведомый младший чин, который не только не разрешал ничего переписывать, но и зорко следил, чтобы Виктор не смел даже заглянуть в соседние документы.

Интеллигентного вида начальник пресс-центра подписал пропуск на выход из их страшноватого учреждения. Мавр сделал свое дело, мавр ушел. Честно сказать, уходил разочарованный. К полному незнанию о Ермолаевой и, тем более, о Гальперине знаний не прибавлялось.

Молодой человек подмахнул пропуск.

— Ну, Семен Борисович, можно ждать новой книги?

Легко допускаю, что в его вопросе скрывалась ирония, он-то понимал, что такие материалы мало пригодны для литературы. Я вздохнул:

— Разве по вашим документам что-то человеческое напишешь?

Начальник неожиданно согласился:

— Ну, какие романы по нашим документам!..

Я вышел на улицу. Удача, которой я так радовался, получив «дела», творческой удачей стать не могла. Ушли в небытие люди, которые близко знали Ермолаеву, не было никого, кто бы хоть немного помнил о Гальперине. Что я мог рассказать о них?

Дома я перепечатал списанное и положил в стол. К работе меня могло подтолкнуть только чудо. Не скажу, что я ждал чего-то иррационального. Я звонил старикам-художникам, нашел даму, которая девочкой путешествовала в лодке с Верой Михайловной по Днепру, ее мама была ближайшей подругой «Вемешки», так эта семья называла Веру Михайловну.

Кончились весенние и летние месяцы, наступила осень, а я так и не двинулся ни на шаг. Я почти отчаивался, что-то все же писал, но страницы не то что книгой, но и рассказом не становились. Пора было признать попытку неудачей и заняться чем-то другим..

И вдруг — это оказалось действительно «вдруг!» — обычным осенним вечером дома раздался телефонный звонок. Женский голос был незнакомым, но интонации звучали мягко. Бесспорно, со мной говорил интеллигентный человек. Выяснилось, что мы когда-то встречались; жила эта женщина под Петербургом, в райцентре В. — несколько раз я выступал там по приглашению книголюбов. Случай, о котором она вспоминала, произошел довольно давно. В городке, куда я приехал на встречу с читателями, отключили свет, и я говорил в крошечной тьме, однако и в темноте чувствовал расположенность зала. Потом какая-то женщина предложила проводить меня на автобус. Я поблагодарил. Это и оказалась звонившая Наталья Федоровна.

Книга, о которой я рассказывал ей на автобусной остановке, была посвящена пушкинской дуэли, этим я занимался много лет, был в Париже, встречался с правнуком Дантеса, привез из семейного архива интереснейшие письма.

Какое-то время я не понимал, что объясняет мне Наталья Федоровна, пока не сообразил, что она рассказывает об открывшихся у них с подругой странных способностях к... медитации. Как и положено советскому материалисту, я считал подобные вещи шарлатанством. Обычная вежливость как бы заставляла меня ее слушать. Оказалось, несколько дней назад и Наталья Федоровна и ее подруга не только сами вызывали «дух» Пушкина, но и спрашивали у него об одном драматическом для меня эпизоде. И Пушкин, да, да, Александр Сергеевич Пушкин, ответил, что он о моей неприятности не только знает, но и считает, что я легко отделался: «Могло быть и хуже...» — уверил он их.

Звонок я расценил как забавный, вероятнее всего, про себя посмеялся, но телефон моих доброжелателей все-таки записал.

Теперь-то я и вспомнил, что на улице городка В. в крошечной темноте рассказывал Наталье Федоровне об одном своем выступлении в Пушкин-

ском Доме перед раздраженными, не принимающими моего взгляда на дуэль пушкинистами.

Конечно, та давняя история к нынешним моим занятиям никакого отношения не имела, однако звонок раздался именно благодаря ей.

В 1982 году я опубликовал в журнале «Нева» главу будущей книги: «Вокруг дуэли». Ее героем был молодой кавалергард, друг Дантеса, князь Александр Васильевич Трубецкой, «ультрафешенебль», как тогда называли небольшую группку особо богатой светской молодежи. Трубецкой и по типу характера, и по многим фактам биографии давал повод заподозрить его в авторстве анонимного письма Пушкину.

Ранней осенью я услышал, что Пушкинский Дом готовится к обсуждению опубликованной работы, и даже нервничал, что разговор скорее всего пройдет без меня.

Именно в те самые числа, в какие я теперь разговаривал с Натальей Федоровной, раздался звонок милого светского юноши (впоследствии он стал одной из «звезд» петербургского телевидения). Тогда С. нравился мне, и я радовался, когда он бывал у нас дома.

Оказалось, в Ленинград приехала гречанка, племянница крупнейшего коллекционера русского авангарда Костаки, искусствоведа, и ей — так сказал С. — было бы интересно познакомиться со мной, не только как с человеком, хорошо знающим петербургских живописцев, но и как с автором «сенсационного эссе» о пушкинском окружении.

В назначенный час в дверь позвонили, я бросился открывать и... застыл. Передо мной стояла бледнолицая, черноволосая дама в ядовито-зеленом балахоне, у нее были острые, пронзительные глаза, прямой нос, ярко-красные губы. Наверное, оттого, что я занимался пушкинской темой, реакция на ее вызывающую внешность была однозначной: «Старуха!»

Моментальная ассоциация вскоре забылась. Мы говорили об искусстве, потом как-то естественно перешли к моей версии убийства великого поэта, и внезапно С. весело произнес, что вчера, в Астории, они с Хрисулой, так звали гостью, вызывали «дух Трубецкого». Я рассмеялся.

— О чем же вы спрашивали у князя?

— Ну, естественно, как он относится к вашей публикации!

— И что Трубецкой ответил?

— Одно слово: «Дуэль!»

Я и вовсе развеселился. Александр Васильевич Трубецкой, как нужно было понимать милого С., собирался стреляться со мной. Умри, Денис, лучше не скажешь! Теперь я всех повеселю этой шуткой...

Через несколько дней и гречанка, и ее мистический прогноз позабылись настолько, что я даже не вспомнил о них, когда мне все же позвонили из Пушкинского Дома. Ученый секретарь приглашал прийти на обсуждение публикации. Конечно, хотелось не осрамиться. У меня хранились неизвестные Пушкинскому Дому письма князя Вяземского к графине Мусиной-Пушкиной, именно в них и было «закодировано» имя виновника произошедшей беды. «На этом Красном, — как называл Вяземский Трубецкого, — столько же черных пятен, сколько и крови».

Я стал собираться на обсуждение. Какое же из писем взять с собой? Тащить весь архив было глупо, и я отобрал, как образец, всего лишь страницу, одно письмо на французском. И, конечно, взял его перевод. Этого, подумал, мне хватит...

Докладчик с хладнокровием математика отмечал сомнительные, по его мнению, положения, а я терпеливо ждал минуты, когда придет мое время. Рядом сидел правнук Трубецкого профессор Бибилов, это я пригласил его, вероятно, основательно надеясь на победу.

И вдруг — о удача! — критик процитировал именно ту страницу, которую я захватил с собой. Фраз, только что зачитанных им, в письме не было. Вероятно, оппонент сам не видел архива. По каталогу я знал, что тексты Вяземского до меня двадцать четыре года назад читала только одна

ученая дама. Она-то, судя по выступлению оппонента, и передала ему когда-то переписанные и уже, вероятно, перепутанные страницы. Стало ясно: их ошибка — мой шанс!

Я едва дождался права на выступление и с достоинством положил на стол председателя только что процитированный лист. Пусть убедятся, каково вольность позволил себе мой критик.

— Посмотрите, в письме отсутствует названное имя, — сдержанно произнес я. — Докладчик скорее всего сам архива не видел.

Председательствующая взяла фотокопию.

— Как отсутствует? Вот эта фраза. Она в постскриптуме. Правда, тут назван не Александр Васильевич, а его отец...

Мне возвращали французский текст.

Помню тупое остолбенение: я не знал, что сказать. И тут почему-то испуганно выкрикнул самое неумное, что только могло быть:

— Но я не знаю французского!

Все, что происходило дальше, описать трудно. В зале стоял хохот. Я слышал оскорбительные выкрики. Меня стыдили за недобросовестность. Уничтожали за невежество. Я был растоптан.

Ничего не соображая, я вцепился в края кафедры, боясь потерять сознание. И тут из небытия выплыла угроза оскорбленного мною Трубецкого: «ДУЭЛЬ!»

Да, это была дуэль. Для противников меня больше не существовало.

Много позже я вспомнил обстоятельства, которые привели к той трагической ошибке. Замечательная переводчица, как мне показалось, закончила перевод — последние слова, которые я записал, были стандартные: «Примите мои уверения...» И в это мгновение домашние позвали ее к телефону. Переводчица извинилась и ушла в соседнюю комнату. Я спрятал записанное, совершенно не предполагая, что в письме мог остаться постскриптум.

...Часом позднее я прощался под Дворцовой аркой с правнуком Трубецкого. Я был подавлен. Казалось, потомок иронично смотрит на меня — невежду, только что поверженного прадедом в Пушкинском Доме. Оклеветанный дед был отомщен.

— И все-таки вы правы, — неожиданно сказал Бибиков и пожал мне руку. Что это означало: дьявольскую иронию, насмешку или сочувствие — сказать не могу. Во всяком случае, с Бибиковым мы никогда больше не встречались.

Когда раздался тот странный телефонный звонок, я подумал: «Господи! У каждого свои игры. И если эти люди верят в мистику, то, как говорила моя бабушка, на здоровье».

На кухне готовила жена, а я, повесив трубку, долго не решался сказать ей о приглашении. Кто они, эти женщины? Истерички, которым кажется, что они могут то, чего никто никогда до них не мог? Разве я не видел и не знал таких?

— Как тебе не стыдно! — воскликнула, как я и предполагал, жена. — Солидный человек, а клянешь на явное шарлатанство! Вот уж действительно: ум — за разум!

И все же я помнил о том звонке. В конце-то концов, так ли уж ценен для меня потерянный день? А потом, разве не бывает, что и неудача может пригодиться в литературном деле? Что-то словно мешало отказаться от встречи.

Тринадцатого ноября 1993 года я, ничего не сказав домашним, поехал на Васильевский. К нужному дому я подошел чуть раньше назначенного. Побродил по пустынным проулкам, много лет назад именно в этом районе я начинал работать врачом «неотложки», все здесь было исхожено и знакомо. Наконец пришла пора подниматься в квартиру.

Я позвонил. В узком, слабо освещенном коридоре стояла невысокая блондинка с добрыми серыми глазами, как оказалось — Наталья Федоровна. На ней был домашний халатик и тапочки. Позади, прислонившись к косяку, стояла вторая — черноволосая, худенькая, с матовым лицом и гладкой прической. Она молчала и, как мне казалось, с любопытством рассматривала меня. И эта была одета без всяких претензий: кофточка, черные брючки и тоже тапки. Звали ее Ольга Тимофеевна.

Теперь и не вспомнить, как начинался наш разговор. Возможно, я рассказал о мучительной, неудавшейся работе, об отчаянии от безрезультатного поиска. Мои герои были им неизвестны. Впрочем, о Вере Михайловне Ермолаевой я еще что-то мог бы рассказать, но Гальперина толком не знал даже его собственный сын.

Незадолго до этой встречи я прочитал книгу Форда «Жизнь после смерти». Ее содержание показалось мне сказкой. Правда, кое-что меня все же заинтересовало. «Весь Новый Завет, — писал американский медиум, — если его правильно понимать, представляет необычайно подробный и хорошо изложенный рассказ о парапсихологическом феномене, который сформировался вокруг группы незаурядных медиумов, один из которых в высшей степени был одарен вдохновением».

Я сидел в небольшой комнате. Слева и справа нависали книжные полки, на маленьком письменном столе стоял старенький диктофон, за ним опять книги. Странно было глядеть на «технические» приготовления женщин.

На табурете лежал лист пожелтевшей, будто прожженной бумаги с написанным от руки алфавитом. Наталья Федоровна взяла Ольгу Тимофеевну за запястье, как бы готовясь отдать ей энергию. Я сидел метрах в двух, ожидая, когда начнется сеанс. Как и у Форда, у них был посредник, контактёр, через него они и должны были выйти на тех, кого мне хотелось услышать. Контактёр назывался Плутоном. Была ли это планета, как считали медиумы, или нечто иное, но контактёр соглашался помочь.

По сути я ни к чему не был готов, не заготовил вопросов. И когда Наталья Федоровна резко сказала «Спрашивайте!», я растерялся. «У кого спрашивать?! — пронеслось в голове. — О чем? Что могут ответить мне тени?»

Пока медиумы готовились к сеансу, я мысленно иронизировал, но теперь неожиданное приказание заставило меня сосредоточиться и задать хоть какой-то вопрос.

Первая беседа с Верой Михайловной Ермолаевой через петербургских трансмедиумов

— Вера Михайловна, — повторила названное мной имя Наталья Федоровна. — Вы нас слышите? Вы здесь?

— Я здесь. И давно. Хотя мне это и трудно.

Я поразился, как изменился голос медиума.

— Вам физически трудно? — спросил я.

Все догматы материализма, которые я добросовестно исповедовал десятилетиями, моментально превратились в ничто.

— Это очень по-земному, — мягко сказала Ермолаева. Вернее, звучал голос медиума, но явно с другими интонациями. — Просто мне страшно подумать, что я ошиблась и вам понадобилась не я, а некто другой.

— Нет, вы не ошиблись, — улыбнулась Наталья Федоровна, вероятно, почувствовав радость удачи. — Мы спрашивали вас. И нужны именно вы.

Она взглядом требовала сосредоточиться, в конце-то концов здесь не было, кроме меня, человека, который хоть что-то знал о Ермолаевой.

— Вера Михайловна, — сказал я, уже не поражаясь тому, что принимаю происходящее за реальность. — Вера Михайловна, как вы объясняете все, что случилось с вами?..

И снова пожалел, что задаю дурацкий вопрос. Впрочем, а каким еще может быть вопрос к атому или плазме? Да и вообще — кто мог бы ответить, с каким веществом пошел разговор?

Я видел напряженно-сосредоточенные лица Натали и Ольги, затем блюдо поплыло по кругу.

— Вы же понимаете... — устало ответили мне. — Шло страшное время, когда лучше было не знать никого.

Ах, как я злился на себя за то, что совсем не готовился к беседе. Я торопливо придумывал вопрос, который мог бы показаться не пустяком. И все же спросил не то, что следовало, не о ней, не о близких, а совсем земное:

— Вера Михайловна, как вы думаете, то, что теперь происходит в искусстве, можно считать хаосом?

В короткое мгновение я перестал поражаться тому, что разговариваю не с живым человеком, а с погибшей более полувека назад Ермолаевой.

— Знаете, то, что сегодня происходит в искусстве, совершенно необходимо, — сказала она, — потому что поиск обязательно дает какой-то ход или показывает тупик.

Я видел, как сосредоточилась Наталья Федоровна, как напряглось ее внимание.

— Это милые ребята, которые не боятся идти туда, откуда никто не приходил. Никто. Они уходят в небытие, чтобы показать, какие пути невозможны или закончены...

Пальцы Натали Федоровны застыли над блюдом:

— Сейчас не хаос, а поиск, вот главное из того, что я вижу на земле. Я говорю о бескорыстном искусстве. Другое тоже ищет, но там Бог ни при чем.

Возникла пауза.

— Сил нет, — пожаловалась Ермолаева. — Нам придется расстаться...

Я нервно сказал:

— Вера Михайловна, если можно, я еще приду к вам. Я хочу говорить...

— Хорошо, — согласилась она. — Прощайте.

...Я вышел на улицу совершенно растерянный и долго стоял на знакомом углу, так и не понимая, в какую сторону идти.

На город опустилась темнота. От звезд серебрилось петербургское небо. Я глядел и глядел вверх, словно бы пытаюсь отгадать, где же находится встревоженная человеческая душа. Потом я пошел не к остановке, как следовало, а в другую сторону, пока, наконец, не понял, что ошибся. В том доме, где я только что был, свет горел почти во всех окнах.

В мой прагматический мир ворвалось необъяснимое. «Господи, — думал я, — продвинулось ли человечество к истине?! Неужели жрец в храме, как и пророки Нового Завета, были ближе к правде, чем мы, ниспровергатели и материалисты?» Я невольно повторял про себя слова священника Форда о том, что те двенадцать апостолов, и один из них, «в высшей степени одаренный вдохновением», могли больше нас, нынешних, как бы достигших небывалого развития.

Подождал троллейбус, я сел на пустое место и почти сразу же поднялся: рядом гоготали парни. До метро оставалось три остановки, лучше бы пройтись. Я поднял воротник, — уже было по-зимнему холодно, — и быстро пошел по проспекту.

Тогда, в ноябре 93-го, я бы ни за что не поверил, что уже в первые дни 1996 года, когда буду заканчивать книгу, в одной из центральных газет появится статья: «Потусторонний мир, возможно, реален — на такую мысль наводит открытие европейских ученых». И там же я прочту удивительные слова: «На рубеже XXI века и третьего тысячелетия совершено грандиозное открытие. 96-й год распахнул перед человечеством завесу материи. За ней нематериальный, вернее, антиматериальный мир».

ЕРМОЛАЕВА

Вечером в квартире Веры Михайловны было особенно шумно. Собрались одни крикуны, как называла Дуняша Костю, Володю и Леву. Она и впускала-то их без охоты. Откроешь дверь и, мрачная, отступит, ну что, мол, от вас ждать хорошего, накричите, разволнуете хозяйку, язык-то без

костей, а уйдете, больной человек и уснуть не сможет, полночи скрипит в спальне тяжелая кровать.

По годам-то Дуняша была не намного старше Веры Михайловны, от силы на три. Это говорится только: сорок пять — баба ягодка опять. Дуняше и мысль такая не приходила в голову. Была она махонькая, худенькая, носик востренький, глазки — щелочками, никто на нее и внимания-то в деревне не обращал. Был, правда, Федька Копытин, и сейчас парня забыть не могла, сколько раз высматривала его на дороге, когда гнал коров, богатый был дом, стадо держали. За час до Федькиного прохода Дуняша выскочит из избы, не выспавшаяся, и вертится у забора, пропустить опасается, а Копытин и глаз на нее не свернет, гонит скотину к пастбищу, машет хлыстом, не его интерес Дуняша, есть, говорили, девчонка в соседней деревне.

А через год укатил Федор по известному адресу, недалеко жил, да уже и не виделись. Так и начала рассасываться тоска, и теперь даже себе не могла Дуняша сказать, что же такое у нее было...

Лет десять назад приехала в их края, в именье к брату, Вера Михайловна, на костылях, но веселая и добрая, словно никакой болезни она и не знала. И стала Вера Михайловна уговаривать Дуняшу поехать с ней в город, на жизнь, говорила, им хватит, волноваться никак не придется. А чего волноваться, если с тобой хороший человек. Другое было для Дуняши главным: может, повелел Господь стать опорой Вере Михайловне. Костыли не ноги, здоровый помощник все равно нужен. И отправились они из дальней сибирской волости в столицу, всюду вместе, и в Витебск из Питера в девятнадцатом, и из Витебска в Питер в двадцать втором, разделить их было уже нельзя.

Конечно, разные они с Верой Михайловной люди. Дуняша услышит что про рисунки, ничего не поймет, да и понимать-то не нужно, не ее это дело, но когда что купить, как сэкономить, тут уж Вере Михайловне до нее далеко. Да вот хотя бы сегодня! Чего только не принесла с базара, полжалованья, полученные Верой Михайловной за книгу, угрохала, — продукты по какой ныне цене! — так ведь не посмотрят крикуны на трудности, этим только еду подавай, сжуют все. Вот и спрашивается, для чего хозяйке их разговоры? Разве не видит Дуняша, как не раз от их глупостей расстраивается Вера Михайловна, в себя не может прийти, а потом сидит половину ночи и рисует, ты уж давно третий сон смотришь, а она рвет бумагу, таскает краски, себя никак не утешит. Иногда хочется крикнуть: да плюнь ты на них, Михайловна. Какая им-то цена? Нет, не крикнешь. Ладно. Но ведь про то, что они все съели, это ее, Дуняшино дело. За один вечер кого хочешь лишат провизии, хорошо, если остаются деньги, можно утром снова пойти, а если нет? И все равно не позволит о них и слова сказать. Завсегда двери открыты, идите, раз делать нечего...

Когда начались звонки в двери, Дуняша не сомневалась, что и сегодня соберется компания. Час как уже сидела у них тихая Нина Осиповна, к этой Дуняша привыкла, придет, начнет смотреть рисунки Веры Михайловны, будет головкой качать, восторгаться, божий человек, хоть и евреечка. При мальчишках она и совсем затихнет, а потом кто-то спохватится — где же Нина Осиповна, станут оглядываться, а той уже и след простыл, когда вышла, никто не видел. За Верой Михайловной Нина Осиповна тянулась хвостом. И на Басков приходила, когда там жила, и в Витебск вместе ехали, — там Вера Михайловна директорствовала в школе художников, — и вместе из Витебска возвращались. И когда с Казимиром Севериновичем была у Веры Михайловны большая дружба, — о том Дуняша никому и не сказывала, — может, и Нина Осиповна это чувствовала, по крайней мере она никогда не заходила одновременно с ним, а тихонько появлялась позднее, пробиралась бочком, спрашивала разрешения посидеть, показать свои-то работы. Вроде бы, по Дуняшиному мнению, ну что убогая хорошего может нарисовать, так ведь нет, хвалит ее Вера Михай-

ловна, даже восхищается, конечно, при ее доброте другого и ждать нечего, но кто знает, может, какая-то правда в ее восхищениях есть.

Как и думала Дуняша, крики начались сразу. Голос у Володьки Стерлигова резкий, из кухни слышать. Дуняша не раз советовала Вере Михайловне гнать крикуна шваброй, но та улыбалась и твердила одно: очень он, Дуня, талантливый, кричит, значит, не согласен, свое отстаивает. Вот я и слушаю, а что если какая-то правда в его криках?

...В этот раз Вера Михайловна показывала новые рисунки. Сидела она в кресле, а на высоком пуфе громоздились листы. Мужики стояли кругом, так что Дуняше ничего не было видно, да и как увидишь, если Костик Рождественский на две головы ее выше, а Лева Юдин — эти-то двое помилее Володьки — вроде бы сам и небольшой, но по сравнению с ней тоже громадный.

Пока Дуняша устанавливала самовар на подносе, пока наливала в чашки, голоса усиливались. Отчего-то громче всех смеялся Володька Стерлигов, что-то даже ему понравилось в работах Веры Михайловны.

— Да «Рейнеке-Лис» будто бы теперь написан! — гоготал он. — Гете и не предполагал, как попадет в цель через столетие. Все тогда было, и воровство, и обман, и разврат, ничего нового нынешние бандиты не придумали, только в размерах подлостей преуспели.

— Что факт, то факт! — засмеялась Вера Михайловна, и ее одобрительным смехом поддержала компания.

— А какие выразительные у вас герои! — воскликнул Володька. — Как характеры схвачены. Вы, Вера Михайловна, умеете одной деталью целое показать...

— С Волчихой можно было бы и поострее, — сказал Лева. И оттого, что окружающие хохотали, Дуняша поняла, что между Волчихой и этим Лисом, или как там его, было что-то неприличное. «Ну, кобели, — подумала Дуняша, — постеснялись бы...»

— Прекрасная работа! — похвалил длинный Костя, которого шутя звали Малюткой. — А ведь и действительно кому-то придет в голову, что вы это написали про сегодняшний день.

— Конечно, про сегодняшний, — воскликнула Вера Михайловна. — Неужели с революцией все человеческие пороки исчезли? Наоборот, думаю, пороки стали заметнее, они не вяжутся ни с новой философией, ни с новой жизнью.

И тут в дверях звякнуло. Дуняша понимающе поглядела на Веру Михайловну, и та ей улыбнулась. Эко ведь! Чувств-то не скроешь. Вот и больная, и безногая, а сердцу не прикажешь. Если любишь, то уж чего скрывать: любить никому Бог не запретил, любите...

Колокольчик на входе снова запрыгал, как савраска деревенская. Дуняша еще раз поглядела на хозяйку и поняла в глазах Михайловны приказ: бежи, Дуня, открывай, он пришел.

Крикуны даже не обернулись, для них какое значение, кто в дом заходит, это дело хозяйское.

Дуняша выскользнула в коридор, отбросила щеколду, отпустила дверь на вытянутую руку, дала возможность пройти желанному, сказала: «Крикуны давно уже тут».

Он улыбнулся добро, кивнул. Зеркало отразило умные большие глаза, густой немного вьющийся черный волос и покрасневшие щеки, наверное, шел Лев Соломонович со своей Охты через морозный город пешком. А он словно и не заметил протянутых Дуняшей рук, скинул пальто и сам зацепил на вешалку. Пальто было необычное, широкая пола колыхнулась, как занавес, а затем тяжелая материя мягко улеглась на крючке. Должно быть, заграничное, Вера Михайловна рассказывала, что жил Лев Соломонович в разных странах, даже в священной Палестине...

Лев Соломонович вошел в комнату, сказал общее «здрасьте», ответили вразнобой, безразлично, — было видно, что никому этот человек здесь не интересен, да и стар он, вернее, старше других лет на пятнадцать, так что

за своего никто его и считать-то не собирается. Другое дело Вера Михайловна, глаза ее наполнились радостью, теплота согрела лицо, яснее выразилась скрытая ото всех, кроме Дуняши, тайна: нет никого для хозяйки более желанного и дорогого, чем пришедший сюда человек.

Ничего ни за столом, ни у пуфа с рисунками не изменилось, крикуны спорили о непонятном, а Лев Соломонович стоял молча за их спинами.

— Вы же, Вера Михайловна, работали с Малевичем, были едва ли не правой его рукой, орден супрематический вас чтит, куда же все делось?! — орал Стерлигов. — И морские пейзажи, и некоторые натюрморты почти банальщина, полшага до сю-сю-реализма. — И он загоготал от своей шутки. — Или как там официально: реализма социалистического.

— А мне кажется, это прекрасные вещи, Володя, — мягко возразил Лев Соломонович. — Поглядите, как решено. Я и примеров такому не знаю. Показать бы в Париже, какая могла быть реакция, там новый голос умеют ценить, поверьте.

— Да что вы все про Париж! — взвился Стерлигов. — Тут и во Псков-то не съездишь. Париж, может, и был в прошлой жизни, да теперь мало кто этому верит.

— Ладно, раз уж нам и во Псков трудно, — рассмеялся Лев Соломонович. — Вот гляжу на листы и невольно думаю, в них явное пластическое и цветное открытие. И были бы мы с вами в других обстоятельствах, то о сделанном Верой Михайловной можно было бы говорить как об откровении.

— Не одобрил бы такого «откровения» Казимир, — буркнул Стерлигов.

— Ну а почему мы должны идти только дорогой Малевича? — опять не согласился Лев Соломонович. — У Веры Михайловны свое, для меня она — гений.

Дуся заметила, как зарделась Вера Михайловна, как быстро и благодарно перевела на него взгляд.

— Ну зачем же так, Лева...

Он будто бы не услышал ее, повернулся к ребятам, таким взъерошенным, взвинченным, сказал, как обычно, мягко и сдержанно:

— Отчего вы такой агрессивный, Володя? Вот я гляжу на эти листы и невольно думаю — никогда, ни у кого подобного я не видел, да и вы все, уверен, не видели. Были бы мы с вами в любой из европейских стран, ничего и никому бы не пришлось доказывать, выставили бы, скажем, эти листы в парижском салоне, и реакция возникла бы моментально.

— Да и у нас выставят, но только за дверь. И, конечно, вместе с художником, — выпалил Стерлигов.

Все расхохотались. Дуся хотя и не поняла толком, но нахмурилась: «Типун тебе на язык, — подумала. — В очереди тетка сказывала, что соседа только что увели за какие-никакие слова». Она чуть отвернулась и перекрестила себя, а потом и всех склонившихся над рисунками.

Лев Соломонович отстаивал свое.

— Зачем же так страшно? — как обычно мягко сказал он. — Три дня назад я приводил к Вере Михайловне приехавшего недавно из Франции художника Фикса, уговорил ее показать две последние серии гуашей. И Рейнеке, конечно, и Лукреция. Он просто в восторг пришел. Вот, сказал, был бы фурор в салоне, если бы можно было там показать.

И опять Дуняша заметила благодарный хозяйкин взгляд и счастливую радость в глазах Льва Соломоновича.

И Костя Рождественский и Лева Юдин подтащили стулья, уселись рядом, маленький да большой, передавали друг другу листы, покачивали головами, перешептывались.

— А Малевич, — не унимался Лев Соломонович, — он же сам назад пошел. Я видел последние его реалистические портреты, конечно, художник большой, умница, но ведь уже не вперед идет...

— Ну, это вы зря, мсье Гальперин, — возмутился Стерлигов. — Гений он гений и есть. И вчера, и сегодня, и завтра. Только завтра он может еще более значительным показаться. Не вам его обсуждать.

— Ах, Володя, Володя! — с обидой сказала Вера Михайловна. — Малевич не икона, а такой же, как мы, человек. Почему же у него не может быть и падений и взлетов? По моему мнению, его супрематические концепции конечны, исчерпаемы, а искусство должно быть вечным. Другое дело, что лучшее и оттуда нужно брать, а двигаться по-своему. Неслучайно, думаю, и я и Юдин, да и то, что Гальперин делает, — это искусство пластики, пластический реализм, — и она обернулась к Льву Юдину. — Так я называю, Левушка?

Теперь уже орали все. Дуняша вроде и слушала, но понять не могла, да и понимать не старалась: не ее это дело. Она подняла самовар и пошла на кухню. Пора было кипятить еще раз.

А о ком кричат, Дуся не хуже других знала. Казимир и сюда являлся, на Десятую линию, и в Витебске приехал, когда они с Верой Михайловной прикатали техникум художества создавать, да и раньше — еще на Басковом жили, — он и там бывал. Начальник — начальник и есть. Обидно за всех. Поглядит рисунки и давай замечания тыкать, а они стоят расстроенные и кивают ему, соглашаются, а в глазах боль. Конечно, слова он произносил странные, для простых людей таких слов попросту нету. И как эти мальчишки, да и Вера Михайловна, могли эти наказания понять! Но ведь понимали, хотя и цепенели перед ним, будто не человек здесь, а сам Господь.

Было у Дуси еще подозрение, и если так, то, как говорят, на здоровье. Казимир являлся к ним, и Вера Михайловна, как только попьют чаю, отправит Дусю к свояченице, тоже из их деревни.

— Побудь, — скажет, — до вечера, мы поработаем.

А уж как они там работают, догадаться легко. Одно понимаешь: человеческое всем требуется. И если такое есть, так и на счастье. А вот когда их любовь окончилась, когда обидел Веру Михайловну Казимир, Дуся это сразу почувствовала. Ну что ж, и такое пережить надо. Бог все видит, жизнь идет, авось другое счастье пошлет хорошему человеку...

Сполоснула старинные чашки — они у Веры Михайловны из отцовских подарков — расставила на столе. Нелегко живут, но сдаваться не хочется. Дуся тоже села со всеми, теперь заговорили про крестьянскую жизнь, начал вроде бы Костя.

— Довели деревню до голода, согнали крестьян в колхозы, кто что имел, все в общину кинули, значит, свое уже никому не принадлежит, нет у людей ни права на лошадь, ни права на собственную козу.

Лев Соломонович и тут Палестину вспомнил, у них тоже что-то вроде колхозов строилось, но все по-другому, объединялись добровольцы, никто их там не сгонял, вот и получались вроде бы коммунисты, только этих слов там употреблять не хотели.

— Да какая у нас Палестина! — крикнул Стерлигов. — Если и живописью-то нельзя заниматься свободно, обязательно должен картиночки рисовать, да такие, чтобы начальство понимало, а у этого начальства по одному классу приходской школы. Уж лучше делайте фотографии, это понятнее, зачем огород городить! Вон на недавнем съезде писателей Максим Кислосладкий такую чушь нес, читать страшно. Я даже подумал, если его речь воспринимать как приказ, то очень скоро все искусство погибнет. И живопись, и литература, и музыка.

Костя Рождественский при упоминании Кислосладкого так прыснул, что окатил чаем Стерлигова. И тут Дуняша вдруг заметила, что стоит на столе лишняя чашка, огляделась, конечно, нет Нины Осиповны, божьего человека: эта, как только сборище соберется, незаметно уйдет. И Лева-маленький, и Костик-большой, и Володя-крикливый — все поразились: когда же выпорхнула птаха? Сидела в сторонке, вопросов не задавала, а разорались — и сгнула.

— В окно вылетела, — пошутил Стерлигов, и все снова расхохотались: от Нины Осиповны можно было и такого ждать.

— Да она и в Витебске всегда одна, — с сожалением сказала Вера Михайловна. — Идет по морозу. Что, Дуняша, на ней теплого?

— Все легонькое...

— Господи, спаси и сохрани, — вздохнула Вера Михайловна. — Ей же в конец Марата, это больше часа пешком, какой нынче извозчик. Двадцать градусов на улице.

— Странный человек эта Коган, — сказал Лева. — Живет одна, я как-то зашел к ней в комнату, расхаживает курица с цыплятами, это она взялась детскую книгу иллюстрировать, натуру домой привела. Каждому цыпленку бумажные штанишки шьет, они же по подушкам бегают, не шибко заснешь к ночи. Ничего не поделаешь, Малевич конструкции требовал, куриц не нужно было дома держать, а теперь — соцреализм.

— Я ее очень жалею, — с печалью сказала Вера Михайловна. — Неприспособленная. Больная. Мне кажется, всегда голодная, а ведь она способнейший человек!

— Это Коган способная? — возмутился Стерлигов. — Да если и способная, то чужим умом. Все более или менее интересное у нее от Малевича.

Вера Михайловна поглядела на Стерлигова с осуждением, вздохнула.

— Вы жестокий, Володя. А жестокости и без нас полно. Смотрите, что в стране творится...

— Чего стоит Союз художников! — воскликнул Гальперин. — Кто в нем бал правит? Страшные, заскорюзлые бездари. Когда жил за границей, как хотелось домой, об одном только и думал: в России все иначе, там тебя ждут, там открываются небывалые перспективы, а приехал — и кончились иллюзии, восемнадцатый век, такое и предположить было невозможно...

Расходились в двенадцатом. Рождественскому и Юдину недалеко, Стерлигов пошел с ними. Шестиметровая комнатка, что они снимали, не особая для гостей площадь, но втроем веселей, еще поспорят, а затем и на полу можно поспать, была бы подушка да одеяло.

Дуся поглядела украдкой на Льва Соломоновича — этому тяжелее всех, если решится ночью на Охту, к утру только и добредет. Нет, скорее он здесь останется. Тайна-то не своя, а Веры Михайловны. Конечно, каждое утро Дуся Вере Михайловне корсет надевает, не просто решиться в таком положении на замужество, а ему на женитьбу, но ведь сколько у нее доброты, как он ее слушает, как смотрит в лицо, как меняется выражение глаз, когда она его хвалит.

Да и хорошо им вдвоем. Есть у Дуняши надежда, что однажды решится Лев Соломонович и переедет к ним. А может, и не Лев Соломонович это решает, а сама Вера Михайловна, от него бы зависело, давно бы у них жил.

Пока переносила посуду на кухню, они все перешептывались. Сейчас скажет: «Закрой на ключ, на крюк-то не нужно». Конечно, не нужно, как он вернется, если крюк наложить, так и будет в парадной до утра стоять? Наклонила голову, чтобы не видеть их лиц, смахнула со скатерти крошки, а Верочка-то Михайловна вдруг мягко Дусину мысль вслух и высказала:

— Дуняша, дверь только на ключ, этого вполне достаточно.

— Ну, мне пора, — сказал Лев Соломонович, — проводи, Дуся.

Она пошла за ним, хотела перекрестить, хороший человек, хоть и другой нации. Он улыбнулся ей, вышел на лестницу. Дуняша поглядела вслед, подумала, что почитать нечего, и полчаса не пройдет, как вернется, откроет замок недавно «потерянным» ключом, — уж она-то знала, как его потеряли! — и проскользнет к Вере Михайловне. А утром Дуся будто бы удивится, что Лев Соломонович стоит у мольберта, рисует, когда и успел прийти, вот уж чудо-чудесное. Сказать нельзя, приходится делать вид, что догадаться о таком пустяке ума нет...

Повернула ключ, заспешила к Вере Михайловне, нужно помочь снять корсет. Когда-то ее отец делал на заказ этот панцирь, заграничные мастера за большие деньги придумывали металлические крепления и зажимы, соединяли колени и бедра, требовалась сноровка, чтобы большое и тяжелое тело посадить в кресло. Когда не спешила Вера Михайловна, то могла

и сама справиться, а торопилась — Дусю звала, с ней легче. А вот руки у Веры Михайловны были сильные, и себя поднимала без костылей, обходилась палочкой, а потребуется дальняя дорога, то и с костылями могла. Что у нее в детстве случилось, этого Дуся не знала. Тогда-то в Сибири говорили крестьяне, будто девчонка падала с лошади, перебила спину, а вот теперь как-то услышала от Веры Михайловны: была у нее болезнь, костный туберкулез, вот и повез ее отец в дальние страны, и где-то сделали ей особый корсет.

И самое удивительное, что Вера Михайловна не боялась никаких походов, и теперь, когда сорок один, и десять лет тому назад, куда она только не ездила! На Белое море — с Богом! На Днепр — пожалуйста. А уж здесь, у Питера, каждое лето на озера, и в Кавголово, и в Токсово, всюду, где жили друзья-художники.

Загодя нанимали телегу, укладывала Дуняша нужные вещи, краски, холсты и бумагу — главная забота, — конечно, питание, одеяла да простыни, а дальше вожжи в руки и покатили. Верочка Зенькович, ее ученица, как-то рассказывала: мчатся они по дорогам, одни ухабы да рытвины, а лошадь будто сама путь выбирает, ни тряски, ни качки.

— Какая умная у нас лошадь, — похвалила Верочка, когда подъехали.

А Вера Михайловна поглядела с ехидцей, сказала шутя:

— А мне-то казалось, это я умная...

Дуся расшнуровала корсет, подождала, когда Михайловна ляжет, прикрыла, как маленькую, одеялом, подушку подбила.

— Уже поздно, Дуня, — сказала она. — Ложись. И раньше десяти не поднимайся. Устала я.

Дуся тихонько перебралась в свою комнатку, поплотнее прикрыла дверь и легла. О чем говорить: и получаса не пройдет, как откроет замок Лев Соломонович. А утром уйдет ненадолго, чтобы снова возникнуть в назначенные десять. Думала, раз судьба так решила, что у нее, Дуси, своей семьи нет, то пусть будет хороший друг у хозяйки, ой как нужна ей опора.

Хрустнул ключ, проскрипела дверь, и легкие шаги послышались у соседней комнаты.

Дуняша присела на секунду — благословила обоих, добрые люди, и их любовь добрая, богоугодная. А что не венчаются, или, как там теперь говорят, расписываются, так и понять можно — зачем давать людям случай лишний раз говорить о болезни, может, кто и с сочувствием подойдет, а кто — со смешком.

Надо спать! А когда утром Дуся войдет в спальню, Вера Михайловна будет счастливая, хорошо причесанная, улыбнутся оба, будто бы давно ждут ее с самоваром.

— Вот, — скажет Вера Михайловна. — Пришел только что Лева, дай-ка чайку, пора нам работать.

И пока Дуняша вертится в кухне, Лев Соломонович уже будет стоять у мольберта, писать портрет Верочки, а Верочка окажется в кресле, делая что-то свое, рисунок или картину, да еще при этом напевать...

Несколько недель после встречи с медиумами я буквально приходил в себя. Вряд ли стоило рассказывать об этом. Кроме иронического скепсиса и насмешки, ничего, даже от друзей, в случае моей простодушной откровенности, ждать было нельзя.

Книга не продвигалась ни на страницу, да и не было новых фактов, кроме тех, что я смог переписать в Комитете госбезопасности. А может, это судьба, тот странный звонок, да и та первая, поразившая меня беседа. Нет, говорил я себе: нужно идти к этим милым женщинам, я должен побеседовать и с Ермолаевой, и с ее друзьями, каким бы непонятным и необъяснимым это ни казалось. И я позвонил на Васильевский.

Готовность помочь, их расположенность поражали. По сути я сам выбрал удобный мне час.

— Возьмите магнитофон, — в конце разговора посоветовала Наталья Федоровна. — Скорее всего, это вам еще пригодится.

Днем двадцать первого ноября 1993 года я вторично пришел в известный уже дом. Все дальнейшие встречи через трансмедиумов были записаны на пленку.

Вторая беседа с Верой Михайловной Ермолаевой через петербургских трансмедиумов

Семен Ласкин: Вера Михайловна, мне бы хотелось написать о вас книгу, как о выдающейся русской художнице. Что, как вам кажется, я не должен был бы упустить в ней?

Вера Ермолаева: Ну и вопрос! Мне сейчас не так интересна земная моя судьба. Что все-таки было главным? Да, пожалуй, беседы, встречи, споры, которые помогали увидеть и понять, что мир многомерен, многоцветен и многозвучен. Эти беседы, споры, обиды, которые часто нужно было пережить после слишком многочисленных нападков моих друзей, заставляли увидеть то, что видно быть не могло, если бы не было этих обид. И я благодарю свою судьбу больше всего за то, что она дала мне возможность оказаться в окружении незащищенных художников, которые жили искусством, жизнь и творчество которых оказались синонимами. И хотя некоторые из них не состоялись, были забыты или и тогда не во всем дотягивали до настоящего искусства, они все давали ту атмосферу, которую может породить только истинное искусство. Просто не могу представить себе, что бы стало со мной без этого окружения. И очень хочу, чтобы знали: нет художника без его почитателей и без его критиков. Да, без врага можно обойтись, а без критиков невозможно, так как художник должен уметь посмотреть на себя со стороны.

А ведь не хочется. Знаешь, что делаешь, любишь свое детище, обихаживаешь его, ночи не спишь, лелеешь, а разве на такое со стороны сам помотришь?! И вот приходят друзья, которые лучше тебя понимают, как ты работаешь, что должен показать, на что обратить внимание, и знают лучше тебя средства, которыми ты все это покажешь, даже знают мысли твои, чувства, и подсказывают тебе все время. Ты злишься, споришь, не допускаешь возможного и даже иногда плачешь от злости, а потом, когда нет никого, ты о них вспомнишь и, не желая того, вдруг увидишь, что они заметили то, что тебе заметить не удалось. Злишься. Но душа уже стала работать. И куда денешься? Вот и заставляешь себя исправлять, усложнять, но... все-таки иначе, чем они тебе подсказывали. И значит, обретаешь новый ход, лишь бы не согласиться. Вредность эта заставляла душу искать иные пути и приемы, к которым раньше не была готова, те, что, как могло показаться, даже рушили образ твой.

...Ребята шли по Десятой линии Васильевского, свернули на Большой проспект. Уличная темнота чуть-чуть освещалась редкими фонарями, народу и на проспекте уже не было, приближалась полночь. Впрочем, даже этот небольшой свет, несколько охристых точек, вырывал из черного марева кусочки пространства, желтоватые полукружья висели в воздухе, и в паузах между порывами ветра было видно, как они медленно насыщались белыми точками снега.

Стоял крепкий мороз. Защищаясь от ветра, поворачивались спиной, так легче было переносить обжигающий холод. Стерлигов мерз больше других, правда, чуточку спасала ушанка, но мороз жег не только лицо, стыли и ноги в дешевеньких башмаках, и руки в тонких перчатках, и, разговаривая, Володька периодически дышал в них, пританцовывал, постукивал каблуками.

Позади белела Александровская церковь, которая давно уже не действовала, однажды Вера Михайловна сказала, что там теперь овощной склад. Володя перекрестился и вздохнул: вся страна превращалась в склад да в помойки, а не только эта прекрасная церковь.

На Тучковом мосту стало еще холоднее. Здесь уже не защищали от ветра ни дома, ни деревья — их не было, зато внизу лежал серый отполированный невский лед. Вот перейдут по Тучкову, а там еще минут десять до Шамшиной. Комнатка у Костика крохотная, но переночевать можно.

— К нам, к нам, Володька! — стал уговаривать Лева. — Ну что ты будешь ночью до дома плестись, утром мы все объясним Лиде...

— Не знаю, — пожал плечами Володя, — я же ее не предупредил...

— Что значит «не предупредил», — возмутился Лева. — Я Машу тоже не предупредил. Сказал, вечером мы все у Веры Михайловны, она и не думает, что я пойду пешком на Удельную.

— На Удельную — это конечно, но Каменноостровский-то рядом.

— Ладно, — согласился Костя. — Попьешь чаю, а дальше — решай сам.

Наконец добрались до маленького двухэтажного дома, вошли в заснеженный двор, в квартире были еще жильцы, пройти в комнату надо было тихонько.

Костик вытащил керосинку, запалил фитили, поставил чайник. И хлеб у него оказался, и масло, нынче — роскошь, и денег у него, случалось, можно одолжить. Мужик — что надо! Не зря он как-то рассказывал: идет по проспекту, а навстречу Матюшин: «Как работаете, молодой человек?» — «Зарабатываем», — ответил мастеру Костик.

Теперь они уселись за столик, спешить не было смысла. Стерлигов пару раз подходил к окну, вглядывался в темноту, раньше двух ночи домой уже не попасть.

— Засиделись у Веры Михайловны, — сказал он печально. — Ушли бы часа на полтора раньше — и проблем никаких...

— Зато не увидели бы и «Рейнеке-Лиса», и Лукреция, и Дон-Кихота. Какой удивительный талант! — Левкина детская восторженность обычно смешила всех. — А какая раскованность!

— Раскованность не по нынешним временам, — буркнул Костик, разливая по кружкам закипевшую воду. — Гете вроде советскую власть и предположить не успел, а персонажи Веры Михайловны в современных костюмах. Зачем государство дразнить, ничего наша девушка не боится...

— Что же ты считаешь, дураки только при Гете жили? — разозлился Володя.

Он крепко сжимал в ладонях горячую кружку.

— Дураки всегда есть, главное, чтобы новые дураки не подумали, что именно их, а не тех дураков, Ермолаева написала. А в «Рейнеке» и глава государства Нобель — ничтожество, да и Лис великая скотина — это совсем не пустяк, обидеться у нас есть кому.

— Печально, что Вера Михайловна показывает работы всем, люди разные к ней заходят, кто их знает...

Костя согласно поглядел на Леву:

— И Гальперин, и какой-то Фикс из Парижа... О чем они думают, кто сказать может?.. Колхозы им не подходят, социализм не так, видите ли, строят...

— А кому подходят? — возмутился Стерлигов. — Разве можно было представить, что люди так жить будут, как мы живем! И с искусством творится невероятное. То, что мы делаем, — уже вызов, некоторые и нас за несогласие быть сю-сю-реалистами готовы на сковородах жарить. Запад вперед идет, ищет в искусстве новое, а мы пятимся в девятнадцатый век и делаем вид, что только так и возможно.

— Вот-вот, — возмутился Костя. — И ты, и Ермолаева, и Гальперин, черт его знает, какой он художник, ругаете советскую власть, а нам следует быть снисходительней.

— Да иди ты! — огрызнулся Стерлигов и стал наматывать шерстяной шарф на свою тонкую шею. — Лучше домой, чем с тобой ссориться. Меня там никто не станет учить любви к человеческой дурости. — Он зло поглядел на Костю, кивнул Лева. — А как говорил Казимир, любовь к пирожкам и галошам — это дело неизбывное, но мы ведь клялись совсем другим ценностям, братцы.

— Останься, Володька, — попросил Юдин. — Костик так думает, чего же его за это карать? А предметно-сюжетная сторона в живописи не обязательно помеха искусству, были и в девятнадцатом веке шедевры...

Стерлигов поглядел с раздражением на приятеля, покачал головой:

— Эх вы, ученики Казимира! Грош нам цена, коли так! — поднял руку и помахал обоим. — За чай спасибо.

...Стерлигов шел быстро, не с кем было ни спорить, ни разговаривать, он не только не замерз по дороге, а наоборот, даже слегка распарился. Расстегнул воротник, приспустил шарф. Как говорила забавная и остро-языкая матушка Казимира Севериновича, незабвенная Людвига Александровна, «сынков твоих молодость греет». Много лет они действительно были для него сынками, и каждый считал, что именно он главный и любимый «сынок». Бывало, Людвига Александровна слушает, как Казимир что-то свое объясняет, а потом и скажет: «Когда же ты хоть этого усыновишь?»

Володя поглядел вверх, отыскивая свое окно в доме, и обрадовался, что не послушался приятелей: в их комнате горел свет. Лида так и не легла, и теперь, как он только войдет, накинется с попреками. Конечно, нехорошо, что не предупредил. Впрочем, это только для нее загул, а для него — урок живописи, Вера Михайловна Ермолаева с ее талантом и опытом многое значит...

Под аркой стояла машина, закрытый полуфургон, никогда тут не оставляли транспорта.

Стерлигов прошел боком к парадному, между стеной и бортом оставался узкий проход, и стал быстро подниматься на третий этаж. Хотел позвонить, но дверь оказалась не заперта. «За это ей следует дать выволочку», — подумал он и вошел в коридор.

Из комнаты долетел басовитый голос. Странно! Какие-то люди, ночью? Кто же мог зайти, ни плача, ни крика, значит, мирный гость. Пока вешал пальто в коридоре, слегка покашлял. Думал, Лида выскочит, растолкует странную неожиданность, но там приутихли, явно ждали его.

За столом сидела жена, а по две стороны дворник и какой-то военный. Стерлигов остановился в проходе, прижался спиной к косяку, спросил с удивлением:

— Чем могу быть полезен?

Теперь он увидел еще одного военного, у окна. В комнате было не прибрано, книги лежали горой на полу, с кровати содраны простыни, старенький с дырками матрас словно бы вещал об их бедности — да ведь и действительно давно собирались купить другой, только где нынче возьмешь денег.

И вдруг понял Володя, что до его прихода шел в комнате обыск. Впрочем, кого обыскивали? Что хотели найти у них с Лидой?

Здоровый мужик поднялся со стула — волосы залезаны, скулы тяжелые, возможно, из-за этого и глаза казались пустыми и угрожающими. Ничего доброго этакий взгляд не сулил.

— Чем могу быть полезен? — повторил Володя, чувствуя неприятную пустоту.

Незнакомый протянул бумагу.

— Читать умеешь? Вот и читай. Ордер на арест...

— Я художник, товарищ, — глупо сказал Володя. — Вы ошиблись, товарищ. — Он что-то говорил еще, но уже чувствовал: чем больше слов он теперь скажет и чем чаще произнесет «товарищ», тем глупее все прозвучит.

— Наши не ошибаются, — сказал военный и повернулся к Лиде. — Собирай своего.

Она заметалась по комнатке, торопливо хватая то полотенце, то кусок булки, то какую-то еду; невозможно вообразить, что же худого мог сделать ее муж? Ничего, кроме искусства, никогда не волновало Володьку...

Стерлигов, наоборот, так столбом и стоял у дверей, и вдруг неожиданно шагнул к табуретке и как-то тяжело, будто в полуобмороке, привалился спиной к стене. В голове была пустота. В чем эти люди могли его обвинить, в чем политическое несоответствие? «А в чем соответствие?» — внезапно будто бы возразил ему собственный голос.

Стерлигов перекрестился, но, уловив взгляд того огромного военного, торопливо опустил руку. «Для них и Бог — враг. Господи, — мысленно взмолился он, — кто донес? За что, Господи?!»

— А проводить можно? — спросила Лида и вдруг расплакалась.

— Считай, уже проводила, — пошутил военный. — Думаешь, в городе нет других контриков, мы только и ехали за твоим?

Он захохотал басовито, ужас в глазах Лиды его окончательно разве- селил.

— Успокойся, Лидок, — сказал Володя. — Ошибка какая-то. Ни в чем я не мог быть виноват. Были у Веры Михайловны, говорили, как всегда, об искусстве, смотрели ее работы, думаю, меня с кем-то перепутали. Разберутся. — Он увидел, как она вытерла рукавом лицо, с трудом улыбнул- ся. — До завтра, Лидок.

Она так и не решилась подбежать. Военный сказал снисходительно:

— Белье ему можешь.

— Нет, нет, — возразил Стерлигов. — Плохая примета — белье, я утром — домой, уверен — отпустят...

— Отпустят, — весело сказал военный. — Лет через десять, бывает, и отпускаем...

Из разговора с Владимиром Васильевичем Стерлиговым через петербургских трансмедиумов 22 января 1994 года

Семен Ласкин: Владимир Васильевич, меня интересует ваше отношение к Ермолаевой.

Владимир Стерлигов: Да, она, конечно, большой художник. Таких художников больше нет... Было ощущение, что она сильна и независима не только в живописи, но и в жизни. Мы иногда были с ней жестче, чем можно быть с художником и просто с женщиной. Мы не считались с ней, ощущая ее силу, ее независимость, ее энергию. И мне сейчас трудно понять, как мы всей своей могучей, крикливой, несурзной компанией не убили ее. Ведь для нас было радостью, когда можно было почувствовать себя победившим в споре, хотя победа и не была дана нам. Мы морального удовлетворения не испытывали никогда. Мы просто перекрикивали ее, обижали ее, не умели увидеть хрупкой нежности, мягкости красоты и теплой энергии, мы просто пользовались ею.

Работать с Верой Михайловной было интересно. Она никогда зря не делала замечаний, если вначале не могла сказать о тебе и твоих работах что-то доброе. Она умела беречь. Но мы вели себя так независимо, что не понимали даже, как бережно она к нам относится, ко всем без исключения, если сумел показать, что искусство в тебе, не на холсте, что душой работаешь, а не головой. Иногда наши художники обижались на нее. Многие, кстати, считали, что она просто не умеет увидеть в картине ничего и поэтому говорит неопределенно. Забота их была сделать так, как не делалось раньше, забота ее — делать так, чтобы картина осталась для земли навсегда...

Из стенограммы выступления Владимира Васильевича Стерлигова на вечере памяти Веры Михайловны Ермолаевой 22 мая 1972 года в Ленинградском Союзе художников

...Вера Михайловна, преподавая живопись, прежде всего обращала внимание на контраст, но на контраст кубистический, как на согласие противоречий. У самой Веры Михайловны чувство контраста было природным, органическим. В живописи она сталкивала такие противоречия, которые, казалось, не могли существовать рядом, но у нее они все же и на плоскости, и в цвете, и в форме соглашались жить вместе. Я приведу семь примеров такого контраста:

Первое. Талант и бездарность. Они вечно во вражде, а посередке ни то и ни се, посередке — посредственность, которая примыкает, смотря по обстоятельствам, или туда, или сюда.

Второе. Когда-то я говорил о веревочках. Напомню о них.

Веровочки, на которые вешают картины, прекрасны, когда на них не висит ни бездарность, ни посредственность. Но их и не видно, когда на них висит прекрасное.

Так и сейчас: видно только прекрасное искусство Веры Михайловны.

Третье. Как-то раз в двадцатые годы мы спускались по лестнице из квартиры Эндеров, где бывали поэты, писатели, художники: Заболоцкий, Матюшин, Хармс и многие другие. Вера Михайловна, опираясь на костыли, выходит последней. Я — перед нею. Вдруг она мне говорит: «Посмотрите, посмотрите, как она шевелит усиками, чуф-чуф!» Оглядываюсь. И наконец вижу, что в маленькой нише у двери лежит щеточка для чистки матовых стекол, только и всего. Все прошли мимо и ничего не заметили, а Вера Михайловна увидела, что щеточка совсем живая.

Прошло несколько месяцев, и я увидел эту щеточку в образе добрейшего старичка из книжки Хармса «Иван Иваныч Самовар». И я сразу узнал ее...

Вот так Вера Михайловна выносила из жизни в образы искусства незаметное для других.

Четвертое. Контрасты из области иллюстраций, ее работа над книгой. Посмотрите несколько вещей к Дон Кихоту на выставке. И попробуйте сами проиллюстрировать его. Ничего не выйдет! Доре запер все дороги наглухо, трудно обойти его образ Дон Кихота. Но Вера Михайловна не испугалась Доре и обошла его. Она решила: Дон Кихот и Санчо Панса существуют вместе в тебе самом. Дон Кихот — одаренность, талант. И если в тебе есть талант, ты обязательно будешь Дон Кихотом. А если в тебе осилит Санчо Панса, ты обязательно будешь лопать лук и набивать им свое брюхо...

Пятое. Экспрессия, динамика — неподвижность.

Вера Михайловна не могла двигаться, физический недуг не позволял ей этого. Может быть, отсутствие действующих ног как-то сказало на необычайной энергии ее живописи.

Динамика, экспрессивность ее искусства, живописно-пластические решения принимались мгновенно, превращались в ни на кого не похожие образы. И в иллюстрациях она тоже была ни на кого не похожа.

Шестое. Собрано дело рук Ермолаевой, собрано, несмотря ни на что, ее искусство. И вот оно, настоящее искусство перед нами. А по ту сторону лестничной площадки другая выставка. Я могу это не комментировать.

Седьмое. О традиции.

Традиция — это осознание непригодности всех прежних форм выражения. И не потому, что они плохи. А потому, что вчерашним днем что скажешь о сегодняшнем... И если продолжать вчерашний день, то получится глинная, ничего не выражающая кишка... (курсив мой. — С. Л.)

Я перечитываю выступление Владимира Васильевича Стерлигова и вспоминаю его в тот вечер — нервного, резко шагнувшего вперед, выбросившего руки кому-то навстречу, будто бы и теперь он ждет Ермолаеву, ее прихода сюда, почти через столетия, на удивительную выставку. Седьмое положение было особенным, я помнил его смысл, но теперь все же разыскал стенограмму — ах, как было просто! Экий пустяк, творческий вечер потерянного во времени человека! Кто станет теперь, в наши дни вроде бы новой жизни, вызывать стенографистку и платить за раздумья каких-то людей, за измышления и, возможно, неверные воспоминания о давно прошедшем. «Плюсквамперфект» — так бы иронично отозвались нынешние держатели прав и начальственных обязанностей едва сохраняющихся, а по сути умирающих творческих Союзов.

О чем же тогда уже старый художник, прошедший тюрьмы и лагеря, хотел рассказать благополучному интеллектуальному кругу? Да, пожалуй, о том, в чем так пока и не признавались наши молчаливые искусствоведы: Ермолаева, ее живопись не имеет словесного выражения, это чистое искусство, со своим неповторимым языком. К творчеству Веры Михайловны

трудно провести линию и от Малевича, и от традиционного реализма, который она не могла принять. Да, Ермолаева поняла, что традиция — это и осознание того, чего повторять не следует, что задача художника идти туда, где еще никто никогда не был, и открывать то, чего никто никогда не мог. Из бывшего и хорошо известного ей по сути ничто не могло подойти. Даже Малевич с его художественными упрощениями, великий художник, прошедший нелегкий путь к супрематизму, а затем вернувшийся к реальности, ненадолго смог захватить ее своей властью, натура требовала цвета, интуиция не была способна удержаться на чертеже, на прямой линии, и она, и близкий ей по духу Лев Юдин, невольно устремились туда, где цвет становился главным, где пространство, игра объемов и делали их живопись живописью.

Кстати, они все, и Стерлигов, и Юдин, погибший в войну, и Рождественский, ушли от супрематизма, это были художники, и их натура тосковала не по сверхновому, утверждаемому Великим Казимиром, их натура жаждала двигаться в дебрях цветовых традиций, чтобы выйти на собственный путь и там сказать свое слово. Как это точно у Стерлигова: «Если продолжать вчерашний день, то получается длинная, ничего не выражающая кишка». Нет, они шли в день завтрашний, хотя каждому предстояло многое испытать, томиться в лагерях и тюрьмах, а возвратившись (кому удалось!), встретиться с победившим, уже господствующим, великим невежеством.

Я много раз приходил на ту выставку Веры Михайловны Ермолаевой и, покидая ее, взволнованный, ловил себя на мысли, что не могу ничего сформулировать, объяснить ее силу. Я думал, это происходит только со мной: нет систематических знаний, нет искусствоведческого образования, а вот они, сидевшие и стоявшие рядом, поняли больше, они-то о ней знают всё. Нет! Уже теперь, читая стенограмму того давнего обсуждения, я увидел, что, кроме Стерлигова, — да и он, теоретик, только приоткрывал принцип ермолаевской живописи, — все прочие, даже те, кто хорошо помнил Веру Михайловну, ничего о чуде ее таланта сформулировать не могли.

«Я эту выставку смотрел и смотрел, и все-таки, когда шел сюда и думал, что мне сказать не вокруг искусства Веры Михайловны Ермолаевой, а по существу ее искусства, у меня, признаться, не хватило слов, — так говорил крупный искусствовед Русского музея. — Действительно, все это здорово, очень впечатляет, а найти слова, эквивалентные творчеству Веры Михайловны, тем не менее очень трудно. Это противоречие меня огорчило, заставило все передумать, переосмыслить, и я понял, что настоящее искусство непереводимое на литературный язык. Может быть, когда пишешь и ставишь слово к слову, то слова сочетаются, между собой, а может быть, тоже находишь какой-нибудь эквивалент. Поэтому те, кто присутствует здесь сегодня, достаточно хорошо разбираются в живописи, в специфике ее языка и цвета, они бесспорно внутренне оценят это искусство... Посмотрите работы Ермолаевой, разве можно сказать, что в них есть что-то от Малевича, от супрематизма? Все это находится в глубинном состоянии картины, возникает диалектика: каждый должен обладать своими клеточками, но ведь он должен обладать и своей пластикой... Пейзажи Веры Михайловны несут влагу воздуха, запахи земли, какое-то душевное проникновение в мир.

Вера Михайловна прошла высокую школу культуры и воспитала свое зрение в условиях благоприятных, в условиях, когда были открыты источники информации, и она смогла впитать в себя те ценности, которые были достигнуты мировым искусством того времени. Это прежде всего сам принцип перевода природы на язык живописи. Здесь подразумевается особое отношение картинных плоскостей, здесь нет нарочитых построений, здесь пространство понимается как пластическая категория, переведенная на язык цветовых эквивалентов.

Особое качество Веры Михайловны в том, что она умеет связать весь мотив в какой-то узел впечатлений.

Что получается? Мотив переходит на лист не в сыром виде, а включив внутренний мир художника. Это практически представление художника, а не вырезки из действительности. Это важный момент, который многими художниками так и не освоен!

...Выставка работ Веры Михайловны подтверждает тезис о том, что побеждает в искусстве не доктрина, а творческая индивидуальность таланта. Доктрины можно передать и сравнительно легко, а вот талант передать невозможно».

Вот оно! Почти четверть века назад были сказаны эти слова, но с тех пор, хотя и изменилось отношение к искусству, никто ничего не произнес нового о Ермолаевой, думаю, просто не смогли сказать. Существует о ней всего одна статья 1989 года, вариант нескольких устных выступлений другого искусствоведа, знатока времени, где, пожалуй, наиболее важной фразой является восторженное восклицание: «Русский авангард выдвинул блестящую плеяду женщин-художниц. Всемирно известна Наталья Гончарова, только специалисты знают Ольгу Розанову, и почти неведома Вера Михайловна Ермолаева, звезда первой величины на небосклоне искусств».

А что же я сам в том далеком семьдесят втором? Помню себя подолгу стоящим против удивительных листов на тему Лукреция, его «Природы вещей». Вижу спины двух философов — один, застывший в восторженном удивлении, другой с рукой, поднятой к небу, и солнце помню, цветные круги от него, словно объединяющие пространство. Нечто мистическое чудится мне в этих работах. Я не могу двигаться дальше, меня сдерживает поразительная тайна в цветочных кругах, на горизонте высвечивается пространство неведомого града, серебристо-серые линии будто бы превращаются в бурю...

И синие пейзажи я хорошо помню.

Синий всегда кажется мне полным тайн, кто-то сказал, что у синих тонов «религиозный оттенок». У Веры Михайловны синий напряжен, динамичен, особенно он таков в сопоставлениях с зеленым. Скромный домик, будто бы шутя сделанный синим, и теперь стоит перед моими глазами. Я и его несую всюду с собой, ничего не стоит мне увидеть его и сегодня, достаточно взглянуть внутрь себя, и домик рождается в пространстве памяти. И у ее «синих» есть свои пристрастия и особенности. Ее синие почти не переходят в голубые, они тянутся к холодным, динамичным серым. Фантазии ее мазка поражают, — прием художника открыт зрителю, — он видит движение кисти, брызги, мощь темперамента, серебристое вдруг превращается в фиолетовое, идет диалог земли и неба. Пожалуй, светло-фиолетовый, как и синий, — мистические цвета, ими полна икона, возможно, живопись Ермолаевой взглянула на собственный мир и через это окно.

А ее «Дон Кихот», серия гуашей. Легко представляю пару несовместимых-разных, но одновременно и духовных братьев, рассуждающих о трудностях жизни, то в лодке, то на коне и осле, то готовых к битве, где один вот-вот бросится в атаку за справедливость, а второй будет терпеливо ждать в кустах. Я смотрю на ермолаевское действо и думаю о себе: «Кого во мне больше? Рыцаря или Санчо? Наверное — второго. Его больше во многих из нас, куда проще быть свидетелем жизни, чем пытаться ее переделать. Куда легче жить около благородного и полусумасшедшего, чем забывать собственные интересы и бросаться невесть за чем в бой. Зло неизбежно, стоит ли с ним бороться, вот логика внутри каждого Санчо Пансы...»

А вокруг бескрайние просторы Испании, великие пейзажи, все будто бы внове, и Доре, однажды захвативший тему, — прав Стерлигов! — все же не сумел перекрыть дороги русской художнице Ермолаевой. Она и здесь смогла сказать свое слово.

А крестьянский цикл! И «Мужик с гармонью», и «Баба с ребенком», и еще «Мужик с корзиной» — все по-своему. И опять мистический синий то на фоне контрастирующей охры, то на темно-коричневом фоне — всё цвет, игра бурных эмоций, победа художника над натурой.

А трое распятых? Отчего же у них как бы общий крест? А синее бескрайнее мировое пространство? И красный «рефлекс» у левого — не стекающая ли кровь? — и черное пятно у правого; интуиция, а не разум ведет кистью творца.

Я вспомнил этих троих, застыв на Голгофе в Иерусалиме. Я много ездил по миру, но есть ли место, равное Священной Земле? Как же художница решилась объединить крестом и разбойников и Сына Божьего? А может, и правда, в преддверии смерти все едино? Нет, придумать такое нельзя. Это нужно почувствовать, ощутить, как живую жизнь.

Иногда мне кажется, что Ермолаева о себе знала все. Разве не об этом говорят ее черные натюрморты, написанные одним цветом? Только в нескольких она решалась добавить чуточку белил, а в большинстве ее «позднее» искусство рождалось одной краской, несколькими мазками. Натюрморты писались в последнем 1934-м, вблизи смерти; неужели она ожидала того, что вот-вот беда все же случится? Тревога, беспокойство, страх охватывают меня, когда я гляжу на ее кувшины и рюмки. Почему черное? Что понимала художница, выбирая натуру, отчего цвет сделался локальным, неужели ожидала беду, знала, что сегодня-завтра должно произойти нечто непоправимое? Может, и Голгофа, и кувшины, и рюмки, и фрукты — результат одного: тревоги, ее тревоги?!

Ах, как хочется выкрикнуть: в Ермолаевой не было Санчо Пансы, в ней жил и побеждал Дон Кихот.

Вот как писал о Ермолаевой единственный ею занимавшийся в России, недавно трагически ушедший из жизни замечательный искусствовед Евгений Ковтун: «В 1934 году возникает серия натюрмортов, неизменными героями которых становятся кувшин, яблоки, рюмки. Постепенно исчезают все краски, кроме черной, иногда с применением белил. Но ощущение живописного остается. Неотразимой экспрессией обладают наиболее аскетичные в цвете черно-белые натюрморты художницы. По ним легко представить, какую взрывную силу может нести их молчаливая красноречивость. Листы Ермолаевой скорбны и трагичны без суетности. Строго-скорбны и возвышенно-трагичны. Это последние работы, помеченные декабрем тридцать четвертого года».

...Двадцать пятого декабря Вера Михайловна была арестована.

Так все же, могла ли Ермолаева быть вне того пути, с которого начала? Без Малевича — ему-то она долго и преданно служила, пытаясь осуществлять его основные идеи? Нет, не могла. Она многое знала и многое оставляла себе. И крестьяне, и дети, где вместо лица овал, где едва-едва намечается контур бровей. Разве не вспоминаются тут слова Малевича, записанные в дневниках его ученика? «Самое важное значение для времени имеют сейчас вещи беспредметные и полуобразы, вроде моих крестьян. Они действуют острее всего».

В разговоре с учениками он делил художников по их отношению к цвету на собственно художников — и тут образцами были Рембрандт и Сезанн, и на цветописцев — таким он считал Гольбейна. У «собственно художников» цвет дробился на множество вариантов, цветописцы писали локальными пятнами. Позволю сказать, что творчеству Ермолаевой и Сезанн, и Рембрандт были ближе. И опять я иду к той работе, что висит в моем кабинете над дверью, — в ней начало пути Ермолаевой к истине.

Отношения — творческие и личные — Ермолаевой и Малевича непросты. Малевич был тот человек, который, по словам Ковтуна, «дал ее стихийно-живописному дарованию твердый фундамент, культуру формы. Но его влияние не превратило Ермолаеву в спутник, живущий отраженным

светом: то, что делалось ею, носит яркий отпечаток личности, сильного темперамента, все перестраивающего на свой лад».

Осенью девятнадцатого года Ермолаева принимает предложение отдела ИЗО, едет в Витебск, где ей предстоит руководить художественным училищем, во главе которого только что стоял Шагал. Сюда она почти сразу приглашает Малевича, но это далеко не начало их знакомства. За несколько лет до Витебска она вместе с Малевичем пишет театральные декорации к опере А. Крученых и М. Матюшина «Победа над солнцем».

В двадцатом году Ермолаева участвует в создании УОВИСА — «Утвердители нового искусства» — и опять же всё это дела Малевича.

Витебск времен Ермолаевой становится городом Малевича, на улицах, на домах ученики пишут супрематические коллажи — город перерождается, превращаясь в главное место новой живописи.

В 1922 году и Ермолаева, и Малевич возвращаются в Петроград. Здесь создается Государственный институт художественной культуры. Отделами института руководят Татлин, Мансуров, Матюшин, Малевич, Пунин. Ермолаева занимается цветом. О ее работе можно судить по названиям докладов: «Импрессионизм», «Сезаннизм», «Кубизм», «Художник Дерен в московских собраниях французской живописи», и еще, и еще. Как ученики Малевича, они называют себя «Супрематический орден»; кто знает — не стилистика ли Сервантеса сыграла здесь свою роль?

Институт художественной культуры был разгромлен партийно-большевистской прессой в 1926 году. Некий микроскопический человек, принявший выразительный псевдоним Серый, доживший до девяноста пяти лет, с которым совсем недавно мне еще удалось встречаться, написал разгромную статью, после которой стало ясно, что институт и все его направления будут уничтожены. Ждать беды оставалось недолго.

Впрочем, трудно сказать, что в тот год привело учителя и его ученицу к разрыву...

Из разговора с Верой Михайловной Ермолаевой через петербургских трансмедиумов 18 марта 1994 года

Семен Ласкин: Вера Михайловна, вы, как художник, прошли с Малевичем через супрематизм, потом, используя открытия супрематизма, вернулись к цвету, к живописи, и в этом стали совершенно самостоятельным, ни на кого не похожим художником. Как же происходил переход от одного «вероисповедания» к другому, я говорю о живописи?

Вера Ермолаева: Сначала интерес к супрематизму был техническим. Любопытно увидеть мир не миром, а своим ощущением мира. Иногда это была как бы игра, некое лукавство. Не было тех ощущений. Я строила на бумаге и холсте ощущения, о которых уже заявляла. Потом надоели эти игры, стало обидно тратить себя на них. Мне захотелось выразить то, что люблю и что меня любит. Не знаю, удалось ли, но стремление себя показать во всем, что делаю, было. Я думала: меня должны узнать, увидеть, полюбить или не принять.

Семен Ласкин: Вера Михайловна, а как нужно понимать слова «супрематический орден»?

Вера Ермолаева: Это не установка, это просто термин группы художников...

Дуся проснулась среди ночи от настойчивого блякканья разбушевавшегося колокольчика, а затем и тяжелого стука ногой в дверь. «Который час? — подумала она с ужасом. — Кто там, ни свет ни заря? Может, мальчишки не дошли до дома, вернулись...»

Она торопливо набросила платье и помчалась ко входу, кто-то словно расвирепел, стучал и стучал, не давал передышки. Пока шлепала по коридору, прислушивалась, что там в комнате Веры Михайловны? Конечно, проснулись оба и теперь тоже пытаются понять, что же могло случиться. Дуся чуточку замедлила в темноте шаг, услышала Левино раздраженное: «Четыре ночи!» Затем голос Веры Михайловны: «Нельзя мальчишек пус-

коть, я бы не хотела, Лева». Он что-то сказал, но в этот момент колокольчик снова залился с бешеным нетерпением.

— Кто здесь? — испуганно спросила Дуся.

— Обыск! — требовательно объявил мужской голос.

— Мы спим, — возмутилась Дуся, — никого не вызывали, чего это надумали у нас искать?

— Открывай. Ордер получен.

— Какой еще орден? Нашли время ордена раздавать!

— Дуся! — жалобно сказала знакомая дворничиха. — Пусты, люди к хозяйке...

— Спит Вера Михайловна! Спит, сколько сейчас времени, совсем ошалели.

— Хватит болтать! — пригрозил раздраженный голос. — Будем ломать дверь, если не откроешь.

Она бросилась к комнате, в которой спала хозяйка, и, впервые в жизни не постучав, влетела к ней.

Лев Соломонович стоял у кровати, бледный, в кальсонах, такое и при видеется ни в каких снах не могло, смотрел на нее с ужасом.

— Обыск! — крикнула Дуся. — Дверь пригрозились снести.

Мертвенно серая Вера Михайловна приподнялась на локте, но повернулась не к Дусе, а ко Льву Соломоновичу.

— Оденьтесь, очень прошу, Левушка. Мы не имеем права давать повода к разговору.

Он словно бы понял, как странно выглядит. Да и не только он, но и Дуся впервые осознала, каким смешным покажется дворникам этот «незаконный» мужчина.

— Одевайся! — прикрикнула на него Дуся. — Сейчас войдут.

Он, наконец, бросился к стулу, стал торопливо, путаясь в вещах, натягивать то рубашку, то брюки.

Колокольчик снова запрыгал, и в момент общего ужаса показалось, что привычное его блямканье стало оглушительно громким.

— Открывай, — сказала Вера Михайловна.

В коридоре послышались тяжелые шаги.

— Сюда? — уточнил голос. И тут же распахнулась дверь в спальню.

Она так и сидела на своей широкой старинной кровати — бледнющая до зелени, глаза испуганные, огромные, — с ужасом и непониманием смотрела на людей, заполнявших комнату.

Прогрохотали двое военных, за ними втиснулись дворники, Фрося и рыжий Матвей.

Бочком прошла, будто бы просочилась, еще «понятая», мало знакомая соседка. Русенькие ее косички казались крепенькими палочками, она бегущим взглядом отыскала стул, бухнулась на него и стала громко сморкаться.

Падали на пол книги, военные перебирали полки, трясли папки, затем открыли сундучок и стали выкидывать на пол старые семейные фотографии, акварели и рисунки Веры Михайловны.

Лев Соломонович съежился, стал маленьким, хотя Дуся знала, что ростом он совсем не меньше тех, кто кидает вещи. И Матвей, и Фрося, и та сухая, тонкогубая, желтолицая соседка, застыли на табуретках, уперев глаза в потолок.

Дуся прошла к кровати и впервые в жизни стала шнуровать при незнакомых людях тяжелый корсет Веры Михайловны. Затянула. И бросилась к стулу, на котором сидел, замаяв платье хозяйки, Лев Соломонович.

— Одевайся! — крикнула Дуся застывшему, будто и не понимающему ничего Льву. — Чего ты рубаху-то в руках держишь?

Кажется, он только заметил, что все еще в нижнем белье, хотел уйти в коридор, но военный сказал:

— Здесь напяливай! Ухажер хренов!

Никто не засмеялся.

— Фамилия? — военный повернулся к Гальперину.

— Чья? — не понял Лев Соломонович.

— Твоя, — широкоскулое лицо охранника снова оскалилось.

— Гальперин. — Он, видимо, все еще надеялся на случайность, но когда заметил, как рыжеволосый рассматривает свои бумаги, понял, что охранник ищет его фамилию в каком-то списке.

— С Большеохтинского, что ли?

— Да, я там прописан...

— Повезло, — весело сказал охранник. — Ишь куда пришлось бы катить, а он нас поджидает в ее постели.

Матвей торопливо перекрестился, увидев застывший ужас в глазах Веры Михайловны.

— Я вас прошу... — сказала Вера Михайловна неожиданно низким, неузнаваемым голосом. — ...Это мой муж.

Лев Соломонович вздрогнул. Наверное, он сам не смог бы произнести эти слова первым.

— Муж так муж, — рассмеялся охранник. — Собирайся, муж. Будешь грузить жену в фургон.

Дворники сгребали бумажную кучу. Сундук, в котором хранились холсты, акварели, рисунки, был перевернут, и теперь цветная гора громоздилась посередине комнаты.

— Вязать, что ли? — спросил Матвей, ожидая приказа.

Охранник поднял помятый лист, разгладил и с удивлением стал рассматривать какие-то линии — черт-те чем занимаются дурацкие головы, им бы только бумагу пачкать. Ну что ж, и для таких когда-то приходит время расплаты, власть заставит любого работать...

— Всю мазню можешь в печку, у нас в этом никто разбираться не станет, сами выбросьте или спалите...

...До рассвета было еще далеко, хотя время приближалось к шести утра. Вера Михайловна дошла до машины, и теперь ей предстояло как-то залопзти в кузов. Лев Соломонович стоял рядом. Вера Михайловна обвела двор глазами, этажом выше горел свет, в окна смотрели люди, вероятно, шум машины разбудил и встревожил дом. Но не только эти чужие испуганные и удивленные глаза заставили сжаться ее сердце. Она внезапно увидела в одном освещенном окне вершинку елки и подумала, что сегодня двадцать пятое декабря, Рождество. Когда-то они с отцом, мамой и братом праздновали этот замечательный день в Париже, потом отец вез ее в Нотр Дам, в великий собор на берегу Сены, а вокруг на километры тянулись книжные развалы. Отец знал букинистов, обожал приходить сюда, выбирал у них неожиданные, прекрасные книги. Дочке отыскивал с изумительными картинками — так появлялись у нее и «Дон Кихот» с рисунками Доре, и многое, многое другое. Это были самые лучшие подарки, о каких она только могла мечтать. «Господи! — едва не вырвалось у Веры Михайловны. — Как Ты мог допустить такое!»

Матвей выбил ладонью зажимы заднего борта, распахнул фургон.

— Залезай, — приказал охранник.

Вера Михайловна оперлась о дощатый настил и попыталась подтянуть себя на руках. Сил не было.

Она почувствовала, как Лева охватил ее, помог упереться локтями в доски, и она, падая и ударяясь лицом о деревянное дно кузова, поползла вперед, к боковой скамье переделанного в «черный ворон» грузовика.

Машина медленно вползала под арку. Двор был разрыт, обоих качало, словно подталкивало друг к другу. Она положила голову на Левино плечо. Ни у нее, ни у него вины ни перед кем не было. И вдруг Вера Михайловна остро поняла — то, что произошло, сделано кем-то из своих, и сегодня у нее последняя встреча слевой, а дальше все, что будет, уже имеет единственное название — смерть. Черный натюрморт внезапно возник на черном столе. Предощущением беды — вот чем были ее работы, она вне-

запно не только почувствовала, но и обозначила их для себя единственным возможным словом — конец...

Из первого разговора с Верой Михайловной Ермолаевой через петербургских трансмедиумов

Семен Ласкин: Если это возможно, Вера Михайловна, расскажите о ваших отношениях с Львом Соломоновичем Гальпериным. Понимал ли он ваше искусство, ценил ли вас как художника?

Вера Ермолаева: Попробую... Но только недолго... Трудно... Да, я была любима. Вначале он полюбил душу мою, но оказалось, что человек и душой может полюбить всего человека. И не было и не могло быть унижения в том, что он полюбил во мне все. Это давало лишь радость и осознание себя, как бесконечной души, и бесконечности жизни даже на земле...

НКВД

СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО № 1955 на Ермолаеву В. М.

АНКЕТА

Ермолаева Вера Михайловна родилась 2 ноября 1893 года в Саратовской губернии, Петровском уезде, село Ключи.

Место жительства: Ленинград, Васильевский остров, 10 линия, дом 13, кв.2, прописана с 1922 года по день ареста.

Место службы: Городской комитет Изосорабис (Союз работников искусств), художник, с 1928 года по день ареста. Член профсоюза работников искусств с 1925 года.

Имущественное положение (перечислить постройки, недвижимость, движимое имущество) — не имеет.

Социальное положение в момент ареста: служащая с 1918 года.

В царской армии не служила.

В белой армии не служила.

В красной армии не служила.

Социальное положение — из дворян.

Политическое прошлое: не состояла ни в каких партиях.

Национальность: Русская. СССР.

Образование среднее, специальное, художественное.

Категория воинского учета — нет.

Состояла ли под судом — нет.

Состояние здоровья — парализованы ноги.

Особые внешние приметы: парализованы ноги, передвигается с помощью костылей.

Арестована 24 декабря 1934 года.

Содержится в ДПЗ.

За кем зачислена: СПО-4.

При обыске 25 декабря изъято: 1. Саквояж наручный. 2. Ремень — 1. 3. Кошелек кожаный.

СПРАВКА

По имеющимся данным художником Ермолаевой Верой Михайловной, дворянкой, ранее связанной с меньшевиками, и Гальпериным Львом Соломоновичем, бывшим меньшевиком, прибывшим из-за границы в 1923 году, за последнее время делается попытка сорганизовать вокруг себя реакционные элементы среди интеллигенции.

У Ермолаевой на квартире происходят законспирированные сборища группы лиц, которых объединяет общность политических установок.

В течение 1933—1934 года Ермолаева периодически устраивает вечера с привлечением в них молодежи. Некоторые из приглашенных были только один раз, так как Ермолаева, почувствовав, что данное лицо не будет ей близко по своим установкам, больше его не приглашала.

Ермолаева Вера Михайловна часто у себя на квартире устраивает выставки-просмотры работ художников, связанных с нею (Стерлигов, Юдин и др.), и их учеников. Просмотры закрытые, на какие не имеют доступа не разделяющие взглядов Ермолаевой.

Среди окружающих Ермолаеву и Гальперина привлечены — это московские художники — для отправки материалов за границу, в том числе и собираемые Гальпериным сведения о жизни художников, интеллигенции и т.д. Так, Гальперин предлагает воспользоваться услугами одного лица, которое часто приезжает в СССР из Парижа и привозит ему сведения о жизни русских эмигрантов в Париже.

Ермолаева в последнее время была занята изготовлением литографий в форме рисунков к «Рейнеке-Лису», в коих в контрреволюционном духе высмеивалась политика правительства и руководства партии, в частности, товарищ Сталин был изображен в виде Лиса, стоящего на Красной площади в Москве под громкоговорителем.

Гальперин Лев Соломонович также готовил серию рисунков, изображающих в порнографическом духе товарища Сталина и товарища Ленина.

За последние два месяца Ермолаева и Гальперин обратили внимание на детские художественные школы с целью использовать их в своих интересах. В этом направлении Ермолаева связалась с рядом преподавателей, принадлежавших ранее к привилегированным слоям населения, и одновременно старается устроить своих приверженцев в эти школы в качестве руководителей. Принимает у себя на квартире, не имея никакого отношения к руководству детским художественным образованием, и дает указания, в каком плане необходимо работать с детьми.

Гальперин, устроенный в школу детского художественного воспитания Выборгского района, сейчас пропагандирует, что т. Киров убит на личной почве и никакой политической подкладки убийство т. Кирова не имеет. <...>

Агент 2577

СПРАВКА К ОРДЕРУ НА АРЕСТ

Ермолаева Вера Михайловна, преподаватель детской художественной студии, художница, беспартийная, служащая, из дворян. Проживает: Васильевский остров, 10 линия, дом 13, кв.2.

Привлекается по статье 58-10, 58-11 за антисоветскую деятельность, выражающуюся в пропаганде антисоветских идей в искусстве и попытке организовать вокруг себя антисоветские настроения интеллигенции.

АГЕНТ 2577, с 1932 года

Привлекается по групповому делу.

Подданство СССР. В капстранах родственников нет.

ПРОТОКОЛ

На основании ордера управления НКВД СССР по Ленинградской области № 2010 от 25 декабря 1934 года произведен обыск и арест в доме 13, кв.2, 10 линия Васильевского острова у гражданки Ермолаевой Веры Михайловны.

Взято для доставления в управление НКВД:

1. Газета РСДРП (меньшевиков) и разная переписка.

Опечатано.

1 января 1935 года

ПРОТОКОЛ

допроса, проведенного сотрудниками 4-го отдела СПО Федоровым и уполномоченным Тарновским от 1 января 1935 года

Гражданки Ермолаевой В. М., 1893 г. р., урож. Саратовской губернии, проживающей В. О. 10 линия, дом 13 кв.2, русской, подданной СССР, художницей, на учете горкома ИЗО, дворянкой. Отец умер в 1911 году. Беспартийная.

В о п р о с: Ваши политические убеждения?

О т в е т: Мои политические убеждения сложились под влиянием нашей либерально-буржуазной семьи. Отец был земским деятелем, после 1900 года издатель журнала «Жизнь», в 1905 году организатор кооперативного общества «Трудовой союз», брат Константин Михайлович революционер-профессионал, меньшевик, неоднократно репрессировался царским правительством.

В 1917 году мои политические симпатии были целиком на стороне меньшевиков, эти политические симпатии углубились во мне в первые годы революции. В дальнейшем в период НЭПа, который многими расценивался как отступление большевиков от идей уничтожения частно-капиталистических элементов, я стала до известной степени примиряться с существующим строем.

Период начала коллективизации и борьбы большевиков против частно-капиталистических элементов, в особенности методы проведения этой борьбы, вызвали во мне резко отрицательное отношение. Я считаю неизбежность прихода к социализму, но не путями, проводимыми большевиками.

Ермолаева

Допросил: Федоров, Тарновский.

Федоров ждал, когда приведут на очередной допрос Ермолаеву. За окном стояла крошечная тьма, впрочем, темнота в Ленинграде начиналась уже днем, по сути и на работу приходилось ехать поздним вечером, если не сказать — ночью. Начало тридцать пятого года было особенно трудным, сотнями шли контрики, следователи перестали различать время, работали сутками, и когда выпадали короткие часы отдыха, это казалось счастьем. И тем более противник не должен был видеть их усталыми, несобранными, требовалось действовать четко, обезоруживающе, нельзя было давать врагам даже секунды для раздумий. Нет, никогда бы раньше он и представить не мог, какое количество контрреволюционеров еще может топтаться на нашей земле.

Федоров открыл собранные протоколы. Сведения, переданные агентом 2577, конечно, с некоторой правкой со стороны ведущих «дело», ложились в намеченное русло. Этот сынок провинциального попа не худо помог органам. Было забавно вспоминать, как он сопротивлялся, пытался доказывать невиновность тех, кого теперь так искусно топил. Два года пристального наблюдения — и результат безупречный.

Федоров одернул гимнастерку, причесался, глядя в темное ночное окно. По сравнению с Тарновским он проигрывал в росте, но ведь тот слаб, нужно видеть, как морщится напарник, когда Федоров здоровается, пожимает ему руку. В отличие от Тарновского, который просто скрывает своих предков, наверняка торговцев, Федоров — из бедных крестьян. Он хорошо помнил деда, который запрягался в плуг и таскал его по полю до заката, это было обычным в селе.

На лестнице послышался шорох, казалось, метут каменный пол, но он-то знал, здесь так не метут, это надзиратели тащат Ермолаеву.

Федоров давно понял: чтобы допрос шел без сучка и задоринки, эту парализованную клячу следует подержать пару часов в каменном люке-карцере, а еще точнее, в каменном гробу, где невозможно присесть, даже упасть без чувств невозможно. Там можно только стоять прямо или обмякнув. Вот и все, что следовало использовать по этому пустяковому делу.

Он распахнул дверь. Охранники дотащили Ермолаеву до табурета и усадили вблизи стола. Она вцепилась в них, боясь отпустить, — и это тоже было смешно.

Они ответили ее руки, Ермолаева торкнулась носом, казалось, она сейчас свалится на пол. «Пожалуй, и часа в карцере достаточно, чтобы мадама подписала любое», — весело подумал Федоров.

— Ну, рассказывай, — приказал он.

Кляча таращилась, вращала idiotскими своими глазами, будто бы не могла понять, что же хочет от нее следователь.

— О чем?

Федоров так и предполагал, что допрос начнется с очередной ерунды. Ишь, придурки, им кажется, что органы о них ничего не знают.

— Как «о чем»? — возмутился Федоров. — Рассказывай все, что делала против советской власти.

— Но мне нечего вам говорить, худого я не делала, мы обсуждали живопись, спорили, но никогда не позволяли себе...

— Ладно, — с иронией произнес Федоров. — Начнем с другого. Ты понимаешь, что арестована?

Она вздохнула.

— А за что арестована? — спросил он, как бы помогая Ермолаевой найти единственно верный ответ.

— Не знаю.

— Как это не знаешь? Выходит, только органы знают. Или ты хочешь сказать, что органы несправедливы?

Она испуганно поглядела на следователя и вздохнула. Он ждал.

— А ну встань! — вдруг заорал Федоров. — Рассказывай, как ты со своими дружками занималась антисоветской пропагандой, как собирала людей на квартире, как вела занятия с детьми, чем пачкала им мозги,

говори, безногая дрянь! — Она не могла подняться, подтащила костыль, но он выскальзывал из руки, и Ермолаева, чуть приподнявшись, снова падала на табуретку. — Встать, стерва! И стоять! Нормально стоять, сука!..

Она наконец поднялась. Горло ей будто сжимала чья-то тяжелая рука. Слезы текли из глаз: никто, никогда в жизни не говорил с нею так. Она не любила давать кому-либо повод даже с состраданием вспоминать о ее болезни, а этот квадратный, с толстыми ляжками, негодяй позволял себе оскорблять ее. Гетевский Рейнеке-Лис, все эти мерзавцы из царства короля Нобеля действительно словно бы преобразились в одуловатое лицо конкретного Хама. «Бог мой, — неожиданно подумала Вера Михайловна, — и первый следователь с вытянутой заостренной мордой, с глазами, сходящимися на переносице, с рыжими стоячими волосами, был копией Рейнеке-Лиса, будто бы то, что воображалось и являлось веселой фантазией Гете, вдруг реализовалось здесь. И этот толстенный, откормленный кругломордый маленький Гинце-Кот, разве не персонаж поэмы?»

Она качнулась, охранник подхватил Ермолаеву и долго ставил ее прямо, точно арестованная была деревяшкой. Отступил на шаг и с неуверенностью наблюдал, простоит или упадет еще раз.

— Позвольте сесть, — с трудом сказала она, — я несколько часов пробыла в карцере.

— Ну, уж «часов», дай бог, ты там провела часик, — усмехнулся он. — Сядешь, обязательно сядешь, я тебе обещаю. — Федоров с явным удовольствием вкладывал в интонации нужный смысл. — А пока повтори свою антисоветчину. Что ты и твои дружки говорили о коллективизации? Какие-такие ошибки мы, большевики, допустили?

— Нет, нет! — воскликнула Вера Михайловна. — Я не выступала против...

— Хорошо, я спешить не стану. Я подожду. А пока я пишу другое незаконченное «дело», ты подумай. Я уверен, что ты обязательно все вспомнишь.

Он что-то писал, весело мурлыча, и теперь еще больше напоминал ей друга Рейнеке-Лиса, кота Гинце. Наконец закончил страницу, пригладил ладонью листок промокашки, спросил:

— Ну, как с памятью на сегодня?

— Нет, нет! — воскликнула Вера Михайловна. — Я ничего не могу прибавить. Да и не было никогда худого...

Он поднялся. Подошел к окну, долго молча взирал куда-то.

— Придется помочь... — Федоров повернулся, взглянул на охранника, который стоял за спиной Ермолаевой, попросил вполне мирно: — Сходи-ка, друг, в пятую камеру за Сюсей...

Хлопнула дверь. Теперь Вера Михайловна с тоской думала — кого же следователь вызвал? Кто ей поможет? Да и что это такое «Сюся», предмет или что-то другое, человек, животное, кукла?

Усилились шаги в коридоре. Вера Михайловна повернулась к входу. В дверях стояли уже двое: охранник с ружьем и плечистый огромный мужик в арестантском ватнике, его узкий и плоский лоб словно бы подсекали густые мохнатые брови, рот был беззубым. Кто это? С ужасом смотрела она на пришельца.

— Вот для тебя милая тетенька, Сюся... — Федоров говорил с улыбкой. — Бери в камеру бабу. И делай с этой антисоветской сукой все, что хочешь. Можешь и в рот, и нормально. Ты же большой спец по этой части...

— Хы! — заржал Сюся. — За то и сидим. Пошли выполнять приказ командира. Куда ее лучше, начальник?

Видимо, он еще не мог сообразить — здесь или в камере.

— А чего раздумывать, бери в собственную пятерку. Надоест, и друзьям уступишь. Таких, как ты, в камере сколько?

— Зачем же делиться! — весело выдохнул награжденный. — Я и один обеспечу.

— Тащи, — Федоров снова принялся что-то писать в бумагах. — Правда, ноги у нее не ходят. Придется тебе не только раздеть буржуйку, но и раздвинуть...

Сюся схватил Веру Михайловну за руку и потащил с табуретки, — она тяжело упала. Он волок, матерясь, ее к двери.

— Я скажу все, я подпишу что хотите, — она кричала.

— Отпусти, Сюся. Послушаем стерву...

Она, будто захлебываясь словами, кричала с пола.

— Я не говорила об ошибках власти. Мне казалось, коллективизацию нужно проводить мягче, может быть, дольше, я так мало разбираюсь в этом. Могли быть только случайные разговоры... Наше дело — живопись... Ничто другое всерьез нас не интересовало...

Она повторила:

— Позвольте назад, на табуретку. Очень прошу, позвольте...

— Пусть посидит, если ей так нужны удобства.

Охранник поднял ее.

— Ладно, — сказал Федоров безразлично. — В этот раз мы лишим Сюсю премии. Но еще позову, не сомневайся. — Он усмехнулся. — А ты зря не хочешь такого мужчину. У него пять изнасилований, он в этом большой мастер. Ты же не отказывала себе раньше?

— Гражданин... — как безумная вращая глазами, кричала она, — наша семья тянулась к революции, отец выпускал демократический журнал, в 1905 году он возглавил общество «Трудовой союз», брат Константин был профессиональным революционером, его не раз ссылали в Сибирь, отец эмигрировал в Европу из-за своих убеждений, как же я могла быть другой?..

— Ишь, какие революционеры! — весело сказал он. И вдруг поднес кулак к лицу Веры Михайловны. — Не советую тебе, меньшевичке, путать свою революцию с нашей.

Зазвонил телефон, Федоров снял трубку, в такое время часто возникает начальство. Нет, жена.

— Чего? — сухо спросил он.

Она только хотела узнать, будет ли дома.

— Да-да, — он повесил трубку. Коммунисту нельзя расслабляться, показывать мягкость даже к своим близким. И особенно в присутствии врага. У коммуниста может быть единственное чувство: ненависть к противнику рабочей власти.

Он хорошо знал, что для быстрого завершения дела следует привести как можно больше подробностей контрреволюционных акций этих отпетых тварей. ОСО уже допрашивать их не станет. ОСО обязано верить своим.

Он подумал, что максимум за полчаса ему придется уложиться с очередным протоколом. И тогда он точно скоро окажется дома, в своей кровати. Сегодня у него есть шанс отдохнуть.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

В о п р о с: Расскажите о вашей контрреволюционной агитации.

О т в е т: Моя контрреволюционная агитация, направленная против коммунистической партии и всех основных мероприятий, проводимых ею, выражалась в отдельных беседах и разговорах с рядом лиц, с которыми я встречалась.

Особенно резко я в последнее время выступала против коллективизации, считая, что развитие сельского хозяйства должно идти по пути постепенного перехода мелкого частновладельческого хозяйства в колхозы, на основании широкого перевоспитания крестьян. Я резко осуждала методы, принимаемые партией при проведении коллективизации, основанные на насильственных мероприятиях, массовой высылке зажиточной части деревни, административного создания колхозов без учета желаний крестьян. Я указывала, что в результате всех этих моментов мы имеем обнищание деревни и доведение отдельных коллективизированных районов Украины до голода.

Он был доволен собой. Писалось гладко. Конечно, кое-что можно было развить. Но как не раз утверждал нарком: наше оружие факты и факты, а не чистописание.

Федоров вынул лист, написанный 2577-м, перечитал докладную — вот у кого всегда четко, и стал переписывать текст агента, каждое его слово могло стать «показанием» арестованной:

...Вторым вопросом, который наиболее часто являлся темой моей контрреволюционной агитации, был вопрос о положении интеллигенции в СССР и ее роли в управлении страной. По этому вопросу я указывала, что несмотря на заверения партии и правительства о необходимости привлечения интеллигенции к участию в строительстве, по существу проводилось полное отстранение ее от активного участия в жизни страны. Особенно изгонялись отовсюду старые кадры, то есть наиболее культурная ее часть. Проводилось это путем систематических чисток и развития репрессивных методов: аресты, создание процессов.

Федоров отодвинулся с креслом. Как складно! А теперь, может, и стоит спросить эту тварь об искусстве. Он читал в «Правде», что партия хочет настоящего реализма, отражения подлинной красоты действительности, сам Вождь четко формулировал задачи художников. И что же думают эти, простите за выражение, мастера кисти, какую реальность хотят они выразить?

Бесспорно, и Ермолаева, и ее дружки, бесконечно рассуждающие о своих дурацких художествах, отвергают и прямо и косвенно то, что думают и партия, и советский народ. Два года агент 2577 предупреждает Органы о реальной опасности. По сути, в его тревожных сообщениях есть вся их злобная болтовня. Федоров поглядел в текст и произнес будто бы свое, а не только что прочтенное в доносе:

— Итак, вы предпочитаете реализму антихудожественную абракадабру?

— Меня интересовала пластика, — непонятно что сказала Ермолаева. — Я не могла представить, что это может противоречить советской идеологии.

— Врешь! — крикнул Федоров. — Ты прекрасно все понимаешь!

Она не ответила.

Федоров поглядел на охранника, который опять стоял за спиной Ермолаевой.

— В карцер! И туда же Сюсю. Он ждет. Он и там все сможет. Он будет очень доволен...

— Я вру, вру! — торопливо забормотала Ермолаева, не понимая ничего, кроме последних слов. В какой уже раз она падала на спину. Охранник схватил ее за рукав, платье треснуло и стало рваться, голова стукнулась об пол.

Теперь она валялась без чувств.

— Полей-ка, — приказал Федоров, приподнимаясь и разглядывая вытянутое, беспомощное, огромное тело. — Такие кучи, как эта, неспособны выдерживать даже нормальных вопросов.

Охранник плеснул из графина.

— Хоть и безногая, а все равно лезет в политику, плетет свое, — сказал Федоров. — Пожила бы, как мы, в деревне, научилась бы соображать нормально.

Ермолаева тарачила на него свои дурацкие глаза и мычала, как старая корова.

«Из-за кого только корячимся, — думал Федоров, — из-за кого у людей нет ни ночи, ни дня, из-за кого?!»

Он отыскал нужное место в «отчете» и стал дописывать в протокол то, что перед арестом всей группы сообщал агент:

Ермолаева:

...Третий вопрос, который также служил темой моих антисоветских высказываний, — это политика партии в области изобразительного искусства, считая, что отрыв советского искусства от достижений и традиций Запада конца XIX и XX веков, то, что сейчас называется формализмом, замены основных художественных проблем агитационной тематикой и утверждение той временной закономерности, как основной линии искусств, приводит к упадку и безвыходному положению советского искусства.

«Складно! — с удовольствием подумал Федоров. — Молодец приятель!»

Он уже не обращал внимания на арестованную, безногая гадина больше его не волновала.

...Политика партии, по нашему мнению, привела также к узко утилитарному преодолению устаревших методов натурализма в высшей художественной школе, изгнанию всякой творческой инициативы, как в государственном масштабе и, следовательно, в институтах, так и возможности лабораторных работ в отдельных мастерских. Сейчас практически нельзя показать каких бы то ни было творческих достижений, помимо выставки чисто агитационного значения.

В о п р о с: Назовите лиц, среди которых вы вели контрреволюционную агитацию.

О т в е т: Лицами, наиболее мне близкими, среди которых я высказывала свои политические убеждения, были художники Юдин, Рождественский, Казанская, Зенкович. Фикс, Таубер, Стерлигов, Дымшиц, Лепорская и Гальперин.

В о п р о с: Как относились указанные лица к вашим контрреволюционным высказываниям?

О т в е т: Из названных лиц Гальперин полностью разделял мои политические установки и отрицательно относился к мероприятиям партии. Стерлигов тоже придерживался более правых политических взглядов. Он националист и глубокий индивидуалист, считавший, что не в коллективе, а через развитие индивидуальной личности может происходить рост культуры. Остальные лица относились к моим высказываниям отрицательно, но в то же время не давали резкого мне отпора.

Зазвонил телефон. Гарновский из соседнего кабинета интересовался — скоро ли Федоров освободится.

— Кончаю, — сказал Федоров. — Сегодня можем пораньше.

Он повесил трубку. Перечитал страницы. Прекрасно! Задание выполнено на отлично. Положил протокол перед Ермолаевой, обмакнул перо в чернильницу, дал подписать.

— Биографию пусть напишет на отдельном листке, — приказал охраннику. — После можешь отвести ее в камеру. Двадцать пятое декабря — у них божий праздник. А наш с тобой праздник советский, он через неделю.

И, посмеявшись, вышел.

В о п р о с: Расскажите вашу биографию.

О т в е т: Я родилась в 1893 году в селе Ключи Петровского уезда Саратовской губернии. Отец Михаил Сергеевич Ермолаев, помещик, потомственный дворянин, был в течение двенадцати лет председателем земской уездной управы. В нашей семье существовали либеральные традиции восьмидесятых годов прошлого века, родители мои были друзьями Веры Фигнер.

В 1902 году мой отец Михаил Сергеевич Ермолаев, издававший журнал «Жизнь» в Санкт-Петербурге, был выслан за границу в связи с закрытием этого журнала. Вместе с отцом выехала и наша семья. Проживали в Париже, в Лондоне.

В Париже и в Лондоне я училась в народной светской школе и в Швейцарии, в лозанской гимназии.

В 1904 году отец вернулся в Россию. В 1905 году отец продал свое имение и переехал на постоянное место жительства в Петербург.

В 1906 году я поступила в гимназию Оболенской, которую окончила в 1910 году. После гимназии я поступила с целью изучить живопись в частную мастерскую Бернштейна.

В 1914 году я уехала в Париж продолжить занятие живописью, но в связи с объявлением войны мне пришлось уехать обратно в Россию и продолжить свое учение в Петрограде. Необходимо отметить, что начиная с 1912 года я, в связи с арестом и высылкой в Сибирь моего брата Константина Михайловича Ермолаева, большую часть года проводила в Сибири, куда он был выслан за участие в партии меньшевиков.

В Петрограде я училась до 1917 года (до революции) и существовала на средства, оставленные мне моим отцом. Отец умер в 1911 году.

В 1918 году я поступила на службу в Музей города по коллекционированию старых петербургских вывесок, где работала до апреля 1919 года, то есть до моего отъезда в Витебск.

В Витебске я провела период с 1919 года до 1922 года, работала там ректором Витебского художественного практического института, организованного художником Марком Шагалом в 1918 году.

В 1922 году я вернулась в Петроград, где вместе с художником Малевичем К. С. и художниками Матюшиным, Филоновым, Мансуровым, Пуниным и другими участвовала в организации Института художественной культуры.

В 1926 году наш институт был слит с Институтом искусств, где я работала недолго в качестве научного сотрудника второго разряда.

С 1927 года я не имею определенного места работы и работаю как художник-разовик, состоящий на учете в горкоме ИЗО — в разных издательствах, главным образом в Детгизе. Этот период длился до 1934 года.

В 1934 году работу художника я стала совмещать с преподавательской работой среди детей. Работала в Доме художественного воспитания детей Октябрьского района.

Ермолаева

Следствие арестованных художников требовало завершения. Конечно, в НКВД существовали дела и поважнее, но раз уж дела заведены, то кто знает, что и когда может заинтересовать начальство.

После убийства Кирова Тарновскому, как и его напарнику Федорову, чаще приходилось ночевать в своих кабинетах. Допросы шли один за другим, случилось, что арестованный ставился лицом к стенке, чтобы подумать, а Тарновский складывал на столе руки, укладывал на них голову... и спал сколько возможно. Надзиратель уже знал эти штуки, следил за допрашиваемым, не давал обернуться. Следователь — человек, и ему отдых нужен. Но и арестованный пусть, гад, подумает, как отвечать на поставленные вопросы, увильнуть в наши времена никому не удастся.

И тем не менее жизнь показывала, что каждый отнекивается, несет чушь, дурака валяет, делает вид, что ничего и не было, не замышлялось. Значит, следователю требуется заставить сознаться, подписать бесспорное, невиновных теперь не только нет, но и быть не может, вот истина.

А ведь если посмотреть на любого, послушать то, чего они городят, то без каждого не было бы и революции, да и власть только и держится на них...

Впрочем, группа художников — пустяк, таких легких дел Тарновский давно не вел, с художниками можно прерваться, иногда даже съездить домой, выспаться.

Каждый что-то обязательно прет на себя. А если один и покрепче, сопротивляется, крутит, пытается вывернуться, то поймать его, уличить, пригвоздить к столбу особой сложности не представляет. Пока наиболее крепкий Гальперин. Этот ничего вроде не понимает, но цена его непониманию — ноль. Достаточно поглядеть биографию, и сомнений не остается. Отец фабрикант, сам жил в Париже, в Египте, в Палестине, в Австрии, журнал выпускал во Франции, «Гелиос», а уж если он не только художник, но и журналист, тут и рассуждать нечего, обязательно живет в нем ненависть к новому строю.

Обычно Тарновский занимался Гальпериним. Ермолаеву забрал Федоров, сам взялся за безногую дрянь. Как-то Федоров, смеясь, объяснял, что с ней ему просто: ставит в каменный карцер на часик, и она любое подписывает, а если убрать костыли, то и вообще потеха, тащат ее к следователю на руках. И не один надзиратель, а лучше двое, пока еще в ней есть кое-какой остаток веса, хudeет, но медленно.

Из-за Гальперина условились, что сегодня Ермолаеву допросит Тарновский, нужно уточнить вину каждого. Вообще-то убогих Тарновский терпеть не мог, не его профиль. Конечно, революционная логика взывала к беспощадности, но человек есть человек, в каждом какие-то природные свойства. В детстве ребята считали его мягким, даже сентиментальным. Когда гоняли бездомных кошек, а один во дворе любил их даже подвешивать, то Тарновский бежал к матери, горько плакал в подол.

Все это казалось вполне объяснимым. Мать Тарновского была сестрой милосердия, добрейшей души человек, она и сейчас внимательно смотрела на сына, пыталась понять, в чем же состоит тяжелая его работа, отчего не каждую ночь он приходит домой, чем изможден? Нет, не находила ответа. Иногда говорила: «Ну нельзя же такую нагрузку на одну душу, что на-

чальство-то смотрит, от кого ждать справедливости?» Отец Тарновского тоже был медиком, но ветеринаром. Этот мог плакать, даже если гибла собака. Оба родителя хотели, чтобы сын шел по гуманитарной линии, вначале учили музыку, но оказалось, особого дара у мальчика нет, потом все определила революция, ребенок увлекся идеей справедливости, пошел по другому пути. Ни мать, ни отец-покойник так и не узнали, куда стал исчезать парень, какие дела у него. Бывало, мать спросит: отчего мрачный, усталый, издерганный? Какие отношения с сослуживцами? Тарновский только плечами пожмет, мол, его жизнь — не чужого ума дело.

Тарновский поглядел в окно на Литейный. Редкие фонари горели по проспекту, но людей не было видно. Недалеко лежала замерзшая, снежная Нева, в одной точке река поблескивала, днем по ней мог пройти ледокол, впрочем, к утру при таком морозе и этот сверкающий кусочек затянется льдом.

Конечно, с Ермолаевой тянуть не стоит. Он перелистнул федоровские протоколы, несколько признаний в антисоветской деятельности были достаточно выразительными, но теперь ему требовалось уточнить вину Гальперина, этот продолжал корчить невинность. Ну что ж, не хотел сам раскрываться, пусть за него поработает любимая...

Тарновский улыбнулся, «любимая» была на костылях и в корсете, интересно, как же у них происходило?

В приоткрытую дверь донесся шорох, как будто тянули волокушу.

Он распахнул створку. Ермолаева выгнулась в руках надзирателей, ноги скребли пол.

Тарновский дал охранникам развернуться, подождал, когда усадят. «Да уж, — подумал, — страшнее и представить трудно».

Надзиратели держали арестованную за плечи, видно, что норовит упасть, с полу поднимать тяжелее.

Ермолаева тупо вращала глазами, то ли удивляясь новому следователю, то ли и вообще ничего не понимала. Приближалась середина ночи, а ей часа три — по остроумному методу Федорова — пришлось простоять в каменном мешке.

Тарновский перешел в кресло, несколько секунд как бы знакомился с документами, мягко сказал:

— Мне бы хотелось от вас несколько слов о Гальперине, вы не станете возражать, Вера Михайловна?

Он улыбнулся как можно добрее, его красноватые брови сползли на переносице, образовали тонкую линию, как бы подчеркнув просьбу быть к нему доверчивее.

Теперь он мог мирно и даже ласково спрашивать о том, о чем Федоров наверняка домогался угрозами, буйством и криком. Зачем? На то она и баба, и инвалид, с такой следует помягче, в мягкости всегда есть путь к пониманию. Любой хочет выйти отсюда живым.

Так как же они с Гальпериным познакомились, что их сблизало? Конечно, любовь его не интересует. Пусть уж любовь для такой каракатицы остается ее тайной, меньше всего следователя должна волновать лирика, — главное, подвести Ермолаеву к ответу, дать возможность назвать всех, с кем ей приходилось встречаться, получить на каждого характеристику. Нет, не обязательно писать то, о чем она говорит, главное давно зафиксировано агентом и Федоровым, пора готовить материалы для «тройки», больше пятнадцати минут у ОСО на подследственного не бывает. А статья заранее известна: 58-10, антисоветская агитация. Другое дело — ты сам. Знать необходимо все. Докладываешь коротко, четко, затем голосование и... следующий.

Он спрашивал тихо, и каждый раз, как только она отвечала, благодарно кивал, даже говорил «спасибо». Слава богу, она перечисляла знакомых, и у него не было другого пути, как самому формулировать показания и переводить их на язык протокола, иначе задача, которую ставили перед ним окажется невыполненной. Никто тебя здесь за лирику не похвалит.

Он наконец взял ручку, следовало фиксировать рассказанное. Ермолаева продолжала сидеть прямо, корсет не позволял согнуться, волосы сбились в колтун. Он давно уже заметил, как смотрит она на графин, в камере не дают воду.

— Попить?

Она быстро кивнула.

— Ну что ж вы стеснялись, Вера Михайловна? — упрекнул Тарновский. — Мы нормальные люди.

Ее руки дрожали. Она пила, захлебываясь, теряя капли, затем так же просительно протянула кружку. Он налил еще и стал ждать, когда же она напьется. Серая кожа предплечья поблескивала, как клеенка, да и морда ее была зеленовато-грязной.

Конечно, чтобы у арестованной не пропало к нему доверие, стоило пообещать, что она скоро вернется на свою удобную койку — все зависит от нее самой. Да, да, ему, Тарновскому, совсем не хочется испытывать больного и слабого человека — он обязан ее понимать.

— Вы и представить не можете, сколько дней я не видел своей семьи. Работаем сутками. — Он жаловался, говорил доверчиво, делал паузы, ждал кивка и благодарно ей улыбался. — Давайте запишем то, что вы только что рассказали...

Она поднесла руку к плечу, охранник сильно сжимал сустав, видно, боялся, что упадет, — Федоров предупреждал, что такое с этой коровой не раз уже было.

— Отпусти, — приказал Тарновский. — Так как же вы познакомились с Гальпериным, кто вас свел? Что же особенного в нем вам показалось, если вы так... подружились?

Она вздохнула.

— Художник Юдин написал мне, что он знает интереснейшего человека...

Тарновский недоуменно спросил:

— Честное слово, не понимаю, ну чем мог быть интересен Гальперин?

— Это образованный человек, он хорошо знает живопись, в частности, западную, такое всегда важно.

— Хотел бы я поглядеть на образованного человека, которого совсем не занимает политика.

Она вздохнула.

— Но мы художники, что, кроме искусства, могло нас интересовать?

— А с кем, кроме вас и Юдина, был еще дружен Гальперин?

Его коричневатые глазки буквально ее сверлили.

— Гальперин называл Петра Львова, прекрасного мастера — это еще с московской жизни. Львов работал в группе Митурича и Фаворского. Кроме того, Львов, мне кажется, преподавал какое-то время во Вхутемасе. В институте, — пояснила она.

Лоб Тарновского пересекли морщины, он будто бы подчеркнул еще не сказанную, но уже сложившуюся фразу.

— Вы, пожалуйста, не давайте оценок. — Он снова доброжелательно улыбнулся. — И не потому, что они неверны, но мы в этом не понимаем, да и не должны понимать, Вера Михайловна.

— Иногда Гальперин встречался с коллекционером Иосифом Рыбаковым, этот человек ценил его, мне кажется, Гальперин даже дарил ему свои работы. Художнику приятно, когда его понимают.

— Еще?

Она назвала Бениту Эссен, затем Роберта Фалька, с которыми Лева познакомился до революции в Париже, возможно, в тринадцатом или четырнадцатом, тогда не было ни большевиков, ни советской власти, к этому они не могли придраться. Потом пришлось вспоминать знакомых, и Вера Михайловна назвала Фикса, тот бывал у нее, тоже москвич, с ним ни о чем, кроме живописи, они не говорили. Впрочем, Фикса ничего больше и не волновало.

— И что же? — Тарновский требовательно смотрел на нее. — Вы об-суждали с Фиксом возможную выставку в Париже?

Она была поражена.

— Мою?

— Вашу, Вера Михайловна, как и вашего друга Гальперина. Неужели вы думаете, что мы и этого не знаем? Не удивляйтесь. Вы профессиона-лы, но и мы профессионалы. — Его взгляд становился жестче. Ему явно осточертела собственная утомительная любезность. — И не думайте, что только друзья посещали ваш дом, ваш дом посещали и наши друзья, поэ-тому говорите все, что было. — Он внезапно стукнул кулаком по сто-лу. — Правда и только правда — вот что единственно нас интересует!

Опять в ее глазах встала пелена, муть нарастала, по кабинету поплыли полосы. «Отчего и здесь конструкции Казимира? — подумала она. — Как оказались?» Она не ощутила удара об пол — следователь и его кабинет растворились в пространстве.

Тарновский вышел из-за стола. Какие слабые люди! А еще берутся воевать с государством!

Он склонился над Ермолаевой: дыхания не было, рот оказался откры-тым, и теперь он видел страшноватый оскал. Он оттянул ее веко: мертвя-щая болотная тина стояла в глазах.

— Ишь как легко они умирают. Встряхни-ка, дружище, тетку...

Охранник ударил по серой щеке. Ермолаева открыла глаза, и ее снова втащили на табурет.

Тарновский уже писал. «Покойница» его больше не интересовала. Эти бывшие люди, как любит повторять Федоров, не переносят травм, тем проще они на допросах. А об агенте он сказал специально, пусть знает, что у органов есть и глаза и уши, которые не подводят. Прекрасный парень работал в ее доме. Парня следует отблагодарить, услуги таких не-малого стоят.

Он перечитал протокол и протянул обвиняемой для подписи. Можно было покатиться со смеху, наблюдая за ней. Этим всегда кажется, что такого они и не говорили, будто бы все придумал следователь.

— Тут иначе, я не... — зашептала Ермолаева. Ее губы запеклись, и она едва слышно произносила: — Тут нет ничего похожего на мои ответы...

— Ну, как хотите... — пожалел Тарновский. — А лист рвать не стану. Я его положу в стол, а вы — пожалуйста, в карцер, утром встретимся. — И он стал тянуть протокол.

— Я подпишу! — вдруг крикнула Ермолаева.

Тарновский взглянул на часы. Ночь уже перешла середину. Вот-вот должен войти напарник. Он, вероятно, кончал допрос еще кого-то из этой же группы.

Из-за стены доносился придушенный плач, что-то знакомое послыша-лось в больном бормотании, затем — всхлипах. «Неужели Маша Казан-ская? — подумала Вера Михайловна с ужасом. — Она же ребенок, ей только что исполнилось двадцать...»

Ужас, смятение, боль вспыхнули одновременно. Пол и стены будто бы колебались. Она никак не могла вспомнить, чего еще хотел от нее этот следователь.

— Подписывайте! — напомнил Тарновский.

Рейпекке-Лис, такой же злобный, как тот маленький из поэмы Гете, стоял перед ней. «Как изменился следователь, — с удивлением подумала она. — Неужели этот допрашивает и Леву? Прости, я не хотела... Это не люди, Лева, прости...»

Она медленно выводила свою фамилию. Рука, которая еще недавно казалась такой сильной, ее не слушалась. Впрочем, что значит «недавно»? Это было очень давно, в прошлом тысячелетии, когда она, Вера Ермолае-ва, жила нереальной, легкой и счастливой жизнью...

— Умница! — воскликнул Тарновский. — А слезы я могу расценивать только как слезы благодарности. Я прикажу надзирателям сегодня в каме-ре вас не будить.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ЕРМОЛАЕВОЙ ОТ 8 ЯНВАРЯ 1935 ГОДА

В о п р о с: Расскажите, при каких обстоятельствах вы познакомились с Гальпериным Львом Соломоновичем и характер ваших отношений.

О т в е т: С Гальпериным я встретила в 1932 году у художника Юдина. Юдин в письме ко мне на дачу писал, что он познакомился с очень интересным человеком, недавно приехавшим из-за границы. Первая наша встреча ограничивалась общим знакомством друг с другом. Дальнейшие наши встречи приняли регулярный характер и происходили у меня на квартире.

С Гальпериным меня сблизило наше политическое единомыслие. Для меня он явился человеком, до конца продумавшим свои политические убеждения и в силу этого могущим оказать реальную помощь в разрешении ряда вопросов, еще неясных для меня и моего окружения.

В о п р о с: Дайте оценку политического мировоззрения Гальперина.

О т в е т: В ряде бесед, происходивших у меня на квартире с Гальпериным в течение 1933—1934 годов по вопросам политической оценки современности, выявлений нашей политической направленности, для меня выяснилось, что Гальперин до сегодняшнего дня остается на своих меньшевистских позициях. В оценке затрагиваемых политических вопросов он исходил из этих политических позиций. В беседе о внутреннем положении СССР Гальперин указывал, что вся политика большевиков, якобы направленная на скорейший переход страны к социализму, на деле приводит ее в тулик и катастрофа неизбежна.

В о п р о с: Назовите все известные вам связи Гальперина.

О т в е т: Из связей мне известны следующие лица: а) Львов Петр, художник, работал всегда в московской группе Митурича и Фаворского. Одно время Львов преподавал во Вхутемасе. С политической стороны я его не знаю. б) Рыбаков Иосиф, экономист, плановик одного из ленинградских заводов. Коллекционирует картины художников, главным образом с десятих годов до наших дней. Был за границей в 1925—1926 гг. Рыбаков всегда являлся для Гальперина источником художественных и политических новостей. С Рыбаковым я лично встречалась четыре раза в течение 1933—1934 гг., три раза у меня на квартире и один раз у него. Из бесед у меня, а также моих личных впечатлений о нем я пришла к выводу, что Рыбаков по своим политическим убеждениям меньшевик и что этот момент является основным, связывающим его с Гальпериним. в) Бенита Эссен, художница, происходит из буржуазной семьи. С ней Гальперин познакомился в 1913—1914 гг. в Париже. Приехав в Ленинград в 1924 году, Гальперин восстановил с нею связь. г) Фикс Симон Иосифович, художник, в 1931 году приехал из Франции, жил в Москве до 1934 года, приехал в Ленинград. В Париже был связан с невозвращенцем художником Фальком.

В связи с установленными связями с художником Фиксом, в беседе со мной Гальперин расценивал сегодняшнее положение советского изобразительного искусства как находящегося в упадке и в связи с этим высказывался о необходимости путем послышки за границу его работ, моих и ряда московских художников и устройства там выставок этих произведений показать Западу о наличии в Советской России ряда художников, которые при создании им соответствующих условий и обстановки со стороны Советского правительства могли бы поднять искусство России на достаточную высоту.

Одновременно с этим Гальперин предполагал через Фикса переслать за границу материалы, собранные им, о тяжелом положении художников в СССР. д) Калужнин Василий Михайлович (Павлович. — С. Л.), художник, Гальперин познакомился с ним в 1928 году. е) Ермолаев Борис Николаевич, художник, выходец из мелко-чиновничьей, мещанской среды, с ним Гальперин познакомился в 1932 году. Для Гальперина Ермолаев был интересен как крайний индивидуалист, противостоящий социальным заказам современности государством. ж) В Москве Гальперин был тесно связан с художниками Ниренберг, Нисгольдман, Никритиным, Тышлером и Лабасом.

Прошло больше шестидесяти лет с той поры, но я не мог и допустить, что умерли все, кто знал Ермолаеву. Конечно, начальник пресс-центра госбезопасности на Литейном, 4, был прав: писать документальный роман без документов — нелепость, а те документы, которые они предоставили мне, оказались чем-то иным, в них уже не было жизни, только смерть.

Я все же не стал сдаваться, терять надежду на встречи с людьми, знавшими Веру Михайловну. Спрашивал. Некоторые старики-художники ее помнили. Но опять это были случайные разговоры.

Художника-графика Нину Алексеену Носкович я встретил в издательстве. Она приходила ко мне домой с замечательным мастером, ее, а позднее и моим другом, Павлом Михайловичем Кондратьевым, учеником трех титанов: Малевича, Матюшина и Филонова. Среди организаторов той единственной выставки Ермолаевой в 1972 году был и Кондратьев, и я знал, что он очень высоко ценил ее искусство.

Нина Алексеевна первые секунды слушала меня с недоумением, маленькая, худая, с застывшим, отрешенным лицом. Что же она, тогда совсем юная, может припомнить из далекого прошлого? И все же при имени Ермолаевой ее обесцвеченный взгляд стал набирать синеву, фигурка словно бы обрела уже потерянную вертикаль, и Носкович радостно воскликнула:

— Ой, как мне нравилась Вера Михайловна! Я завидовала тем, кто бывал у нее дома. Она была прекраснейшим педагогом. Знаете, я долго ждала случая, я была уверена, что Вера Михайловна мне не откажет, и однажды, — это было в тридцать четвертом, — я подстерегла ее...

Четкие петербургские интонации выдавали в Нине Алексеевне природную интеллигентность, а ее мгновенное, счастливое пробуждение, восторженная реакция на короткие секунды заставила сжаться мое сердце.

— Я подошла к ней и попросила разрешения позаниматься. И меня поразило, как резко она отказала. Даже больше, Ермолаева будто бы испугалась. Это было странно, я же девчонка, и вдруг такая реакция. «Нет, нет, — с испугом сказала Вера Михайловна, — я не могу вас принять, не могу!»

Что это? Может, арест был не таким неожиданным? Но с другой стороны, возможно и иное: арестовывали в те «кировские» дни тысячи интеллигентов, детей дворян, их прошлое было как бы уже доказательством вины, поводом к изъятию из обычной жизни. Нет, память Нины Алексеевны ничего не прибавила к моему незнанию.

Мой друг, подаривший копию Сезанна, девяностолетний Керов, Ермолаеву чуточку знал, они с Анной Александровной, его женой, были у нее в начале тридцатых, но и он ничего конкретного добавить тоже не мог. Правда, копия фрагментов двух холстов Сезанна, о которой я говорил в начале, была ему подарена приятелем молодости Б. Б. Тот еще здравствовал. И, как считал Николай Васильевич, мог бы многое прибавить к моему розыску.

Теперь мне оставалось надеяться на случай. Б. Б. жил в Москве, и хотя был моложе Николая Васильевича на пять-шесть лет, но и ему давно крепко перевалило за восемьдесят. Откладывать встречу становилось опасно.

Кое о чем, связанном с Б. Б., я мог догадаться. Главным моим «знанием» следовало считать «дело» Стерлигова, арестованного одновременно с Верой Михайловной. Именно в этом «деле» был записан допрос Б. Б., его очная ставка с подсудимым. Б. Б. обвинял в контрреволюционной деятельности и Ермолаеву, как главную «персону», и Стерлигова, и все их окружение.

Мне показалось неслучайным и то, что показания Б. Б. были только в одном протоколе, следователи Федоров и Тарновский как бы защищали его от чужого глаза, припрятавали, в то время как многие допрашиваемые вызывались по делу каждого арестованного неоднократно. Конечно, у меня был слишком маленький опыт, чтобы объяснять все хитрости НКВД, однако логика подсказывала, что эти люди обязаны «охранять» источник, пользоваться им с осторожностью: он должен работать и дальше.

Но что можно было считать наиболее убеждающим в ситуации с Б. Б. — это стилистическая схожесть его показаний с тем заключением-справкой, которую современный начальник пресс-центра КГБ показал мне как запись агента 2577. И «номер», и конкретный человек говорили одними словами. Получалось, что донесенное Б. Б. аккуратно переписывалось известными следователями под номером основного агента, такие «тексты» никакого уточнения не требовали, все в них было ясно и четко.

Впрочем, подождем с совпадениями в «деле», они могли быть — протоколы писали одни и те же люди.

К Б. Б. меня тянуло совсем другое. Это были его печальные письма к своему старому другу в Питер. Николай Васильевич Керов давал их чи-

тать, даже переписывать. Шло новое время, ужасы тридцатых и даже пятидесятых стали историей, но люди, которые тогда страдали, как и те, которые веселились, историей еще не стали. Когда я читал письма Б. Б., в моем сознании возникал человек умный, осмысливающий прошлое. И чем больше ему было лет, тем острее становились письма. Винил ли он себя или власти, дело другое. Судьба Б. Б. говорила о многом...

Сразу же после ареста группы Ермолаевой и Гальперина Б. Б. был как бы выделен из общего списка. В начале 1935 года арестованные сподвижники великого Казимира получили, как говорили тогда, по заслугам. Парализованная Вера Михайловна уже в марте отправилась в Сибирь, вместе с ней, в соседних вагонах, были Стерлигов и Гальперин. Все будто бы успокоилось в жизни художников Ленинграда. Лева Юдин, писавший дневник каждый день, к своим тетрадям не подходил четыре месяца, и только 27 апреля коротко пометил: «Как будто несколько лет прошло с 25 декабря. Четыре месяца ничего... Страшное время... Я упрекал Марию, а сам, оказывается, столько мог не быть художником. Так легко и сойти на нет».

В те же дни Керов встретил на улице своего земляка, назовем его Валька Куров. Будущий секретарь творческого Союза и бывший филоловец, он светился от свершившейся справедливости.

— Допрыгались! — с нескрываемым торжеством сообщил он. — Теперь поймут, как они жили. Советская власть никому ничего не прощает! Наша правда, Коля, восторжествовала.

Он был искренним. Многие годы он подтверждал это своей неистовой преданностью режиму. Талантливый человек, начинавший как «левый», он теперь делал все, чтобы подтвердить собственную причастность к великому социалистическому реализму. Впрочем, не о нем речь, таких было много.

А что же Б. Б.? Он-то был в одной с Ермолаевой и Стерлиговым группе Малевича. Как складывалась его жизнь?

В тридцать пятом, когда арестованных везли в Сибирь в холодных теплушках, в Москве был объявлен закрытый конкурс на оформление советского павильона для Всемирной выставки в Париже. Страна тогда, как известно, находилась «на очередном подъеме». Для предстоящей экспозиции нужны были проверенные кадры. В конкурсе победил Ленинградский проект, возглавлял который Николай Суетин. В группу победителя был дослан из Москвы Б. Б. Открытие выставки намечалось на 25 мая 1938 года. Б. Б. приехал в Париж 22 мая. Пять дней, как через много лет он сам рассказывал журналистам, Б. Б. не выходил с территории, он руководил важнейшей работой. Открытие состоялось вовремя.

Странное дело! По возвращении все сотрудничавшие с Б. Б. в Париже — комиссар, директор и методисты — были арестованы.

«Через какое-то время, — удивлялся Б. Б., давая уже в восьмидесятые годы интервью корреспонденту детского журнала, — нас вдруг вызвали в Москву и снова предложили работать над выставкой, но теперь уже... в Нью-Йорке. Открытие предполагалось в 1939-м. Мы попытались отказаться. А они: «Ах, вот как! С врагами народа работали, а с нами не хотите!» Пришлось соглашаться».

Впрочем, связь с врагами народа была для Б. Б. не первой. Выходит, работники госбезопасности обижались на Б. Б. неоднократно, а значит, и... вполне справедливо.

«Потом были выставки и в Брюсселе, снова в Нью-Йорке и Париже, в Осака и Брно».

Б. Б. ездил и ездил: в сталинское время счастливую судьбу человека трудно объяснить удачей или талантом. Франция, Испания, Индия — какие только страны не посещал он в те криминальные десятилетия! Секретарь правления Союза художников СССР, действительный член Академии художеств СССР, народный художник РСФСР — все это было получено в те годы. Живописью Б. Б. перестал заниматься, его имя связывали «с рядом блистательных советских экспозиций, проходивших за рубежом».

Каждый год Б. Б. появлялся в столицах республик. Как секретарь Союза он курировал декоративное искусство. Теперь в многочисленных журналах и сборниках обязательно цитировались выступления Б. Б. Он учил жить, как булгаковский Воланд. Двери для каждого его визита широко открывались. «В заключительном, а иногда и во вступительном слове, — отчитывались журналисты, — член-корр Академии Художеств СССР (позднее академик), председатель Совета по декоративно-прикладному искусству, секретарь правления Союза Художников СССР Б. Б. остановился на общих задачах...» Или: «О роли, задачах и творческих проблемах повышения идейно-художественного качества наглядной агитации выступил секретарь правления Союза Художников Б. Б.». Или: «...Академик остановился на конкретных задачах художников в связи с постановлением ЦК КПСС о народных художественных промыслах».

На ретроспективной выставке на Крымском валу я не раз с искренним восторгом рассматривал его ранние работы, в них «читался» почерк школы Малевича. Мой друг имел каталог персональной выставки Б. Б. в Дюссельдорфе — но и там его новых работ (да были ли новые?) не показали.

Теперь Б. Б. выставлял только то, чем он жил в далеких и недавно отвергаемых им двадцатых. Иногда Николай Васильевич получал от Б. Б. письма — старость делала свое дело, они давно не встречались, но расположение и память не стерлись.

Конечно, я должен был бы его увидеть. Собираясь в Москву, я взял рекомендательное письмо от Николая Васильевича. Керов писал тяжело и долго, он только что вышел из больницы, был слаб и почти беспомощен. Я так и повез короткую незаконченную записку.

«27 февраля 1994 года. Дорогой Б. Б.!

Давно и долго собирался написать тебе, но немощи стариковские одолевают — поговорить хочется. Чувствую, что потихоньку угасаю, а дел еще много, а интересного кругом — еще больше!

Слышал о тебе от итальянки — русской, что много работаешь и много у тебя хороших работ, и что она не прочь их иметь у себя в галерее в Милане. У меня она тоже кое-что взяла и поместила в каталог и говорит, что я им «обедни не испортил». Все остальное тебе объяснит и расскажет Семен Борисович — он один из немногих писателей, любящих наше искусство. Он же устроитель всех выставок в Доме Писателей (увы — сгоревшем!), и он хотел бы быть знакомым с тобой. А остальное на твоё усмотрение и твоё здоровье».

Я ехал в подмосковное Переделкино, надеясь увидеть Б. Б. Впрочем, что значит увидеть? Не смотреть же на него я собирался, мне нужно было поговорить с единственным живым участником тех конкретных обстоятельств. И все же несколько дней я не мог решиться набрать его телефон. Согласится ли Б. Б. на встречу? Что хочет от старика этот питерский «молодой» — только стукнуло шестьдесят! — пришелец? Не могу же я сказать правду? Да и правда ли то, что я себе намыслил, разные обстоятельства могли быть не только в той, но и в этой жизни. «Вам что-то говорит номер 2577?», — мысленно задавал я вопрос. «Ничего, — скажет он. — А что может говорить этот номер?»

Голос был далекий и глуховатый. Б. Б. устало благодарил за приветы из Ленинграда, спрашивал о своих знакомых, но с приглашением медлил. «Да и что показывать? — спрашивал он. — Все давно известно. А новое? Я так мало писал в последние годы, стоит ли тратить дорогое время?»

И все же имена друзей помогли, он согласился.

Я звоню в дверь мастерской, но мне долго не открывают. Наконец все же слышу тихое и медленное шарканье тапочек. Б. Б. стоит у стены и долго и внимательно на меня смотрит, словно бы хочет выяснить причину такого позднего к себе интереса. Знакомимся. И я прохожу в мастерскую, не очень большой зал с задернутыми от позднего солнца окнами. Садимся. Б. Б. опять рассматривает меня. У него серое, морщинистое лицо, усталые глаза, пристальный взгляд. Мы молчим, как бы готовясь к беседе. Начиная с живописи, мне интересно все, чем он занимался многие годы.

Работ мало. Вернее, работы стоят, но большинство повернуто к стене, я вижу подрамники. Наконец он тяжело поднимается с кресла, берет холст и устанавливает на мольберте. Это то, что написано им в последнее время. Б. Б. явно пытается задержать прошлое. И тут не нужно хитрить, я с удовольствием говорю об этом. Впрочем, те ранние вещи, что я видел в музее на Крымском валу, были сильнее. О Малевиче отвечает сразу.

— Говорят, Казимир Северинович был нукудышным учителем, мог разорвать прекрасную работу ученика и похвалить слабую? — спрашиваю я.

Глаза Б. Б. вспыхивают возмущением.

— Кто мог вам сказать такую нелепость! Это был удивительный педагог, такой же гениальный, как и художник. Он моментально схватывал все, и ваш замысел, и результат. Нужно было уметь его слушать. И если он рвал работу, значит, работа того стоила... И на смертном одре он вел себя замечательно. Не жаловался, не просил помощи. Я поехал в дацан, к буддийским монахам. И когда я объяснил им причину приезда, они спросили: «А вашего учителя облучали рентгеном?» — «Да», — подтвердил я. «Тогда мы не возьмемся. Клетки разрушены, ничего не дадут наши травы».

И о матери Малевича говорил с любовью. Это была прекрасная женщина, которая их всех называла «сынками». Они занимались, а мать вязала удивительные сумки, она чувствовала цвет, соединяла веронез и белое, меняла форму, это было поразительно по таланту.

Б. Б. активнее движется по мастерской. Я хвалю прошлое. И тут же задаю вопрос, который, возможно, Б. Б. больше всего не хотел бы слышать.

— А Ермолаева? Расскажите о Вере Михайловне.

Бледный, он подается вперед и долго, с плохо скрываемым подозрением, на меня смотрит. Потом, словно совершая намаз, проводит ладонями по лицу.

— Почему вас интересует Ермолаева?

— Это замечательная художница! — восклицаю я. — Некоторые считают, что она не меньше Малевича.

— Мне трудно судить, — не сразу говорит он. Долго молчит, думает. Кажется, Б. Б. ищет в памяти что-то нейтральное, возможно, необидное для себя. — Вера Михайловна была большим человеком. Однажды я шел за ней по Исаакиевской, она поскользнулась и упала спиной на лед. Я стал поднимать, она оказалась очень тяжелой. Я все же ее поднял. «Вот вы какой сильный», — поблагодарила она.

— Ермолаева порвала с Малевичем, ушла от него и позднее говорила о нем с неприязнью. Он как-то ее обидел?

— Я мало что знаю об этом.

И неожиданно:

— Когда у Малевича умерла жена, мы с Юдиным пришли к нему на квартиру. И вдруг оказалось, что там Ермолаева. Она подметала пол и очень смутилась, увидев нас.

Он опять провел ладонями по лицу и так застыл, что-то будто бы припоминая:

— Нет, не ждите от меня нового, я все забыл. Если вы пришли из-за Ермолаевой, то я ничего не смогу больше...

— А Гальперин?

Он даже встал. Задвигался по мастерской, точно не мог понять, что же теперь делать.

— И вы о Гальперине? — он с ужасом поглядел на меня. — Я его совсем не знал. Однажды видел. Я пришел к Вере Михайловне, они смотрели живопись. Да! — воскликнул он, будто бы что-то вспомнив. — Недавно сюда приходил его сын, он разговаривал... с недоверием. Разве мы можем отвечать за прошлое только потому, что мы его пережили?

Мне-то был понятен визит Кригера. Именно я рассказывал ему о своих подозрениях, и Кригер поспешил, опередив меня, мы оба занимались одним и тем же.

Б. Б. медленно замотал шарфом шею. Было видно, как дрожат его руки. Кто знает, может, это от возраста. Ему скоро девяносто. Да и устать он мог. Дома его ждала дочь, это только кажется, что я недолго, я уже почти три часа здесь.

Мы прощаемся. Выхожу первым, он что-то собирается взять с собой и извиняется, что мы не вместе. В дверях он говорит, что будет рад, если я загляну еще. Это звучит искренне. Он хотел бы передать письмо ленинградскому другу.

...Потом я еду в поезде. Скучное Подмосковье, каменные нагромождения ничего хорошего не говорят о времени. Я невольно думаю о Б. Б. Имеем ли мы право судить их, живших во времена абсурда?

Я невольно вспоминаю письма Б. Б. к другу за несколько последних лет. В них разное. И восторг, и боль, и раскаяние. Разве человек в конце жизни не может испугаться собственных слабостей? Понятие о грехе никуда не делось. Оно есть, как есть и страх перед Богом. Будет ли прощен этот грех? И что для человека страшнее своей памяти!

Дома я достаю пачку писем, подаренных Керовым. Я, наверное, получил эти страницы не для того, чтобы разоблачать его друга. Юристы, использующие уголовный кодекс, вероятно, легко доказали бы сомнительность моих литературных догадок. Имею ли я на это право? «Господи, — мысленно обращаюсь я. — Прости вину мою, если я думаю неверно, если не смерть людей, а благополучная жизнь в том дьявольском прошлом уже заставляет меня приговаривать худое. Может, именно Б. Б. был лучше других, а я выношу приговор. И кто знает, Господи, был бы я праведнее его, были бы мы лучше тех, живших в страшное время!..»

Я перечитываю письма. Что в них? Пожалуй, подтверждение личного благополучия, обилие благ, явное расположение к власти предрержащим. И одновременно полное понимание абсурдности того страшного времени.

Отчего же столько несчастий, смертей, исковерканных, искореженных, уничтоженных жизней? И почему тоска? Что же за прошлое было у этого когда-то явно талантливого человека?

Я снова и снова вдумываюсь в его текст:

23 апреля 1993 г.

Дорогой Коля! Ты пишешь, что разбираешь свои и Анечкины работы. Но не вздумай что-то уничтожить. Мы сами не знали, что хорошо. И главное, что нужно из того, что мы делали. Я многое уничтожил, а кое-что из забракованных работ сохранилось случайно. И теперь вижу, это и есть лучшее.

Сейчас повальная мода на авангард. Что непонятно, что несуразно и дико, то хватают без разбора. Но скоро наступит время селекции, качественного отбора, и многое обесценится, выбросит из музеев. Только ТО делалось, как попытка утвердить могущество (моготу) формы и предчувствие нового пространства, космической реальности. И только это будет сохранено как свидетельство прозорливости художников, в том числе и наших учителей. Твой Б.

И еще, Коля. Для меня старость — это время непрестанной казни себя за ошибки прошлого. Вспоминаешь и постоянно видишь, что делал почти все неправильно. Столько ошибок, что они замучивают...

6—19 декабря 1994 г.

Дорогой Коля! С днем ангела! В детстве это был большой праздник. И было все хорошо, и было много друзей. Теперь мы в одиночестве. Я очень чувствую свои годы: качает, качает. Болею, а вообще стараюсь быть в мастерской. Это единственное, что дает ощущение жизни. Слишком мало работал по живописи, урывками, между заработками. Самое интересное было до войны, это ГИНХУК. Эпоха соцреализма — бесплодная пустыня, чем позже, тем глубже тоном в бескультуре. Это эпоха Шилова.

Сейчас много времени для работы, для размышлений о своей жизни. Я понял, что моя жизнь — сплошные ошибки. В самые поворотные моменты все решал неправильно. А если иногда что-то и получалось, то вопреки моим предположениям. Ваш Б. Б.

25 февраля 1995 г.

Дорогой Коля! Получил твое бисерное письмо, буквы, как бусинки, быстро слились в прямую линию, по почерку видно, ты в хорошей форме. Мне далеко до тебя, пишу, а букв не вижу. И рисунок не вижу, качается, это чистый белый лист. Плохо слышу, неуверенно хожу. Качает. Читать не могу, а все ершусь и ершусь. Не работаю, но голова работает. Должен написать статью о том, что произошло в искусстве

XX века, хотя это никому и не нужно. Нам не повезло, родились при социализме, когда все живое уничтожали.

Вообще, Коля, понимаю, что старость дается человеку для того, чтобы он осознал свой путь. Я очень огорчен, вся моя жизнь — это ожерелье ошибок. Время было против нас, ломало.

Какие новости в искусстве С.-Петербурга? Как хранится наследие 20—30 годов? Что со школой Стерлигова? Есть ли интересные художники? Сам Стерлигов путаник, говорил, что Малевич работал с прямой (квадрат), а он кривизну ввел в искусстве, будто бы Малевич не сделал рядом с квадратом «круг».

Наверное, устал читать? Читай через лупу. Пиши, обнимаю. Твой Б. Б.

Я который раз перечитываю, переписываю строки Б. Б. Ах, как не хочется верить худому!

И все же, все же...

Легкое прошлое, удивительное благополучие, «командировки» в Европу, разве тогда могло быть такое без... НКВД?

Сомневаясь, мучаясь, еще на первых сеансах с медиумами я все же задал этот вопрос Ермолаевой: «Вера Михайловна, вы считаете, что в вашей трагической судьбе виноват Б. Б.?»

Ах, как я надеялся, что ее ответ будет не настолько конкретным!

«Да, — сказала она. — Он был наказан тем, что его творческая душа уже никогда творить не будет. Он продал свое творчество злу».

Я ждал возможности проверить себя и повторить вопрос Льву Гальперину. Это случилось спустя неделю.

***Из разговора с Львом Соломоновичем Гальпериним
через петербургских трансмедиумов 21 ноября 1993 года***

Семен Ласкин: Лев Соломонович, в прошлый раз я задал Вере Михайловне вопрос о человеке, который оклеветал и предал вас всех. К сожалению, я сам назвал его имя, может быть, я навязал ей мое предположение? Меня мучает неуверенность. Это высококультурный, располагающий к себе человек, мне так не хочется, чтобы именно он оказался тем самым «номером 2577».

Лев Гальперин: К сожалению, это был он. Время было такое, люди менялись, ломались, теряли самих себя. И если душа сохраняла достоинство, значит, жить ей было нельзя. Не для этого строили социализм, чтобы каждый достоинство сохранять мог...

Итак, мне стало казаться, что я расспросил о Ермолаевой и о Гальперине всех старых художников, кого знал, с кем мог встретиться, нового и неизвестного больше ждать было неоткуда.

И все же вера в неожиданное теплилась.

Случай — я об этом думал неоднократно — бывало, врвался в мою жизнь и сдвигал все. В этот раз в милом гостеприимном доме питерских интеллигентов я не только рассказал о том, что меня волнует, но и пожаловался, что вынужден остановиться на середине, так как не вижу больше никаких перспектив.

— Как никаких? — возмутился милейший Евгений Александрович П.-К., академик физик, человек, как мне казалось, совершенно далекий от нематериальной жизни. Он обернулся к жене, моему другу, прекрасному графику, и спросил:

— А помнишь, Верочка, на Адмиралтейской набережной, в соседнем с нами доме жила Августа Ивановна Егорьева, жена адмирала, она как-то нам говорила, что вся их семья была близка с Ермолаевой.

— Хорошо помню, — сразу же сказала Вера Федоровна. — Но Августа Ивановна умерла несколько лет назад.

— Да, но недавно я видел ее дочь, Анастасию Всеволодовну. Тасе в те годы было не так уж и мало, примерно двадцать, и она тоже дружила с Ермолаевой.

Я разволновался. Кажется, впервые я смогу увидеть человека, который не только знал, но, возможно, дружил с Верой Михайловной.

Несколько дней звонков от Евгения Александровича не было. И вдруг — удача. Да, Анастасия Всеволодовна в Питере, живет по новому адресу, на Васильевском, не так давно переехала к внукам, она будет рада поговорить.

«Звоните, идите, — говорил П.-К., — Ермолаева для этой семьи много значила!»

Я сразу же позвонил Егорьевой.

В назначенный час пришел на Васильевский в дом Анастасии Всеволодовны. Высокая, стройная, не по годам спортивная женщина провела меня в комнату. И вдруг я застыл — со стены нас будто бы рассматривали глаза женщины с портрета, словно написанного махом, несколько линий фиксировали особенности характера: энергию, ум, доброту.

— Прекрасная вещь! — с восхищением сказал я. — На такое, вероятно, художник тратит секунды...

— Автопортрет Веры Михайловны, — она вздохнула. — К сожалению, это все, что у нас осталось после войны из ее работ...

Мы сели и заговорили сразу, как старые знакомые. То, что интересовало меня, и для нее было необыкновенно важным.

Она припомнила и их поездку по Днепру, и частые визиты к Ермолаевой на Десятую линию, долгую дружбу ее матери Августы Ивановны с Верой Михайловной, постоянный восторг и преклонение в семье перед ней.

— Вообще-то, — говорила Анастасия Всеволодовна, — Ермолаева была неумной путешественницей, никаких комплексов из-за болезни, она могла сесть в лодку и сама замечательно правила лошадьё, это был сильный человек. В двадцатые годы мы целой компанией выехали на поезде до станции Мозель в Белоруссии, там пересели на пароход, добрались по Днепру до Киева, а дальше — на лодке. Плыли долго, мама была на веслах, иногда ее сменяли Ада Михайловна Шведе и Вера Михайловна...

Анастасия Всеволодовна помолчала, что-то обдумывая, а затем вдруг сказала, что Августа Ивановна незадолго до смерти пыталась писать воспоминания, рукопись сохранилась, и, если мне интересно, она готова дать ее мне домой. Есть там и кусок о Вемишке — так ее семья называла Веру Михайловну.

Потом на старом проекционном аппарате мы рассматривали удивительные фотографические позитивы на стекле — Вера Михайловна в кругу Егорьевых.

Конечно, нам предстояло еще встречаться, но теперь хотелось скорее почитать то, что так щедро и бескорыстно было открыто мне.

Августа Ивановна писала в глубокой старости, будучи прикованной к постели, но, как говорила дочь, находясь в «светлом уме». Это скорее всего была попытка обдумать прожитое: имя Ермолаевой возникало только в конце книги.

«...С Верой Михайловной Ермолаевой мы познакомились в 1918 году, и это оказалась незабываемая встреча для всей моей жизни. Мы очень скоро стали друзьями. Я называла ее Вемишок, и дружба наша переросла в закадычную, и не только со мной, а со Всеволодом Евгеньевичем, моим мужем, и Тасей, когда она подросла.

Была Вера Михайловна человеком недожизненным. На редкость острый ум, образованность, широкие интересы, безграничная требовательность и к себе и к окружающим, огромный талант и доброта души. Дружба связывала нас до ее ареста и высылки из Ленинграда в декабре 1934 года, как тогда и для многих, незаслуженная и беспричинная. По словам вернувшихся товарищей, там Вера Михайловна и погибла...

Была Ермолаева инвалидом детства, с параличом ног.

...Девочкой Веру Михайловну возили за границу, в Тироль и в Инсбрук, там было специальное лечебное заведение, но, будучи очень подвижной и непоседливой, она не могла подчиниться требованиям и всю жизнь оставалась на протезах. Несмотря на полную атрофию ног, она все же проявляла великое мужество и характер, граничащие с героизмом, ходила на костылях, вернее, носила себя на костылях, никакие трудности и преграды ее не страшили.

Летом мы всегда жили на юге или на озерах под Ленинградом, где Вера Михайловна любила ходить под парусом. Она не боялась ни непогоды, ни сильного ветра, купалась и плавала все лето.

Не могу не вернуться и не сказать еще раз о большом насыщенном уме, как о первом ее таланте. Ее вторым талантом была живопись. И третьим — щедрость души, непомерная доброта, архичеловечность, которой она щедро одаривала друзей.

После смерти отца Вера Михайловна унаследовала большой капитал, но и деньги она широко тратила на помощь своим товарищам-художникам в тяжелое голодное время, на их питание, на поездки... и в конце концов осталась ни с чем.

Беседы и общения с ней были настолько ценны для меня, что многое и теперь остается неисчезающим из души богатством.

В начале двадцатых, когда Вемешок получила назначение в Витебск заведовать художественной школой, мы расставались с огромной грустью. В Витебске она провела несколько лет, там выросла она таких замечательных художников, как Юдин, Суетин, Нина Коган. Впоследствии они все преклонялись перед нею.

В Витебске Вера Михайловна сменила Шагала, туда приехал из Петрограда Малевич, с которым у Ермолаевой возник большой роман. Он заинтересовал ее и бесприметностью в живописи, и супрематизмом.

У меня сохранился последний автопортрет, а ее чудесные картины пропали в блокаду.

Из прошлого запомнилась одна наша поездка по Днепру.

Мой муж Всеволод Евгеньевич, как начальник кафедры Военно-Морской Академии, был вместе со слушателями командирован для практических занятий на Днепр. Местом его жительства стал военный корабль в Киеве. Нас с Тасей, как и семью своего помощника Шведе, Всеволод Евгеньевич устроил в пятидесяти километрах от Киева на берегу Днепра, совсем неподалеку от Триполя.

Деревня, где мы остановились, была прекрасно расположена среди леса, обширных полей, вблизи возвышенного днепровского берега.

Изба, которую мы сняли, была большая, светлая, окруженная огородами. Кормила нас хозяйка, жившая неподалеку.

Прогулки были замечательные, купаться оказалось вольготно, а пользоваться лодкой могли столько, сколько хотелось. И вот однажды я предложила поездку вниз по Днепру. Хотя Вемешок была на костылях, но тем не менее она сразу согласилась. Как я уже говорила, ее подвижность, сила и ловкость, жизнерадостность и энергичность просто нас восхищали.

Собрали провизию, захватили картошку, кое-какую одежду и... поплыли. Путь в шлюпке рассчитали на неопределенный срок.

Конечно, с нами была и Тася, моя дочь, ей только что исполнилось тринадцать, но она уже хорошо гребла, была вполне самостоятельной, решительной, да и подобные путешествия были для нее не впервой.

Вышли мы днем, часа в четыре. Первый отдых, как сейчас помню, сделали в восемь. Причалили к низкому берегу, разожгли костер, сварили картошку, выпили чаю и поплыли дальше. Уже начало темнеть, и вдруг на нас сзади надвигается военный корабль. Из маленькой лодки он показался громадным, даже сделалось страшно. Мы скорее пригребли к берегу, а когда корабль с нами поравнялся, мы вдруг увидели на борту Всеволода Евгеньевича. Мы ему закричали — Всеволод! — и замахали платками. Потом оказалось, что и они увидели нас. Командир приказал остановить корабль, но Всеволод Евгеньевич категорически отказался «сходить на берег», ему не хотелось нарушать служебный этикет.

Мы отправились дальше. Прошли мимо освещенного Киева и чуть ниже Черкесс вышли к противоположному берегу и наконец причалили у песчаного холмика для ночлега.

Помню, как рассердилась на меня Вемешок, когда я постелила на песок простыню для ее сна. Она посчитала это... непочтительным отношением к природе.

Ранним утром, разбуженные солнцем, мы позавтракали и хотели уже отправиться, но тут оказалось, что рядом с берегом, на котором мы ночевали, большой водоворот, и Днепр там расширен, и нам не выбраться, не зная фарватера. Мы кружили на лодке часа три, очень устали и, выбравшись на берег, приняли решение отдохнуть, а уж домой отправиться вечером.

Вот тут-то и случилась беда с нами: мы потеряли уключину, гребли с трудом, плыть пришлось и против течения и против ветра. Каждый раз, как только возникала на горизонте новая деревня, мы подходили к берегу, надеясь купить уключину, но... безуспешно.

С большим трудом мы проплыли половину пути, около двадцати пяти километров, изнемогли вконец и тогда решили, как бурлаки, тащить лодку на бечеве, идя по тропинке вдоль берега.

Местами я проваливалась, глинистая почва скользила, я уже еле передвигала ноги. И только в шесть утра, измазанные до колен, мы дотащились до дома. В конце концов эти двадцать пять километров нам очень понравились. Ночь была красивая, освещенная полной луной. Тася уснула по дороге, а Вемешка сидела как капитан и управляла рулем. Прогулка запомнилась на всю жизнь. Что касается памяти о Вере Михайловне, то она для меня свята и неизгладима».

Через несколько дней я снова пришел к Анастасии Всеволодовне, теперь у меня был сюрприз, и я хотел «открыть» его только в конце разго-

вора. В начале следовало еще раз попытаться подробнее узнать об Августе Ивановне, восстановить ту тоненькую ниточку, которая тянулась из прошлого к сегодняшним дням. Я не представлял истории их дружбы, а то, что знал, было не фактом, а чем-то иным...

Анастасия Всеволодовна с охотой отвечала на вопросы — все, что касалось Ермолаевой, было для нее воистину дорогим.

— Мама умерла недавно, но была она старше Веры Михайловны на десять лет. Восемнадцатый год оказался очень трудным и для нас, и для Ермолаевой, хотя для нее по иной причине...

Я слушаю с глубоким вниманием, меня интересует все.

— Как они познакомились? В Питере на Знаменской был Институт «Живого слова», и, мне кажется, мама увидела там выставку неведомой Ермолаевой, она была потрясена работами, а дальше как-то они встретились. Что касается института, то в нем бывали и Гумилев, и Горький, и Луначарский. Лекции там читал Кони, выступала Одоевцева, был холод и голод, а мама шла туда пешком, видимо, для них сильнее невзгод оказывалась жажда духовного...

Я расспрашиваю Анастасию Всеволодовну о семье.

— Если о нас, — говорит она, — то отец был адмиралом царской армии, его приговорили к расстрелу, но Дыбенко не только освободил его из-под ареста, но и дал работу в штабе. Что касается Вемишки, то она в те голодные годы уехала в Витебск, возглавила там Институт художественной культуры.

Это я уже знал. Пришло время, когда места, связанные с Малевичем, в частности, Витебск, оказались в центре внимания искусствоведов.

— У Ермолаевой и у Малевича были периоды разных отношений. В 1922 году они вместе возвращаются из Витебска в Петроград, здесь и начинается ее работа в Институте художественной культуры. Вера Михайловна возглавляет лабораторию цвета, а директорствует в институте Казимир Северинович, рядом трудятся и Татлин, и Мансуров, и Пунин, и Суетин, и Чашник, и Рождественский, и Стерлигов. В 1926 году институт закрывают, но Вера Михайловна уже к этому времени порывает с Малевичем.

Анастасия Всеволодовна бросает на меня живой взгляд и, чуть склонив голову, полупшепотом говорит:

— Мама и Вемишок были в Филармонии. В антракте Вемишка вдруг обняла маму и сказала, что с Малевичем она порвала. Маме казалось, что Казимир Северинович был в чем-то нетактичен, обидел, а то и оскорбил Ермолаеву. По крайней мере, мама утверждала, что о Малевиче Вемишок позднее просто отказывалась вспоминать, в этом чувствовалась ее боль. Да и разрыв с супрематизмом, уход от концепций Казимира Севериновича тоже, как мы считали, в какой-то степени был связан с личным...

Я возвращаюсь к аресту Веры Михайловны. Эти месяцы Анастасия Всеволодовна прекрасно помнит.

— Кто-то из бывших учеников отца, работавший в ГПУ, сообщил ему приговор. Мы-то ничего не знали. В марте 1935 года отец долго прятался на железнодорожных путях, ему удалось узнать, где пройдет эшелон, в котором провезут заключенных... Друзья собрали деньги, и отец как-то сумел передать пакет Вере Михайловне. Это, пожалуй, все, что я знаю. Ни писем, ни вестей из тюрьмы от Вемишки не приходило.

...Уже сумерки. Мы сидим неподвижно, каждый думает о своем, сколько бед знала эпоха, какое дикое прошлое было у этого поколения!

— ...У Ермолаевой... — голос Анастасии Всеволодовны срывается. — У Вемишки были громоздкие кожаные сапоги с шарнирами, которые делали колени квадратными, как шкаф, и корсаж кожаный, подогнанный, специально сшитый для нее. Протезы высоко зашнуровывались, корсаж соединялся металлическими кольцами. Чтобы сесть, Вера Михайловна отстегивала «суставы», по сути «живых» ног у нее не было, двигаться она могла, только перенося себя на руках...

Анастасия Всеволодовна бросает на меня гордый, многозначительный взгляд.

— Но это была женщина. Ни комплексов. Ни унижения от беспомощности она не испытывала...

*Из разговора с Верой Михайловной Ермолаевой
через петербургских трансмедиумов 18 марта 1994 года*

Семен Ласкин: Вера Михайловна, расскажите, как вы познакомились с Малевичем, какие отношения у вас были?

Вера Ермолаева: Я выстрадала право не говорить о нем. Это больно до сих пор. Я хотела бы не знать его, мне трудно. И нужно еще время, чтобы не помнить об обидах, забыть некоторые эпизоды нашей жизни...

Он узнал обо мне, пришел ко мне, попытался преподавать мне уроки. Я не могла от него оторваться. Была в нем какая-то сила. И я даже не знаю, это была не страсть, нет. Но ему было необходимо подчинить меня, а мне было необходимо оставаться свободной. Но мне было необходимо и общение с этой яростной личностью. И смелым человеком. Он давал то, чего у других не было. И был так свободен ото всех, что это притягивало и делало нормальное общение невозможным. Любви не было. Но тяга к нему была огромной. Однако, как только мы приближались, начиналось отталкивание и... тоже странное.

Вечером к Егорьевым пришел Лева Юдин. Маленький, щуплый, поху-девший за последние несколько месяцев, теперь он напоминал подростка. Егорьевы знали, что в прошлом месяце всех художников, кто бывал в доме Ермолаевой, вызывали в НКВД. Лева говорил шепотом, точно боялся, что и здесь некто его подслушает, а уж тогда последствия непредсказуемы.

— Что же вы могли им рассказывать, Лева? — волновалась Августа Ивановна. — Какой такой грех перед страной могла совершить больная, обезноженная женщина?

— Ах, Августа Ивановна, — говорил молодой человек. — Они пишут то, что им хочется. Вы подробно отвечаете на вопросы, стараетесь объяснить, что и быть подобно не может, а потом читаете свои показания, и там все наоборот.

Он казался потерянным. Нервничал, сбивался, было видно, какая тяжесть лежит на плечах еще недавно такого веселого человека.

— Бог мой! — едва не плакала Августа Ивановна. — Какой же Вемишок враг! Как им не стыдно!

Худой, высокий, тщательно выбритый Всеволод Евгеньевич все время расхаживал по комнате, доходил до окна, резко поворачивался и, словно просчитывая шаги, двигался к двери.

— Но ты-то что молчишь, Сева! Посоветуй! — воскликнула Августа Ивановна, ее щеки и лоб покрылись красными пятнами, арест Веры Михайловны оказался для нее потрясением. Происходившее поражало. Конечно, коммунистическая партия, в идеи которой Августа Ивановна искренне верила, должна действовать. Только что был убит Киров. Никто не представлял, что в стране так много врагов. Но Вемишка! Как можно подумать, что врагом страны, партии, в конце-то концов, может быть эта больная прекрасная женщина!

— Куда же идти! — мрачно сказал Лева. — Они выполнят все, что задумано, да еще и тех, кто ходатайствует, прихватят. — Он опять перешел на шепот. — Скольких взяли. Володю Стерлигова, Машу Казанскую — а это же девочка, ребенок. Да и Нина Осиповна Коган, такая слабая и беспомощная. И все же берут, сажают, что им ваши аргументы, Августа Ивановна. А совсем молодые ребята из группы Стерлигова: Саша Батурин, Олег Карташев, им и двадцати еще нет...

Всеволод Евгеньевич неожиданно остановился, положил руку на острое Левино плечо, сжал пальцами. Юдин застыл, вытянул шею, понимая, что Егорьев что-то хочет сказать.

— Дайте мне день, — медленно выговорил Егорьев. — Может, удастся хотя бы что-то узнать о ней...

Августа Ивановна тревожно поглядела на мужа. Как профессор-теоретик, бывший генерал царской армии пособит близкому и дорогому человеку? Она боялась за мужа. Не так уж давно и он считался врагом советской власти, а теперь, если только Всеволод сделает опрометчивый шаг, эти люди воспользуются любой промашкой, накажут уже не только его, но и семью. Таких вокруг было много.

— Как ты можешь узнать о ней, Всеволод! — воскликнула Августа Ивановна. — Туда нельзя. От тебя, как от умного человека, я ждала только совета. Они поймут по-своему, это наверняка станет еще одной бедой для всех нас!

Егорьев ничего не ответил. Видимо, ни Августа Ивановна, ни Лева не должны были даже предположить того, о чем думал он.

*Из разговора с Львом Александровичем Юдиным
через петербургских трансмедиумов 18 марта 1994 года*

Семен Ласкин: Лев Александрович, мне удалось познакомиться с вашими дневниками, в них вы много раз упоминаете Веру Михайловну, но записываете о ней очень мало.

Лев Юдин: Если в моих дневниках мало о Вере Ермолаевой — это ноль мне. Наверное, так бывает. Большое не требует описания.

Что же сказать вам? Многое я понял благодаря ее тонким и точным репликам. Бывало, мы разговаривали о ком-то конкретном, и вдруг она начинала рассказывать о некоем новом шедевре именно этого только что названного художника. Шедевре, которого нет и никогда не будет. Она придумывала шедевры за них и так описывала, что мы невольно начинали ей верить. А потом узнавали, что это розыгрыш. И постепенно понимать начинаешь — на чем она всех провела. И не хочешь, а невольно увидишь творческую суть этого лица, то, чего никто другой за него сделать не сможет. Бывало, даже маленькие художники у нее писали «шедевры». Она увидит главное и увеличивает до собственных размеров. Это тоже была школа...

...Федоров внимательно перечитал все, что было написано агентом 2577, этим симпатичным и таким исполнительным и обстоятельным парнем. Работа шла замечательно.

Федоров дочитал отчет и внимательно поглядел на агента: этому многое можно простить, сын священнослужителя — отказался и от родного отца, и от своего меньшевистского окружения, верой и правдой помогает он новой жизни. А чего же хотят эти арестованные?

Федоров красным карандашом подчеркнул несколько фраз в отчете агента:

«Наиболее резко и часто Ермолаева говорила о коллективизации деревни, указывая, что насильственные методы довели страну до обнищания. В одной из бесед Ермолаева, в подтверждение своих антисоветских оценок, рассказывала мне о вымирании дальних деревень на Украине. По остальным вопросам советской действительности Ермолаева высказывала аналогичное мнение».

Федоров перечитал редкое для него слово «аналогичное», но уточнять его значение у агента не стал.

«В частности, она выступала против судебных процессов над вредителями и контрреволюционерами, указывая, что в этих процессах много раздутого».

Он прошелся по кабинету, чтобы чуточку успокоить себя, бросил взгляд на агента.

— Ты прав, — сказал Федоров. — Эти негодяи считают, что в нашей борьбе с контрреволюцией многое преувеличено, но теперь, когда убит Сергей Мироныч, им такое сказать сложнее. Одна банда, ты верно пишешь.

Он вернулся к столу и чуть передвинул лампу в сторону парня. При свете искренности прибавлялось. И внешне 2577 был красив. Высокий, с хорошим цветом лица, черными большими глазами. Как он отличается от

тех, кого все эти дни водили сюда на допрос. Бесспорно, такой заслуживает одобрения. А раз заслуживает, то и будет его иметь.

Федоров отодвинул стул. По сути органам вполне достаточно написанного, чтобы надолго посадить всю эту антисоветскую дрянь.

Он стал дочитывать текст.

«Ермолаева считала, что всякая попытка включить советскую действительность в искусство приводит к его гибели, так как при этом будет выпячиваться предметно-сюжетная сторона и утеряется культура живописи. Свои антисоветские настроения Ермолаева выразила в серии контрреволюционных рисунков-иллюстраций к «Рейнеке-Лису», где она дала обобщенную отрицательную оценку окружающему».

Он отодвинул лист от себя и спросил:

— Кто такой Рей-не-ке-лис?

Агент поднялся. Федоров ценил уважение, хотя никогда не требовал, чтобы единомышленники говорили с ним стоя.

— Да не вскакивай, — добродушно сказал он. — Объясни, что Ермолаева навывдумывала, кто этот Рей-не-ке, белогвардеец?

Агент так и не сел. Разговаривать, когда на тебя светит лампа, не так-то просто. А отворачиваться — значит выказать неуважение к следователю.

— Рейнеке-Лис — главный герой поэмы Гете.

— Но Гете жил давно, как же она могла через Гете?

— Могла, хорошо могла, — заволновался агент. — Я хочу сказать, что поэма Гете дает возможность... намекнуть на современность, на сегодняшний день. И то, что давно происходило, выглядит как сейчас, это сильнее и даже более для строя.

Этот парень был почти на голову выше, и теперь, когда Федоров опять рассказывал по кабинету, думая над только что сообщенным, ему не хотелось выглядеть маленьким. Именно он, Федоров, должен восприниматься как власть и как сила.

— Садись, садись, — мягко повторил Федоров. — Что стоять? Ты же не стоишь у себя дома, когда разговариваешь с друзьями. Мы для тебя друзья, запомни.

На часах было два. Пожалуй, раньше трех ночи машину не дадут, значит, спешить не стоит, в конце-то концов при их адской занятости книги писателя Гете могут читать и агенты, задача у следователя другая.

Он достал из стола шашки, выбрал черную и белую и протянул вперед руки.

Агент несколько секунд с удивлением смотрел на кулаки, потом торопливо указал на правый. Федоров улыбался. У него было широкое, толстое лицо, пухлый нос, и 2577-й внезапно подумал, что в других обстоятельствах он просто сжал бы его нос как клизму. Впрочем, других обстоятельств уже и не предполагалось, о них оставалось только мечтать.

— У тебя черные, — сказал Федоров и перевернул коробку. — Расставляй. И рассказывай об этой лисе, как там ее по отчеству.

— Рейнекс, — напомнил агент.

Федоров сделал первый ход.

— Ну, что эта сука собиралась изобразить, прикрываясь Гете?

— Видите ли, — сказал агент, — подставляя одну шашку за другой и совершенно безразлично поглядывая, как Федоров убирает с доски то две, а то и три его фигуры, — Рейнеке-Лис живет в царстве дураков, лжецов, развратников, хищников. Да и сам он главный развратник...

— Это на кого же из наших, как думаешь, намекает мадама?

Вообще-то истории про разврат были Федорову даже приятны, но теперь... появлялось совсем другое.

— С кем же путался Лис?

— Ну, скажем, с волчихой Гермундой. Разозлил, заставил за собой погнаться, а сам пролетел сквозь дыру в заборе, только она оказалась потолще задом. Вот и получилось, что голова у волчихи по одну сторону, а зад — по другую. Он обежал и с удовольствием ее ухайдакал.

Федоров рассмеялся и тут же «съел» шашку, противнику пора было сдаваться.

— Кто же из наших Гермунда?

Агент думал.

— Жена волка.

— Жена? Тогда это жена наркома, не меньше...

— Вполне возможно.

2577-й развел руками, мол, тут ничего не прибавишь. И сам смахнул шашки, показывая, что побежден.

— Нет, еще поиграем, — Федоров поглядел на часы: было всего половина третьего. — Давай-ка, братец, подробнее мне про Лиса. — Он покачал головой. — Надо же! И почти не баба, а все равно за любовь берется. Конечно, враг во всем враг, эти могут любое... лишь бы нагадить Советской власти.

— Но я говорю о поэме Гете, — напомнил агент. — Такого рисунка у Ермолаевой я не видел.

— Не сбивай, братец, — пожурил Федоров парня. — мы и без тебя сообразим, кто и что настроил против рабоче-крестьянского государства. Давай дальше...

Он отклонился на спинку кресла. Агент читал этого «Лиса», значит, тратить на пустяки драгоценные сутки — глупо.

— В поэме все просто. Нобель — король — решает созвать верных вассалов.

— Чем же он нобель?

— Нобель, имя такое, а вообще-то он лев.

— Лев Троцкий?!

Агент покачал головой.

— Вряд ли. Этот Лев в конце книги берет Рейнеке к себе в свиту.

— Понятно, — Федоров что-то пометил в блокноте. — Ишь негодяи! Пишут «Нобель», а думать нужно иначе. — Он и здесь не решился назвать дорогое для партии имя. — Заслуженных людей обзывать «Нобель»!

— ...На приглашения являются все, кроме Рейнеке-Лиса. Родовая знать, Лютке-Журавль, Маркет — птичка, волк Изергим, песик Вакерлос, кот Гинце — знать всего царства. И каждый жалуется на Рейнеке, Лис всех умудрился обидеть.

— Как же?

— Колбасу отобрал у Гинце, сожрал детей у курицы Скребножки, хотя перед этим клялся никогда не питаться мясом. Еще раз обманул Гермунду, волчиху, уговорил ее сунуть свой хвост в прорубь, а когда хвост примерз, снова ее ухайдакал.

— Понятно, — кивнул Федоров. — Книжка не самая умная, если ее герои вруны, развратники и негодяи.

— Но главное — Рейнеке-Лис выдающийся провокатор. Подставляет друзей короля, а затем наслаждается их крахом. В конце концов автор пишет: «Рейнеке — вор, предатель, убийца... Лжив он до мозга костей».

Федоров записал нужную фразу.

— И чем кончается книга?

— Победой Лиса. Я только что говорил, Нобель вводит его в госсовет...

— В горсовет? — Федоров и это пометил.

— В государственный совет, это больше.

— В наркомат, понимать надо?

Дверь распахнулась, вошел Тарновский.

— Ну, как работа? — Прощел мимо агента, протянул руку Федорову, а к 2577-му встал спиной.

— Могу сказать, что безногая сволочь кое-чего стоит. Завтра я постараюсь, чтобы она написала все, о чем думала, когда рисовала антисоветские штучки.

Тарновский хмыкнул.

— Медведь на легучке сегодня говорил о тебе с похвалой, был тобой очень доволен.

Агент 2577 вздрогнул: о медведе Брауне он просто забыл рассказать, а ведь Медведь — это начальник ленинградского НКВД, может, и о нем помнила Ермолаева, когда взялась за иллюстрации к этой странной для нынешней жизни книге. Впрочем, в рисунках к «Лису» он вроде Медведя не видел.

— Иди, — Федоров протянул агенту подписанный пропуск. — Я вызову, если будешь нужен. — И повернулся к Тарновскому. — А книжка, которую эта бабища рисовала, — страшное дело. Контра, другого не скажешь. Берут, понимаешь, историю у писателя Гете и делают так, чтобы каждый подумал о нашей жизни. Намеки, одни намеки. Ну ничего, я ставлю ее поплакать.

**ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ОТ 27 ЯНВАРЯ 1935 ГОДА,
ПРОВЕДЕННОГО СОТРУДНИКОМ 4-го ОТДЕЛА СПО ФЕДОРОВЫМ А.**

Гражданки Ермолаевой В. М., русской, подданной СССР, художницы, на учете горкома ИЗО, дворянки, холостая, б/п.

В о п р о с: Вами был сделан ряд рисунков в антисоветском духе в виде иллюстраций к поэме Гете «Рейнеке-Лис». Расскажите подробно о содержании данных иллюстраций, а также когда они были сделаны.

О т в е т: В 1933 году мною были выполнены в антисоветском духе пять иллюстраций к поэме Гете «Рейнеке-Лис». Действующие лица в поэме Гете мною были представлены в современных нам образах, а содержание в них следующее:

ПЕРВЫЙ РИСУНОК: Сам Рейнеке-Лис, персона мелкого калибра, устроившись на службу в ГПУ, носит шинель в талию с отворотами на рукавах, шинель красного цвета.

ВТОРОЙ РИСУНОК: Рейнеке-Лис и Гринберг-Барсук. Тот же Рейнеке-Лис в красной шинели разговаривает со своим соседом, начетчиком диалектического материализма и составителем марксистской энциклопедии.

ТРЕТИЙ РИСУНОК: Тот же Рейнеке-Лис утром, в туфлях и галифе, без подтяжек, у примуса кипятит молоко своей супруге, презрительно встречает угодливо подлетающего к нему Гинде-Кота, в образе спекулянта, имеющего юридическое образование и любящего хорошо пожить.

ЧЕТВЕРТЫЙ РИСУНОК: Суд над Зайцем. Заяц-обыватель перед тройкой по паспортизации, где сидят три волка за красным столом, наводят смертный ужас на Зайца, при этом шепчутся и курят.

ПЯТЫЙ РИСУНОК: Рейнеке-Лис и Волчиха. Роман под тремя громкоговорителями. Рейнеке-Лис в штатском проводит служебные досуги в радостях жизни.

В о п р о с: Какую основную мысль вы проводите в упоминаемых иллюстрациях?

О т в е т: В упоминаемых иллюстрациях в образе Рейнеке-Лиса выражено мое отношение к органам ГПУ, которое, в силу моих антисоветских настроений, естественно, было отрицательным, как к органу, борящемуся за укрепление Советской власти. Добавлю, что иллюстрации сделаны мною в период паспортизации под влиянием того, что мне долго не давали паспорт.

В о п р о с: Кому вы подавали сделанные вами иллюстрации к «Рейнеке-Лису»?

О т в е т: Эти иллюстрации я подавала ряду лиц, смотревших мои работы.

Федоров перечитал написанный им текст. Вполне убедительно! И достаточно складно. Правда, одно под вопросом: 2577 называл племянника Гринбарт-Барсук, но что это за фамилия такая Гринбарт, скорее Гринберг, директор издательства в Ленинграде, арестованный совсем недавно, в таком варианте все становится четким.

Охранники подтащили стул с Ермолаевой, и Федоров протянул ей листок протокола. Она читала и читала одно и то же. Было ощущение, что эта баба уже ничего просто не понимает. Два раза она тыркалась носом, будто бы падала в обморок, но охранник держал ее за воротник, как за ошейник, и она снова тыркалась в текст, делая вид, что теряет сознание.

— Чем быстрее подпишешь, тем раньше отпущу в камеру, — посоветовал Федоров.

Она посмотрела на следователя. Впрочем, на следователя ли она смотрела? Блуждала пустым взглядом по кабинету.

— Подписывай, — напомнил Федоров. — Теряем время.

Федоров обмакнул перо в чернильницу и вставил в сжатые пальцы Ермолаевой. Она снова ткнулась в стол носом, потом долго и удивленно

рассматривала себя в толстом стекле. Федоров приподнялся: что это ее заинтересовало? И улыбнулся: не узнает себя.

— Ну, — он прикрикнул. — Скорее.

Она выводила фамилию.

Федоров вздохнул. Ох, как надоели эти интеллигенты, каждый хочет какую-то свою правду, а правда одна, та, что может быть только на пользу Советской власти.

Федоров помазал страницу клеем и вложил в «дело». Оставался пустяк: передать материалы «тройке». Впрочем, «тройка» не станет тратить на таких время. Поглядит кто-то один и подпишет. А дальше, как говорится, леги, птичка! Товарняк довезет, маршрут известен...

— В камеру! — приказал он.

Ермолаеву потащили. Она висела в руках охранников, и Федорову было забавно смотреть на вогнутую ее спину. «Уродка, — подумал он. — А все равно мечтает кого-то свергнуть. Только власть-то их посильнее, власть сама кого хошь ломает».

В Русском музее сохранилась маленькая, размером 15x19, цветная литография из цикла «Рейнеке-Лис». Трудно понять, отчего же ее-то, пятую картинку, по записям Федорова, как, вероятно, и четыре первых — вещественное доказательство совершенного преступления арестованной Ермолаевой — не пришили к «делу»? Может, оттого, что следователю Федорову трудно было бы отыскать в ней и «начетчика диалектического материализма», и «составителя марксистской энциклопедии», и даже «специалистов, имеющих юридическое образование», не говоря уж о «работниках ГПУ». Был просто Лис, а рядом волчиха Гермунда, в длинном, как у самой Ермолаевой, платье до пола. Три репродуктора висели над ними, вот они-то и говорили, что время наше, а не то, в котором жил «этот писатель Гете».

На лестнице охранник слева отпустил руку, и Ермолаева ударилась головой о каменные ступени, а когда открыла глаза, охранников уже не было. Да и лестницы не было. В камере вокруг нее стояли девицы.

— Что же такая больная против них может?

— Значит, может. Только не то, что мы с тобой, муха.

Девицы расхохотались.

— Ну-ка закинем ее на нары. — Они схватили Веру Михайловну за ноги и за руки и потащили к стенке. — Лежи! И запомни: мы здесь тебе больше нужны, чем ты нам, так что не зазнавайся.

Из статьи Е. Ф. Ковтуна в альбоме «Авангард, остановленный на бегу»: «Александр Батулин сидел в одной камере с арестованным тогда же художником Павлом Басмановым. Их вызывали на очную ставку со Стерлиговым.

Владимир Васильевич рассказывал:

— Сидим за столом на очной ставке: я и Басманов. Напротив следователь Федоров, все время пистолет и тяжелые предметы к себе подтягивает.

«А вот Басманов говорил, что вы не советский человек».

«Я этого не говорил».

«А Стерлигов говорил, что вы кулак».

«Я этого не говорил».

Тут начинают, нагнетая нервозность, через кабинет бегать какие-то люди и кричать, что нас будет судить народ. Басманов встал и что было силы ударил кулаком по столу, так что все предметы подскочили. И снова сел. Федоров крикнул: «Увести их!»

**Из разговора с Верой Михайловной Ермолаевой
через петербургских трансмедиумов 14 декабря 1994 года**

Семен Ласкин: Вера Михайловна, я хотел бы спросить, что считаете вы особенно важным в своей судьбе?

Вера Ермолаева: Это сложно. Потому что дело не в том, какие моменты прожиты человеком, а как он строил жизнь. Как он развивал свою жизнь.

Бывает, что яркие и запомнившиеся многим эпизоды не имеют большого значения для развития, потому что не дают толчка ничему. А вот иногда незаметная мысль или прогулка, которую невозможно выделить из потока жизненных эпизодов, дает такой толчок, от которого содрогнется судьба.

Можно вспомнить, как на вечеринке с молодыми, — я ведь тоже была молодой, — говорили о том, что цвет имеет значение, и мистическое, давали даже какие-то определения цвета, связанные с чем-то вне зрения и ощущений. Я не могла поддержать разговор, это было для меня неправдой. И разговор не продолжился, удох постепенно. Ведь со мной нелегко было спорить. Я бывала безжалостна, когда начинала кого-то высмеивать.

Но вкус этого разговора остался во мне. И я начала прислушиваться к цвету и даже к линии по-другому. Наверное, после этого я перестала бояться несочетаемых, невозможных сочетаний цветов. Я начала прислушиваться к тому, что будет за цветом. Иногда получалась нелепость, но потом оказывался какой-то смысл, сила и неожиданный настрой.

Иногда мне казалось, что линия не держит цвет. Это было для меня неожиданным. Но ничего здесь логического не возникало, и я опасалась говорить на эту тему.

А еще я могу сказать, что в детстве очень хотела понять, какого цвета вода. Может, она и заставляла взглядеться в краски.

Не нашла я цвета воды. И найти не сумеет никто. Потому что вода имеет цвет всего мира.

А о каких-то эпизодах, встречах, книгах, по-моему, говорить банально, потому что все имеет начало развития и его конец. Конца не имеет то, что не обозначено его началом.

Семен Ласкин: Вера Михайловна, кого все-таки вы могли бы назвать своим учителем?

Вера Ермолаева: Я боюсь назвать одного кого-то или даже просто определенного художника. По-настоящему жадный к творчеству человек обучается у всех, даже у маленьких неразумных деток, которые, может быть, в первый раз взяли кисть. Потому что обучаться — это заметить неожиданное и невиданное раньше, это что-то понять или заметить хотя бы. Не отбрасывая только потому, что это не мастером сделано.

Сейчас вижу, что была зависима от всех, с кем общалась. Иногда они не видели, что сделали, а я уже прибирала себе.

Семен Ласкин: Как хорошо сказано!.. Вера Михайловна, вы уже говорили о своих сложных отношениях с Малевичем, но все-таки, что вас сближало с ним как с художником? Вы же очень разные.

Вера Ермолаева: Бесстрашие его. И любовь к непонятному. Он часто не знал, что конструирует. Он сочинял на ходу. И надеялся, что эти дурацкие его конструкции изобразят непонятное в нем. И только запутывал и себя и других бесплодностью этой, особой своей.

...Иногда, правда, в каких-то чистых линиях возникал он — Малевич. Но, наверное, он не знал, не признавал себя, потому что опять начинал строить бесполезные глыбы. Мне жаль его было. Он оказывался слишком независимым, чтобы оставаться разумным. Разум в творчестве обязан быть. Нет, не тот разум, который может позволить не отблагодарить натуру или воспользоваться чужим сюжетом, не тот разум, который использует своего друга для того, чтобы обеспечить себе выход в зал, но разум, который объединяет художника и остальной мир. Объединяет, а не делает его уж очень отвлеченным от мира...

Семен Ласкин: Вера Михайловна, мне очень интересен и ваш витебский период. Какая атмосфера царил там?

Вера Ермолаева: Это было время, когда молодые люди не только работали о творчестве, они учились видеть свое участие в нем. Было радостно наблюдать увлеченных, но я не могу сказать, что это была самоотверженная работа людей. Нет, пожалуй. Был интерес. Было желание получить настоящие навыки. Было желание отдать себя искусству, но не беспредельное желание. Все-таки это была обстановка, в которой можно было заняться и собственными про-

блемами. Может, поэтому я не могу назвать это время большим счастьем. Не-ет. Не бывало такого, чтобы художники собирались только чтобы поговорить о творчестве. Они сплетничали, болтали, развивали сюжеты, иногда непристойные. Они думали и о том, как карман набить. Они жили совсем по-разному.

И все-таки отличие есть. Когда оставался художник один, у него оставался один сюжет — это его душа. В Витебске, все же, у художников, кроме души, бывали и другие сюжеты.

Семен Ласкин: Простите, Вера Михайловна, я не могу не спросить и еще об одном «витебчанине», о Шагале. Или вы совершенно с ним не были связаны?

Вера Ермолаева: Он знал обо мне. Я видела его работы. Это было любопытно. Но меня, пожалуй, он пугал. Казалось, он не желает жить на земле.

Наталья Федоровна: Жил в четвертом измерении?

Вера Ермолаева: Он, вероятно, жил именно там. А люди строили себя по меркам земным. Но мне кажется, он, не видя моих работ, понимал меня лучше, чем многие мои друзья. Он чем-то иным видел. Он будто был вне земли. Душа его вырвалась из него и руководила человеком, а человек в счастье большим отдал себя ей. Не сопротивлялся. Поэтому и не находил человеческого покоя. Поэтому и не понял моих отношений с людьми. Поэтому и остался для многих и теперь чужим. Сейчас все, кто говорит о своей любви к Шагалу, не любят его. Они, конечно, знают, что его любить положено. И боятся быть вне правил. Любить этого художника могут только те бескорыстные живые души, которые мало понимают отношения земные и готовы выложить себя для других. Это то, чем проверять можно людей.

Семен Ласкин: Вера Михайловна, а что для вас особенно важно в ленинградском периоде после возвращения из Витебска, последние десять лет?

Вера Ермолаева: Это была взрослая жизнь, в которой нужно было устроить и себя, и свои отношения с окружающими. И здесь была не только творческая задача. А творчество, когда мы вернулись, — за него становилось уже тревожно. Жизнь потекла странная, плоская немного. Но мне любопытно было в этой плоскости все же построить свою плоскость. Не было еще понимания, что к плоскости требуется и объем строить. А непонимание этого и погубило всех нас.

Нам хотелось попробовать новой жизни. Надежда была, что это только начало. какой-то фундамент, у которого небольшой срок. Сначала чертежи делают, потом закладывают фундамент, а потом уже возводят большое здание... Здание пока так и не начали строить. Ну, ничего. Мне кажется, что и наши чертежи не пропадут.

Всеволод Евгеньевич ждал своего ученика Володю Краминского, как и договорились, на углу Шпалерной и Литейного. Несколько лет назад Володя считался любимчиком профессора, вся кафедра не сомневалась, что для этого парня место в науке давно обеспечено. Егорьев и не скрывал, что Краминский — единственная желанная кандидатура в аспирантуру. И вдруг все надежды профессора оказались перечеркнутыми. Володю куда-то вызывали, он стал исчезать с кафедры. Всеволод Евгеньевич, которому очень хотелось, чтобы исследовательская тема, взятая еще студентом Краминским, была доведена до конца, был крайне расстроен. Товар следовало показать лицом, но Володя явно скис, о науке говорил с тоской в глазах, и наконец сознался, что никакие прогнозы по его кандидатуре сбыться не могут; он был вызван сначала в партком, затем в ГПУ, где ему не дали выбора: он вынужден был или положить партбилет, или идти туда. Егорьев по своей натуре считался медлительным скептиком, но тут только развел руками: кто-кто, а уж он-то, бывший царский адмирал и ученый, не мог не знать, что с такими инстанциями лучше не спорить, пострадает и Володя, и он, его наставник.

На какое-то время Краминский исчез, о нем забыли почти все на кафедре, однако теперь, когда случилась эта страшная история с Ермолаевой, Егорьев решил ученика отыскать.

Важным казалось и еще одно: Краминский видел Ермолаеву у них на даче в Васкелово. Она постоянно уходила на озеро, писала пейзажи, а вечером они все смотрели работы, восхищались и много говорили не только о живописи, но и о музыке, о литературе...

Володя не молчал. Ему хотелось спорить с художницей. А Верочка глядела на него снисходительно, мальчик нравился ей своей независимостью.

Было темно. Всеволод Евгеньевич перешел к фонарю: второй час ночи. Володя крепко опаздывал, а ведь договаривались встретиться на Литейном не позже полуночи.

Мороз стоял жуткий. Егорьев подпрыгивал, пальцы ног свело холодом, когда-то обмороженные, они и теперь сразу реагировали на стужу. Невольно тревожила мысль, нет, Краминский не придет. НКВД это не армия, это строже, Володю могут не отпустить.

Теперь Всеволод Евгеньевич расхаживал по тротуару, народу на улице не было, город будто бы вымерз. «Нет, — уговаривал он себя, — ждать и ждать, случай может не повториться».

Невдалеке виднелась Нева, в слабом свете, падающем с моста, лед казался неровным, черным. Вероятно, его взрыхлили проходившие ледоколы, а затем льдины опять смерзлись, образовав взгорья.

Всеволод Евгеньевич резко повернулся на шум подъехавшей «Эмки». Открылась дверца, и некто низким, неузнаваемым голосом позвал:

— Товарищ Егорьев! Опаздываем!..

Он все же понял: Володя! И это непривычное обращение по фамилии, и даже слово «товарищ» подчеркнуло особые, «тайные» обстоятельства, в которых теперь оказывались они оба.

Всеволод Евгеньевич бухнулся на заднее сиденье, осторожно пощупал карман. Сверток выпирал. Шофер даже не кивнул на интеллигентское «здравствуйте», да и Краминский застыл, смотрел на дорогу, казалось, его совершенно не волнует человек, только что севший в машину.

Будто бы греясь, Егорьев осторожно перенес пакет за пазуху, видно, теперь все же можно было надеяться на какое-то развитие их «незаконного», но такого важного дела. В нынешней странной ситуации правильнее молчать.

Три дня назад, когда Всеволоду Евгеньевичу удалось дозвониться до Краминского, а затем рано утром встретиться на такой же морозной улице и рассказать о происшедшем, Володя долго и мрачно молчал. Просьба профессора, видимо, была ему не по силам.

— Не знаю, не уверен, что все это нужно, — сказал наконец он, обрывая нервный рассказ Егорьева. — Сейчас начальство не доверяет даже своим, каждый под наблюдением, мы можем пострадать оба.

— Но какой же враг наша Верочка? Вы же видели ее, знаете, это беспомощное существо! — едва сдерживаясь, говорил Егорьев.

Ему было неприятно, что человек, которого он воспитал, трусит, оглядывается по сторонам, испуганно просит уменьшить пыл.

Мимо молча прошли мужик в полушубке и женщина, повязанная шерстяным платком. Егорьев чувствовал: никого на морозной улице они не интересовали. И все же Володя замолк, а когда двое прошли, заговорил о чем-то случайном, а потом еще долгим взглядом провожал неведомых людей.

— Хорошо, — сказал наконец Краминский, но Всеволоду Евгеньевичу ничего нового это «хорошо» не прибавило. Скорее в слове послышалось «хватит», «достаточно», «я не имею права».

Он протянул Егорьеву руку, но профессор застыл в нерешительности.

— Я постараюсь. Я возникну. Только если разговор будет по телефону, Всеволод Евгеньевич, ни одного вопроса. Да и при встрече ни вопроса до того времени, пока мы не одни.

Вот теперь они и оказались в той ситуации, когда любое слово, фраза или реплика становились опасными. Молоденький водитель в солдатской ушанке наверняка был таким же сотрудником ГПУ, опасаться следовало любого.

Куда ехали, Егорьев не мог даже предположить. Город заканчивался, привычные улицы сменились незнакомыми, низкорослыми постройками.

Ночь делала эти неведомые места совсем страшными. Переехали мост, несколько секунд машина нависала над железнодорожными путями. Товарные составы ждали рассвета.

Раза два им пришлось останавливаться перед патрулем. Володя выскакивал, доставал бумаги, и они снова катили по узким проездным путям, пока вдруг водитель не притормозил.

— Товарищ Егорьев, — сухо сказал Краминский, — отыщем начальника, затем договоримся о проверке охраны. Я пойду от первого вагона к концу, вы от конца к первому. Выполняйте.

Он выскочил из машины, хлопнула дверь, и теперь Егорьеву ничего не оставалось, как идти вдоль непонятного и вроде бы совершенно случайно-го товарняка.

Несколько шагов они шли молча, один за другим. Светло-серая луна в черном небе казалась единственной световой точкой, благодаря ей можно было чуть яснее ориентироваться на путях. Слава богу, метели не было. Но пухлый мартовский снег осел, походил на лед.

Всеволод Евгеньевич всматривался в темное пространство, не понимая, что за широкая преграда оказывается перед ним, пока вдруг не сообразил, что впереди не лес, а товарные составы, возможно, именно те, которые они видели несколько минут назад с высоты моста. Неожиданный фонарь вырвал фигуру Краминского, затем свет упал на Егорьева.

— Документы!

— Проверка, — сказал Краминский, и опять его голос, теперь начальственный и твердый, поразил Егорьева. — Товарищ со мной, вот распоряжение.

Стало слышно, как охранник шелестит бумагой.

— Идите.

Составы стояли и справа и слева, и Всеволод Евгеньевич понял: в них и должна скорее всего находиться Верочка.

— Это 442? — Краминский назвал номер состава. И хотя Егорьев не расслышал ответа, но понял: говорится ему.

Он пошел быстрее, оказался рядом с Краминским.

— ...женщины в двух последних?

— Как всегда.

— Политические отдельно?

— Ну кто же станет говно делить по частям? И ворюги, и проститутки, и кбнтрики все вместе. Пусть кбнтрики учатся у блядей... — охранник захохотал.

И Егорьев с ужасом услышал такой же веселый смех лучшего ученика.

— Точно! — с радостью воскликнул Краминский. — Лишь бы бляди не научились у них пакостям пострашнее...

Они прошли вперед, пока наконец Краминский не крикнул:

— Оставайся, — он неожиданно перешел на «ты», и Всеволод Евгеньевич понял, что здесь другое обращение к «товарищу по борьбе» невозможно. — Мне придется проверить документы на арестованных, а ты жди у женского.

— Слушаюсь, — твердо и привычно для себя сказал бывший адмирал.

— Впрочем, если я чуть задержусь, можешь вернуться в машину. Грейся.

Теперь Всеволод Евгеньевич остался один в тревожной темноте, между глухими стенами тюремных вагонов.

Он дошел до конца состава, нащупал, вероятно, закрытую на замок дверь и валявшимся кирпичом громко постучал по задвижке.

— Спать не даешь, падла, — вырвался женский сипловатый голос. В небольшом зарешеченном квадрате окна возникло оплывшее сонное лицо.

— Скажите, уважаемая, — обратился Егорьев, явно удивляя не очень-то привыкшую к такому обращению арестованную. — В вашей теплушке нет художницы Ермолаевой? Полная дама. На костылях.

Он поразился хохоту.

— Хромая, может, и есть, а вот дам, да еще и толстых, тут не осталось.

Тянуть со временем было нельзя. Егорьев лихорадочно думал.

— А вы не могли бы попросить подойти к окну ту хромую? — сказал он, озираясь по сторонам и явно боясь нанести вред Краминскому.

— Это как же зовут твою бабу? — спросил сиплый голос.

— Ермолаеву попросите...

— Ермолаева! — крикнула в вагон сиплая. И сама же ответила: — Здесь, здесь твоя муся. Давай ползи к форточке. Мы ее повернем к тебе жопой.

Вагон будто взорвался весельем.

Всеволод Евгеньевич съежился — он еще ни разу не слышал такого.

— Скажите ей... попросите подойти...

— Эй, на костылях! — Кто-то снова ответил матом, и вагон в какой уже раз колыхнулся от дикого гогота. — Нет, она повернуться не может. Мы все тут друг на друге лежим. Залезай к нам, пригодись.

Она что-то еще говорила, но Всеволод Евгеньевич не понимал.

— Скажите, мы помним, мы ее очень любим...

— И всё? — поразилась сиплая. — А передача?

— Принес, принес! — крикнул Всеволод Евгеньевич. — Вот, отдайте. Здесь деньги. Хотя я мало надеялся, что увижу, но мы собрали побольше... — Он кинул в окно пачку. Не попал. Деньги шлепнулись у ног.

— Погоди ты скакать, пада, — сказала сиплая. — Сейчас спустим веревку, а ты к ней вяжи.

Он и действительно увидел конец шпагата. Это было радостью, говорили, что в тюрьмах есть ларьки, и человек, у которого имеются деньги, может чуточку подкормиться, а значит — выжить.

Пакет исчез. Только теперь Всеволод Евгеньевич увидел, что темень стала слабеть, и уже ярче и четче начал различаться вагон, а за ним и дорога к мосту, и конец состава.

— Прилично кинул! — благодарно крикнула сиплая. — Спасибо, дяденька, за гостинец! Хромая тебя крепко целует...

Вероятно, она опять матернулась, в вагоне завибрировал смех. Но как Всеволод Евгеньевич ни напрягался, голоса Веры Михайловны среди веселья и шума он так и не слышал.

Он все же с надеждой подумал: «Не все же в мире худые люди, чтобы не помочь такому несчастному человеку...»

— Передайте, что мы очень переживаем. Уверены, что скоро ее отпустят. Пусть держится, как только может...

— Слышь, безногая?! — крикнула сиплая. — Он просит сказать, что будет ждать тебя вечно.

Егорьев стоял, задрал голову, но голоса Верочки все-таки не возникло. «Может, она у другой стены, далеко. Отдадут», — думал он, не очень-то надеясь на доброту заключенных.

— Она говорит, что ты тоже ей позарез нужен, — сказала сиплая и опять загоготала. — Заходи еще, если будет время.

Послышались шаги, стоять у вагона становилось опасно.

Торопясь, Егорьев пошел к машине. Водитель дремал. Дело сделано, вот главное. Верочка получила поддержку, они отдали ей все, что собрали. Самим-то проще: одолжат, а может, что-то удастся снести в ломбард. В конце-то концов главное — она.

Видимо, Егорьев заснул. Он открыл глаза, когда легковуха опять висела над освещенным мостом. Впереди покачивался Володя Краминский. Ах, если бы можно было поблагодарить его, обнять, то, что он сделал, неоценимо.

Рыжая громко изматерила ушедшего придурка. И Сонька-сизая и Тарма-сука подползли к ней и взяли пакет. Денег в нем было навалом, этого их гопе хватит надолго.

— Даже не знаю, к кому он припер, — смеясь, говорила Рыжая. — Сунул и смысл.

— Молодец! — сказала Тамарка. — Дурак херов. А с той хромой я пару дней все же сидела. Кобыла, хотя и на костылях. Она в соседнем вагоне.

— Враг народа?

— Она-то враг, а мы, Тома, друзья. Приедем на этап, купим поллитра и выпьем за ее здоровье.

Разговор с Верой Михайловной Ермолаевой через петербургских трансмедиаумов 21 ноября 1993 года

Семен Ласкин: Вера Михайловна, расскажите о вашей жизни в лагерях, если это возможно.

Вера Ермолаева: Я не валила лес, не копала землю, я была в очень хорошем месте. Я была грамотная и умела рисовать. Мне было доверено писать плакаты, то, что называлось: агитдела.

Работала я в «имении» дальневосточном и так была увлечена работой, что... сердце не выдержало.

Голод был не больше, чем когда я была молодой и непокорной. Правда, холодно было и очень недоставало людей.

Ко мне приставали начальники, но я умела не показаться, и они теряли ко мне интерес. Понимаете, во мне не было желания жить, потому что вокруг было так глухо, не доносилось ни одного живого слова, не было ни одного живого взгляда, невозможно было услышать ни одной мысли на понятном тебе языке. Это было убийственно, и потому я ушла.

Семен Ласкин: Самоубийство?!

Вера Ермолаева: Нет. Когда жить невозможно, а боль души невыносима и разделить ее не с кем, то человек уходит потому, что начинает остро понимать: жизни нет. Была, и уже больше ее не будет...

Я увидела на пересылках столько разных людей... Я поняла, что вся страна снялась и пошла по этапам, это я физически ощутила, когда оказалась среди страдающего большинства. И захотелось ухода. И мою душу взяли. И я благодарна тем, кто встретил душу мою и дал вздохнуть там, где лагерей нет...

Знаете, кто был рядом со мной, когда я ушла туда? Кто был там?.. Меня Дельвиг встретил...

Несколько месяцев я боялся рассказывать даже друзьям о последних фразах. Почему Дельвиг? Не вызовет ли это улыбку скептиков-материалистов, не поставит ли под сомнение все, что я ощущал как удивительное, пусть и необъяснимое событие своей жизни?

О Дельвиге, пожалуй, я читал не так мало. Это были и статьи, и предисловия к разным изданиям его стихотворений, а иногда и строки лицейских воспоминаний...

И вдруг, листая томик Пушкина, я вздрогнул, увидев знакомое имя. Эти стихи я забыл совершенно. Они назывались «Художнику», были посвящены скульптору Борису Ивановичу Орловскому. Пушкин посетил его мастерскую. Вероятно, в тот момент Поэту недоставало друга, остро чувствующего, возможно, не меньше, чем он сам, искусство. Событие произошло 25 марта 1836 года.

Грустен и весел, вхожу, вятель, в твою мастерскую:

Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе:

Сколько богов, и богинь, и героев!.. Вот Зевс громовержец,

Вот исподлобья глядит, дуя в цевницу, сатир.

Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов.

Тут Аполлон — идеал, там Ниобея — печаль...

Весело мне. Но меж тем в толпе молчаливых кумиров —

Грустен гуляю: со мной доброго Дельвига нет;

В темной могиле почил художников груст и советник

Как бы он обнял тебя! как бы гордился тобой!

(Курсив мой. — С. Л.)

Из статьи искусствоведа Евгения Ковтуна в альбоме «Авангард, оставленный на бегу»:

«...Ермолаева и Стерлигов получили по пять лет. Стерлигов рассказывал: их везли в Казахстан в одном эшелоне... В степи проводили проверки, всех выгоняли из вагонов, выстраивали и начиналось: «Встать! — Лечь!» Как тяжело было поднимать Ермолаеву!..»

Из воспоминаний Владимира Васильевича Стерлигова о художнике Петре Ивановиче Соколове:

«...Мы в лагере поставили для вольных спектакль «Доходное место». Мы — «заки», «заки» — это заключенные, ты — не ты, а «зэка» или «зак». Я — «зэка». Режиссеры, артисты, художники и прочие — ЗЭКА. Художники — это Петр Иванович Соколов, Вера Михайловна Ермолаева, Володя Дубинин и Владимир Васильевич Стерлигов. Все вместе — это Москва, Ленинград, Киев, Харьков, Одесса и многие другие города.

Вместо спектакля был блеск. Вольные выли от восторга, после чего последовало чудо. Небывалое происшествие. Мы были неспособны его охватить.

«Дамы» вольнонаемных, то есть жены охранников, устроили нам банкет! (Мужья не присутствовали, но и не запретили.) Все было как на свободе, будто бы мы оказались свободными людьми. Тяжкая игра.

..В фойе второго этажа накрыли длинный стол. Украшали его вольные яства. Котлеты! Котлеты! Котлеты! (Это после супа из коричневой пены от замученных лошадей.) Котлеты! Алкоголя, конечно, ни капли. Мы — артисты, музыканты, художники, режиссеры, сидим за столом (все «заки»), а вольнонаемные «дамы» угощают нас. Услужают нам. Наша троечка в кучке: Вера Михайловна, Петр Иванович, Владимир Васильевич. Что будет — ждем и котлеты жрем. Особенно обольстительна была главная «дама» — жена начальника третьего отдела (самого грозного) Ключина. После трапезы она запускала свою ручку в вазы с конфетами и горстями игриво бросала их нам. Мы принуждены были ловить их.

После стола в нижнем фойе грохнул оркестр. Заки играют для заков, и все играют в свободу. А танцующих — никого. Фойе пусто. Всех увели за проволоку. Нельзя же артисток оставить танцевать, среди них были покушавшиеся на жизнь Сталина, о чем они никогда раньше не знали.

В пустом фойе осталась только наша кучка: безногая Вера Михайловна, Петр Иванович и Владимир Васильевич.

Оркестр играет вальс. Паркет блестит. Танцуйте, танцуйте! Играйте в свободу!..

Париж! Да, Париж!..»

Из разговора с Верой Михайловной Ермолаевой через петербургских трансмедиумов 14 декабря 1994 года

Семен Ласкин: Вера Михайловна, Стерлигов однажды написал, что вы работали с ним в тюремном театре. Было такое или не было?

Вера Ермолаева: Это был не театр, а просто небольшой клуб. И была вокруг всякая дрянь. Но была и возможность не ходить в холод. Немного поработать, немного покрасить, но так, как красить нельзя. К чему оставлять такое земле. Стыдно же. Пусть там звери были, а не люди. Все равно стыдно.

Семен Ласкин: Спасибо, Вера Михайловна. Я как-то неуверенно и тяжело пишу эту странную книгу.

Вера Ермолаева: А ты не бойся, как не боялась я. Придумывай свое. Придумывай так, как будто был там. Не обижусь на фантазию твою.

Семен Ласкин: Спасибо, Вера Михайловна.

II

Звонок был резким и долгим, так соединяется междугородная.

Говорили из Мончегорска, города далекого Заполярья. Голос был молодой. Незнакомая женщина, городской библиотекарь, приглашала меня приехать. За окном стояла лютая зима, январь, и у меня особого желания лететь на Север не возникало. Да и чем я мог развлечь жителей города?

Оказалось, лететь нужно не сейчас, а месяца через три, весной. В конце марта к ним собиралась из Москвы некая группа, руководитель которой был едва мне знаком по случайной болтовне в поезде. Произошло это два года назад. В купе было жарко. Не спалось. Мы сидели на застланных койках и, как бывает, разговорились. Спутник представлял и культуру и... бизнес. Мало того! Дело, которое он организовал, так и называлось: «Бизнес через культуру».

Поначалу все, о чем он рассказывал, звучало странно. Я ничего не понимаю в бизнесе. Но уже на трети пути из Москвы в Петербург новый знакомый сказал, что вот именно такой человек, как я, и мог бы им пригодиться. Я посмеялся, предупредив, что даже случайное мое участие может принести их фирме только убытки.

— Вы недооцениваете своих возможностей, — сказал бизнесмен. — Нам и не нужно никакого участия в сделках, но культурный человек, его встречи с людьми, поверьте, немало стоят. А уж дела — это не ваше...

И вот теперь, спустя год, тот случайный спутник вспомнил ночное знакомство и дал мой телефон человеку из Мончегорска.

— Понимаете, — говорил женский голос, — это будет праздник города. С. С. высоко о вас отзывался, нам бы хотелось воспользоваться его серьезной рекомендацией.

— Но что я должен делать? — продолжал удивляться я.

— С. С. везет народные промыслы, его дело бизнес, но нам мало бизнеса, нам нужна и культурная программа, вот вы и расскажите, о чем бы вам самому хотелось.

Я согласился, и причина тому была. В январские дни в Мурманске в городском театре пошла моя пьеса, и мурманчане просили быть у них на премьере. Я не поехал. И все же когда-то данное обещание продолжало меня терзать, а тут, как оказалось, я мог бы добраться до Мончегорска и через Мурманск, это не больше двух часов на автобусе.

Стоило повесить трубку, как я в решении усомнился. «Позвонят в марте, — раздумывал я, — и тогда я скажу, что врачи лететь на север не разрешают, пусть ищут другого».

Некоторое время я жил с этой уверенностью, пока не раздался теперь уже городской, обычный звонок.

Это был Кригер. Он только что ознакомился со следственным «делом» своего отца Льва Соломоновича Гальперина, которого, как он считал, погубила художница Ермолаева.

— Отец долго не признавал вины, — сказал Виктор. — Меня потрясла их очная ставка. Ермолаева утверждает: «Да, мы занимались антисоветской деятельностью». Отец отменяет. И только в конце допроса он вдруг делает странное заявление о своей антисоветской деятельности и подписывает все, подло выплеснутое на него Ермолаевой.

— А «дело» Ермолаевой тебе удалось посмотреть?

Он удивился моей наивности.

— Ты, видимо, не представляешь, что и теперь там те же самые люди! Они разрешили читать только материалы отца. Стоило взяться за перо, как гэбешник тут же пригрозил отобрать папку. «Ну вам-то какая разница? — умолял я. — Прошло шестьдесят лет. Кому, кроме меня, это может быть нужно?»

— Как же ты объясняешь неожиданное признание отца?

Он помолчал:

— Подозреваю, его били. Это же не заносится в протоколы.

Я подтвердил: арестованных не только били, их убивали. Правда, в тридцать четвертом, сразу после покушения на Кирова, зверства только набирали силу, приближались более страшные годы.

— Но, может, и Ермолаеву били, — сказал я. — Какое значение для них имело, что арестованная женщина — инвалид. Для этих людей мог быть единственный критерий: отношение к советской власти. А доказательств того, что Ермолаева эту власть любила, немного.

— Я не хочу о ней слышать! — отрезал Виктор. — Не все поступали так! Твой Вася Калугин, или как там его, сохранил рисунки отца, это уже подвиг. А ведь он, судя по книге, не был благополучен, тяжело жил.

Я не хотел уступать.

— Но ведь ты больше пятидесяти лет молчал об отце!

Явный упрек вспыхнул в его голосе.

— А душа? Разве ты можешь сказать, что душа у меня не стыла?

Я не возразил, кто знает, что творилось долгие и печальные десятилетия в его душе. Но и защитить Веру Михайловну я не мог. Я все же еще очень мало о ней знал.

...Многие годы по дороге в Дом писателя я проходил мимо известного здания на Литейном, видел входящих и выходящих, иногда, стоя на троллейбусной остановке напротив серой многоэтажной стены, я невольно рассматривал освещенные в позднее время окна и с тревожным недоумением думал о прошедших десятилетиях. Что-то сейчас творилось в тайном пространстве, за кем-то следили, кого-то допрашивали и проверяли, прослушивали телефонные разговоры, давали или не давали визы для загранпоездов — так ли менялась жизнь, как иногда стало казаться многим из нас?..

— Вокруг Ермолаевой группировались талантливые люди, Витя, — сказал я, стараясь хотя бы несколько смягчить разговор. В конце концов со мной говорил сын Гальперина, и я вряд ли имел право ждать от сына другой реакции.

Помню, тогда мы обсудили всех старых художников, к которым ему стоило бы обратиться. Впрочем, один адрес я продиктовал сразу, это были мои мурманские друзья Анкудиновы, хранители архива Калужнина. И уж коли Василий Павлович оказался тем человеком, который около тридцати лет назад передал тетке Кригера рисунки отца, то с Анкудиновых и следовало начинать.

Не прошло и недели, как я услышал по телефону голос потрясенного Кригера. Как выяснилось, днем из Мурманска звонил Анкудинов — он искал меня, но так как никто не подходил, перезвонил Виктору, да, у него имелись холсты Гальперина. Анкудинов был очень взволнован, сказал, что будет рад показать эти работы, они странные, он сказал, возможно, они интересны, а тем, что объявился сын художника, они со Светланой Александровной просто поражены...

Вот тут-то я сразу и вспомнил, что еще в январе был телефонный звонок из Заполярья. Теперь и он мне показался мистикой.

— Какая удача, старик! — говорил я. — Тебе сказочно повезло, я уже давно приглашен в Мончегорск, а значит, и в Мурманск. Поеду, сфотографирую работы отца, представляешь, еще вчера я хотел отказаться, но теперь это кажется счастьем...

В тот же вечер Анкудинов перезвонил мне и повторил все, что уже рассказал Кригер. В архиве Калужнина сохранилось шесть холстов.

— Это произведения! — сказал Анкудинов. — Про-из-ве-де-ния! — повторил он.

В начале апреля мне снова позвонили из Мончегорска. И когда я сказал, что хотел бы лететь через Мурманск, с охотой согласились.

— Как вам угодно. Гостиницу бронируем, ждем в любое время...

В тот же день я снова отнес в пресс-центр КГБ на Литейный, 4 свое заявление. «В связи с работой над книгой» я просил разрешения еще раз

посмотреть «дело» художника Ермолаевой. О Гальперине решил не писать, зачем осложнять задачу.

Если Виктор увидел «дело» отца, то мне захотелось поглядеть другие документы, главным из которых все же оставалось «дело» Ермолаевой.

Не прошло и недели, как мне позвонили из пресс-центра КГБ. Интеллигентный голос объяснил:

— Трудность в том, что «дело» не одно, это подшивка, конволют «дела» на всю группу, разъединить их нельзя — нет, вы не расстраивайтесь, все не так безнадежно, просто нам следует кое-что обсудить...

Я не мог понять, что еще нужно обсуждать. Договорились о встрече. Человек казался вполне доброжелательным, приглашение я расценил как удачу.

В приемной на Литейном ожидали еще люди. Кого-то выкрикивали из окошка, сидящие вскакивали, получали пропуска, расписывались и уходили. И вдруг женский голос назвал мою фамилию. В дверях стояла девушка, крепенькая, длинноногая, с матовым лицом и хорошо ухоженными волосами — если встретишь в санатории или на танцплощадке, и в голову не придет, что она работает в таком страшноватом месте. Я торопливо поднялся.

— Я за вами, — сказала она. — Давайте паспорт, пропуск выписан...

Пока переходили из одной парадной в другую, пока охранник сверял фотографию с моей физиономией, я успел задать девушке несколько, наверно, не шибко умных вопросов. Хотелось понять, что недоговаривал по телефону начальник. А главное, удастся ли мне получить «дело» Веры Михайловны?

— Устаканимся, Семен Борисович, — не совсем банально успокоила девушка. — Главное, не опережайте событий.

Начальник пресс-центра — красивый молодой мужчина — оказался очень любезным. Он поднялся, двинулся мне навстречу. Невысокий брюнет, в хорошем черном костюме, больше похожий на директора школы, чем на работника тайного ведомства. Да и разговаривал он со мной, как бы утешая и успокаивая, будто учитель. Толстая папка лежала на столе, и когда я сел в кресло, он быстро пролистнул какие-то бумаги и выписал фамилии.

— К сожалению, — сказал он, — наши уложения требуют неких формальностей...

Я напрягся. Было ясно, что по крайней мере сегодня рассчитывать на успех рановато.

— Каких же?

— Вам придется получить согласие родственников арестованных на прочтение «дел». Понимаете, в те годы заключенные могли говорить то, что было бы и нынешним их родственникам неприятно.

— Да, но раньше у меня этого согласия не требовали. Ермолаева, насколько я знаю, была одинока, ее брат умер в Сибири. Она инвалид, никого у нее не осталось.

— Хорошо, с Ермолаевой мы договорились, но в сшитых «делах» есть и Гальперин, и Стерлигов, и Юдин...

Он назвал еще двоих. Одного — художника Александра Батурина, проходившего по делу, я хорошо знал, он, конечно, не отказал бы мне в разрешении. Что касается Кригера, то в его разрешении и сомневаться-то было глупо.

— У Стерлигова в Ленинграде родственников не осталось, — сказал я. — У Юдина недавно умерла жена.

Молодой человек доброжелательно покивал.

— В конце-то концов, не будем формалистами. Вот хотя бы Гальперин, попытайтесь получить разрешение у его сына... — Он смотрел бумаги. — И вы сами назвали Батурина, двоих вполне достаточно.

Поднялся и пожал мне руку.

— Звоните, как только у вас будет согласие.

Я поблагодарил.

Теперь нужно действовать. Кригера я отложил на «второе». Начинать правильнее с Батурина.

Александра Борисовича я очень ценил. Был он учеником Стерлигова. И сам Владимир Васильевич, и все его окружение значили для Батурина слишком много. В далеком тридцать четвертом двадцатилетний Батулин был арестован, он просидел в тюрьмах около двадцати лет. Теперь это был пожилой, творчески активный художник, я неоднократно приходил к нему в мастерскую. Сомнений в его благожелательности у меня и быть не могло.

Я позвонил Александру Борисовичу и почти сразу же пошел к нему. Пили чай, говорили о Ермолаевой, — Батулин считал Веру Михайловну огромным талантом, потом он достал из письменного стола черно-белые фотографии выставки семьдесят второго года, и мы долго разглядывали их.

О Гальперине Батулин ничего рассказать не мог, не помнил, да и не часто он, тогда почти мальчик, встречался с этими уже немолодыми людьми...

Уходил я с прекрасным подарком. Батулин неожиданно достал замечательный натюрморт семидесятого года, спросил меня: «Нравится?» «Очень!» — искренне воскликнул я. И Александр Борисович тут же написал добрые, благословляющие мой поиск слова.

В тот же вечер я позвонил Виктору. Чуть подумав, Виктор назвал удобное время. Все шло прекрасно.

Дома у Кригеров я оказался впервые. Виктор был мил, доброжелателен, весел. Школа не забывается и через десятилетия. Наконец пора было переходить к делу. Кригер вынул из письменного стола папку, и мы стали рассматривать те листы, которые больше тридцати лет лежали и у Калужина, и у тетки Виктора, и вот, наконец, здесь...

Некоторые рисунки выглядели случайными, нашелся даже карандашный портрет Ленина, что-то ученическое, беспомощное было в нем. Пожалуй, художник, не привыкший писать «фотографические» портреты, с подобной задачей справиться и не мог. Но что показалось прекрасным — это фантазии на тему «Мертвых душ». Шагаловское читалось в работах: летящий в воздухе половой с яствами на столешнице, а рядом нечто дявольское женского пола...

За карандашными рисунками пошли и темперажные наброски. Казалось, Гальперин писал один и тот же портрет, и чем больше я рассматривал, тем четче осознавал, что все они — поиск образа: круглолицая, ширококостная женщина в длинном, закрывающем ноги старомодном платье.

Я даже забыл причину визита.

— Да, да, — сказал Кригер. — Конечно, я все приготовил.

Он открыл ящик письменного стола, достал лист — издали я увидел напечатанный на машинке текст.

Сверху стояло странное и непонятное слово: «Обязательство».

Я подумал, может, это школьная шутка. И, не прочитав, со смехом спросил:

— Какое же социалистическое обязательство должен я дать, Витя?

— Прочти, прочти, — улыбнулся он. — Мало ли какие мысли у тебя возникнут, когда получишь гэбешные документы...

Я стал читать:

«Я, Ласкин Семен Борисович, получил разрешение у В. Л. Кригера на ознакомление с делом его отца Льва Соломоновича Гальперина, со своей стороны обязуюсь отнестись к информации, которая станет мне доступной при чтении дела, как писатель, а не как коллекционер. Заявляю: я согласен с тем, что произведения, письма, дневники и другие вещи («Какие вещи?») и бумаги, а также бумаги, содержащие сведения о нем, которые хранятся у его родных — в частности потомков, братьев, сестер и тети Л. С. Гальперина и членов их семей — являются семейным достоянием, должны оставаться у этих родных, и обязуюсь не делать попыток получить их в собственность ни за деньги, ни другим путем. Даю в этом мое честное слово.

Обязуюсь также, если мне потребуется опубликовать какие-либо материалы дела Л. С. Гальперина, дополнительно согласовать это с В. Л. Кригером, как с будущим автором очерка о жизни Л. С. Гальперина.

(С. Б. Ласкин)».

Я поглядел на Виктора. Что это — «не делать попыток получить в собственность ни за деньги, ни другим путем»?! Разве корысть заставляет меня мчаться в Заполярье? Было обидно... и очень больно.

Я подписал «обязательство». Первый экземпляр Кригер молча спрятал в стол, копию — протянул мне.

Предотъездная неделя оказалась заполненной до предела. Я искал хороший фотоаппарат, и милая сотрудница Русского музея пообещала мне дать свой на несколько дней. Пленка «кодак» была куплена раньше. Что бы там ни было, но я хотел сделать для Виктора снимки.

За два дня до вылета около десяти вечера мне позвонил Кригер.

— Семен, — сказал он каким-то неожиданно веселым тоном, — я через час отчаливаю в Мурманск.

— Самолетом?! — от полной неожиданности отчего-то спросил я.

Он рассмеялся:

— Это ты можешь самолетом, так как летишь за чужой счет, а я — за свой.

Я помолчал, стараясь хоть что-то понять в произошедшем. Мы обо всем договорились, я действительно летел в командировку, вез фотоаппарат, зачем же ему мчаться по тому же делу? Но главное, теперь у меня не оставалось возможности отказаться от ставшей в одной мгновение ненужной поездки.

По сути позиция Кригера легко объяснялась, и от меня не требовалось какого-то домысла. И подписанное обещание не претендовать на то, что должно было принадлежать только ему, и судорожное недоверие, и торопливое желание оказаться раньше меня у Анкудиновых, все говорило об одном: он видел во мне не товарища, а экономического конкурента. По его мнению, результат зависел только от скорости.

Странно! Анкудиновы наверняка сочувствовали Виктору, к ним ехал сын погибшего в ГУЛАГе художника, друга Калужнина, да и моего товарища, но вряд ли их разговор сразу мог превратиться в обещание отдать холсты, пролежавшие в этом доме более полувека. Да и при чем тут я! Боль и досада — все это вспыхнуло во мне. Может, и следовало что-то сказать Кригеру, но я не находил слов.

Утром я вернул фотоаппарат хозяйке. «Никон» был ни к чему. Кригер подъезжал к Мурманску. История неожиданно завершилась.

В Мурманске я вышел из рейсового автобуса около гостиницы «Арктика», дом находился рядом, в нескольких минутах ходьбы. Вероятно, Анкудиновы меня ждали, но то, что там уже сутки находился Кригер, сдерживало.

Вместо дома я повернул на автобусный вокзал, хотелось сразу же взять билет на Мончегорск и уехать сегодня же...

Дул сильный ветер, я невольно поворачивался, чтобы перебороть очередную порыв, а потом, хватаясь за кепку, шел вперед по проспекту.

...И двор, и парадная Анкудиновых были хорошо знакомы — я не раз приходил сюда в прошлый «калужнинский» приезд. Позвонил в дверь, и тут же услышал торопливые шаги, громкие восклицания. Крупный, красивый, с испанской бородкой и усами, Анкудинов стоял, раскинув руки, в кухонном переднике, — я сразу же оказался в его объятиях. Светлана Александровна была рядом, ее добрейшее лицо выражало радость.

На кухне что-то урчало и шкваркало, пахло щами и рыбой, дом явно готовился к праздничному обеду.

Дверь в столовую была приоткрыта, и, пройдя по коридорчику, я увидел Кригера. Виктор стоял, чуть пригнувшись над обеденным столом, и

сосредоточенно рассматривал лежащие рисунки; даже издали я узнал «уголь» Калужнина.

Мы сдержанно поздоровались.

— Прекрасная графика! — воскликнул Кригер.

Он улыбался. Пожалуй, только холдные глаза выдавали его — в них темнел свинец, как ни старался он подчеркнуть радость по случаю моего прибытия.

Юрий Исаакович объяснил:

— Я дал посмотреть Виктору Львовичу Васин «уголь», чтобы он не скучал, пока мы со Светланой готовим. Пообщайтесь-ка с другом, Семен Борисович, вы давно не виделись. — И улыбнулся. — А поедим, и займемся Гальпериним.

Вероятно, Кригер успел рассказать Анкудиновым, что мы не расстаемся все пятьдесят лет.

— Я уже с билетом на Мончегорск...

Это вызвало замешательство.

— Как? — огорчилась Светлана Александровна. — Виктор Львович уверил, что вы у нас поживете. Вот кровать, ну зачем же ехать сегодня? Тем более Виктор Львович имеет обратный билет на двенадцать...

Анкудинов, видимо, заметил мое удивление, но понял это по-своему:

— Нет, нет, не волнуйтесь, мы вам обязательно покажем картины, верно, Виктор Львович? Как мы можем Семену Борисовичу не показать живопись? Надеюсь, вы разрешите развернуть рулон?

Все стало ясно.

— Мы их отлично упаковали, — вздохнул Виктор. — Я мог бы показать их Семену и дома.

Юрий Исаакович был расстроен.

— Я запаковал, я и распакую, какая трудность! — воскликнул он. — Нам тоже интересна оценка вашего друга. — Он повернулся ко мне. — Конечно, мы, как вы поняли, картины Виктору Львовичу подарили. Честно сказать, когда пришло ваше письмо о сыне Гальперина, и я, и Светлана этот вопрос моментально решили. Да и не решали, а сказали одновременно: нужно отдать, должна же быть у людей совесть.

Он снова ушел на кухню, а мы, наконец, остались вдвоем.

— Знаешь, — сказал Виктор, — вчера Анкудинов отвел меня в мастерскую и часа три показывал Калужнина; ты прав, это великолепный художник.

На столе лежали листы Василия Павловича, и сангина, и уголь, — я прекрасно помнил и эти пейзажи, и балетные сцены, и его замечательные «ню».

Виктор поглядел на дверь — Анкудиновы крутились на кухне — и рассмеялся.

— Литератору, вероятно, любопытны такие характеры. Я, представляешь, когда приехал, то понял, что они расстроены. И в мастерской, и дома — ни слова об отце. Ждали, что попрошу...

— И ты не просил?

— Терпел. И вдруг они объявили о подарке сами.

— Ну и как живопись?

— Один портрет очень странен. Под Малевича, мне кажется...

Вошла Светлана Александровна, стала расставлять тарелки. Кригер заговорил с ней о Ленинграде, а я вышел на кухню.

Юрий Исаакович все еще жарил рыбу, переворачивал на сковороде и принохивался. Нет, о том, что произошло перед поездкой, об «обязательстве», которое я подписал по условию Кригера, рассказывать я не имел права.

Анкудинов скинул в тарелку еще порцию рыбы. Погасил газ. И мы вместе пошли в столовую.

Светлана Александровна поглядела на часы, вздохнула — времени до моего отъезда оставалось немного.

— Все, все, граждане! — сказала она. — Обедать. — Она улыбнулась как-то особенно добро и, пожалуй, печально. — Я ведь давно не видела работ Гальперина. Я хочу посмотреть с вами... И попрощаться.

Обед затянулся. Анкудинов в фартуке, с полотенцем в руке носился на кухню. Он возникал то с супницей, то со сковородой, полной рыбы. Приседал на секунду, чтобы выпить с нами, и опять мчался по кухонному своему делу.

Водка была китайской. Я узнал бутылку. Когда Виктор вручал мне «обязательство», именно эта водка стояла на столе, и он сказал, что у него гостит китаец, водка осталась как нераспитый презент. Теперь пригодилась.

Наконец Анкудинов снял фартук, словно бы обещая театральное действие. Светлана Александровна распахнула шторы, полярный день основательно прибавился, на улице было светло.

Я передвинул стул ближе к окну и смотрел, как ставит треногу Юрий Исаакович, как приспособливает экран — это вместо отсутствующего мольберта.

Виктор иногда посматривал на меня. Видимо, он понимал, что все могло в один миг раствориться, оказаться ничем, пустяком, как оказывается пустяком огромное количество работ на городских вернисажах.

Юрий Исаакович развернул первый холст, укрепил бельевыми прищепками и отступил. На холсте возникло местечко, домик на вершине зеленого холма, несколько человечков в черных лапсердаках и шляпах, нелепые в сегодняшней жизни, по-шагаловски трогательные и чуточку смешные. Возможно, то был городок детства. К пережитому прошлому обращалась память художника.

Я смотрел и смотрел на холст, а уже рядом плыло и мое детство, хотя оно и было советским, но все же в привычное пространство врываются похожие картины. Такую же шляпу и лапсердак бабушка прятала деду в авоську, по улицам мы шли как обычные люди. Впереди ждал дом, который дед шепотом называл молельней. Мы двигались туда с тайной и святой целью. Здесь дед надевал шляпу и лапсердак, а на мою голову — ермолку. Потом он брал тору, а для меня маленький свиток.

Это был какой-то веселый и древний праздник, и я должен был плясать со всеми. Еврейский язык ушел из нашего дома, дедушкины выкрики были мне непонятны, но одно я знал точно: это дед еврей, а я-то давным-давно русский.

— Мне очень нравится, — сказала Светлана Александровна. — Какая чистота и наивность!

Юрий Исаакович сменил холст. Лучи со скрытым от глаз источником света бежали по земле несколькими пучками, вырывали будто бы стирающуюся на горизонте башню. Тут все было не так: и улица, и дома, и люди. Что это? Сон? Дальняя дорога? Я чувствую пронзительную печаль. О чем хочет сказать мастер, тревожа свою память, восстанавливая ушедшую в небытие жизнь? И почему прошлое так грустно? Впрочем, я пока только зритель, я о Гальперине ничего не знаю...

Мы смотрим еще холст, группу музыкантов со скрипками и виолончелью, точный по композиции и колориту, но, к сожалению, пострадавший от времени...

Ах, какой молодец Василий Павлович Калужнин, сохранивший живопись. Если бы даже остались всего три эти работы, то и их, как мне кажется, было бы достаточно, чтобы Гальперин занял свое место в искусстве двадцатых.

Виктор молча сидит у окна, кажется, больше наблюдая за мной. Впрочем, я о нем забываю.

Четвертый холст будто бы не дается. Падает на пол. Юрий Исаакович по очереди пристегивает его тяжелые края.

Солнце внезапно уходит, и только что золотое пространство покрывается дымчатым маревом.

Что еще ждет меня через секунды? Да и как понимать кригеровское «под Малевича», когда он шепнул мне о женском портрете? В конце двадцатых — в начале тридцатых кто только не использовал открытия российских авангардистов.

Наконец Юрий Исаакович отступает.

Я невольно делаю шаг к картине. Острое волнение охватывает меня. В кресле — женщина. Ее большие, печальные глаза пронзительно смотрят. Бледная, с расчесанными на пробор, плотно стянутыми волосами, она излучает печаль и обреченность. Пожалуй, ни тогда, ни теперь я не смог бы объяснить вспыхнувшую во мне тревогу.

Глядя на нее, я пытаюсь понять, что же хотел передать мне, будущему, этот художник.

...Пальцы женщины сжимают подлокотники кресла. Плечи прямые, да и вся она будто бы вытянута для полета, затянута в панцирь. Длинное зеленоватое платье покрывает колени, падает на пол, и только кончики башмаков черной полоской обозначаются на паркете.

И мраморное лицо, и темные большие глаза полны острой печали. Чего же она боится? Какой беды ждет? О чем хочет сказать художник?

Старинное кресло резными слабо-зелеными — в цвет одежды — деревянными округлыми набалдашниками поднимается за плечами. И кажется, за спиной женщины возвышаются углы сложенных крыл.

Усталая, уже не способная к полету, женщина-птица словно бы подчеркивает беспомощность и покорность той, известной, вероятно, только ей да художнику, жизни.

«Она обречена, — отчего-то думаю я. — На лице печать смерти. Это и человек и ангел одновременно...»

Что же знал художник о своем персонаже? Какое чувство вело его — отчего увиденное так встревожило, заставило меня попытаться понять скрытую тайну, почему, почему?!

Я смотрел и смотрел на лицо женщины. И вдруг показалось, что она не так уж мне неизвестна, да конечно же, я ее знаю, видел, по крайней мере мог знать по портретам.

Поддаваясь тревоге, я шагнул к холсту.

Все домашние вмиг исчезли. Я был с ней один на один, никого больше в комнате не существовало.

«Только бы не вспугнуть, не заставить подняться в воздух, не дать улететь... — про себя бормотал я. — Какая же беда к ней приближалась? Можно ли хоть что-то приоткрыть в этой наверняка давно ушедшей жизни?»

И вдруг я понял. С холста на меня смотрела ОНА. Так написать, волнуясь и плача, мог только любящий человек.

Нет, я никого не толкнул, не сдвинул кресло, в котором сидел Виктор, но смятение вибрировало, металось в душе.

— Да, да, — сказал я в пространство. — Это она...

— Кто?

Кригер сидел нога на ногу, переплетя кистями колени, насмешка и сомнение стлы в его глазах.

— Вера Михайловна Ермолаева, — сказал я, — великий художник. Твой отец любил ее, так писать можно только любящим сердцем.

Было слышно, как сдвинулось кресло.

— Чушь! — возмутился Кригер. — Нельзя так, Семен!..

Но я уже не слушал его. Я знал. В мгновение я ощутил все, что было скрыто от глаз.

Светлана Александровна подалась вперед. Она была первой, кто мне сразу поверил.

— Дрянь! — выкрикнул Виктор. — Если это она, то дрянь в еще большей степени, чем я могу выразить. Ты не знаешь тюремного дела. Именно с Ермолаевой связано все, что дальше случилось. Надеюсь, Семен ошибся, отец писал не ее.

Я не ответил. Да, у меня не было документов, но я уже и не сомневался, что истины и в допросах и в протоколах значительно меньше, чем в том, что я смог почувствовать в короткую ту секунду...

— Как же прекрасно он ее написал! — выдохнула Светлана Александровна.

Я смотрел на портрет. Столько нежности в каждом мазке. И все же, откуда Гальперин мог знать, что ОНА погибнет?

Это их прощание, — думал я. — И объяснение в любви. Возможно, последнее ЕГО слово...

...Полупустой автобус тащился к Мончегорску. Я смотрел в окно на плывущий апрельский пейзаж. По обеим сторонам дороги поблескивали большущие грязные лужи. Все вокруг было убого и бедно. Россия, печальная и истерзанная Россия, лежала передо мной. И все же, то, что случилось два часа назад, воспринималось как счастье. Случай дарил разгадку, к которой мне предстояло еще прикоснуться.

В Оленьей автобус простоял минут двадцать, я вышел на площадь и, стараясь не столкнуться с пассажирами, не вступив в разговор, ходил по тающему весеннему снегу и думал, думал...

Разве я мог предположить в сорок шестом, перейдя в девятый класс ленинградской школы, что через пятьдесят лет то, что я тогда видел, куда ходил, комната, в которой мы встречались, люди, которых я знал, окажутся частью очень важного периода моей жизни.

Я легко допускал, так, возможно, и было, что Гальперин оставил мать Кригера раньше, чем встретил Ермолаеву. Конечно, он мог и уйти...

Человек с кистью стоял у мольберта, бросал мазок за мазком, отступал, всматриваясь в натуру, стараясь постичь тайну. Иногда он опускал руку, чтобы отогнать тревогу. Да, он любил Веру. Но отчего же в ее лице, в ее глазах он читал завершение их счастья? Как он мог спасти человека, которого встретил не в молодости, а теперь, на исходе жизни? Впрочем, почему на исходе? Ему только сорок восемь! Какие мысли одолевают тебя!

Он опять искал нужный оттенок. Беда пугала. Беда парализовала волю, но он-то знал: нельзя останавливаться в середине работы. Он должен написать так, как велело сердце.

Он думал: чем помочь Вере? Как уберечь от страшной, не для них сочиненной жизни? Платье имело охристый оттенок, но художник брал зеленую краску и к зеленому добавлял белил.

В лице нарастала, усиливалась бледность, скорее мертвенность, то, чего он больше всего боялся. Он хотел бы писать иначе, но другое не получалось. Отчего он не может скрыть тревогу?

«Как спасти тебя, Вера?» — мысленно выкрикивал он, поражаясь тому, что краски словно бы обесцвечиваются. Из тумана проступала беда. И тогда он стал писать кресло, деревянные зеленовато-белые полукружья, с удивлением замечая, что они будто бы превращаются в крылья.

— Я знаю, ты улетишь, Вера, — мысленно говорил он. — Беда близко...

— Улечу, — подтверждала она. — Но ты не печалься. Мы встретимся в другой жизни...

Он писал портрет и молился. Ах, как хотелось, чтобы Вера поднялась в воздух и унеслась в далекое и неведомое пространство, где никто не мог бы причинить ей зла.

Худого в его жизни было больше. И вот теперь, когда пришло счастье, он чувствовал приближающуюся потерю.

«Боже! — молился он, — как трагичен, труден и неповторим путь к единственному...»

Она понимала все, что ему хотелось сказать. Живопись была понятнее слов. Если бы он мог подчинить уму свое творчество, он бы подчинил и никогда больше не писал бы такого. Но он не мог.

Словно защищаясь от назойливых печальных мыслей, Гальперин тихонько засвистел французский мотивчик, который они, еще молодые, любили в Париже.

— Знаешь, в двадцатом у нас была артель художников, — сказала Вера, — мы выпускали книги, одна моя называлась «Сегодня», и там автопортрет, не могу сказать почему, но я себя написала скорее с крыльями, чем с руками. Тогда я думала: может, улететь из России, многие уже улетели...

— А я именно в те годы пытался вырваться из Европы.

— Может, я и осталась, чтобы тебя встретить.

— Иногда и я думаю о том же. Зачем вернулся? И только одно убеждает: здесь я нашел тебя, Вера.

...Зажглись огни Мончегорска, автобус продолжал качаться на залитых талой водой дорогах, но ощущение счастья меня так и не покидало.

ГАЛЬПЕРИН

В столовой стоял привычный шум от молодых яростных голосов.

Гальперин сидел в стороне, помалкивал, как обычно, ему было приятно наблюдать за Верой: она явно посмеивалась над нелепыми, а то и фантазмагорическими утверждениями громогласного и эмоционального Володи Стерлигова, маленького и раздумчивого Левы Юдина, огромного бормотуна Кости Рождественского. Впрочем, «детешки» были бесспорно талантливы.

Стенные часы пробили половину одиннадцатого. Гальперин поднялся, увидел вопрошающий взгляд Веры, кивнул ей.

— Пора, — громко сказал он, стараясь хоть этим привлечь внимание разбушевавшейся «могучей кучки», как они сами себя называли.

— Вам далеко, — сказала Ермолаева и улыбнулась Льву Соломоновичу. — Не то что детешкам...

— А куда — далеко? — спросил Костя.

— На Охту.

— Слыхали, — засмеялся Стерлигов. — «С кувшином охтенка спешит», если память не изменяет.

— Память у вас замечательная, Володя, — сказала Вера Михайловна.

Гальперин снова поглядел на Ермолаеву, она подняла чуть раскосые большие глаза и еще раз кивнула. Он вынул из кармана ключи от входных дверей, качнул ими, как колокольчиком, улыбнулся.

— Я приду... — сказал он.

— Обязательно, Лева.

Что-то, видимо, едкое ляпнул Стерлигов, мальчишки расхохотались.

В коридоре висело длинное, добротное когда-то модное пальто, купленное еще в Австрии. С той поры уже пробежало одиннадцать русских зим, пришла двенадцатая, Москва поменялась на Ленинград, на Питер, как привычнее было называть город, денег становилось все меньше, чаще их вовсе не было.

В прихожей Дуся терпеливо ждала, когда оденется этот солидный — по сравнению с кричащей шпаной — друг Веры Михайловны, пора было мыть посуду.

Гальперин шепнул ей «спасибо» и вышел на лестницу.

Он пошел по Десятой линии в сторону Невы. Сегодня 25 декабря, Рождество, великий праздник, сколько было раньше веселья и радости в каждом доме, в любой семье. А теперь?

На бульваре Большого проспекта росли невысокие елочки. Около одной торчала из снега отломанная вершинка. Гальперин осторожно вытянул ее, обил о пальто. Получилась ровненькая, крохотная елочка. Сунул за пазуху. Подарит Вере вместо букета.

...Он постоял на пустынной набережной — ни людей, ни машин, ни трамвая. Светила одна луна. Сегодня она была круглой, серое облако лежало над ней острым домиком, как платок на голове матрешки. В серебристом свете легко угадывался противоположный берег, его ровная линия с прекрасными, хорошо знакомыми домами. Да и ледяные нагромождения на реке в этой полутемноте выглядели сказочными строениями. Может, и на такой пейзаж — сложное соединение линий, достаточно формальное изображение пространства — он однажды найдет время...

Пора было возвращаться. Через несколько минут он скажет Вере все, что столько времени он никак не решается произнести вслух. Да, он скажет ей о своей любви, о нежелании жить одному в этом глухом мире. Многие было в его скитальческой жизни. После разочарований в Москве приехал в Ленинград, встретил женщину, искусствоведа — ему казалось, вот теперь начнется другое: и культура, и знание живописи, кто-то должен в семье понимать и тебя, и твои интересы... Но и тут общего не возникло, даже когда родился сын. Наоборот, деньги стали самым важным, и уже ничто не прощалось: ни вынужденная безработица, ни любимая работа.

И для второй семьи его увлеченность оказалась не только ненужной, но и оскорбительно непонятной. Он бросился искать деньги. Зарабатывал корректором, был литсотрудником в техническом журнале, но это ситуации не меняло. Как безработный он получал ничтожное пособие, какие-то небольшие посылки выдавали голодающим евреям американские благотворители из АРА, но все это оказывалось пустяком, крохами, едва спасало семью от голода...

Бог мой, как непохожа Вера на свою хваткую предшественницу, он неоднократно поражался ее щедрости, доброте к собратьям по цеху. Когда-то состоятельная, она раздаривала нуждающимся все, что имела. Беспомощная, она не боялась собственной бедности, но ее убивала бедность других. Да, да, только с ней ему суждено возвратиться в прошлое, снова стать у мольберта, и это, пожалуй, впервые за многие годы.

Последние месяцы он писал ее портрет. Ставил мольберт в стороне, чтобы не мешать ей работать, и вглядывался, вглядывался в ее лицо, пытаясь отгадать самое важное — ее судьбу. Он знал, понимание придет позднее. Получалось не то. Возможно, побеждала тревога. Вокруг столько беды. Шли аресты, шепотом называли имена интеллигентных, милых людей, которых уже как бы не было, их увозили непонятно куда.

Ах, как хотелось ему написать Верочку радостной, пусть даже слегка легкомысленной, никак не ожидающей беды. Но рука — он это видел и поражался — сама писала иначе, и он завешивал портрет после работы, просил Веру повременить, не смотреть пока что холст.

И, может, оттого, что решение так и не приходило и одна неудача сменялась другой, к нему уже много раз подкатывала, подступала необъяснимая тревога, росла, охватывала душу, заставляла сжиматься сердце. Вечерами, когда он завешивал мольберт, зная, что Вера без разрешения не поглядит на неоконченную, а по сути, возможно, и не начатую работу, — он, огорченный, недовольный собой, брел по набережной, думая только о неудаче.

Конечно, существовали эскизы, наброски на картоне и на бумаге — он нащупывал путь, но когда ставил мольберт и начинал писать, не получалось. Все казалось далеким от того, что он чувствовал, но не мог схватить. Несколько раз он рвал наброски, считая, что главное так и не найдено. Решение должно прийти само. И уже не он, художник, а некто другой сумеет прочесть в неподдающемся портрете больше того, что могло быть выражено словами. Интуиция — вот на что нужно надеяться, если ты живописец.

На следующий день Гальперин снова приходил на Васильевский. Разговаривал с Дусей, сидел с Верочкой, опасаясь признаться в беспомощности, и опять она, будто бы угадывая его беспокойство, даже не спрашивала о результате. Да он не мог бы и объяснить, чего так боялся.

Вера работала, подолгу не поворачиваясь к нему. Он застывал с поднятой кистью и вздрагивал, когда внезапно замечал ее горестный глаз...

И вдруг работа пошла, сдвинулась с мертвой точки. Он не мог сказать, было ли это началом или возникала иллюзия возможного результата, но писать стало легче, появилось ощущение приближающейся удачи.

Одно все же казалось бесспорным, рождался образ, скрытая и непонятная даже ему, но такая трудная судьба любимого человека, за которого ему почти всегда было страшно. Он мысленно спорил с тем, что выписывала кисть, что происходило на холсте помимо его воли, и повторял, повторял: «Нет, я не хочу несчастья! Я за тебя очень боюсь, Вера!»

Он опять брал белила, подносил кисть к холсту, откуда с обжигающей тревогой на него смотрели большие черные глаза.

— Покажите, — однажды сказала она.

Нет, показывать такое он не имел права.

— Я заберу холст. Портрет никак не дается.

— Покажите, Лева, — неожиданно она стала настаивать. — Может, я помогу. Мне думается, вы пугаетесь правды...

Он усмехнулся.

— Какую же страшную правду способны скрывать краски?

— Этого не должен говорить художник.

Он внезапно повернул портрет.

— Вот... — сказал он, чуть отступая.

Ермолаева подняла голову и... застыла. Он увидел, что ее глаза наполняются такой болью, что торопливо прикрыл холст тряпкой. Теперь он и совсем не мог бы ответить даже себе, насколько сделанное им — достойно, удалось ли хоть чуточку сказать о судьбе, нет, не предсказать, он не волшебник, но хотя бы предупредить о том, чего сам ужасно боялся...

В тот же вечер он и унес холст к Калужнину на Литейный. Он знал, Вера никогда больше не спросит об этой работе, не станет ее обсуждать. Возможно, он попал в точку, он все же надеялся, что смог сказать ей не столько о своей тревоге, сколько выкрикнуть о любви.

Потом он наблюдал уже за реакцией друга. Калужнин смотрел на портрет не отрываясь, наконец повернулся и заколесил между старыми стульями и шкафом. Казалось, ему хочется бежать. Он двигался, покачиваясь, огибая мешающую мебель, и вдруг резко, почти визгливо крикнул:

— Ты ее любишь?!

— Я за нее боюсь, Вася. Я никогда ни за кого так не боялся.

Калужнин схватил Гальперина за плечи, притянул к себе.

— Лева, не показывай Вере Михайловне эту работу!

— Но я показал.

— Тогда она уже все знает, — с ужасом воскликнул Калужнин. — Ах, как страшно. Ты поступил... ты не имел права.

Калужнин сжал виски и медленно, словно мусульманин в молитве, закачался из стороны в сторону.

— У тебя Вера Михайловна обречена. Она уже Ангел. Ты предрешил конец человека, за которого тебе страшно. Одна надежда, может быть, ты ошибся...

Это была правда. И Гальперин внезапно заплакал.

Из разговора с Василием Павловичем Калужниным через петербургских трансмедиумов 13 ноября 1993 года

Семен Ласкин: Василий Павлович, почему у вас оказались портреты Веры Михайловны?

Василий Калужнин: Шло такое время, когда они должны были быть уничтожены. Но разве можно не сохранять то, что сделано душой?

Семен Ласкин: Вы спасали их?

Василий Калужнин: Когда пытаешься спасти ценность, которая тебе помогает жить присутствием своим, то еще нужно понять, кто кого спасает.

С Восьмой линии на набережную свернул «черный ворон», помчался в сторону Дворцового моста. Гальперин с тоской посмотрел ему вслед: странная, неожиданная Россия! Несчастливая родина...

Господи, единственным местом на свете ты оставил для меня дом Веры. Спасибо! Слава Богу, что ни она, ни Калужнин не вспоминают о том портрете, мало ли что тогда показалось и мне, и Васе. Да, он и теперь боится за Веру. Но ведь написанный холст — это только моя тревога, но никак не приговор. Ну что может угрожать ей сегодня? Даже если кто-то и ляпнет неосторожное слово, всё тут же растворится в спорах об искусстве.

Но ведь у Веры постоянно бывают разные люди! Нет, у нее только друзья, разве можно нормальному человеку ожидать от близких чего-то худого? Хватит! Он не имеет права даже думать об этом! Нет, нет...

Гальперин вынул часы, на его швейцарской «Омеге» приближалось к двенадцати. Ах, как в такие минуты хочется человеку забыться, помнить одно, ее теплый дом, и в этом доме большое, неизменное счастье. Прочь, прочь, глупые мысли! Существует то, что в их власти, живая жизнь, как говорил гений, остальное уже за пределом...

Он вздохнул. Сейчас он скажет ей самое главное. Сегодня все должно измениться, стать общей их жизнью.

Со Среднего, куда неведомо как и попал, Гальперин снова повернул на Десятую линию. Дворник ушел. Парадная так и не была закрыта. Гальперин повернул ключ. Дуся, может, не спит, но она-то давно все про них понимает...

Промерзшими руками он стащил ботинки и в шерстяных носках тихонечко вошел в комнату.

Вера молча смотрела, как он приближается. В ее распахнутых глазах было ожидание и покорность.

Он присел на краешек старинной постели и протянул, как новогодний букет, только что найденную верхинку елки. У него были холодные руки. Она сжала горячими ладонями его пальцы и подышала на них, нет, они у него так и не грелись, и, улыбнувшись, положила его ладонь под свою щеку.

— Ах, как прекрасно, что ты пришел из зимы, — сказала она шепотом. — Значит, мы все-таки празднуем Рождество, Лева.

Он улыбнулся и поцеловал ее.

— Я тебя люблю, Вера.

...Елочка стояла в стакане на ночном столике, и теперь лесной запах окружал их. Рука потянулась к лампе, в комнате погас свет.

— Я мечтаю, Вера, — сказал он, — чтобы мы больше не расставались...

— Нет... — сказала она. — Я инвалид. Ты здоровый мужчина. Будь рядом, пока я не надоела, ты надоесть мне не можешь. Я за все тебе благодарна...

— Ты лучшая женщина в моей немаленькой жизни, Вера.

Он ощутил ее горячие, мокрые от слез губы.

— Ты в этом уверен?

— Уверен, девочка... Как и в том, что с сегодняшнего дня все для нас станет другим... Мы будем вместе.

Она улыбнулась.

— Вместе и на том и на этом свете. Мне кажется, именно это ты хотел сказать в портрете?

Он вздрогнул, какая нехорошая шутка!

Он прижался к ее щеке, ощутил теплоту большого, родного тела.

— Боже! — сказала она. — Спасибо!

Нет, их уже было не двое, одна неразъятая жизнь, единая плоть в бесконечном небе.

Они поднялись над деревьями и домами, внизу лежал Васильевский остров, мосты, серебристые торосы Невы, залив, белый от льда, с застыв-

шими у берегов сонными кораблями. Они летели в темном, освещенном луной пространстве. Возник Париж, с огромной высоты была видна сияющая Эйфелева башня, огни Монмартра, потом они стали подниматься выше и выше, теперь он хотел показать ей старую Яффу, квартал художников на высокой горе у моря, а впереди их уже ждал священный город. «Иерусалим, — шепнул он. — Я тебе покажу все, что видел... Это Стена плача, а чуть дальше — Гефсиманский сад, дорога на Храмовую гору, Дорога скорби...»

Она плакала.

Он лежал рядом с Верой, глядел в потолок, слушал ее дыхание и думал о том, что произошедшее уже не исчезнет, вся жизнь, страдания, одиночество, непонимание окружающим миром, все это уйдет в небытие...

Он осторожно провел потеплевшие пальцы под Верину шею и так застыл. Казалось, она крепко спала. Но Вера вдруг приподняла голову и губами прижалась к его ладони.

Потом заснул и он. И даже когда раздался стук в дверь и почти сразу же — крики, он успел подумать, что все это не касается их, мало ли какая глупость может взбрести в голову пьяным людям в ночь под Рождество?

Возник Дусин голос, резкий, непривычно пронзительный, удивленно-рассерженный:

— Кто?! Она спит, спит! Нашли время! Нет, не открою!

Он вскочил. Вера сидела в кровати и с ужасом смотрела на дверь.

Испуг в глазах Веры внезапно стал таким же трагически обреченным, как на портрете.

«Конец, — подумал он. — Конец для обоих. Было ли счастье?! Может, секунда... да и то показалось. Теперь начинается другое...»

Дверь распахнулась. В комнате застучал сапогами низенький человек с кривыми, как у таксы, ногами. Стащил с головы ушанку, бросил на стол, по-хозяйски решительно огляделся. Волосы у него были темные, грязные. Брови росли как по линейке, сходились на переносице, он морщил лоб, поглядывая на застывшего, полураздетого Гальперина.

Дуся шнуровала корсет, прикрывая хозяйку. У двери стояли дворник Матвей и Клава, давняя деревенская Дусина товарка. Смотреть на нее как на власть было странно. Когда-то Клава жила у них. У Веры Михайловны и ей нашлось место, спали на кухне, пока дворник Матвей не увел к себе.

У полок крутился второй охранник, он вытаскивал книги, дергал каждую за обложку, тряс над полом, но оттуда ничего не выпадало.

Гальперин стоял столбом, таращил глаза на кривоногого.

— Лева, оденьтесь, — сказала Вера Михайловна. — Зачем позориться перед ними. Мы ни в чем не виноваты...

— Ишь! — расхохотался главный. — На «вы» его называет. Может, тебя с ним познакомить?

Гальперин, путаясь в брючине, одевался.

Кривоногий записал — «Гальперин». Сверил с каким-то списком, радостно сообщил:

— А за вторым и ехать, Коляк, не придется. Мужик, как видишь, ждал нас в ее кровати. Безногая, а блудит, как нормальные бабы. — Он повернулся к Дусе, прикрикнул: — Забираем обоих. А то пришлось бы за этим катить на Охту, бензин тратить...

Он опять засмеялся. Неожиданно тонким голоском вмешался второй охранник:

— Ты еще сундук погляди. И поедем.

Летели листы. Вера Михайловна с ужасом смотрела на ворох гуашей и акварелей. Тяжело падали тушевые рисунки. Кувшины, груши, стаканы — все это писалось в последние недели, черные натюрморты — прощание с жизнью...

— Ну что стоишь? — крикнул Гальперину кривоногий. — Собирай-ка свою убогую. Пальто или что там у нее есть. — Он мигнул дворнику. — Одна бражка, враги народа, мать их...

Вышли на улицу: Дуся, понятые, охрана.

Распахнули фургон. Вера Михайловна уперлась руками в железный пол кузова, но подтянуть себя сил не хватало. Лев шагнул к ней, стал закидывать внутрь машины, к холодным металлическим скамьям. Уже в кузове он поднял лежащую Веру, посадил на сиденье, молча обнял. Она плакала, и Гальперин, не найдя платка, стал вытирать рукой ее слезы.

— Это ерунда, Верочка, чья-то ошибка. Такого быть просто не может. Ну какие же мы враги? Поговорят, проверят и отпустят.

Он прикоснулся губами к холодной, застывшей щеке. Она ткнулась носом в его ладонь и всхлипнула снова. Машину подбросило на ухабе. Махонькое окошко зарешеченного «черного ворона» густо промерзло, и нельзя было понять, по каким улицам их везут.

— Последние наши минуты, — шепнула она. — Больше мы не увидимся, Лева...

— Нет, нет, нас отпустят. Это было бы дико...

Машина въезжала во двор. Железо скребло по снегу, потом глухо донесся удар выбитого крюка.

Охранник распахнул дверь и крикнул:

— Гальперин, вытаскивай свою бабу, иначе ей самой придется выполнять. Никто здесь баловать вас не станет.

Из разговора с Львом Соломоновичем Гальпериним через петербургских трансмедиумов 21 ноября 1993 года

Семен Ласкин: Лев Соломонович, я мечтаю написать о Вере Михайловне и о вас книгу. Что бы вам хотелось, чтобы я не упустил в ней?

Лев Гальперин: У меня даже не хватает воображения, что можно обо мне писать.

Семен Ласкин: Но может быть, правильнее начать с ваших отношений? Что больше всего вам бы хотелось выделить и в дружбе, и, вероятно, в любви к ней, как и в ее любви к вам?

Лев Гальперин: Я был благодарен Верочке за возможность ощутить все, что должна ощущать на земле счастливая душа. Я не представляя, что меня можно понимать так, как понимает она. И это без слов и даже без взгляда. Ее доверие раскрепостило меня. Я ушел от некоторых своих недостатков, я оказывался перед нею совсем беспомощным, и мне было радостно даже от своей беспомощности, от доверия, которое я испытывал к ней.

Семен Ласкин: Близкие люди, а мне кажется, вы были очень близки, не только понимают друг друга, но невольно и влияют друг на друга, не так ли? Конечно, вы — я говорю в данном случае об обоих — были уже не молодыми, Вере Михайловне сорок один, вам — сорок восемь. И у вас, и у нее были и разочарования, и неудачи. Можно ли сравнить ваши отношения с тем, что оставалось в прошлом?

Лев Гальперин: Нет, все иначе. Да, мы были не только близкие люди, но и близкие души. И на земле мы понимали друг друга так, что иногда бывало смешно и даже страшно. Я думаю, это главное. Вы можете представить себе такую ситуацию. Я долго раздумываю, как сказать Верочке, что это белое пятно не должно быть там, что оно отвлекает и дает совершенно иной акцент, не ее акцент. Думаю, говорить или она сама это увидит. Вера была довольно самолюбивая художница и часто болезненно воспринимала замечания. Стою рядом и размышляю, что же делать с этим ненужным белым бликом...

И вдруг Верочка говорит: «Ты еще долго будешь мучиться, у тебя уже глаза прожгли этот блик, а ты все слова подбираешь». Ну, что вы на это скажете? Она, оказывается, заметила не блик, а мою реакцию на него, а уж тогда и его ненужность на своей картине.

Семен Ласкин: Вера Михайловна — огромный художник.

Лев Гальперин: Мне радостно, что вы любите Веру...

Семен Ласкин: Лев Соломонович, но мне хочется понять и вашу судьбу. Ответьте, что было причиной вашего развода с семьей Кригер?

Лев Гальперин: Я был им не нужен. Они видели во мне добытчика, а я был им ни к чему. Им нужен был совершенно другой человек. Они желали другого. И нет вины моей перед ними. Им со мной было плохо и беспокойно, как и мне с ними.

Семен Ласкин: А как вы объясните, что ваш сын — кстати, я знаю его больше полувека — никогда раньше не называвший не только вас, но и свою подлинную фамилию, вашу фамилию, отыскав, благодаря мне и Василию Калужнину, несколько ваших картин, с такой страстью принялся восстанавливать свое прошлое?

Лев Гальперин: Он такой же добытчик, но для своей семьи. А когда исчезла опасность, то картины мои стали стоить денег.

Семен Ласкин: А ваши работы где-нибудь сохранились? Вы жили в разных странах...

Лев Гальперин: Они еще есть. Израиль их принял, но они в частных домах. Одна картина в Женеве. Боюсь, не назову это место, я не могу точно понять название. Могу лишь сказать, что осталось очень немного работ.

Семен Ласкин: В России их уничтожили?

Лев Гальперин: Да, их боялись. Кто-то мог увидеть работы репрессированного художника. А некоторые просто хранили так, что картины попортились...

В Питере я сразу же позвонил в пресс-центр КГБ, разрешение от Батурина и Кригера, как я говорил, у меня было. Уже знакомый молодой начальник доброжелательно выслушал меня, мы действительно легко «устаканились», как пообещала милая сотрудница этого ведомства, и теперь она же снова провожала меня из приемной в главный корпус — папка «дел» ожидала на столе шефа.

Красивый молодой человек с тонкими волевыми губами и холодными серыми глазами спокойно перелистывал страницы. Он был предельно любезен. Оказалось, перед моим приходом он сам поинтересовался судьбой следователей Тарновского и Федорова, следы их исчезли, не исключено, что и они были расстреляны в тридцатые годы.

Он передал мне довольно увесистую папку. Мы вышли в большой зал, где работали сотрудники, и он снова обратился к ожидавшей его решения симпатичной помощнице.

— Людочка, устройте Семена Борисовича поудобней. В двадцать четвертой найдется местечко?

— Уплотним академика, — пообещала Людочка с той же твердой интонацией, с какой она недавно произнесла свое «устаканимся».

Людочка перенесла пишущую машинку на свободный стул в небольшом кабинете, принадлежавшем пресс-центру, представила меня академику — он изучал «дело» Тарле, — предупредила, чтобы мы не снимали трубку, если зазвонит телефон, и вышла.

Следственные документы Гальперина стояли под отдельным номером. Постановление об аресте было помечено, как и у Ермолаевой, двадцать пятым декабря 1934 года.

Агент, дававший сведения органам НКВД, был тот же самый, его шифр 2577 повторялся неоднократно.

Я медленно листал страницы. Особенно хотелось отыскать ту очную ставку с Ермолаевой, о которой с таким раздражением говорил Виктор.

Вот некоторые документы этого дела.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ленинград

Я, уполномоченный секретно-политическим отделом управления НКВД Тарновский, рассмотрев материалы по делу и приняв во внимание, что

Гальперин Лев Соломонович

достаточно избличается в том, что:

а) является участником контрреволюционной группы, пытавшейся наладить нелегальную связь с границей,

б) ведет антисоветскую деятельность среди окружающих

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь Гальперина Льва Соломоновича по статье 58, 58-10 с мерой пресечения.

Избрать содержание ДИЗ по первой категории.

Тарновский

СПРАВКА

Гальперин Л. С., 1886 г.р., художник и преподаватель детской художественной студии Выборгского района, беспартийный, придерживается меньшевистских взглядов, служащий, Б. Охтинский, 53, кв.8, антисоветская деятельность, выражающаяся в антисоветской агитации: попытка объединить антисоветскую интеллигенцию.

АГЕНТ 2577 с 1932 года.

Фигурирует Ермолаева Вера Михайловна.

ПРИНЯТИЕ ВЕЩЕЙ

Ремень — 1
Галстук — 1
Карандаш — 1
Часы — 1
Фотокарточки — 4
Продлисток на декабрь — 1
Документы: паспорт, профбилет, переписка.

АНКЕТА

Уехал из России в 1910 году. Вернулся в 1921 году. Жил в Париже. С началом войны был в Турции, в Греции, в Египте, в Палестине, в Австрии. Мещанин. В 1905 году участвовал в революционном движении. Еврей. Образование среднее. Окончил электротехническое училище, художественную академию в Париже.

Семья:

брат Гальперин Ахилл, 52 года, где работает и живет, не знает;
брат Гальперин Новель, 50 лет, где работает и живет, не знает;
брат Гальперин Менасий, 49 лет, где работает, не знает, живет в Бразилии;
сестра Фридман Ида, 49 лет, где работает, не знает, живет в Киеве;
сестра Берштейн Роза, 55 лет, где работает, не знает, живет в Австрии;
мать Гальперина Рахиль, 84 года, живет в Киеве;
сын Гальперин Виктор, 3 года, Ленинград.

СПРАВКА

По имеющимся данным, художниками Ермолаевой Верой Михайловной, дворянкой, ранее связанной с меньшевиками, и Гальпериным Львом Соломоновичем, бывшим меньшевиком, прибывшим из-за границы в 1921 г., за последнее время делается попытка организовать вокруг себя реакционные элементы среди интеллигенции.

Гальперин предполагает воспользоваться услугами одного лица, которое часто приезжает в СССР из Парижа и привозит ему сведения о жизни русских эмигрантов в Париже.

Гальперин Л. С. заготовил серию рисунков, изображающих в порнографическом духе товарищей Сталина и Ленина.

Гальперин, устроенный Ермолаевой в школу детского художественного воспитания Выборгского района, сейчас пропагандирует среди учащихся, что товарищ Киров убит на личной почве и никакой политической подкладки убийство товарища Кирова не имеет.

Упоминаемый Гальперин родился в 1886 г. в Проскурове.

В 1906—1908 гг. являлся участником меньшевистских кружков в Одессе, вследствие чего был вынужден эмигрировать из России.

Учился в Париже, был связан с белой эмиграцией и в 1921—1922 гг. вернулся в СССР. До 1928 г. жил в Москве, в последнее время в Ленинграде. Исключен горкомом ИЗО из членов Союза за антиобщественность. Распространяет теорию, что эпохи и определенные периоды в истории повторяются, сохраняя свою сущность и лишь изменяя свою внешнюю форму. По его мнению, эпоха царствования Николая Первого и существующий строй СССР одинаковы, хотя и носят разные названия, так как общая их линия — палочная дисциплина и кровавая расправа. Интересовался движением на юго-востоке и востоке главным образом среди мусульман.

Проживает на квартире Кригера, дочь коего, его бывшая жена, связана с племянницей меньшевика Абрамовича — Изаксон Н. А.

АГЕНТ 2577

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 26 ДЕКАБРЯ 1934 ГОДА

Вопрос: Расскажите вашу биографию.

Ответ: Родился в 1886 году в семье купца-фабриканта, владельца кирпичного завода Гальперина Соломона Самуиловича, проживающего в деревне Броневка, Проску-

ровского уезда, Подольской губернии. По метрике значусь уроженцем местечка Черный остров, Проскуровского уезда.

Образование получил дома, занимаясь с учителем.

В 1905 году несколько месяцев жил в Одессе, где поступил в пятый класс частного электротехнического училища. Прочувшись два года, бросил учебу и стал заниматься скульптурой. Жил на средства отца.

В 1909 году переехал в Проскуров, где продолжал заниматься скульптурой.

В 1910 году был вынужден бежать за границу, так как я скрывался от воинской повинности.

Приехав в Париж, поступил в вечернюю художественную школу, где полтора года получал деньги от отца.

В 1911—1912 годах, точно не помню, поступил в Русскую художественную Академию, созданную в Париже русскими художниками-эмигрантами, и существовал на средства от сбора платы от учащихся, доходы от устраиваемых вечеров или случайные средства от пожертвований меценатов. Я был секретарем правления этой Академии в 1913 году.

В том же 1913 году я принял участие как в корректуре и правке журнала, так и в писании статей в журнале «Гелиос», издававшемся при этой Академии и организованном группой художников левого направления во главе с художником и поэтом Оскаром Лещинским. Я же был членом редакционной коллегии данного журнала.

В 1914 году, после объявления войны, я уехал в Египет, так как во Франции в это время была широко развита агитация и оказывалось давление на русских подданных с целью побудить их к вступлению в армию.

В Египте я жил в Александрии с 1914 года по 1919-й, работал как преподаватель частных уроков по лепке и занимался скульптурой.

В 1919 году я решил перебраться в Европу. Единственный путь для меня был через Палестину, ибо иначе я бы не мог въехать, не прибегая к помощи русского консула, а к нему обращаться мне было нельзя, ибо у меня не было русского паспорта.

В городах Палестины, Яффе и Иерусалиме, я пробыл год, так как вынужден был зарабатывать деньги. После этого я поехал в Вену, где прожил до 1921 года. В Вене существовал на изготовление деревянных барельефов, которые мне реализовывали в Нью-Йорке мои родственники (бывшая жена моего брата Менасия — Тема Нафтальевна). Кроме того, у меня были небольшие сбережения, сделанные за время работы в Палестине.

В 1921 году я подал заявление в полномочное представительство Советской России в Вене с просьбой разрешить мне вернуться в Советскую Россию. Помог мне в этом находившийся в Вене поэт Лившиц, член ВКПб, к коему меня рекомендовала группа венских еврейских поэтов, сочувственно относящихся к Советской России.

В конце 1921 года я переехал в Москву, где поступил на работу в политпросвет Краснопресненского района. Здесь по заданию политпросвета организовывал районную музыкально-художественную студию.

После организации студии в 1922 году уехал в Проскуров, где работал художником в ЦОНО месяца полтора.

Опять вернулся в Москву. Не находя работы, несколько месяцев существовал на паек АРА. В получении пайка мне помогала еврейская Культур-Лига, существовавшая при еврейской секции наркомпроса.

В 1923 году поступил на работу в журнал «Жизнь национальностей» литсотрудником. Журнал издавался лит. информационным отделом Народного комиссариата национальностей. А через несколько месяцев перешел техническим редактором по художественной части (художник-техник) в Центроиздат.

В 1927 году я уволился ввиду ликвидации отдела.

Около трех лет я существовал на случайные заработки и пособие по безработице.

В 1928 году я переехал в Ленинград, женившись на Кригер.

В 1930 году поступил в журнал «Наука и техника» на должность литправщика.

В 1932 году был сокращен по упразднению должности и перешел на разовую работу как художник, встав на учет в горком ИЗО.

В 1934 году в сентябре поступил в детскую художественную школу Выборгского района педагогом по лепке.

Вопрос: Состояли ли вы в какой-либо политической партии?

Ответ: Нет, в политических партиях я не состоял, но принимал участие в социал-демократических кружках, хранил и размножал политическую литературу. Это было в Одессе и в Проскурове в 1905 и в 1906 годах.

Гальперин

...В середине ночи на допрос был вызван сосед, могильщик Серафимовского кладбища Сазонов. Могильщик ткнул ногой Гальперина и стал тяжело выбираться из-под нар. Место считалось особенно удобным, здесь никто не давил тебя, ты был один на большом пространстве, сюда другие сокамерники не залезали. Гальперин торопливо заполз под койку. Народу было полно, и даже короткий покой немалого стоил.

Несколько минут Гальперин неподвижно пролежал на полу и наконец стал засыпать. Сазонова вызывали часто, ГПУ искало пропавшие ценности, и Сазонов с удивлением рассказывал, что следователей интересует могила, в которую он будто бы зарыл золото.

У дверей сидели новенькие, и каждое опустевшее место тут же заполнялось усталыми, измученными людьми.

Гальперин вытянул ноги и, боясь приподняться, стал совать под голову сверток, полученную в день ареста ватную телогрейку. «Господи, — думал он. — Неужели удастся хоть чуточку поспать? Неужели сегодняшняя ночь будет не такой трудной...»

Он медленно отключался и тут же услышал металлический щелчок замка. «Нет, это не за мной, — подумал он. — Я больше не могу не спать столько ночей...»

— Гальперин! — донесся голос.

«Здесь нет Гальперина! Гальперин умер!» — мысленно закричал Лев Соломонович, но он уже выползал из-под койки, поднимался, вставая сначала на четвереньки, потом на ноги, но все еще не просыпаясь.

По коридору шел покачиваясь, будто пьяный. Охранник тыкал в него рукой, вероятно, арестованный так и не приходил в себя. На лестнице Гальперин упал, скатился вниз, ударяясь спиной и грудью о каменные ступени. Боль наконец разбудила его. Он поднялся и несколько секунд простоял в глубоком недоумении, не соображая, что же произошло.

— Чеши, чеши! — прикрикнул охранник. — Ишь, стерва! Всё делают, лишь бы не идти на допрос...

Кабинет, в котором сидел Тарновский, был хорошо знаком. И Гальперин, войдя в комнату с обширным письменным столом, двумя креслами и табуреткой у противоположной стены, встал около него, ожидая разрешения сесть.

Следователь неспешно листал бумаги. Лампа освещала густые рыжие волосы, веснушчатое молодое лицо, полосу бровей, таких же огненно-рыжих.

— Ну? — Тарновский даже не поглядел на арестованного. — Рассказывай.

Гальперин молчал. Начало допроса всегда повторялось. Тарновский спрашивал нечто свое, давно решенное, но Гальперин просто не мог сообщить, чем же в конечном счете интересовался следователь.

— Простите, — после некоторого молчания спросил Гальперин. — Вы не уточните вопрос? О чем бы хотелось?..

— Ишь, какой вежливый! — воскликнул Тарновский. — Видно, следует дать по твоей антисоветской хारे, это и будет моим уточнением. Говори, что ты готовил против рабоче-крестьянской власти?

— Но я действительно не понимаю, о чем вы спрашиваете. Я художник, и меня никогда ничего не интересовало, кроме живописи.

— Положим, положим! — рассмеялся Тарновский. — Тебя интересовало все. Далеко не каждого мы вынимаем из кровати с безногой любовницей.

Он постучал карандашом по стеклу и выжидающе поглядел на арестованного.

Гальперин вздохнул. Перед ним сидел костлявый, рыжий, молодой парень со злыми коричневыми глазами и желтоватым лицом.

— Ну?! — угрожающе повторил Тарновский. — Что же вы делали со своей толстой дрянью? Только не говори о любви. Нас интересует другое...

— Но я ничего не могу сказать. Мы работали в детских художественных школах, учили детей, а дома, когда оставалось время, занимались живописью. Это вы должны объяснить, в чем же я обвиняюсь...

— Мы ничего тебе не должны! — Тарновский неотрывно смотрел на Гальперина. — Выходит, ты со своей сучкой Ермолаевой интересовался любовью, а против советской власти вы и не замыслили. Я могу вызвать эту дрянь, устроить очную ставку, и она напомнит тебе...

Гальперин прижался к стене, раздвинул руки, было страшно упасть, показать этому человеку, как важно для него произнесенное только что имя. Он лихорадочно думал: «Вера здесь. Она не отпущена, она рядом».

«Господи! — неожиданно для себя стал молиться Гальперин. — Неужели будет возможность хотя бы взглянуть на тебя, Вера! И тогда я смогу сказать какие-то важные слова, которые, может быть, помогут тебе...»

— Мы политикой не занимались, — упрямо повторял он. — Ермолаева ни о чем антисоветском рассказать вам не может...

— Какой шустрый! «Вам не может!» А кому может? Тебе?

Кто-то плакал за стенкой, это была женщина. И вдруг волнение охватило его. Гальперин ни разу не видел Вериных слез. Он хорошо представлял, как она смеется, как сердится, как может замолчать, оскорбленная непониманием, но плача... громкого плача он слышать не мог...

И все же в эту секунду он перестал сомневаться: там, за стенкой, в кабинете второго следователя, была Вера. Волнуясь, он сказал:

— Если это возможно, гражданин начальник, я бы хотел поговорить с ней, вы бы во всем могли убедиться... Еще раз повторяю, мы говорили только о живописи, занимались живописью, это единственное, что объединяло всех нас.

Тарновский встал.

— Сейчас ты будешь очень разочарован, мадама рассказывает о ваших игрищах иначе. Мне даже любопытно поглядеть на твое лицо. Она-то утверждает, что ты ярый антисоветчик. Именно с тобой мы и должны разделиться в первую очередь. — Он снял телефонную трубку, набрал номер, сказал с какой-то веселой, удивившей Гальперина интонацией: — Ермолаеву минут на десять. Любовничек требует встречи.

Хлопнула соседняя дверь, звук шагов казался и очень знакомым, и все же чужим. Гальперин понимал, как невероятно трудно Вера несет свое тело. Шарканье протезов по каменному полу словно бы подчеркивало непреодолимое бессилие.

Он стоял не шелохнувшись, даже не услышал разрешения Тарновского: «Садись!» Он ждал. Он был не способен поверить, что вот уже месяц Вера находилась рядом, в том же коридоре, в нескольких шагах от него. И все же как далеко теперь они были друг от друга.

Охранник спросил разрешения ввести заключенную. Тарновский кивнул.

Гальперин сделал шаг к двери и даже не услышал предупреждающего окрика: «На место!» В эту секунду для него не было ничего более серьезного, чем возможность, нет, чудо увидеть Веру.

Она стояла в дверях, разведа костыли, худая, и пустым, померкнувшим взглядом смотрела перед собой. Видела ли она его, понять было невозможно.

Наверное, он что-то крикнул, может, просто назвал ее имя, но тут же почувствовал, как охранник, стоящий за спиной, ударил его так сильно, что Гальперин качнулся. Стол Тарновского снова поплыл по кабинету.

— Сидеть! — возможно, уже не в первый раз крикнул следователь. — Когда потребуется, я тебя, гадина, поставлю на сутки в карцер, и тогда ты сам будешь мечтать, как и на что там сесть...

Ему показалось, что Вера не услышала и этого выкрика. Она простучала мимо на костылях и застыла, будто бы повисла перед столом. Тарновский махнул рукой. Охранники подтащили табурет под ее ноги.

Она опустила голову. Гальперин видел, как уперся в грудь ее подбородок, упали руки и совершенно безжизненно пусты были ее глаза. «Верочка, Вера, — мысленно кричал он. — Что они с тобой сделали?»

Облако плыло перед ним в мерцающей пустоте. Гальперин едва осознавал необъяснимые ее признания. Говорила другая, неведомая ему Вера. Даже хриплый и низкий голос был голосом совсем чужого человека.

Он с удивлением слушал, как она говорит об антисоветской их деятельности, как подтверждает нелепые вопросы Тарновского. Если бы он мог, он бы крикнул: «Вера, что ты?! Такого не могло быть, Вера!»

Он только тупо и однозначно все отрицал.

Открылась дверь. В кабинет вошел низенький, толстый Федоров, кивнул Тарновскому, достал папиросы, протянул пачку и, когда тот отказался, взял себе, чиркнул спичку и наконец ногой подтянул стул.

— Надеюсь, нормально? — спросил Федоров, будто бы рядом и не сидели арестованные.

— Этот негодай, — Тарновский ткнул пальцем в Гальперина, — этот антисоветчик делает вид, что не понимает, о чем я его спрашиваю.

— Могу помочь. — Федоров поднялся, перенес от окна еще табуретку и, приблизившись к Ермолаевой, поставил табуретку рядом с ней вверх ножками.

— Если ты, падла, — пригрозил он Гальперину, — не сообразишь, чего от тебя хотят власти, я попрошу «даму» пересесть на одну ножку вот этого стула. Мы ведь вынимали ее из постели, как помнишь. В конце концов, ей это должно нравиться! Правда, наш конец деревянный...

Он захохотал, довольный собой.

«Господи! — с ужасом подумал Гальперин. — Что же здесь происходит, Господи?!»

— Скажите, Ермолаева, Гальперин занимался антисоветской пропагандой?

Она с торопливым ужасом ответила: «Да!»

Он увидел, как Вера повернула голову и виноватым, измученным взглядом посмотрела на него.

И вдруг все происходящее стало для Гальперина абсолютно ясным. Он закрыл глаза. Жизнь кончилась для обоих. Выхода нет.

Внезапно вспомнилась такая далекая и теперь будто бы чужая юность. Пароход с паломниками вышел из Яффы в Средиземное море и взял курс на Грецию. Вернуться в Россию казалось непросто, но он был уверен, новая власть его поймет и примет. Да, он не хотел воевать в четырнадцатом, уехал из Франции в Египет и там через три года услышал о русской революции. Сколько лет он и его друзья мечтали о справедливости, и вот теперь, после Октября семнадцатого, Родина демонстрировала миру величайшую, ни с чем не сравнимую победу Свободы и Разума. Кому угодно он мог рассказать, как тяжело выстрадал свой путь. В России — он был уверен — его могло ждать только общее счастье...

В Вене он настойчиво добивался визы, ежедневно приходил в посольство. Казалось, люди ему сочувствуют и понимают, да и не один он бывал там, вместе оказывались и те, кто выше благополучия и богатства ставил свое непреодолимое желание быть дома. Европа так и оставалась чужой...

В Москве он голодал, искал любую службу. Но испытания и неудачи не перечеркивали его веры в новую жизнь. Да, пусть не сегодня, но завтра здесь все должно быть прекрасно, следует только перетерпеть, жизнь идет так, как ему виделось и хотелось. Конечно, пока не везло, и все же он не думал, что поступил неверно.

Восемь лет Гальперин дожидался чуда. И оно пришло. Тонкий, умнейший, талантливейший друг оказался подарком судьбы. Никогда рядом не появлялось существа, способного так понимать его. Конечно, все не просто. Он, скульптор, ученик великого Бурделя, прекрасно знал, что такое женское тело, любил пластику и раньше даже в мыслях не мог допустить, что есть в жизни нечто высшее, чему красота могла уступать.

Все пришло неповторимо и бурно, стало небывалым счастьем. Веру он писал часами. Даже когда слова исчезали, он чувствовал: они так много сказали друг другу, что это ни с кем и никогда уже повторить невозможно.

Но существовало для них и другое! Все, что думал, о чем размышлял, Вера уже хорошо знала. Их мысли существовали рядом, и если он начинал фразу, она могла в любой момент эту фразу продолжить. И вот теперь он, а не она, должен был не только понять, но и что-то нужное для нее сделать.

Он больше не смотрел на Веру. Что бы она ни говорила, как бы он ни старался объяснить всю бессмысленность обвинений, никому это не нужно. Инквизиторам требуется другое, и они этого добьются. Значит, остается единственный выход: подтверждать то, чего никогда не могло быть. И этим чуть облегчить, хотя бы на короткое время, судьбу Веры...

И тогда он сказал, что готов подписать все, в чем их обвиняют.

ИЗ ПОКАЗАНИЙ АГЕНТА 2577, СДЕЛАННЫХ 22 ФЕВРАЛЯ 1935 ГОДА

...Гальперина Льва Соломоновича знаю меньше, чем Ермолаеву, но это совершенно явно и глубоко выраженный антисоветский элемент. Припоминаю следующее его выражение на одном из совещаний художников, посвященном созданию стабильного учебника ЛОУЧГИЗа.

Гальперин на этом совещании выступил с заявлением, что стремление включить в учебник рисунки с показательными элементами наряду с художественными обречены в наших условиях на гибель. И нужно делать схематические рисунки, исключая из них всякие элементы художественности. Сам факт такого выступления имел в себе желание дискредитировать идею качественного художественного оформления учебников и этим подорвать желание и энтузиазм молодых художников в создании действительно высококачественных учебников для школ.

Гальперин Лев Соломонович всегда сопоставлял искусство Запада и наше советское искусство, указывая, что на Западе живописная культура стоит высоко и нам надо ей подражать и учиться у нее, а не идти теми путями, которыми пошло советское искусство: агитационность, преобладание политического момента в картине. Он говорил, что моменты реализма у нас подменяются фотографичностью. Гальперин всегда сожалел, что уехал из-за границы.

20 ФЕВРАЛЯ 1935 ГОДА.

ОЧНАЯ СТАВКА ГАЛЬПЕРИНА Л. С. И ЕРМОЛАЕВОЙ В. М.
СЛЕДОВАТЕЛЬ ТАРНОВСКИЙ

Вопрос к Ермолаевой: Что вас сблизило с художником Гальпериним?

Ответ Ермолаевой: С Гальпериним меня сблизало как наше однородное понимание живописи, так и близость наших политических воззрений.

Вопрос к Гальперину: Вы подтверждаете это?

Ответ Гальперина: Да, с Ермолаевой Верой Михайловной нас сблизало только однородное понимание живописи, никакой политической близости между мной и Ермолаевой не было, так как я и не знал ее политических убеждений.

Вопрос к Ермолаевой: Вы высказывали Гальперину свои политические убеждения?

Ответ Ермолаевой: Да, я высказывала Гальперину свои антисоветские убеждения.

Вопрос к Гальперину: Вы подтверждаете ответ Ермолаевой?

Ответ Гальперина: Нет, я ответа Ермолаевой не подтверждаю, так как я от нее никогда не слышал никаких антисоветских высказываний.

Вопрос к Ермолаевой: Расскажите, что вам известно об антисоветских убеждениях Гальперина.

Ответ Ермолаевой: В ряде бесед с Гальпериним, проходивших у меня на квартире в течение 1933—1934 гг. по вопросам политической оценки, выявления нашей политической направленности, я выяснила, что Гальперин Лев Соломонович стоит на антисоветских позициях. В оценках затрагиваемых политических вопросов он исходил из этих своих позиций.

Вопрос к Гальперину: Вы подтверждаете высказанное Ермолаевой?

Ответ Гальперина: Ответ Ермолаевой неверен. Никогда никаких антисоветских настроений я не имел, я их не высказывал.

Вопрос к Гальперину: В своих высказываниях от 18 января 1935 года вы показали, что в связи с усилением методов насилия и еще большего порабощения личности со стороны большевиков вы стали высказывать мысли о приходе большевизма в его борьбе за социализм в партии, вы это подтверждаете?

Ответ Гальперина: Да, подтверждаю показания от 18 января полностью.

Вопрос к Ермолаевой: Скажите, Гальперин вел антисоветскую агитацию среди окружающих?

Ответ Ермолаевой: Гальперин вел антисоветскую агитацию.

Вопрос к Гальперину: Вы признаете, что ваши политические убеждения были антисоветскими?

Ответ Гальперина: Раньше чем отвечать на этот вопрос, я должен сделать заявление: все мои предыдущие показания на сегодняшнем допросе неверны. Я подтверждаю все показания Ермолаевой, как о моих антисоветских убеждениях, так и о моей антисоветской деятельности.

Исходя из своих политических установок, я вел антисоветскую агитацию среди окружающих. С Верой Михайловной Ермолаевой меня, конечно, сблизило не только одинаковое понимание живописи, но и общность нашего политического мировоззрения. Мои антисоветские настроения проявились также в изображении Ленина и Сталина в голом виде. Изображая вождей компартии в голом виде, я хотел показать зрителю, что они, в противовес всем газетным характеристикам об их величайшей гениальности, являются обычными людьми. Я создал натуралистический шарж, который является контрреволюционным по своему содержанию.

ДОПРОС ГАЛЬПЕРИНА ЛЬВА СОЛОМОНОВИЧА 26 ФЕВРАЛЯ 1935 ГОДА

Вопрос: Вы признаете себя виновным в том, что вели антисоветскую агитацию среди окружающих?

Ответ: Да, признаю.

Вопрос: Вы признаете себя виновным в том, что являетесь автором двух контрреволюционных рисунков Ленина и Сталина?

Ответ: Да, такие рисунки мною были уничтожены, но я их показывал Латаш, Рыбакову, рассказывал о них Ермолаевой.

Тарновский

Я несколько раз перечитываю протокол. Я подумал о самом простом: били. В конце-то концов, кто не знает, как достигались «искренние» признания. Помню, меня потрясла история, рассказанная пару десятилетий назад об арестованном за шпионаж генерале. Его избивали, но, приходя в себя, он отрицал все.

Тогда ему на лоб натянули обруч. Следовательно задавал вопрос, а исполнители медленно закручивали металлическую ленту.

Лопнул череп.

...К своим медиумам я шел именно с этим вопросом. Что же стояло за неожиданным признанием Льва Гальперина? В конце-то концов, как бы мои отношения с Кригером ни менялись, но обвинения Ермолаевой в предательстве продолжали тревожить...

Из разговора с Львом Соломоновичем Гальпериним через петербургских трансмедиумов 21 ноября 1993 года

Семен Ласкин: Лев Соломонович, я читал ваше «дело»... 20 февраля 1935 года на очной ставке с Верой Михайловной вы долго отрицали все обвинения, предъявляемые следователем Тарновским, о вашей антисоветской деятельности. А Вера Михайловна утверждала, что вы и она действительно антисоветской деятельностью занимались. И вдруг вы сказали, что подтверждаете все, что Ермолаева о вас говорила. Это необъяснимо. Вас били?

Лев Гальперин: Я желал уйти. Я так устал видеть унижение Верочки. Я понял, что здесь никто не собирается устанавливать истину, истина никого не волнует. И когда я это понял, мне стало страшно. Они могли сделать все, что угодно. И это ради того, чтобы оправдать свои действия. Я увидел их готовность издеваться над женой моей, только бы я дал им нужные показания. Они пригрозили этим и ждали, когда можно...

Не хотел я этого. Понимал, что вряд ли удастся избежать насилия, но хотя бы оттянуть время я был должен.

Я прекрасно помню тот вечер, когда мне позвонила знакомая из музея Ахматовой. Именно там Виктор Кригер и мои друзья-искусствоведы делали выставку Гальперина и Калужнина.

Я пришел на выставку за день до открытия, рабочие развешивали графику Калужнина. Хранившиеся в Ленинграде листы я хорошо знал. А вот Гальперин показался чудом. Теперь его холсты были уже натянуты на подрамники, Виктор реставрировал все шесть работ, да и акварели обрели другой вид — развешенная живопись словно бы утверждала появление из небытия большого имени.

Ермолаева, как я теперь видел, была на многих работах. И на том, поразившем меня еще в Мурманске портрете, и на групповой картине, где

она, сидя на стуле, твердым жестом объясняла ученикам, окружавшим ее, что-то основательное и, видимо, крайне серьезное, да и на нескольких акварелях, написанных на картоне и на бумаге, тоже была она.

Удивительный ее взгляд словно бы утверждал какую-то великую силу, глубину и ум.

В соседнем зале были уже развешены калужнинские работы, его великолепный уголь — усталая балерина, а рядом цирковая наездница, — все это в двадцатые годы так восторгалось выдающегося искусствоведа Терновца. Несколько холстов были повешены в центре второго зала.

По сути я был один на выставке накануне и еще не решил — пойду ли завтра. И вечером и наутро мне звонил приятель, искусствовед из музея, уговаривал выступить на открытии. Он был прав, я понимал. Книга о Калужнине давно издана, и теперь именно мне следовало сказать о тех найденных, вынутых из полного забвения работах арестованного и погибшего его друга Льва Гальперина. Да и рассказать было что. В моих руках находились архивные дела КГБ, воспоминания очевидцев. Утром я уже перестал сомневаться, обидой, конечно, следовало пренебречь.

Народу на открытие пришло много. Кригер расхаживал по залам, его гордость легко было понять. Кроме живописи вдоль стен стояли массивные застекленные стенды, акварели Гальперина на них соседствовали с неожиданными, видимо, новонайденными фотографиями, а рядом лежали полученные Кригером за последние недели ответы из московской прокуратуры. Но, пожалуй, главным была поразившая меня справка еще об одном непонятном аресте Гальперина, но уже не в 1934 году. Как известно, — именно то «дело» я и читал в ленинградском архиве госбезопасности, а вот о втором аресте... в январе 1938 года я ничего не слышал. Удивительный, как мне показалось, документ, каким-то образом полученный Виктором, был подписан заместителем прокурора Московской области. В нем извещалось, что «Гальперин Лев Соломонович, уроженец села Броневского, Проскуровского района, заключенный Дмитлага НКВД СССР, был арестован 28 января 1938 года (!) по обвинению в антисоветской агитации и по решению тройки при НКВД по Московской области от 2 февраля 1938 года расстрелян».

Я был поражен и ничего не понимал. Дмитлаг находился в Подмосковье. Но разве я мог сомневаться в выданных мне делах ленинградского НКВД?! И как же Гальперин, арестованный в декабре 1934 года, оказался, по новым и непонятным данным, арестованным... в январе 1938-го?! И уже через несколько дней, если верить неведомому заместителю прокурора области товарищу Бочкареву, расстрелян.

Ситуация показалась мало достоверной, я невольно подумал о банальной бюрократической ошибке.

На столе лежали буклеты. Виктор преуспел и в этом. Я взял один. Общество «Мемориал», видимо, помогало в подготовке выставки, за их счет и был сделан буклет. На обложке оказался замечательный рисунок Гальперина из серии «Мертвые души».

Рисунок я хорошо помнил с той, еще первой нашей встречи до поездки в Мурманск. А на последней странице был напечатан портрет печального Гоголя. В конце текста стояла подпись: «В. Кригер, сын Гальперина».

Этому я порадовался. По сути в данное мной «обязательство-расписку» входила и проблема авторства, я не имел права опережать Кригера.

Я сразу же прочитал последние строчки. Виктор вышел на московские структуры Министерства госбезопасности, которые я не знал. Два заключительных абзаца говорили о судьбе Гальперина в последние месяцы его жизни — события были и неведомыми и очень важными для меня.

Кригер писал: «Часть срока Гальперин отбыл в Карлаге, как и Ермолаева. Но 5 октября 1936 года он был увезен в Дмитлаг Московской области. Мне рассказывали, что в Дмитлаге до 1937 года находились Центральные художественные мастерские на канале Москва—Волга: там был деревянный клуб, привезенный из Беломорканала, в клубе располагалась

мастерская, где работали художники. В их числе был один по фамилии Гальперин.

В Дмитлаге он пробыл сравнительно недолго. Умер 5 февраля 1938 года в Москве. В свидетельстве, выданном Куйбышевским загсом, поясняется: «Причина смерти — расстрел».

Не все вроде бы сходилось. Как это: «Там был деревянный клуб, привезенный из Беломорканала»? Охранники меньше всего нуждались в столь фундаментальных перевозках. Рабы строили все, что им прикажут, денег за эти дела не платили. Да и «умер в Москве» и «расстрелян» — достаточно разные факты. И в то же время факты, добытые Кригером, пустяком считать я не имел права.

В следующие дни в газетах появились отклики. Доктор искусствоведения профессор Герман писал очень близкое к тому, что чувствовал и я:

«...Экспозиция Гальперина следует за работами Калужнина. И то же ощущение высокого и тонкого профессионализма, выстраданности каждого приема и независимости поисков охватывает зрителя. Старший из представленных на выставке художников, Гальперин — единственный, кто сформировался «на повороте столетий». Он учился за границей — в Париже, работал в Вене и Египте и вернулся в Россию лишь в 1921 году. Человек, воспитанный в западных представлениях об автономии искусства, он не мог ни понять, ни принять официозной культуры Советской России. Гальперин был арестован по делу замечательной художницы Веры Ермолаевой и погиб в заключении в 1938 году.

Любопытно, что за границей Гальперин занимался главным образом скульптурой, дома — живописью. Возможно, определенность пластической формы и пространственная четкость картины и выдает руку скульптора, но это отнюдь не мешает живописной целостности работ. В них — сдержанная мощь, напряженный покой колорита, резкая характерность.

«Портрет сидящей женщины» — многие считают (скорее всего, справедливо), что это портрет Веры Михайловны Ермолаевой. Художница была тяжело больна, с трудом передвигалась, и эта скованность тела и свобода души угадывалась в портрете. Но главное — то державное достоинство искусства, которое в портрете — на первом плане и позволяет создавать, быть может, миф, ничуть не менее реальный, чем „тьма низких истин“».

Я был счастлив! На вернисаже я стоял рядом с Анастасией Всеволодовной Егорьевой, дочерью ближайших друзей Ермолаевой и, по сути, ее другом, и смотрел, смотрел, не отрываясь, на портрет Веры Михайловны, вновь, как и тогда в Мурманске, поражавший меня.

— Знаете, — сказала Анастасия Всеволодовна после долгого тревожного молчания, — я сомневалась. Но теперь убеждена — это Вемиска, вы правы.

В этот же вечер я читал в Публичной библиотеке изданный в 1913 году в Париже молодым художником Львом Гальпериным первый номер журнала «Гелиос».

Журнал открывался романтической декларацией: «С тех пор, как Художник сказал, что он тоскует, с тех пор как он нашел в Мире — миры, с тех пор, как он в сладостном предчувствии идет к мировому началу — в каждом часе, в каждом мгновении рождаются новые ценности. И пока будут рождаться эти ценности, пока будет светить Солнце — из жизненных пучин одних людей будет рождаться Песня и пламенным потоком выливаться на головы других...»

Декларация авторской подписи не имела, но романтическая приподнятость, возвышенность и открытая художническая духовность редактора словно бы утверждала для меня подлинное имя ее создателя: Лев Гальперин.

Я отклонился на спинку стула, вокруг тихо листали журналы и книги молодые ученые, что-то записывали — у каждого были совершенно различные заботы и интересы.

И «Гелиос» — российский журнал в Париже, и вновь увиденное искусство Гальперина — его так поразившие меня уже не в первый раз холсты, портреты Веры Михайловны Ермолаевой, да и она сама, мое понимание этой давно ушедшей жизни, осознание удивительного таланта, о котором с восторгом не раз говорили и старые художники, и искусствоведы, — все это усиливалось заново пережитым в эти вернисажные дни.

В мой мир возвращался Гальперин — и все же считать в те дни, что я когда-нибудь напишу о нем книгу, было еще трудно. Однако каким острым и сильным в тот вечер показалось переживаемое мной счастье!

**Из разговора с Львом Соломоновичем Гальпериним
через петербургских трансмедиумов 18 марта 1994 года**

Семен Ласкин: Лев Соломонович, в эти дни произошло серьезное событие: в музее Ахматовой состоялась ваша выставка. Удалось показать ту живопись, которую сохранил после вашего ареста Калужнин. И сама выставка, и ваши работы словно бы подтвердили факт, что настоящее искусство умертвить нельзя, оно вне времени...

Лев Гальперин: Милые мои, пожалуй, я еще буду вам нужен! Чувствую, что мы не обойдемся этой беседой.

Наталья Федоровна: Вы явно стали сильнее.

Лев Гальперин: Наверное, не сильнее. Я признателен за интерес ко мне как к художнику. Но даже и в это время душе больше всего обидно, что заботы ваши сейчас не о том, чтобы поддержать молодых, смешных, начинающих, никому не известных, а о том, чтобы вытрясти сохраненные людьми остатки в их памяти об ушедших в небытие и по сути уже забытых людях, не дать даже этим остаткам сгнить. Очень жаль, что вы тратите силы не на то, на что можно бы было тратить.

Семен Ласкин: Лев Соломонович, и все же, на что бы вы особенно хотели обратить живое человеческое внимание в своем творчестве?

Лев Гальперин: Пожалуй, особенно ценно мое узнавание... Я испытываю жалость и недовольство тем, что не смог познакомиться с большим искусством. Вы думаете, моя живопись и графика — это настоящее? Мне радости больше нет. Может, если бы я понимал, насколько интереснее мир, чем все, что я пытался изобразить, я бы не мог даже браться за кисть. Когда я осознавал работу, то начинал ощущать, как чувство переходит в цвет, в форму, это и было счастьем. Очень интимным счастьем и радостью. Иногда какой-то штрих давал гораздо больше, чем общение с любимыми людьми. И даже, мне кажется, это чувство имело общее с самыми дорогими чувствами. Правда, если бы от моего отказа от творчества могла зависеть жизнь любимого человека, мне было бы нетрудно отказаться от всего.

Семен Ласкин: И это вы доказали своей жизнью и, по сути, смертью. Я уже спрашивал о той очной ставке, где вы взяли на себя все, что вынуждена была говорить обессиленная и распятая палачами Вера Михайловна.

Лев Гальперин: Я благодарен вам и за это доброе понимание...

Семен Ласкин: А как же Ермолаева относилась к вашему творчеству?

Лев Гальперин: Но разве иначе она могла бы обратить внимание на меня? Если бы я использовал краски не по назначению?

Семен Ласкин: Вы были равноценны в общении? Или же она лидерствовала?

Лев Гальперин: Я и был бы рад, если бы она говорила о моих работах. Но, видимо, что-то не давало ей возможности говорить о них мне. Правда, иногда ей было важно понять, что из того, уже увиденного ею, могло получиться дальше. Она понимала, что в искусстве есть много ходов, и ей было любопытно, какой ход я выберу. А когда возникал результат, удивлялась, как будто бы она и не могла предположить именно этого хода. И получалось как игра. Случалось, что она сочиняла картины другого художника, но в его отсутствие. Впрочем, мне об этом она сама почти никогда не говорила.

Семен Ласкин: А какая часть в творческом процессе вам самому казалась наиболее серьезной?

Лев Гальперин: Для меня было очень важным то время, тот момент, когда появлялась возможность говорить с другими, не обязательно даже с ценителями, о своих работах. Начнешь говорить и как бы заставляешь себя поглядеть на собственное дело, на самого себя их глазами.

Семен Ласкин: Огромное спасибо, Лев Соломонович.

Лев Гальперин: Я рад вам помогать. Вероятно, я еще буду вам нужен...

...Гальперин лежал на больничной койке рядом с таким же, как он, молчаливым доходягой и смотрел, не отрываясь, в потолок. Прошедшие летние дожди давно промочили штукатурку, коричневые разводы образовали странные силуэты на потолке, один из них так напоминал огузшее лицо очередного следователя, который несколько дней назад давал ему подписать бумагу неведомой «тройки», прибавившей к заканчивающемуся тюремному сроку еще годы... Значит, новые пять лет. Кто знает, суждено ли ему и всем этим умирающим дожить до освобождения.

Нет, не суждено. В конце-то концов, какие же основания надеяться на счастливый финал? И лесоповал, и железная дорога в пустом снежном пространстве, и голод, и обморожение — все было. Не возникало только покоя, хотя бы одного благополучного часа, ничего не было путного за эти длинные годы, кроме унижения и рабского труда. «Господи! — подумал он. — Помоги уйти в небытие, дай забыться, исчезнуть из невыносимой жизни!»

Он невольно представил Веру и отсюда, из рабства, словно бы увидел дорогого человека и почувствовал приступ сердечной тоски. Ты жива? Мог ли Бог оставить тебя на земле? Да и земля ли те места, где мы находимся все эти страшные годы? Нет! — мысленно крикнул он. — Нет! Я уверен, ты меня ждешь, Вера!

Он закрыл глаза, чуть повернул голову от окна к стене и тут же почувствовал рваную боль под подбородком. Петля была надета правильно, но в решающий момент, когда он вышиб ногой табуретку и повис вдоль стены, невозможно было допустить, что жизнь все еще не закончена и кто-то из своих, сердобольных, случайно зайдет в барак, разрежет веревку, даст ему, не умершему, возможность вздохнуть. Зачем?! Кому это нужно?! Выход в одном: уйти, порвать с невероятной, необъяснимой жизнью...

К счастью, никто в палате не подходил к нему, не заставлял подниматься, отвечать на вопросы. На все он уже давным-давно ответил самому себе: «Жизнь прожита, Лев, другого пути нет, еще неделя-другая, и ты повторишь попытку, жить бессмысленно...»

Волна тоски буквально перебрасывала его во времени. То он смотрел на Париж с Эйфелевой башни, полукруг Сены лежал перед ним, плоский речной буксир-ресторанчик плыл в сторону Нотр-Дам, и с высоты ему были видны танцующие пары на освещенной застекленной палубе.

Мелькнул Бурдель, великий учитель, вот он, окруженный молодыми, — лысый, с завитками волос по бокам черепа, кричит на непослушного русского, а потом так же громко хвалит его за прекрасно сделанную работу. «Вы далеко пойдете», — предупреждает он с такой трагической интонацией, будто бы уже там, в Париже, в Академии Гранд Шумьер, знает, куда и когда уйдет его ученик Лев Гальперин.

В журнале «Гелиос», который с другом-поэтом Оскаром Лещинским издавали на собственные деньги, они напечатали высказывания Бурделя, этого любителя афоризмов.

«Я люблю гордость отдельных личностей, — провозглашал учитель. — Искусство, которое кажется безличным при широком взгляде на него, способно рождаться только из свободной культуры индивидуальности...»

Увы! Разве можно предположить, что это окажется всего лишь насмешкой над будущей жизнью.

...В Карлаге ему повезло. Гражданин начальник, как оказалось, хотел не только пропагандировать народную любовь к Великому Вождю, но чем-то порадовать семью и друзей и хоть чуточку скрасить быт дочери.

Карлаг был черной дырой для сотрудников НКВД, как правило, ленинградцев, вынужденных нести наказание перед партией за проявленное ротозейство. Что и говорить, из-за убийства Кирова наказание казалось заслуженным.

Гальперина он позвал в кабинет и предложил крепкого чая. Кто-то, а начальник хорошо знал, что этот измученный контрик уже четвертый год не мог даже представить, какой чай могли пить на воле.

Круглолицый и кривоногий, он складывал губы трубочкой и ахал от рассказов Гальперина. Где только не побывал этот тип, какую жизнь, негодяй, успел увидеть! Когда они, российские бедняки — и отец и дед — гнули спины, надрывались, работая из последних сил на зажравшуюся буржуазию, маменькины детки учились, как этот, за границей, не раздумывали, где достать копейку на хлеб, а получали от батюшки-фабриканта награбленные от бедняков деньги. Ну что ж, каждому свое! Теперь — его время. И он может заставить этого человека делать все, что ему, комиссару НКВД, угодно.

Уже на следующий день Гальперин получил краски, усадил девушку-подростка в кресло напротив и стал писать заказанный отцом портрет. Он не спешил с работой, искал свое, никем не замеченное раньше в милом молодом существе, вынужденном жить в такой дыре...

Он писал так, как, наверное, хотела бы видеть портрет Вера. Он писал для нее, думал о ней, и в какие-то секунды этого короткого покоя ему начинало казаться, что Вера издалека кивает ему. «Ты молодец, Лева», — слышал он ее доброжелательный голос. И эти интонации наполняли его счастьем. «Я пишу для тебя, Верочка, — думал он. — Мне хочется, чтобы ты почувствовала, я не забыл того, о чем ты говорила, да, и в этом аду я, как видишь, еще на что-то способен».

Такое давно не возвращалось к нему за все тюремные годы, и вот секунда, когда он вдруг заново увидел, что существует нечто иное, чем лесоповал, то, на что абсолютно достаточно сил.

Он работал увлеченно. Может, это был первый серьезный портрет с того давнего-давнего тридцать четвертого. Бывали часы, когда он даже не помнил, что пишет в тюремном пространстве, что он всего-навсего раб, пустая игрушка в руках хозяина дома. Кисть будто бы сама делала то, что по сути уму не принадлежало. Он не искал сходства с натурой. Разве прямого сходства требовал от них Бурдель? Разве могла бы принять копирование его Вера?

Несколько недель он искал форму, переписывал найденное и, когда, казалось бы, кончал работу, внезапно открывал для себя новый, совсем неожиданный путь.

Утром он начинал создавать иное, чувствуя, что так более ярко прозвучит образ. Рука все дальше и дальше уносила его от действительности, он сочинял, он хотел рассказать много больше об этом милом, веселом, легко и громко хохочущем человечке. И натура — высокая, с матовым кругловатым лицом, похожая чем-то на Веру, девушка — черными, огромными удивленными глазами смотрела с полотна в непонятный ей мир. О внешнем сходстве он даже не думал, он искал духовное сходство.

Он рассказывал ей о живописи, и даже это делало жизнь Гальперина немножечко легче. И хотя девочка знала поразительно мало, но, видимо, какой-то учитель в ленинградской или московской, еще не совсем забытой школе успел ее чуточку подготовить.

Гальперин поставил цветы и теперь с восторгом писал большие мертвенно-сизые бутоны. Хотелось прибавить в портрет и частичку своей жизни. Темные листья устало морщились, будто озябшая кожа, чувство печали тенью ложилось на лицо подростка.

...Ее отец пришел в середине одного из последних сеансов. Он стоял за спиной Гальперина и неприятно скрипел кожаными ремнями.

— Но она не похожа!

Его голос был таким жестким, что Гальперин опустил кисть.

— Я художник, — сказал он. — Фотографию можно сделать и аппаратом. Я пытался создать образ. Это иное...

— «Иное» тебе лучше делать на лесоповале, — отрезал начальник.

...И опять товарняк вез куда-то большую группу зеков. Гальперин думал об одном, о смерти. Пора было уходить, новые годы ничего доброго не возвещали...

Их сгрузили у леса, выстроили вдоль небольшого барака, трудно было понять, как все смогут здесь разместиться. «Ничего, — успокоил очередной начальник. — Метраж быстро прибудет. Слабые крепких из вас не задержат. А в остальном тут не хуже Дмитлага».

Двуручных пил не хватало. Заключенные связывали деревья и раскачивали стволы, чтобы свалить их руками.

Нужно было найти любую возможность, чтобы покончить с жизнью.

Гальперин наконец дождался, когда останется дневальным в бараке, и тогда извлек из загашника припрятанную бечеву, кусок того самого каната, которым валили деревья. Дело простое, главное, чтобы не помешали...

Как легко и просто он исполнил то, что задумал. Огромный гвоздь был забит не до шляпки строителем-заключенным. И, конечно же, тот филон облегчил задачу.

Потолки в бараках высокими не бывали. Все казалось простым и желанным. Он верил: ТАМ он один не будет, ТАМ его ждет Вера.

Гальперин оттолкнул табуретку ногами, больше он ничего не видел. Душа стала набирать высоту, она легко взлетала.

Он даже не понял, что же его вернуло на землю. Над ним нависали люди, глаза незнакомого оказались рядом с его глазами, дальше, словно в тумане, он различил нары.

— Жив! Жив! — кто-то крикнул. Голос показался таким далеким и незнакомым, будто бы кричали с того света. — Куда ты спешишь, дядька? — его ударили по щекам, стараясь привести в чувство. — У тебя кончается срок, еще год, и ты дома.

Он-то знал, домой из лагеря не выходят. Зачем они это сделали? Как жаль, что не дали уйти...

Потом он лежал в тюремной больнице и опять думал о прошлом, — нужно выждать немного, а затем повторить то, что хорошо задумал, да так худо исполнил.

...Он не ел эти дни. И хлеб и баланда так и оставались у койки, пока кто-то не съедал за него. В голове повторялись одни и те же мысли, он видел друзей и родных, разговаривал с каждым, а потом отпускал их в неведомое, даже не подумав проститься.

Из небытия появилась родная сестра Ида, совершенно седая. Он подумал, что из их семьи именно Ида больше всех любила его. После матери и отца он был ей особенно дорог. Жаль, что Ида так никогда и не будет знать, куда делся шальной, непослушный скиталец Лева.

И о детях он вспомнил. Старшую дочь, оставшуюся в Москве, Лев по сути не знал, а вот сын... Это был прелестный мальчишка. Иногда Гальперину удавалось уговорить мать отпустить с ним ребенка. Он сажал Витьку на шею и скакал вдоль Невы, поглядывая с разрытого каменистого охтинского пространства на другой берег. Там стоял, нет, парил прекрасный и стройный Смольный собор. Будет ли знать мальчик, — пока мальчик! — какая судьба у отца, вспомнит ли в далекие годы?..

На третий больничный день Гальперину кинули ватник и приказали одеться. Он не спрашивал, куда повели, кому он еще нужен.

Маленький закуточек, в котором он оказался, считался кабинетом. Напротив дверей у стены за столом сидел и что-то писал большеголовый военный.

— Гальперин? — спросил большеголовый, не поднимая глаз.

— Да.

— Попытка самоубийства?

— Не удалось и это...

— Ничего, исправим, — успокоил военный.

— Спасибо, очень надеюсь.

Арестованный стоял неподвижно, стараясь не упасть. Болел позвоночник и шея, голову повернуть он не мог, да и не касаться стены было почти невозможно.

— Подпиши...

Гальперин так и не сумел согнуться, он тянулся к бумаге, не понимая, как удерживать ручку, — тело страшно болело.

— Решение ОСО, — зачитал военный. — Возиться с таким дураком никто здесь не станет...

— Спасибо, — повторил Гальперин. — Только, если не трудно, за меня распишитесь. Мне не согнуться.

— Ну что ж, тут с тобой никто торговаться не станет. Согласен ты или не согласен, но дело окончательно закрываем...

Он и действительно расписался — «Гальперин», поднял голову и впервые внимательно поглядел на зека, только что приговоренного им к расстрелу. Видимо, военный и был знаменитой «тройкой», как божество, один в трех лицах.

...Про себя художник отметил его маленькие мышинные холодные глазки. И подбородок у «судьи» был длинным, и тонкий «востренький» носик, как говорила в далекой прошлой жизни смешная и преданная Верочкина Дуся.

Если бы мог, Гальперин обязательно бы улыбнулся. В конце концов, то, что они сделают с ним, ему и самому казалось лучшим...

С когда-то написанного портрета шагнула Вера. Развела крылья и стала быстро подниматься в синее небо.

Она парила в облаках, летала кругами, покачивалась в пространстве, иногда словно бы задерживаясь на короткие секунды в лучах высокого и холодного солнца. Она явно ждала все еще остающегося на земле усталого друга...

Последнее, о чем Гальперин подумал, когда двое с ружьями вывели его на опушку леса: «Вот и наступает миг, когда мы будем вместе...»

Из двух разговоров с Львом Соломоновичем Гальпериним через петербургских трансмедиумов

Семен Ласкин: Лев Соломонович, расскажите, как и когда вы ушли из жизни?

Лев Гальперин: Я был далек от тех мест, где возможно понимание... Но я знал, жена моя страдает больше, ее мучили и недуг, и дела, которые ей были омерзительны, и любопытство к ней, и насмешки над ее болезнью.

Мне было проще. Я работал, оставался вместе с людьми. И поэтому, наверное, был как-то заторможен в тех условиях. Это меня какое-то время и спасало.

Но физическая работа — не моя работа. Я ушел потому, что мое тело было истощено, и это, я понимал, уже нельзя поправить. Я оказался измучен непосильным изнурительным трудом. И, может быть, бессмысленность той работы и ускорила мой уход. Я успел проработать всего лишь четыре года...

Семен Ласкин: Лев Соломонович, на выставке ваших работ, которая в эти дни была в Доме Ахматовой, меня удивили странные и необъяснимые даты. В вашем «деле», полученном мной в КГБ, есть точная дата ареста: 25 декабря 1934 года.

И вдруг в витрине неожиданный документ, в котором названы совершенно другие цифры: арестован в январе 1938 года, расстрелян 2 февраля 1938 года по решению «тройки». Можно ли письмо нынешнего прокурора объяснить канцелярской ошибкой?

Лев Гальперин: Нет. По-видимому, были документы. Но нужно ли мне искать причины? Да, я арестован в 1934 году, было следствие, затем меня отправили на работы в лагерь. Вначале, правда, они хотели приспособить меня к жизни художника, заставляли писать портреты начальства, этим как бы мне была гарантирована жизнь.

Но портреты, которые им требовались, я писать не умел. И пошел в лес. Но и деревья валить хорошо я не умел. Я болел и страдал. Я был в отчаянии. Казалось — выход один: покончить жизнь самоубийством.

Потом оказалось, что я не оправдал доверия граждан-судей, да я и не увидел никаких судей. Объявили пересуд. И похоронили за то, что выпили все мои силы. Не кормили. Не одевали. Содержали хуже скота. И, наконец, уничтожили физически.

...Меня убили... за симуляцию. Расстреляли. Но это было неважно. Было даже хорошо.

Семен Ласкин: Спасибо...

Лев Гальперин: Я не хотел подробностей. Мне трудно и сложно объяснить это. Желая вам не страдать. Я уже пережил все. Душа видит издали. И печалится лишь оттого, что нельзя изменить землю, не изменив человеческой сущности...

Трамвай пересек Крещатик. Ида Соломоновна перешла на солнечную сторону. Тополя шелестели от ветерка, листья были нежно-зелеными, остренькими, не совсем еще развернувшимися, такими вроде бы слабенькими, как и ее, и Левина жизнь. Они трепетали, как и сама Ида, от волнующего предчувствия удачи, шелестели о чем-то своем, и когда она поднимала голову, кроны деревьев напоминали огромные шапки, и так красиво было вокруг, что вспыхнувшая надежда только крепла...

Ида Соломоновна не без труда отворила тяжелую дверь, предъявила охраннику паспорт и приглашение к кому-то, занимающемуся жертвами культа личности, — так это теперь называлось — и прошла по длинному казенному, как говорили в ее молодости, коридору.

Народа у кабинета было немного, она заняла очередь, села на дальний стул; ей ни с кем не хотелось разговаривать, открывать собственную надежду. Как говорила еще мама, главное — это не сглазить.

Зашел мужчина, стоявший перед ней, а уже через минуту вылетел красный. «Бедный», — пожалела она.

Сердце забилось. Ида Соломоновна переждала секунду-другую, вздохнула и постучала в дверь.

Молодой офицер рылся в бумагах. Ида прошла к столу мимо такого неуместного здесь шкафа с большим зеркалом и вдруг поразилась своему зеленовато-белому лицу, опавшим щекам и вытянутому длинному носу. «Господи, — подумала она. — Ну отчего я так нервничаю, может, все будет хорошо и счастливо...» Она не спеша достала из сумочки приглашение. Офицер зачитал фамилию:

— Гальперин Лев Соломонович, 1886 год рождения?

Ида торопливо кивнула. Офицер принялся сразу же искать в картотеке. В первой коробке ничего не было, тогда капитан пошел к шкафу и там опять стал перебирать какие-то папки.

Голова офицера была в мелких рыжих кудряшках, да и лицо маленькое, с остреньким носиком, что-то доброе, детское и очень хорошее было в нем.

— Распишитесь, — неожиданным басом сказал он и протянул Иде Соломоновне небольшую бумажку. — Вам повезло. Поздравляю. Ответы из Ленинграда идут обычно значительно дольше. Наши люди стали лучше работать...

Он был доволен.

— А что с моим братом? Он жив? — сдавленным голосом спросила Ида Соломоновна, так и не решаясь развернуть бумагу.

— Написано все. Читайте.

Он аккуратно занес какие-то сведения в тетрадку, дал Иде Соломоновне расписаться и вежливо поторопил застывшую старушку.

— Не задерживайте очередь, бабуля. — И, взглянув в документ, уважительно прибавил: — Это я вам говорю, товарищ Фридман. В коридоре такие же, как и вы...

Ида Соломоновна добрела до кресла. Окна с обеих сторон были забелены, и утром и днем здесь стояла вечерняя мрачность. Она надела очки и, шевеля губами, стала читать полученную бумагу:

«Гальперин Лев Соломонович... умер в ИТЛ 25 марта 1941 года от кровоизлияния в мозг с поражением дыхательных путей».

Мир качнулся. Ида Соломоновна прильнула к подлокотнику кресла и, наверное, пролежала в бесчувствии несколько минут.

Иногда в голову лезли несуразные мысли: «Может, и хорошо, что заболел и умер, а ведь кого-то, говорят, и расстреливали. Это, наверное, хуже...»

Люди толпились у дверей, у каждого были не меньшие дела и заботы.

Рыжеволосый офицер смазал клеем обратную сторону страницы, прилепил к «делу». На всякий случай он еще раз пробежал глазами заключение прокуратуры, все было грамотно. Сверху стояло: «Секретно», затем — «Ленинград» и число: «16 февраля 1959 года».

А уже дальше шло заключение, вот его-то родственникам показывать и не полагалось.

«Помощник прокурора г. Ленинграда по надзору за следствием в органах госбезопасности мл. совет. юстиции Голубев, рассмотрев дело Гальперина Льва Соломоновича и заявление его сестры Фридман Иды Соломоновны, НАШЕЛ:

По постановлению Особого Совещания при НКВД СССР от 29 марта 1935 года Гальперин Лев Соломонович, урож. г. Проскурова, еврей, гражданин СССР, 6/п, с высшим образованием, как социально-опасный элемент заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на пять лет.

Как видно из материалов дела, эта мера наказания Гальперину Льву Соломоновичу применена потому, что он среди своего окружения проводил активную агитацию. На допросе Гальперин Лев Соломонович показал: «Я подтверждаю показания Ермолаевой, Рождественского и Юдина как о моих политических убеждениях, так и о моей антисоветской деятельности. Исходя из политических убеждений, я вел антисоветскую агитацию. Мои антисоветские настроения вылились также в изображения тт. Ленина и Сталина в голом виде. Я создавал натуралистические шаржи, которые по своему содержанию являются контрреволюционными... Я считаю, что методы строительства социализма, проводимые большевиками, основаны на насилии и бесправии личности».

Свидетель Юдин показал: «Гальперин в своих разговорах со мной проявил себя как личность, отрицательно относящаяся к советской действительности. Он часто говорил, что в Советском Союзе искусства нет, что все искусство идет по неправильному пути». Об антисоветских высказываниях Гальперина показали Ермолаева и Фикс.

Принимая во внимание, что судимость с Гальперина в настоящее время снята, а также отсутствие достаточных оснований для постановки вопроса о его реабилитации полагал бы:

Просьбу о реабилитации Гальперина Льва Соломоновича оставить без удовлетворения, о чем и сообщить Фридман И.С.

Пом. прокурора по надзору за следствием в Органах.

Голубев».

Офицер вложил полученное секретное заключение в картотеку, покачал с осуждением головой, сказал сам себе: «Рисовать великого Ленина в голом виде! Как таким было не стыдно! И главное, каждому хочется, чтоб признали их родственника невиновным!» И уж тогда он крикнул:

— Следующий!

В кабинет вошел молодой мужчина. С молодыми говорить было значительно проще, чем с занудами-стариками...

За Веру Михайловну Ермолаеву никто не просил, не писал заявлений, не пытался в меняющихся обстоятельствах хотя бы чуточку заступиться. Да и просить-то за нее было некому, ни родственников, ни заинтересованных лиц.

На последней странице следственного дела № 1955 была вклеена бумажка без заголовка, помеченная 31 августа 1989 года. Некто из КГБ, как показывала дата, вложил в «дело» художницы неподписанные четыре строчки:

«Ермолаева В. М. подпадает под действие Указа Председателя Верховного Совета от 16 января 1989 года «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости по отношению к жертвам репрессий, имевших место в период 30—40 и в начале 50-х гг.».

Таким образом, Вере Михайловне Ермолаевой не успело бы исполниться и ста лет, как государство все же вспомнило свою жертву и... реабилитировало из чистой гуманности.

***Из последнего разговора с Верой Михайловной Ермолаевой
через петербургских трансмедиаумов***

Семен Ласкин: Вера Михайловна, вероятно, это последний вопрос, не знаю. Много существует легенд о вашей гибели, неподтвержденных слухов: это и смерть на необитаемом острове, куда будто бы на барже сотрудники НКВД отвозили заключенных. Они, как теперь пишут, и оставили там людей для голодной смерти. И потопленный вдалеке от берега катер с инвалидами-зеками. Как же было?

Вера Ермолаева: Просто было. Болела. Отказалась работать. Меня увели за проволоку. Убили.

Семен Ласкин: Простите, но все это время я думаю и о вас и о Гальперине, о большой любви между вами. Так ли это, Вера Михайловна?

Вера Ермолаева: Так... Он здесь. Он рядом. С ним я и остаюсь. И я благодарна душе его за то, что она приняла и поняла все мое, даже то, что могло быть ему не близко...

Семен Ласкин: Спасибо, Вера Михайловна.

Вера Ермолаева: Вам спасибо. Я рада, что на земле есть единомышленники...

Фраза, которую хотелось поставить в эпиграф задолго до того, как я начал писать эту книгу, потребовала иного места. Была она взята из набросков к статье Осипа Мандельштама «Пушкин и Скрябин». Кажется, что Мандельштам уже в 1916 году предопределил не только исход своей жизни, но и многие судьбы трагического для России века.

«Смерть художника, — писал он, — не следует выключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее заключительное звено».

Жизнь Веры Михайловны Ермолаевой и Льва Соломоновича Гальперина это печальное предсказание, к великому сожалению, подтверждает.

Распорот снежный полог, как живот
 При кесаревом... Где тут в смрадной ране
 Рожденный новых сил круговорот
 Соцветий всех, всех птичьих трепыханий?
 Такая участь! Вот он, перегной
 Для будущего лета — тонкой жилкой
 Росток, в пространство вдавшийся (как Ной
 С морской своей чудовищной копилкой
 Всех жизней, всех семян, всех тварей, всех
 Рождений и смертей). — И рвется вверх!

И нам с тобой когда-то предстоит
 Родить пустое место, очищая
 Путь тем, кто ждет, кто в очереди, слит
 Пока что с тьмой, кому еще, вращая
 Свой купол, будет небо потакать,
 Лаская ветра свежего посылком.
 И нам дарилось... Что же, вымогать,
 Тоскуя, большее с неблагодарным пылом?..

АПРЕЛЬ

Серенький денек, сыростью набрякший:
 Стает — и опять утром все в снегу,
 Словно в Воркуте, словно в Кандалакше,
 Северной еще... Больше не могу!
 И пока, карабкаясь по широтам, к Невской
 Доползет губе праздное тепло,
 Жди, как там растет, там, за занавеской,
 Нечто, чем опять мир заволокло.
 Чтобы маховик раскатать упрямый
 Жизни (или это лишь сны вкушает плоть?)
 Вновь — в который раз — смена панорамы:
 Правую — сажать, левую — полоть.
 Это вот сейчас из холодной слизи,
 Грязи, напитав вяжущий состав,
 Прет на божий свет будущий Элизий
 Пышноцветных куц, стелющихся трав.
 Что ж, давай, расти! — И хотя ответа
 Нет, зачем опять повторится путь,
 Просто подождем, доживем до лета,
 Погостим, глотнем воздуха чуть-чуть.

МАЙ

1

Горький запах тополиный
 Новым утром пьет рассвет,
 Жилки листьев паутиной
 Свой ведут кордебалет.
 В этой дыблящейся, новой,
 Тяжелеющей, дурной
 Юности, на все готовой,
 Ты не встретишься со мной,
 Потеряешься в шумящей
 Массе одуревших крон;
 Даже ветер — настоящий —
 Их кипеньем утомлен,

Как бы бульканьем, кудлатым,
 Бутафорским взмахом крыл.
 Это жизнь. — Ее анатом,
 Как ни мучился, не вскрыл.
 Ах, избыточно все это —
 Плоть, взмывающая вверх.
 Как иголку в стоге света —
 Сена — времени... На грех
 Времени-то слишком мало,
 Уж к июню отцветут...
 Жалко мне, смотрю устало
 На убойный, буйный труд.

2

В жадном мае нам с тобою,
 Ах, друг друга не найти.
 Что пленяться кружевной
 Плотью мира во плоти,
 Суррогатной, ненормальной,
 Прущей дальше всех преград! —
 Так с обложечки журнальной
 Мускул дыбится, покат.

Вот и вся забота юной
 Жизни: семя прорастить.
 Смысла зыбкого лакуны,
 Перерезанная нить.
 В буйных зарослях блуждая,
 Жду, когда настанет срок,
 Чтобы осенью тебя я
 Издали увидеть мог.

ИЮНЬ

Подумай, на живую землю глядя,
 Очнувшуюся — в зелени сплошной,
 На гибких ив свисающие пряди,
 На тополя, пушистой пеленой
 Дорогу затянувшие, на белый
 Кистей лиловый сумрак, что сирень
 Раскинула, на долгий-долгий день,
 Ночные потревоживший пределы,
 На бабочек резвящихся наряд,
 На то, как в жидком воздухе горят
 Стрекозок юрких крылья слюдяные,
 На ирисов тревожащие взгляд
 Мерцающие контуры резные
 (Как впалых лепестков упруга плоть,
 Рисунок четок совершенных линий,
 И сразу фиолетовый и синий,
 И желтый) — кто задумывал? — Господь?
 Природа? Мне не важно. Не дает
 Другой покоя мне вопрос: вон тот
 Цветок, вот эта бабочка в лимонной
 Пыльце — слепая красота — она
 Самодостаточна, но жизни лишь нужна
 Для продолжения; порой осенней, сонной,
 Увянув, сморщившись в хранящий семя плод,
 Благословенная, бесследная, уйдет,
 Предпочитая хмурое соседство
 Распада, тления, пугающего глаз.
 Жизнь — понимаешь! — жизнь. Что цель для нас,
 То для нее всего лишь только средство.

ИЮЛЬ

День или год к середине теряет
 Свежесть свою, целомудренный вид.
 Солнце себя же жарой отравляет —
 В небе, расслабленное, полуспит.
 Лишь, над водою повиснув, стрекозы
 Искрами сине-зелеными глаз
 Радуют. Пляжно-аморфные позы,
 Мысли и даже надежды у нас.
 Что тут загадывать, лежа в зените
 Отпуска, опыта, силы, тоски.

Речка плетет золотистые нити
 Бликов, такие же, как волоски
 На загорелой, подсохнувшей коже.
 Лучше не будет — спокойней, полней...
 Шмель, забирающийся в цветоложе
 Всех отступивших и будущих дней.
 На золотой, так сказать, середине
 Не удержаться ему — полетел
 Дальше. А мне вот достаточно и не
 Хочется переступить за предел.

АВГУСТ

Листва как будто тяжелей
 И гуще стала. К знойной лени
 В леса вдающихся полей
 Льнут набегающие тени
 Башнеподобных облаков
 Стопарусных, текущих вяло.
 Так вот он, образ твой, каков,
 Конца роскошное начало!
 Еще и семя отвердеть
 В плоде созревшем не успело,
 Еще все силится продеть
 Стрекозка замершее тело

Свое в воздушную петлю,
 Как нитку скользкую в иголку,
 И я надеюсь и люблю,
 Еще люблю тебя — что толку!
 Тебя, в спящей полноте
 Подспудно зреющей утраты;
 Но что потом рассветы те
 И августовские закаты,
 Когда мгновения, дрожа,
 Сползают в ночь по кромке алой...
 Что памяти до дележа
 С той будущей тоской усталой?!

СЕНТЯБРЬ

И вот любовь, оставшись без предмета
 Любви, как перезрелый плод томит.
 Так понимать, так чувствовать все это...
 И тщетен нив колышущихся вид,
 Пусть золотых — но что мне для помола
 Сбираемое в житницы зерно!
 Здесь скоро будет холодно и голо,
 А было!.. Ах, не все ль теперь равно? —
 Нет? Что мы любим после, понимая,
 Что некого и силы больше нет,
 Что не продлить надежду, что иная
 Пора приходит? Оскудевший свет
 С небес поблеклых смотрит с сожаленьем,
 С тоской на роскошь накладных румян,
 На царственную пышность, втуне тленьем
 Отравленную, трупики семян
 Стыдливо прикрывающую. Ими,
 Проклюнувшимися, страдать другим.
 Пока живой, с пока еще живыми...
 И меркнувший день возблагодарим.

ОКТАБРЬ

Только в теплом доме, пока снаружи
 Ветер, сатанеющий день ото дня,
 Волны влаги слизистой, липкой стужи
 Рвущий, все со мною и для меня.
 И из-за стекла, прозрачную грудью в злую
 Непогоду выставленного, смотрю,
 Как терзает пурпурно-золотую
 Крону, поредевшую к ноябрю
 Клена, как кусты испуганные ерошит,
 Как сбивает галку с нетвердых крыл.
 Но чем там безрадостней, тем дороже
 Всё, что здесь. И двери бы я закрыл
 Поплотней, покрепче. В осенний кокон
 Напоследок прячется жизнь. В росе
 Грани запотевших, померкших окон.
 Горько, хорошо... еще живы все.

НОЯБРЬ

А в ноябре и мира больше нет:
Так — нечто студенистое, и свет
Сквозь перистые клочья затаившей
Все небо серо-сизой пелены
Едва проходит. Никакой вины
И никаких иллюзий о минувшей,
Заканчивающейся жизни... Там,
Куда сползает время, мокрый клам
Гниющих листьев на земле, циничный,
Нагой, наглядный вещества распад,
Как бы стриптиз старухи, свой наряд
Снимающей у грани пограничной.
И потому теперь пора слепых
С рождения. Скуливший ветер стих,
Нетвердой почвы хруст, новокаином
Словно пропитанной, пустого сердца стук:
Ни чувств уже своих, ни ног, ни рук,
Ни сожалений, канувших в едином.

ДЕКАБРЬ

Я только голос, уже пустой, —
Такой, каким навсегда останусь.
Мир этот разве что на постой
Пускает. Времени глупый Янус
Никак не выберет, что ему
Рассматривать. Просто глаза закрою:
В конце концов, отступая в тьму,
Пора приучаться к ее покрою.

ЕЛЕНА ДАВЫДОВА

РАССКАЗЫ

«АЛЛО! ЭТО ЛЮБОВЬ?»

Свет. Это первое, что Верка помнила. Обжигающий глаза, но ужасно притягательный. Вот он совсем рядом, и не будет больше давящей тьмы.

Радость — это второе. Она переполнила ее крохотное существо и толкала туда, к свету, где звучали голоса. Вдруг свет исчез. Верка заметалась в ставшем вдруг невыносимо тесном и душном пульсирующем чреве матери. Перевернулась неловко и вообще застряла.

А потом — пронизывающая боль — это третье... Почему платили за радость, которую она несла, болью, Верка не поняла ни тогда, ни потом. Хотела закричать на них, но не смогла, так, прохрипела что-то, захлебнувшись. Потом снова голоса:

— Не знаем, выживет ли. Синюшная вся, еле дышит... Как дочку-то решили назвать?

— Дочку? — Этот голос был какой-то совсем знакомый. — Любовью хотели назвать, Любочкой. Да что душу-то мне травите? Сами говорите — не выживет.

— Кто этих кутят знает? Верить надо, мамаша.

— Неверующая я стала от этой жизни. Одна вот. Безмужняя. Хотя так и пишете: Вера.

И взглянув на тощее тельце, с вывернутой отекающей ногой, мать добавила:

— Какая уж там Любовь...

Широкоскулая, с раскосыми глазами-стрелочками — оброненное семя монголо-татарского нашествия, которое нет-нет да и проклевывается в русском лоне, Верка все-таки выжила. Мать к тому времени оправилась, расцвела обновленной дородной красотой. В метро на эскалаторе едет — мужики шеи выворачивают. Пока Верку домой выдали, совсем заженишилась — какие там дочери-матери. Но не отказываться же. Домой принесла, разворачивать стала, а Верка, вспомнив родной запах, стала тыкаться своим пуговичным носом.

— Ну сейчас! Будешь мне титьки портить, татарва несчастная. Бутылку высосешь и спать!

«Люба я, Любовь! Что, мать не помнит, что ли, как в животе меня звала?!» — зачмокала Верка. А спать ей совсем не хотелось, больно уж

Елена Сергеевна Давыдова — прозаик, окончила Петербургский университет. Преподавала русский язык в Йемене, в настоящее время работает по контракту в Германии. Печаталась в журналах «Нева», «День и ночь», а также в периодике Германии, Англии, США.

радостно было. И, пуская пузыри лягушачьим беззубым ртом, изгибалась вся, просясь на руки.

Но на руки брали не часто, зато быстро пошла по рукам — видно, была она из кочевников — от судьбы не уйдешь. Сменялись какие-то ясли, круглосуточные детские сады, превращавшиеся для нее в кругломесячные. Мать работала по две смены да пыталась жизнь молодую наладить. На выходные Верку иногда забирала, но как ни старалась та матери угодить, все не так: то шумит, то бант не держится, куда уж там — на голове-то три пера на два пробора.

Время пришло Верке в школу ходить — материн сожитель к своей бабке перевез. Помнит она, как поднимались и поднимались по вонючей лестнице с заскорузлыми перилами.

«Земля уж, наверно, далеко внизу, даже и не видно, — подумала тогда Верка. — Мы сейчас на небо придем». А когда открылась дверь коммуналки и увидела, как из всех щелей выползли древние старушки, совсем в своей правоте уверилась: «Им скоро к Богу — вот и живут здесь, чтоб недалеко уходить было».

Первого сентября сама в школу пошла, матери некогда было, работала. Знакомиться стали, до нее очередь дошла:

— Люба меня зовут, Любовь.

— Странно, — удивилась училка. — А по списку ты Вера.

— Это мамка просто стесняется, что любит меня так сильно. Вот и написала вам — Вера.

С матерью потом разбираться стали, та на «небо» пришла, Верку выпорол: «Не успела в школу поступить, как меня позоришь!» «За что порют? — думала Верка. — За Любовь?»

Мать, правда, редко показывалась. Из школы придет — тут уже небесные жители с копейками и авоськами. Бегаёт Верка целый день то за хлебом, то в аптеку. Радостно все так, никому не отказывает. Если хотят еще что-то — значит, живут. Если просят — значит, нужна кому-то.

Как детство пробежала — сама не заметила. Не заметила и откуда мужик этот в их квартире появился. Куда делся потом, тоже не знает. Был он красив как-то неправдоподобно. Огромный такой, а вот ручки-ножки маленькие, холеные... Верка помнит только, как пол в коридоре драила — бабулек чего заставлять горбатиться — их жизнь да старость не пожалели. Мужик с ней не заговаривал даже, обхватил сзади за талию, к себе прижал и в комнату завел. Верка аж зажмурилась — после темного коридора так светло здесь было! И не испугалась вроде — неведомая радость сама к нему в комнату толкала. Потом боль была. Только привыкла она к этому уже — что боль после радости.

Все у них как-то молча происходило. Верка разрывается вся внутри от новых чувств, а он молчит. Старалась его обстирать, укормить. Ничего о нем не знала. Уходил надолго, потом какие-то вещи под кроватью прятал. Верка, когда у него убиралась, видела. Однажды так и пропал с концами. Милиция приходила. Обыскивали, опрашивали. А что с небесных жителей возьмешь?

Сын у Верки родился весь в отца — молчун. Растормошить его пыталась — бесполезно. Прыгает вокруг него, радуется, а он сидит, в одну точку уставившись. Сам крупный такой, а ручки-ножки маленькие. Ни рисовать, ни книжки рвать — ничего не хочет. Постарше стал — из гостей вернутся, раздевается, чтобы спать ложиться, а из карманов штанишек какие только трофеи не сыплются. Когда успел, вроде все сидел в углу надувшись? Ходила потом, зардевшись, раздавала.

«Мужа ищи, Верка. С твоим большуном одной не справиться», — советовали ей. «Мужа ладно, мне б отца ребенку», — вот что в голове крутилось.

Где такого откопала, это подруги долго обсуждали. Был он весь какой-то недоделанный. Зачерпнули будто серой глины в ладони, да не лепили,

а комкали. И не застыла эта глина ни внутри, ни снаружи. Вроде он и расписаться сразу согласился, обмен провернул, прихватив Веркину комнату, — хоть и со свекровью, все лучше, чем в коммуналке. Вроде и с сыном целый день по ковру машинки гоняет... А по большому счету? На работу никак не устроится. Все не знает, к какому месту свой инженерный диплом приложить. Верка теперь за двоих на троих вкальвает. И в таких делах, хоть мужским вниманием не очень избалована была, — этот странный какой-то. Со спины подойдет, посопит, а что с ней дальше делать, и не знает.

Короче, долго над ним Верка билась. Ласкала, отмывала, одевала. По городу носилась — связи искала, деньги выбивала... Через пару лет, глядишь, приосанился, сам себе начальником стал, контору открыл. Бухгалтершу завел, а Верку за уборщицу держит. Как-то вечером домысла все, ждет его. «Ты, Вера, — муж говорит, — иди, а нам еще дебет с кредитом свести надо».

И бухгалтерша тут же. Рыжей головой трясет, поддакивает.

Вышла Верка из конторы. На улице мгла крошечная. Дождь слезливо в душу просится. И беспросветно все как-то. Идет сама не своя. Вдруг свет фар тьму распорол, и машина около нее остановилась.

— Мне в другую сторону, — взглянула на водителя лунолико. Брови взлет, глаза-стрелочки горят отблесками чингисханских костров...

— А по-моему, нам с вами по пути. Садитесь, а то совсем промокнете. Дверь ей открыл.

— Как зовут-то вас?

— Люба меня зовут, Любовь.

Как вырвалось, и не поняла. «Вот дура, опять за старое», — отругала Верка сама себя.

— Люба? Я так и подумал. Пристегнитесь-ка вот. Такую Любовь надо крепко держать.

А дальше жизнь покатила каким-то чертовым колесом, все ускоряя и ускоряя ход. Сын в школу пошел, да не учится. Мамаша, похоронив своего сожителя, петь начала, что на старости лет никому не нужна. Свекровь расхворалась. Муж дебет с кредитом раньше заутрени не сводит. Носится Верка взмыленной лошадкой, а в голове только и звенит: «Любовь? Я так и подумал...»

Хоть и не были близки никогда с матерью, как-то не выдержала Верка, все свое житие-бытие ей выложила.

«Татарва ты моя несчастная, — та головой закачала. — Что ж ты всем веришь-то, на что надеешься?! Вот что, доча! Собирайся, да говори своему недоделку, чтобы на дачу нас всех провожал. Сама на следующей станции выйдешь, ключи от моей квартиры у тебя есть. Как в старину говорили: „На мужа надейся, а сама не плошай“».

Так и сделала.

Вернулась Верка, открыла материну квартиру. Щелк, щелк — а света нет. Рассмеялась даже: судьба ее такая — в потемках бродить. В ванной побултыхалась, причепурилась, как могла, в темноте наскоро — сейчас позвонить должен. Халатик накинула, в коридор вышла, слышит — кто-то в замке шерудит. Мать, что ли, вернулась? Дверь распахнула. Резанул глаза свет на площадке — и не разобрала сразу, кто. Батюшки, так это муж в замочную скважину тыкался! Только несподручно ему — под мышкой шампанское, а под ручкой бухгалтерша с цветами.

Больно стало Верке только на секунду. Больно, что столько сил на него потратила. Только радость, ее переполнявшая, боль эту как рукой сняла.

— Вера? — от неожиданности охнул муж. — Мы... мы вот тебе шампанское принесли.

— Цветы уж точно не мне куплены, но и на том спасибо. Проходите, гости дорогие! Света, правда, нет. Ну ничего, в темноте, да не в обиде.

Потащила шампанское на кухню. Муж пробки полез ввинчивать, а тут под рукой у него телефон зазвонил.

— Алло, Люба... Ой, простите! — осекся кто-то на другом конце, услышав мужской голос. — Скажите, Любовь здесь живет?

— Любовь? — удивленно переспросил муж.

Но тут увидел сияющее от радости Веркино лицо.

— Иди, — позвал он ее, — тебя к телефону.

ТРОНУТАЯ

Она появилась за нашей оградой раньше, чем дошли слухи о ней. А слухи в нашем затаившемся у подножия гор приальпийском городишке, состоящем из нескольких сотен белоснежных домов, разрисованных живописными сценками из жизни неведомых нам святых, разносятся быстрее быстрого, используя стремительные горные ручьи, канатные дороги, проводами свисающие с белопенных вершин, коровьи колокольчики, ничуть не бессвязно перезванивающиеся по полям и долам.

Летнее воскресное утро, разрекламированное своей неповторимостью в проспектах для толстосумых туристов, началось для нас, почти местных жителей, лениво и обыденно. Часам к девяти мы выползли на веранду, потягиваясь, позевывая, неторопливо настраиваясь на завтрак, расценивая окружающие красоты как фотообои, наклеенные раз и навсегда, — так что же торопиться.

Затянувшийся дачный сезон, вот что мне жизнь наша напоминала. Расслабились, еще получаем удовольствие от безделья, а уже в город тянет, с его суетой, шумом, безалаберностью и нескончаемой вереницей забот. Но работа, а следовательно, и дом наш были здесь, и все еще чужое воскресное утро, захватив в плен, распоряжалось нами как своей собственностью. Развлекая, чтоб ностальгии оскомину сбить, переключкой желтоносых скворцов, мычанием белых в черную дрыздочку баварских коров, окрасом своим напоминающих наши березы. И кот соседский, зашедший покусоичничать, тоже был знакомых помойных кровей. Но от всего этого антуража родней не становилось. Душевности не хватало или духовности — об этом и спор вели, сами себе признаваясь, что это и есть первый синдром воспетой Пушкиным русской хандры. Но не в церковь же с местными идти и, истуканом просидев на жесткой скамейке, рассматривать всю утреннюю мессу пустоглазые лики не представленных с детства святых, с пронзенными сердцами и тщательно вырисованной каплей крови, стекающей из раны.

— Кажется, я зашла в тупик, — голос женский из-за отделяющей нас зеленой ограды послышался. — Вы позволите пройти через ваш участок?

Русским был не только язык, русским был сам вопрос, обходящий неизбежный императив привешенной к калитке таблички: «Проход воспрещен. Частные владения». Сколько туристов забредали к нам на полуостров, завлекаемые течением фореленосного Мельничьего ручья! И никто из этих законопослушников, отпуганных пустяковой надписью, ни разу не посягнул нарушить наш покой.

«Так это же Тронутая, — знакомая мне по телефону в тот же вечер сообщила. — С неделю как в городке появилась, ходит все время с планшетом, красками, в платье одном старомодном. Напевает что-то вполголоса. И главное, глаза, на глаза обрати внимание, светятся они! И улыбка вечная, словно рот нормально сомкнуть не может...»

Штапельное платье и впрямь было не из последних журналов, в талию, с крылышками, и носочки, невинно белеющие под ремешками босоножек, вносили в ее наряд какой-то неуместный шарм.

— Ах, с удовольствием, — восторженно восприняла она наше приглашение к столу. — Но позже. Там у горы я нашла одинокое дерево и рисую его. Сейчас каждый его листочек солнышком обласкан, словно золотыми нитями опутан. К вечеру, правда, тень от горы прикрывает дерево

своим бесстрастным холодным языком, и оно, бедняжка, дрожит от холода. Но чем чаще я навещаю его, тем больше дерево помнит яркий день и не задумывается о холодной ночи.

Тронутая, а имя это и впрямь отражало первое впечатление о ней, взглянула на старые мужские часы с пожелтевшим циферблатом, прячущиеся на длинной цепочке в вырезе ее платья, и воскликнув: «Как же я медлительна», умоляюще взглянула на нас своими и впрямь светящимися глазами.

Я проводила ее до калитки за нашим домом. Она помахала на прощанье, но тут же, казалось, позабыла обо мне, летя, размахивая планшетом, вдоль берега быстротечного Лойзаха на назначенную самой же встречу с каким-то одиноким деревом.

— Особа эта — племянница фрау Витман, — перегнувшись с балкона и стараясь говорить тихо, сообщила мне соседка. — Никто и не знал, что фрау Витман русская. Сейчас-то уже на пенсии, а лет тридцать с мужем, в мир иной уже отошедшим, у нас в городке проработали. Практику рентгенологическую держали, здесь и дом купили, да что дом — виллу. Пока одиночество на старости лет не прижало, так за немку себя и выдавала. Я ее не виню, упаси бог, это сейчас война в далеком прошлом, а тогда и порога бы ее никто не переступил. А недавно подсуежилась и в Москве, через Красный Крест, сестру-близняшку разыскала. И вот удивительно — тоже врач-рентгенолог. Детей двое. Работает еще, с хлеба на воду на свою зарплату перебиваясь. Вот и обмениваются теперь сестры на старости лет друг дружке в утешение — одна детей шлет на постой, другая денежек в карман пустой.

— Небо-то как сегодня расплакалось, — Тронутая, назавтра с веранды зайдя и накидку прозрачную снимая, посетовала. — Это тетушка моя, фрау Витман, с утра предрекла. То по-русски говорить отказывалась, а сегодня к завтраку вышла и целый пассаж выдала: «Папа, папа, будет буря, наш барометр упал». Уверяет, что из журнала «Юный натуралист». Ходит, слова какие-то русские нашептывает: кошечка, цветная капуста, блинчик. Довольная, даже морщинки разгладились.

— Так вы дерево свое навещали?

— Непременно, — отлотнув горячего чая, сказала Тронутая. — И лучик солнечный, сквозь набухшие веки туч пробившийся, кисточкой ухватила. Как он дождинки с листочков целовывал!

— Да вроде льет с утра беспрестанно, свету божьего не видно.

— Свет, он всегда есть. Если у природы недостаток, так из души нашей идти должен, — улыбнулась она.

На часы свои взглянула, засобиралась.

— Завтра мимо проходить буду, загляну. Я каждый день этого дерева запечатлеть хочу. Ведь день — это как маленькая жизнь, с ее пробуждением, счастливым или несчастным бытием, закатом и подкрадывающейся незаметно ночью. И кто знает, сколько таких дней отведено мне, вам, этому одинокому дереву?

— А иногда, — крикнула она нам уже из-за ограды, — один день сто́ит целой жизни!

И, сидя в поглощающих свет дня сумерках, мы отнюдь не рассуждали о смысле последней брошенной ею фразы, а жадно вбирали глазами уходящий за умытые дождем горы раскаленный диск солнца, судорожно перебирая детали прожитого дня. Удался ли? Дай бог не последний! И хандра, любившая незваной гостьей залетать на огонек души в такие минуты, не найдя себе места, зудящей блохой перепрыгнула на подошедшего соседского кота, только что без аппетита зажевавшего приевшиеся консервы. И разлегся он, осоловело посматривая и мурлыча занудно: «А помните, какие мышшки-полевки раньше водились? Живые, игривые, приятно вспомнить...» И только рабочая неделя, подоспевшая как всегда чуточку рановато, оторвала нас от перетасовывания мыслей и, крепко сжав своей трудовой пятерней, заставила заботиться о хлебе насущном.

Навестив нас в следующую субботу, Тронутая сняла с цепочки свои часы.

— Они всегда показывают один и тот же день, — сказала она. — Календарика на них нет, так что мне в мастерской этот день выгравировали.

— Это было давно? — осторожно спросила я.

— Было? — испуганно переспросила она и, взглянув на стрелки часов, указывающие на приближающийся вечер, прошептала: — Так день ведь еще не закончен!

А в воскресенье, тихонько, дабы не уподобляться громкоязычным церковным колоколам, я выскользнула из дома и, открыв калитку, ведущую к берегу быстротечного Лойзаха, отправилась на поиски одинокого дерева.

Утро занималось нехотя. Над рекой нависало еще не убранное с ночи одеяло тумана, каркали недовольно отсыревшие вороны.

И тут, перебравшись через узкий деревянный мостик, я услышала пение. Да, Тронутая была уже здесь, вся в работе. Она почти не смотрела на дерево, да оно и не было достойно этого. Обычная осинка, еще не разросшаяся, с непослушными косицами торчащих в разные стороны ветвей, несуразно влетающая в добротный местный пейзаж. А на ее картине одинокое дерево это заполнило все пространство, и свет шел от него, рождаясь изнутри тоненького ствола, наполняя каждый листочек.

Я стояла позади Тронутой не дыша, стыдясь, что не окликнула ее раньше, а теперь вот, воровато, из-за плеча, стараюсь постичь тайну этого разливающегося на картине света.

— Он так же подошел неслышно в то утро и думал, что я его не замечая, — вдруг проговорила она.

— А вы рисовали такое же робкое деревце, похожее на вас тогдашнюю? — спросила я.

Она кивнула.

— Но незнакомец стоял так близко, что от теплого дыхания его на дереве, на картине, распускались все новые и новые листочки. Они хотели солнца, а был безрадостный пасмурный день. «Поделитесь с ними своим светом», — подсказал он. И я смешала краски с неведомыми мне доселе оттенками новых чувств и еще раз пробежалась по картине. Незнакомец больше ничего не говорил, только смотрел, но я понимала, что теперь он доволен мною. А позже мы гуляли, взявшись за руки, и зашли далеко за дачный поселок к заманившему нас синими глазками васильков пшеничному полю, и были мы одни под просветлевшим необъятным небом...

Тронутая не спеша собралась, и мы медленно направились к нашему дому.

— Дачная речка, к которой мы вышли, бурной не была, — продолжила она. — Только спуск к ней был обрывистый. Я села на берегу, а он разделся, сильный, загорелый, и вложил мне в руку вот эти часы. И поплыл, будоража всплесками сонное течение реки. А выйдя из воды и одевшись, вдруг застыл передо мной и сказал... Ах, что же он сказал, забыла?

— «Боже, как вы красивы. И всегда носите это платье — оно вам необыкновенно идет. И улыбка...»

— Да, да, — ничуть не удивилась Тронутая, что я подсказала ей те давние слова. — Он провел мне по губам кончиками пальцев. «Замрите. Я только сбегаю за фотоаппаратом. Может, мне удастся запечатлеть свет, который исходит от вас».

— Он не вернулся?

— Зачем? Мы были вместе почти целый день. А день иногда больше, чем жизнь. Закат застал меня еще на берегу. Я так и не двигалась, как он велел. И подкрадываясь ночь не стерла улыбку с моих губ.

Она осторожно извлекла часы из выреза платья.

— И сердце его бьется у меня на груди, напоминая о минутах, проведенных вместе.

В среду к вечеру кто-то постучался в окно веранды. «Тронутая, наверно», — подумали мы, зная ее привычку избегать условностей. Но увидели

пожилую женщину, по-русски, но с сильным акцентом разговаривающую все с тем же столующимся у нас соседским котом помойной масти:

— Кошечка! Маленькая кошечка, села у окошечка... Простите за беспокойство, меня зовут фрау Витман, — заметив нас, перешла она на немецкий. — Племянница послала меня попросить вас об одном одолжении.

— А что же она сама не зашла? Мы всегда рады ее видеть.

— Заболела она тяжело, мечется в бреду, все повторяет, что из-за дерева: беда с ним какая-то. Я другую причину, правда, вижу: и в дождь не заставит одеться потеплее, все в своем легком платьишке. А здоровьице-то, еще не родившись, потеряла, лучом тронутая.

— Лучом тронутая?

— До вас уже история моя по Мельничьему ручью, думаю, добежала. Что в конце войны, с сестрой-близняшкой разъединив, меня фашисты в Германию угнали, вы знаете. А как до этого в бомбежку, без электричества, с окнами затемненными, в друг дружку вцепившись дрожали — это вряд ли. И боязно было не грохота, не завываний сирены, боязно было, что света белого не увидим больше. И выдумали себе, если живы останемся, что станем врачами-рентгенологами. Большие уже девочки были, начитанные... Чтоб свет приручить, который через маскировочные шторы проходит.

Фрау Витман помолчала.

— Только свет этот жестоким оказался. Сестренка моя, племянницей беременная, работать продолжала и дозу большую получила. На это грешит по крайней мере. Девочка ведь совсем слабенькой родилась, еле выходили. И сейчас — со странностями. Да что же я разболталась. Просьбу-то племянницы позабуду.

— Дерево навестить? — предположили мы.

— Сегодня, если можно. И сфотографируйте его ради бога, а то не переживет она.

«Полароид» мне протянула.

— Так вы у нас посидите, что ж откладывать, — предложила я и побежала к одинокому дереву.

Вечер уже намечался, тень от горы прикрывала дерево своим бесстрастным, холодным языком, и оно, бедное, дрожало от холода. «Темно. Ничего не выйдет», — подумала. Но, сделав фотографию, смотрела как зачарованная, на проявляющийся на моих глазах негатив, запечатлевший осинку, всю пронизанную тонкими лучиками света, с красной полосой вдоль ствола, проведенной жестокой рукой лесничего. «И кто знает, сколько таких дней отведено мне, вам, этому одинокому дереву?» — вспомнила я слова Тронутый.

ЛЮДМИЛА ШТЕРН

ИЗ ЦИКЛА «ПАРИЖСКИЕ ЗНАКОМСТВА»

ПАРИЖСКИЙ УИК-ЭНД

Летом 1987 года любимой темой разговоров в Париже был низкий курс доллара. Доллар и вправду упал ниже некуда. Ланч на двоих в захудалом кафе стоил 50 долларов, чашка кофе — 5. Мужской костюм — 800, черные чулки «а-ля Тулуз Лотрек» — 20.

Поэтому, приехав из Брюсселя в Париж на уик-энд, мы расстались с мечтой кутнуть и приодеться и сосредоточились на доступных по цене культурных ценностях. И такое было у нас настроение, что начали мы с Пантеона. Притащились туда под проливным дождем, ни свет ни заря. Вокруг ни души, все еще спят. Те, кто внутри, — вечным сном, те, кто снаружи, — обыкновенным. Наконец явился кассир, отворились тяжелые двери, и мы вошли под мрачные, гулкие своды.

Каково было наше недоумение, когда, почтительно приблизившись к могилам Вольтера, Руссо, Золя и Гюго, мы увидели, что на их усыпальницы капает вода.

— Что за странное пренебрежение к национальным святыням? — спросили мы у охранника.

— Да, печально, но у французского правительства нет денег на ремонт крыши, — объяснил он.

И сразу наша собственная финансовая ситуация показалась нам не такой уж безнадежной. Мы вышли из Пантеона, несколько повеселев.

Дождь кончился. В разрывах облаков улыбалось солнце. Только перешли рю де Ренн, как слышим — кто-то нам сигналист. Перед красным светофором остановилась спортивная «Альфа-Ромео». Из нее выглядывает молодой человек и машет нам рукой, мол, подойдите, пожалуйста, хочу кое-что спросить... Мы в ответ пожимаем плечами — если дорогу, то миль пардон, сами приезжие. Через минуту тот же гудок и та же машина: повернула и затормозила около нас. В ней двое молодых мужчин. За рулем — светловолосый, сероглазый, с обаятельной улыбкой. Рядом с ним — жгучий брюнет с томным взглядом. Оба очень элегантные. Брюнет спустил окно и сказал по-французски:

— Мадам, мосье, бонжур. У вас есть свободная минутка?

— Can I help you? — ответил Витя по-английски.

Людмила Яковлевна Штерн — писательница и журналистка, родилась в Ленинграде; в 1976 г. эмигрировала в США; автор нескольких книг прозы и многочисленных очерков, публиковавшихся в американских и русских газетах и журналах. Живет в Бостоне.

— Пардон, вы не французы?

— Нет, мы — американцы.

— Это замечательно, — сказал брюнет и протянул через окно руку. — Меня зовут Джанни Газтано, а это мой товарищ Фабио Донелли.

Мы тоже назвали и обменялись рукопожатиями.

— Вы, конечно, знаете, что в Париже, во дворце Баскюль, только что закончился показ осенних моделей одежды?

Мы кивнули, хотя не имели об этом ни малейшего понятия.

— Так вот, мы с Фабио представляли Джорджио Армани и Нино Черрути. Вам знакомы эти имена?

Еще бы! Армани сегодня один из пяти самых модных и успешных дизайнеров в мире. Одежда Нино Черрути слишком традиционна на мой вкус, но... Ни тот, ни другой нам абсолютно не доступны.

— Новые модели одежды, которые мы привозим на выставку, мы не продаем и не оставляем у себя. Мы дарим их частным гражданам в знак дружбы. Такова традиция наших фирм... И при этом, — Джанни смущенно улыбнулся, — звучит странно, но мы не любим французов.

— Они узколобые, мелочные, — вставил Фабио, — и жуткие шовинисты! Если ты не родился в Париже, ты человек третьего сорта, просто ноль и пыль! А вы любите Италию? У вас такие средиземноморские (mediterranean) лица.

— Мы — русские, и мы обожаем Италию.

Облокотившись на «Альфа-Ромео», я стала рассказывать новым знакомым об итальянском периоде нашей эмиграции, о Риме, который нас принял и пригнул, о великодушных и щедрых итальянцах.

— Вот и прекрасно, — сказал растроганный Джанни, — вы именно те люди.

Он повернулся и взял с заднего сиденья два золотых пластиковых мешка. На них было написано: «Джорджио Армани. Образцы. Милан — Париж — Лондон — Токио — Нью-Йорк».

— Это осенние пальто, мужское и женское, как раз ваши размеры, у меня глаз наметан... Носите на здоровье.

— Спасибо большое, но... Как-то неловко... Почему мы?.. Почему нам?

— Потому что вы нам понравились. Не отказывайтесь, пожалуйста, мы все равно должны их отдать. Хотите примерить?

— Нет, ну что вы... Посреди улицы. Мы уж потерпим до дома.

— Как угодно. Будете в Италии, непременно позвоните. — Он протянул визитную карточку. — Я курсирую между Миланом и Неаполем, тут оба телефона... Встретимся, пообедаем вместе.

Мы снова пожали друг другу руки и раскланялись.

— Минуточку, — сказал Фабио Донелли, — не могли бы вы сделать нам маленькое одолжение? Не имеет никакого отношения к нашему подарку. Дело в том, что... как бы вам сказать... мы с Джанни плохо вели себя вчера вечером — загуляли в «Лидо», посмотрите, что натворили. — Он достал из пиджака и протянул нам листок бумаги, оказавшийся счетом из «Лидо» на 6000 франков (около 1200 долларов по тогдашнему курсу).

— Пока мы охмуряли девочек, — сказал Джанни, — у нас стащили бумажники со всеми кредитными карточками и деньгами.

— Как, оба бумажника? — переспросил Витя.

— Да, да, оба, — сокрушенно подтвердил Фабио. — Конечно, мы вывернули свои карманы и заплатили по счету... Но остались без единой копейки. Нам нужна какая-нибудь мелочь на бензин.

Мы переглянулись, не зная, что Джанни называет «мелочью».

— Слушайте, если у вас туго с деньгами, забудьте... Подарок все равно ваш. Просто сегодня — суббота, все итальянские офисы закрыты. И нужно-то пустяки, на два-три бака.

Витя достал кошелек и протянул Джанни триста франков.

— Боюсь, что этого маловато, — с сомнением сказал Фабио.

— Боюсь, это все, что мы можем вам предложить, — сказала я.

— Еще бы чуть-чуть. Нам только добраться до границы. И как я уже сказал — эта просьба не имеет никакого отношения к нашему подарку.

Витя достал еще триста франков. Лица наших друзей посветлели.

— Еще бы немного, и мы в порядке, — вздохнул Джанни.

— Нет, это все, — твердо сказала я, — в субботу не только итальянские офисы, но и банки тоже закрыты. Мы не можем остаться до понедельника без денег. Если хотите, возьмите ваши пальто обратно.

— Вы знаете, сколько эти пальто стоят? — спросил Фабио.

— Наверно, очень дорого. Но мы не можем отдать все деньги.

— Ну что ж, спасибо и за это. Дайте ваш адрес, я вышлю чек, как только доберусь до дома. Я богатый и честный человек... И всегда отдаю долги.

Витя почувствовал неловкость за мою мелочность и снова полез за бумажником. Я со всей силы наступила ему на ногу.

— Это вам спасибо. Не беспокойтесь о долге. Шестьсот франков не такие уж большие деньги.

Я мысленно простилась со ста двадцатью долларами. Джанни улыбнулся и поцеловал мне руку.

— Было очень приятно познакомиться. У вас есть наши телефоны, когда будете в Италии, непременно позвоните.

— Надеюсь, мы еще встретимся, — помахал рукой Фабио.

Мы дружно закивали, «Альфа-Ромео» сорвалась с места и исчезла за поворотом.

В Париже мы остановились у нашей подруги, Марии Картозо, тоже итальянки, на рю Дофин. С золотыми мешками под мышкой, не переводя дыхания, мы взлетели в ее «пентхауз» на пятом этаже. Стали расстегивать мешки в такой спешке, что сломали молнию. Пальто, как хрустальные вазы, были укутаны в слои папиросной бумаги, со всех сторон заклеенной клейкой лентой. Наконец, на полу образовалась гора упаковочного материала, а у нас в руках — два старых, рваных плаща китайского производства. Такие не принимают даже в благотворительные магазины «Армии спасения».

За двадцать лет дружбы с Машей Картозо мы не видели, чтобы она так хохотала.

— Это — «мальяри», — сказала она, вытирая слезы. — В прямом смысле «мальяри» по-итальянски — это те, кто вяжет, шьет, плетет. В переносном это — жулики, те, кто плетет «дела». Вы еще дешево отделались, дорогие мои. Они могли вас запросто похитить. Пригласить покататься, хлороформ в нос, кляп в рот, и — с приветом. Ищи ветра в поле.

Маша — лингвист и любит щегольнуть знанием русских поговорок.

— Но им не откажешь в изобретательности, — сказал Витя, — ни грубости, ни насилия... Спасибо, Людка на ногу наступила, а то бы я все деньги отдал.

— Господи, какие же мы с тобой кретины! Чтоб я когда-нибудь в Париже подошла к чужой машине! Чтоб я когда-нибудь заговорила на улице с посторонним!

На следующий день мы встали рано и отправились гулять по городу. Я очень люблю Париж по утрам, особенно в воскресные и праздничные дни. Кафе и магазины закрыты, на улицах пустынно. Вдали звонят колокола к утренней службе. На бульваре Сен-Мишель слышно, как поют птицы.

Мы направились к Сене и перед фонтаном на площади Сен-Мишель увидели открытую табачную лавку. Перед ней стоял темно-зеленый «Ягуар». Вокруг машины суетился человек в смокинге. Он то остервенело дергал ручку двери, то пинал эту дверь носком лакированной туфли.

— За что он ее так? — поинтересовался Витя.

— Не наше дело, — сказала я и потянула его за рукав.

Увидев нас, человек взмолился:

— Будьте добры, пожалуйста, помогите! Может, вы сумеете с этим справиться.

Витя направился к машине, но я схватила его за руку.

— Пардон, мосье, но мы не говорим по-французски.

— Понимаете, я выскочил купить сигареты и по рассеянности защелкнул дверь на замок, — он говорил теперь по-английски без малейшего акцента, — ключи внутри, мотор работает, запасные ключи у жены, а они с сыном уехали на выходной в Довиль.

— Надо вызвать «триппл-эй», — посоветовал Витя.

— Откуда тут «триппл-эй»? — взвыл человек. — В Париже в воскресенье до пожарной команды не дозвониться! — Он снова пнул свой «Ягуар». — Я даже в полицию позвонить не могу, я выпимши!

Конечно, он говорил по-английски, но если бы он говорил по-русски, это звучало бы именно как «я выпимши».

— Не волнуйтесь, — сказал Витя, — нужно достать проволочную вешалку.

— А где ее взять? Магазины-то закрыты!

— На помойке.

В Париже все еще существуют незапертые дворы, а в них — ящики, бочки, магазинная тара. Облазив ближайший двор, мы нашли две отличные проволочные вешалки. Витя их сгибал и разгибал, пока не получились крюки разного размера. Обладая терпением рыболова, он начал «поддавливать» замок. Все это время работал мотор, был включен магнитофон, и мы успели прослушать два с половиной Бранденбургских концерта.

— Могу слушать Баха круглые сутки, — сказала я, демонстрируя, что мы тоже не лыком шиты.

Человек посмотрел на меня с одобрением. В этот момент щелкнул и выскочил замок, и Витя открыл дверь. Не прошло и сорока минут.

— Просто не знаю, как вас благодарить. Простите, я до сих пор не представился. Меня зовут Юджин Крамер. Могу я узнать ваше имя?

Мы назвались и пожали друг другу руки.

— Откуда вы? Надолго ли в Париже?

— На два-три дня. Приехали на уик-энд из Брюсселя. А вообще мы живем в Бостоне. — Витя протянул мистеру Крамеру визитную карточку, и тот внимательно ее изучил.

— Мне хотелось бы отблагодарить вас за вашу любезность... Что вы делаете завтра вечером?

— Пока не знаем. У нас в Париже много друзей, наверно, пойдем в гости.

— Как жаль! Я хотел пригласить вас на музыкальный вечер. Будут приятные люди, хороший ужин, превосходные музыканты. Дайте ваш парижский адрес, я сегодня же с нарочным пришлю официальное приглашение.

— «В греческом зале, в греческом зале...» — пробормотала я по-русски.

— Простите?.. — не понял Юджин Крамер.

— Вы случайно не представляете в Париже Джорджио Армани?

— Перестань грубить, — сказал Витя, взял из его рук свою карточку и написал на обороте Машин адрес. — Спасибо, мистер Крамер, мы с удовольствием придем. И не надо никакого официального приглашения, просто скажите, куда и когда.

— Боюсь, что приглашение необходимо, — улыбнулся Юджин Крамер. — Еще раз большое вам спасибо, вы меня выручили. Надеюсь, до скорой встречи. — И он отчалил в своем «Ягуаре».

— Какой же ты, Витя, странный! Дал совершенно незнакомому человеку Машкин адрес. Теперь, неровен час, обворуют ее квартиру.

— И правда, глупо... Но неудобно было отказаться.

Когда мы явились домой, Маша с торжественным видом вручила нам муаровый конверт с вензелями и гербовой печатью.

— Оцените мою деликатность. Умирала от любопытства, но не распечатала. Полчаса назад это письмо принес курьер.

Внутри на роскошной бумаге с водяными знаками было начертано:

«Его Превосходительство
Посол Канады во Франции
Люсьен Бушард

просит оказать ему честь и прийти на музыкальный вечер и ужин в понедельник, 29-го июня, в 8 часов вечера в его резиденцию, 135 рю де Фобур Сент Оноре. Форма одежды — смокинг.

Юджин Крамер,
Культурный атташе».

Несколько минут мы представляли собой немую сцену из «Ревизора». Наконец, Витя обрел дар речи:

— Боюсь, что наш поход не состоится, у меня нет смокинга.

— У тебя даже приличных брюк с собой нет. Ведь я говорила, что нельзя ехать в Париж в джинсах и кедах.

— Мне было достаточно таскать чемодан с твоими брюками.

— Зато тебе не пришлось таскать мои платья, потому что я, как дура, тебя послушалась и не взяла ни одного.

— Не сорьтесь, пожалуйста, прошу вас, — сказала Маша, — утром поедем в «Галери Лафайетт» и купим платье, а смокинг возьмем напрокат.

— Предвижу утечку по крайней мере трехсот долларов, — сказал Витя.

— Не забудь прибавить еще сто двадцать за пальто Джорджио Армани.

...На следующий день, в восемь часов вечера мы вошли в резиденцию канадского посла — прелестный особняк, отделанный с безупречным вкусом. Белая гостиная, мраморные каминь, лепнина на потолке, старинные люстры и канделябры, на стенах — прекрасная живопись, на полу — персидские ковры. Всю дорогу в такси мы ссорились на тему, как обращаться к послу. Я утверждала, что *Votre Excellence*, то есть Ваше Превосходительство, а Витя считал, что достаточно — *Mister Ambassador*, то есть господин посол. Мы решили, что спросим у Юджина, но не пришлось. Гостей на пороге гостиной встречал сам посол Люсьен Бушард. Меня поразило его сходство с нашим Дукакисом. Ну, просто близнец, только на полторы головы выше.

Вскоре появился Юджин и начал представлять гостей друг другу. Конечно, ни одного имени я не запомнила. Гости стояли группами, многократно отражаясь в зеркалах. Мужчины в смокингах, дамы в длинных открытых платьях. На пальцах, шеях и в ушах сверкали бриллианты. Все оживленно беседовали о... низком курсе доллара.

По залу снова официанты с шампанским. В дальнем углу я заметила Витю и Юджина. Они слишком темпераментно жестикулировали и слишком громко разговаривали. Осушив свои бокалы, они ставили их на поднос и тут же брались за следующие. Я поспешила к ним. Мне нет никакого дела до поведения канадского культурного атташе, но тот, кто видел моего мужа пьяным, поймет мое беспокойство.

— Угадай, почему Юджин пригласил нас на этот вечер? — спросил Витя.

— А, правда, Юджин, почему? Ведь не за то же, что мы открыли вешалкой ваш «Ягуар»?

— Главным образом, за это. Но были и другие причины. Ваш акцент. Как только вы заговорили, я понял, что вы — русские, но... не советские. У меня на дипломатической службе глаз наметан. А к русским я питаю слабость — мои родители детьми приехали в Канаду из Одессы.

— Ой, Юджин, а мы при вас не ругались по-русски? — забеспокоилась я.

— К сожалению, я по-русски почти ничего не понимаю. Кроме того, из визитной карточки явствовало, что Виктор преподает в Бостонском университете, а это — моя альма матер. К тому же, было ясно, что вы любите музыку... Слушайте, — глаза его заблестели и щеки приняли пурпурный оттенок, — я хочу произнести тост. Господа! — закричал он, и все гости с бокалами в руках замолчали и повернулись к нам.

— Господин посол! Леди и джентльмены! Я хочу поднять бокал за наших новых друзей, Виктора и Людмилу. Они пришли мне на помощь в трудную минуту! Пусть наши народы всегда помогают друг другу! Пусть расцветает дружба между двумя великими соседями — Америкой и Канадой!

Раздались учтивые, но жидкие аплодисменты. Юджин набрал воздуха в легкие, и я испугалась, что они с Витей грянут «Подмосковные вечера», но тут послышались звуки арфы, и нас пригласили в столовую.

Ужин и последовавший за ним музыкальный вечер были вполне на уровне. На метровом лососе была создана чешуя из тончайших ломтиков малосольных огурцов, а на ней кремом изображен басовый ключ. Утка, утопленная в мандариновом желе, напоминала муху в янтаре. На ней сверху был нарисован скрипичный ключ.

Вернулись мы домой около полуночи, дверь Машиной квартиры была открыта настежь, на лестнице столпились соседи. Маша разговаривала с полицейским.

— Что случилось?

— В квартиру забрались воры. Я вернулась домой час назад, стала искать ключи в сумке и услышала шаги в квартире. Я решила, что вы уже дома, и позвонила. Никто не открывает. И ключей нет, оставила, видно, в другой сумке... Стала дергать дверь, а она открыта. Над головой топот, воры выбежали через черный ход на чердак и по крышам... Тут полно всяких лазеек.

— О, Господи, а что украли?

— К счастью, не так много. Не успели, я слишком быстро вернулась и спугнула их. Унесли приемник и фотоаппарат. Да, и ваши знаменитые пальто от Джорджио Армани. Они висели на самом виду... в таких потрясающих золотых мешках.

КАФЕ «ВАГНЕР»

Крошечное кафе «Вагнер» на улице Реомюр, около L'Орёга, ничем не примечательно. Но там случилось со мной однажды забавное приключение, и теперь, приезжая в Париж, я всякий раз заглядываю в «Вагнер». Выпью чашку кофе, просмотрю газету, напишу кому-нибудь меланхолическую открытку, а сама поглядываю на дверь — не появится ли он опять...

Первое апреля. Чудесный, солнечный день. Все, что должно было таять, — растаяло, все, что могло расцвести, — расцвело. Каштаны, платаны, акация. Для меня Париж — всегда лучистый и праздничный, и на мою беззаветную любовь отвечает добрым жестом, улыбкой, сюрпризом.

По случаю теплого дня столики были уже выставлены на тротуар, и официант ловко маневрировал между ними и гуляющей толпой. Я заказала абсент и уселась в позе пикассовской любительницы абсента из коллекции Эрмитажа: оперлась на руку, спрятала подбородок в ладонь и создала затуманенный взгляд.

Вдруг немолодой господин, сидящий за соседним столиком, обратился ко мне по-французски:

— Простите, мадам, нет ли у вас спичек?

«Для его возраста довольно банальное начало», — подумала я, но честно порылась в сумке.

— К сожалению, нет, сэ (по-английски).

— Вы англичанка? — спросил он по-английски.

— С моим-то корявым произношением... Вы мне льстите, сэ.

— Испанка? Гречанка?

Я покачала головой.

— Ну, не американка же, в самом деле?

— Более или менее.

— Что это значит?

— Это значит, что я живу в Америке. Но я русская.

— Господи! — просиял господин и даже всплеснул руками. — Русская! У меня никогда не было романа с русской дамой... в реальной жизни.

Выражение «в реальной жизни» — «in my real life» — показалось мне странным, но я не позволила себе удивиться вслух.

— Очень сожалею, сэр.

Он смотрел на меня, чуть улыбаясь, и его темные длинные глаза показались мне магнетическими.

— Вы не знаете, кто я такой?

— Не имею ни малейшего понятия.

— Попробуйте угадать.

— Зачем?

Его лицо, обрамленное седыми, почти до плеч волосами и перерезанное седыми же усами, так опечалилось, что я устыдилась.

— Извините, я не хотела вас обидеть. У меня ужасная зрительная память. Давайте познакомимся. Меня зовут Людмила Штерн. Люда... — И я протянула ему руку.

— Меня зовут Омар Шариф... — Сухая рука, крепкое пожатье.

— Простите?

— Омар Шариф.

Конечно! Я моментально узнала это смуглое лицо, восточные глаза, расщелинку между верхними передними зубами.

— Простите, ради Бога, я думала, вы гораздо... моложе. «Господи помилуй, что это я несую такое».

— Вы на редкость деликатны и любезны, Люда. — Омар Шариф иронически поклонился.

— Так вот что значили ваши странные слова «не было романа в реальной жизни!» Вы имели в виду «Доктора Живаго».

— Вы также на редкость проникательны, — улыбнулся Омар Шариф. — Подождите, я раздобуду огонь.

Он позвал официанта, и тот принес спички.

— А что вы делаете в Париже, русская дама?

— Ничего особенного... Наслаждаюсь.

— А играете ли вы в бридж?

— Пробовала несколько раз. Но моя тупость так травмирует партнеров, что я поставила на себе крест.

— Ну и напрасно. Хотите научиться?

— Боюсь, что это последнее, на что я хотела бы тратить в Париже время.

— Я не собираюсь тратить ваше время, — засмеялся Омар Шариф. — Я хочу подарить вам кое-что на память. — Он открыл свою черную кожаную сумку, вынул оттуда книжку и протянул мне.

Omar Sharif

Ma Vie Au Bridge*.

— Спасибо большое... Но скажите, вы всегда таскаете с собой книжки на случай знакомства в кафе?

— Нет, конечно... Но вы подали мне прекрасную идею.

— Что же, у вас в сумке случайно оказался авторский экземпляр?

— А вы порядочная язва, милая Люда. Книжка эта вышла только вчера, и сегодня утром я с рекламными целями встречался с читателями в магазине «Printemps». Отвечал на вопросы, подписывал автографы. Вот случайно остался экземпляр.

Омар Шариф попросил у меня ручку и написал: «To Luda Shtern with love».

И до сих пор стоит в моей домашней библиотеке книжка по бриджу. Книжка, которую я никогда не прочту...

* Моя жизнь в бридже (франц.).

ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО

«...ГОВОРИТЬ ДРУГ С ДРУГОМ, КАК С СОБОЙ...»

Глеб Семенов и Тамара Хмельницкая
(Переписка 1962—1965 гг.)

«...в пользу взгляда на всю эту среду как на особую экзотическую культуру».

А. Жолковский
«Анна Ахматова — 50 лет спустя», «Звезда», 1997, № 9

Письма Глеба Сергеевича Семенова и Тамары Юрьевны Хмельницкой написаны в 60-х годах. Стучилось так, что одного корреспондента судьба закинула на несколько лет в Москву, а затем — в Эстонию, в Эльву, а второй оставался в Ленинграде. Дружба связывала их тридцать восемь лет. Она оборвалась смертью Глеба Семенова в 1982 году. Письма эти — свидетельство, прежде всего, счастливой и достаточно необыкновенной дружбы. Они — диалог, включающий, пожалуй, все, что входит в понятие «жизнь». Надо, правда, оговориться, что о политике в письмах тогда не разговаривали, так что мы уловим только глухие намеки. И еще, — мы печатаем лишь фрагменты этих писем, исключив подробности личных, житейских обстоятельств обоих корреспондентов — о них они тоже постоянно вели откровенный разговор.

Письма Глеба Семенова к Тамаре Хмельницкой разрушают ставший уже банальным тезис о том, что в наш век телефонов, давящих скоростей и повальной перлюстрации почты эпистолярный жанр, как, впрочем, и дневниковый, вышел из моды. Сам Глеб Семенов обозначил правоту этого тезиса предельно жестко в одном из своих последних стихотворений:

Поспешу ли найти оправданье,
ничего не скажу, — все равно:
в девятнадцатом веке — рыданье,
а в двадцатом — усмешка в окно.

А в двадцатом — ни жалоб кузине,
ни бессонницы, ни дневника.
Через город, в гремящем бензине,
ты идешь, и походка легка.

Под мотивчик какой-нибудь шальной,
измывающийся над душой,
ты уходишь в себя, и, пожалуй, —
до галактики ближе чужой.

Но у самого автора этих безнадежных стихов, хоть дневников и не было, бессонницы случались, и письма были просто необходимостью. Его тянуло к прозе, но за нее он так и не взялся, зато свою страсть к прозе перенес на письма.

Кроме того, поскольку внешней жизни, то есть общественной, политической карьеры, путешествий, наконец, откровенного и полного разговора с читателем, — не было и не могло быть, то письма были как бы самоотчетом той внутренней жизни, которая лепилась, выкристаллизовывалась в сосредоточенном творчестве, за книгами, за письменным столом («Жизнь за столом складывается так...» — читаем мы в одном из писем), в разговорах с друзьями, в одиноких и неодиноких неотступных размышлениях. Вот эта внутренняя жизнь рвалась оформиться в письмах к друзьям, родным, ученикам. Т. Хмельницкая была самым благодарным корреспондентом. От нее ответ следовал немедленно. Острота восприятия и непритушенность реакции, такт, редчай-

шая драгоценнейшая отзывчивость и готовность вести диалог на той же мгновенно уловленной волне, глубокая заинтересованность в судьбе друга — все это не давало остыть переписке.

Часто спрашивают — чем, собственно, интеллигенция занималась в «годы застоя»? Не желавшая примкнуть к открыто диссидентским кругам, не находившая в себе силы покинуть Родину (наши корреспонденты принципиально и сознательно отвергли этот выход для себя), не продававшаяся и не уступавшая ни в чем, все понимающая, бедствующая, нищенствующая — чем она жила? Отчасти на этот вопрос отвечают письма Глеба Семенова и Тамары Хмельницкой. Тем, что упорно писала в стол (Г.С. оставил двенадцать почти не напечатанных книг), «не позволяла душе лениться», создавала, культивировала, наращивала свой гумусовый слой, обростала учениками. Держалась интеллигентским братством.

Мне и моим друзьям повезло. Мы были взяты в это братство — младшими, усыновлены, удочерены. Как я помню их, блокадников в прошлом, жителей уплывших коммунальных квартир в годы «хрущевской оттепели». Как они вглядывались в нас, двадцатилетних, получивших из их рук «Воронежские тетради» Мандельштама, услышавших в их исполнении впервые стихи Олейникова!..

В Москве оно, конечно, тоже существовало, это братство. Но Глеб Семенов, решившийся уехать на несколько лет из Ленинграда, — тосковал о ленинградском братстве, о «высокой стаяе», как он называл Л. Я. Гинзбург, Э. Л. Линецкую, Б. Я. Бухштаба, Д. Е. Максимова, Давида Дара, Е. Г. Эткинду, Т. Г. Сильман и В. Г. Адмони, Поля Карпа, своего дорогого корреспондента — Т. Хмельницкую. Ему дорого было творчество младших друзей, часто учеников, — А. Кушнера, И. Бродского, Рида Грачева, Я. Гордина, Майи Данини, Тани Галушко. Он не мог найти в Москве более близких среди пишущей братии. Об этом мы читаем в письмах. В этот для него горький период оторванности от родного города он постепенно убеждается в невозможности существовать без Ленинграда, вне родного круга, «острова», как он пишет, друзей и учеников, «острова» петербургской интеллигенции. Этот круг рисовался ему строгой, классической, может быть, увы, замкнутой системой, действительно подобной одному из сорока двух островов Петербурга, но зато осененной такими именами... И. Анненский, А. Блок, живая тогда еще А. Ахматова. Система эта вписывалась в петербургский пейзаж.

И она представлялась Глебу Семенову — единственной возможной Родиной.

Е. Кумпан

5.09.62. Переделкино.

Дорогая Тamarочка Юрьевна!

Простите, что так фамильярно. Но ведь этого же никто не слышит, это — с глазу на глаз!..

Каждый день вспоминаю Вас... Здесь у меня — полная противоположность тому бытию, которое я наблюдал в Комарове во время своих последних наездов. Тихо, чинно, чванно. Чуть ли не самый интересный человек (по крайней мере, по теперешнему роду деятельности) — Лева Озеров, который с утра до ночи пропадает на даче Пастернака, лихорадочно готовясь к составлению комментария для его одноклассника. Охи и ахи, но все ступенькой ниже, чем у нас. А уж о ясности позиции — и не говорю! Подряд вспоминая всех — нас, Л. Я. [Гинзбург], Д. Е. [Максимова], Э. Л. [Линецкую], Рида [Грачева], Сашу [Кушнера], и еще многих-многих вплоть до Эткинды (забыл, конечно, Берковского и Громова!) и Минны [Исаевны Дикман], — могу внимать этому только с жалостливой снисходительностью и, одновременно, втайне восхищаться ленинградской отрешенностью (раз навсегда!) от суетности, ленинградским «служением муз», чего бы это ни стоило. У каждого из нас (так и хочется написать это «нас» с большой буквы) есть свое место, своя высота полета, свой почерк свободного парения. Всех нас объединяет одно: мы не устаем держать взятую нами высокую ноту. Не устаем быть щедрыми ни по отношению к миру, ни по отношению друг к другу. Не устаем интересоваться новым и новыми — посмотрите, как мы обросли, а во многом уже и срослись с теми, идущими вслед за нами! — мы не устаем принимать их как равных. В этом большая наша гордость и правда, как бы мы в отдельных случаях ни спорили и даже ни ссорились!

Бесспорно, и здесь есть свои пророки (вроде Н. Я. [Мандельштам]) — так именно все относятся к Асмусу. Но, увы, он самым значительным из живущих поэтов (вообще, а не здесь!) назвал Вознесенского, и мне расхотелось с ним знакомиться. Правда, однажды Озеров спросил меня, кто же у нас (ленинградских нас) самый из живущих, то бишь из живых? По душевному приятию, разу-

меется, а не по уважению и интересу. И я затруднился ответить — мы как-то все больше по бессмертным!.. А. А. [Ахматова]? Хотя и она уже мраморная!

Ну вот, «душа Тряпичкин», я и отвел душу! Будто посидел у Вас в комнатке, под обваливающимися книжками. На столе — теплые пирожки. А на стенах — столько теней, которые присутствуют при наших разговорах, молчат, а иногда и кричат (Рид). Стол круглый, и кто поручится, не спиритизмом ли мы занимаемся.

P.S.. Перечел. Все так, хотя и изложено в недостаточно точных словах. Например, надо было бы сразу попросить прощения, что с таким апломбом ввел себя в это «нас». Это так, но все-таки...

Г.

9.IX.62.

Глеб Сергеевич, милый! Спасибо за письмо, обрадовавшее меня и настроением своим и полной для меня неожиданностью. Вы ведь мне до сих пор никогда не писали — должно быть, из боязни испортить глаза над ответными моими каракулями. Воображаю, как Вы морщитесь и ворчите, тщетно пытаетесь понять смысл этих полулежащих, дрожащих и подмигивающих палочек. Но я стараюсь, как на уроке чистописания.

Все в Вашем письме близко, согласно и любо мне — кроме двух кокетливых оговорок — о фамильярности и о Вашем праве на «нас». Для меня фамильярность — это что-то развязное, амикошонское, а главное, по сути своей равнодушное, чужое и неискреннее — жест, а не глубь. И разве дружеская непринужденность обращения — фамильярна, если она от души? Вы сами говорите о щедрости — не будем же скупы на тепло, которое так нужно в нашем пасмурном климате. Мне во всяком случае.

И второе — Вы ведь прекрасно знаете, что наше «мы» было бы беднее и безнадежнее, если бы оно замыкалось в пределах «последних могилок», вздыхало об уходящем прошлом и считало бы, что на нас кончается вселенная. Когда Саша Кушнер говорит, что мы — последние, к кому обращены его стихи, — я это принять не могу. Для меня нет прошлого без будущего, нет жизни без чувства продолжения, и я счастлива, что смена тянется к нам и даже споря находит общий язык <...> — хоть горят они уже совсем другим огнем и уже начинают «грызть нас молодыми зубами». Вспомните Л. Я. [Гинзбург]. Это держит и греет. Больше всего боюсь остановиться и перестать понимать. В живописи я уже пугаюсь своей консервативности. В слове пока нет.

Ну так не можете же Вы забыть, что это «мы — с продолжением» в любимом Вашем Ленинграде — во многом дело Ваших рук. Зачем же приbedняться? Радоваться и гордиться надо за все побеги и ростки, к которым Вы причастны, к которым Вы всех нас приобщили.

Я знаю — придет день — и Рид [Грачев], как колобок, укатится далеко и забудет вернуться. С этим надо примириться, но пока все это жжет и возмущает и горит и радует и тревожит и делает жизнь пусть взорванной, перевернутой, перекошенной, но не застойной.

А Сашу [Кушнера], Лену [Кумпан], Андрюшу Битова — я не мыслю себе без Вас — и пока все разномастные, разновозрастные мы узнаем друг друга в толпе — живо то «чудо», которое стало для Вас заглавием. Хорошо, что есть еще домá, где мы дома, где нам хочется говорить друг с другом, как с собой, и понимать с полуслова.

Мой собственный дом существует для меня только после того, как его обживают друзья. Приезжайте обживать. Мне очень недостает извилистых, длинных, скачущих по ассоциациям разговоров, стихов, исповедей и даже переполненных под утро пепельниц и бледных рассветов в притихшей комнате. И этого чувства смещенного времени, выпавшего из расписания, но самого нужного, чтобы жить дальше.

Комарово этим августом было чуть бледнее обычного и отсырело в непрерывных дождях. «Чистый стронций», — окрестил кто-то эту погоду. Зато Лена (моя) [Вентцель—И. Грекова], умиротворенная и смягченная литературным успехом, а главное — постоянным общением с Фридой [Вигдоровой] — была мила, ровна, верна душевно и ограждала меня от полузнакомых и немного липких поползновений.

Того единства тона и безмолвного понимания, солидарной, но тревожной весны, когда «нас было шестеро» [«Девочка», стихи Г. С. — Е. К.] — не было и в помине.

Но я отошла от «свободки» и быта и медленно погружалась в странный словесно взорванный и гротескный мир Андрея Белого. Там верят в собственные каламбуры и чураются бессонных своих измышлений. Даже ирония оплотневает дразнящим чудищем. Мир призрачный, шаманский, но непререкаемый для тех, кто его придумал. Видно, им легче было жить в тумане своих заклятий и словесных лабиринтов, чем нам в нашей жестокой ясности. Они не боялись ни слов, ни жестов. Нас же так долго держали в узаконенной неправде, что мы страшимся фальши до немоты и стреножены даже наедине с собой и друзьями.

О стольком еще хочется говорить — <...> и о детскости со знаком + и инфантильности со знаком —, это — в связи с Марамзиным, Ефимовым, младшим Воскобойниковым и другими, которые искусственно задерживают свою зрелость и со вкусом лепечут — но ведь такого надолго не хватит, и о многих книгах и людях. Но пора пощадить Ваши глаза. Все это уже при встрече.

И почему в конверте не было новых стихов? Жду их и еще письма.

Очень не хочу, чтобы Вы переехали в Москву.

Желаю Вам настоящих стихов и пусть Вам будет хорошо.

Ваша Т.

15.IX.63.

<...>Я понимаю Ваше тяготение к Баху и к ясности, «сказанности», к отсутствию ужимок, кокетливого многоточия, многозначительной жеманности. Не семенить душевно, а во всем проявлять себя просто, полно и сильно. Или потому, что в Вас много «ты так играла эту роль», Вам хочется попробовать это «просто» и без кавычек и до конца в слове. А может быть, и в жизни? Нет, в жизни, кажется, еще рано. Но вот я на днях слушала стихи 74-летней Анны Андреевны — совсем новые, совсем личные. В них была мраморная твердость и непререкаемая высота. И все-таки каждое слово в них окружено тайной недосказанности, поясом (?) нераскрытых ассоциаций — и очень насыщенно и густо в этих, казалось бы изваянных, строках. И возможность догадок не портит их, а делает еще значительнее. Так что одного закона тут нет.

Надо ли бороться с биографией в стихах? Думаю, что нет. Не надо только эту биографию мельчить. А все, что главное и властное в ней, — стихи питает, а не истощает. Биографию не надо примерять, как наряд — то, что так косметически заметно делала Н.К. А вот Л. не примеряет и живет органически, как дерево, камень и река. Но страдает как человек. И биография дышит в стихах, и уже не думаешь о досказанном и недосказанном, а просто веришь. А в Ваших стихах — в отличие от жизни, где Вы иногда увлекаетесь игрой и слишком уж шлифуете сюжетные повороты, — всегда поражает глубина и непреложность чувства, пусть сложного и нераспутанного, и то, что стоит за строкой — совсем не сюжетно — и есть та таинственная сложность жизни, к которой мы не привыкли в словах, в лирике особенно. И этого за словами Вам бояться не надо.

И уже не в связи с литературой думаю я об эгоцентризме; о том, что есть люди с неразстворимым камнем Я. Это Я всегда внутри давит и весит, и делает больно, даже когда они кем-нибудь или чем-нибудь поглощены. Это Я вытесняет цельность чувства и не дает человеку слиться с тем, к кому его как будто влечет. Честное слово, я не о Вас говорю, а скорее о себе и многих своих друзьях, очень человечески значительных. А есть люди — и в этом высшее бескорыстие, оно вознаграждается сторицей — которых то, чем они живут и занимаются, забирает целиком. Так Вигдорова уходит в дела своих подопечных, живет их жизнью, устраивает их судьбы и, не будучи очень одаренной литературно, — тут она обладает настоящим даром жизни и дарит эту жизнь людям самозабвенно. Она — творец судеб, и если бы в капище сидел идол Я, как у А. А. Ахматовой, это бы ей не удалось. Такому растворению я завидую белой завистью. А в литературе, мне кажется, Пушкин, который до мелочей оставался собой, мог претворить это Я во всеобщее — и каждый раз с другой окраской и в другой облик. А Лермонтов, очень пронзительный и точный в выражении, не мог растворить этот камень Я, и камень сужал его возможности. До прозрения он дошел, а зрелости душевной, то есть свободы понимания за пределами Я — не обрел. И дело не в разнице лет (27 и 37), а во внутреннем возрасте, в широте человеческого масштаба... Ну а возвращаясь к реальности, к сегодня и Вашей книге... да, будьте максималистом. И Вы останетесь собой, и книга будет настоящая. <...>

Т. Х.

29.X.64.
Москва.*

Тамара Юрьевна, милый мой друг!

Все сплю да сплю я! Вероятно, отсыпаюсь за эти четыре года междугородья и междудомья. Очень, вероятно, устал держать свои крылышки все время расправленными, а перышки встопорщенными. Да это еще совпало с моей ежеосенней тягой к берложному существованию. Вот и наверстываю!..

Москвы, вроде, и нету. Хотя по-московски поеживаться уже приходится. Во-первых, холодно в самом непереносном смысле. Во-вторых, никто, как есть, не интересуется моей особой <...> О книжке [«Отпуск в сентябре», СП, 1964. — Е. К.] говорят так: Лева Левицкий [тогда «новомирский» критик]. — Е. К.] — «видишь, выпустил, а боялся, что не дадут», Самойлов [Давид] «спасибо, что прислали книжку», Артамонов [Сергей, литератор, ученик Г. С. — Е. К.] — «портрет в книжке хороший». Пожалуй, в «Юности» только — «хорошо, что вы перебираетесь в Москву, больно уж вам там не место».

Третий холодок — расстояния, их именно надо преодолевать.

Скрасил первые дни и Левушка [Мочалов. — Е. К.]: будучи в командировке, несколько раз заходил <...> Но рассуждения его — увьи!.. Говорит: «Семенов сам не знает, где у него сильное место. Вот «и что-то тихо изменилось, хотя и было как всегда» — это Семенов. А «гуденье века», и «атомные грибы», и всякая «подсознательность» — это от лукавого, это натяжки». А прочтя Вашу рецензию: «Прежде всего надо было объяснить, что книжка лирическая и ни на что не претендует» (!)

Прочел и Вашу рецензию, даже дважды. Честно? По-моему, она не получилась. Нет стержня, нет Семенова, как такового. <...> Драматизм может быть отнесен ко многим. Сопряженность вечного и временного — какой же художник без этого. Раздумья о времени на том или другом подножном материале — а как же иначе? Рецензия — не объективная и не конструктивная. <...> Масса лестного, но это все лишь для меня, а не для читателя: я — так и не объяснен.

Понимаю все трудности и помехи, но понимаю — я, а не тот, кто захочет прочесть обо мне. А надо бы ему как раз и объяснить, что книжка «претендует», ибо всякое явление и рождено, чтобы «претендовать», только в лирике это вышешуливается труднее. И просто уже смешны потуги: «старуха-де воплощает страдания и стойкость народа». Дело даже не в том, что так и хочется подставить эпитет «советского». По сути: старуха ничего не воплощает, кроме самой себя. Она индивидуальна, особенна, и в этом ее сила. А с «народом» меняться глазами я не намерен.** С Матреной*** — другое дело! Завидую ей!

Не сердитесь, мой друг, тут не на что сердиться! Очевидно, здесь роль играет и самомнение мое: стихи глубже, чем рецензия на них, многострадальнее и... своеобразнее, да простит мне бог!

Еще пробовал писать. <...>

И вот безденежье и насморк.
И вот — живете среди людей...
О стая лебедей!

Прекрасно
отяжелевших лебедей!..

Это из «прощания» со всеми вами. Наверное, будет...

Тоска прощания осталась там, в Ленинграде. Я глушил ее, как мог — Вы видели это. Здесь — сухо и свежо: не заплачешь, не расплещешься. Да и не дай бог! Здесь — только воспоминания, иногда память, обо всем хорошем и ясном. Я уже в другой позиции. Я отсыпаюсь. И, надеюсь, не после чего-то лишь, а и перед. Иначе нельзя, мой друг, нельзя!

<...> Привет «лебедам».

Ваш Глеб.

* Письмо из Москвы, куда Г. Семенов переехал осенью 1964 г.

** «Старуха! Глазами поменяться бы с тобой!» (из поэмы «Отпуск в сентябре»).

*** Героиня рассказа А. Солженицына «Матренин двор».

2.XI.64.

Я не сержусь на Вас, Глеб Сергеевич, за то, что Вы честно написали все, что я сама знаю: рецензия не получилась, да и не могла получиться в столь сложных и несовместимых обстоятельствах. Я сержусь и на Вас, и на себя — за другое... На Вас — за то, что Вы решительно и без оговорок выражали мне желание, чтобы я написала о Вас для печати, прекрасно понимая, что это попытка с негодными средствами — и притом еще просили «не подводить Вас под монастырь» лично, общественно, всяко. На себя — что, понимая все это, у меня не хватило решимости прямо отказаться от этой затеи. Я не дипломат. Мне-то и с одной цензурой — издательской — работать трудно. А если еще надо беречь автора — друзей не беречь я не могу — я уже совершенно теряюсь, и все, как планета, вертится «не туда». Вся жизнь я старалась о друзьях и даже просто знакомых не писать. А тут вдруг черт попутал — сразу о Вас и об Энне — и все мимо. От Энны я это скрыла. Она бы мне не позволила. Но все равно вышло елейно-восторженно, п.[отому] ч.[то] говорить всерьез и без риска для автора нельзя.

Ведь если бы я о Вас сказала все, что думаю, — я бы подчеркнула, что поэт выше и значительнее сборника. И то, о чем я слабо твякнула на последней странице, заняло бы главное место. Сказать, что поэзия Ваша по самой природе своей трагична, и чрезмерное умиление и просветление Вам не к лицу — и значило бы «подвести Вас под монастырь». Да, я покривила душой, восхищаясь ребячьими Вашими уменьшительными. Часто они хороши, но на самом деле я считаю, что их в сборнике непропорционально много — ведь Вы к диссонансам ближе, чем к односветной гармонии. В отличие от Мочалова, я нахожу, что лучшие Ваши стихи — не считая поэмы — это «Междугородная тишина», «Закат», «Деревья», «Прекрасной осени...», а еще лучшие — не попавшие в книгу, «переводные», прочитанные на альманахе*, и сборник «Длинный вечер», и вершинные «Твердь**», и «Мы обменялись (городами)».

Кстати, вчера я показывала их Дарику [Д. Дару]. Он <...> в совершенном восторге; а про сборник сказал, что рядом с очень значительными есть совершенно другим голосом звучащие, не Ваши. Ну конечно «Район***» — и тут я согласна, а в блокадном цикле для него основа «Тело» и «Концерт», а для меня все, кроме «Баррикады», дорого и незаменимо.

Не могла же я написать о Вас, что Вы делаете себе сюжетные уколы всяческого неблагополучия, что трагизм нужен Вам не как несчастье, а как стимул к действию и созиданию — жизненному и особенно словесному, стиховому. Что высокие чувства у Вас прямо пропорциональны глубине их подземных запутанных ходов. Что Вы во всем всегда «так играете эту роль» — когда предельная искренность держится на предельной напряженности, вернее на *несвободе* предела. Вы стремитесь к пределу, с которого вот-вот сорветесь и, быть может, смертельно, канатоходец. Словом, с Вами без Фрейда, расширенно понятого, — не обойдешься. Ибо Вы сочетаете холод рацио с горячим подсознанием, экспериментаторство, почти инквизиторское, по отношению к себе и партнеру с безоглядностью нарушенного запрета и отчаянным риском. Вы стремитесь к последним глубинам, но устаете от прямоты и прозрачности. Я говорю обобщенно, но все это можно показать на стихах, правда, мешая их с биографией, которой они рождены.

Я писала в тенетах и наморднике, и Вы это знаете. И иначе быть не могло. Это мне урок. Больше о друзьях для печати я в жизни писать не буду. Ведь ничего хорошего из этого получиться не может. В лучшем случае не напечатают. Такие надежды у Вас могут быть и сейчас. Если не выйдет в «Звезде», нигде больше пытаться не буду. <...>

Присылайте стихи — не для рецензии, а для души.

Т. Ю.

* Г. Семенов читал свои непечатные стихи на Альманахе переводчиков, выдавая их за переводы.

** «Третья твердь». (Бах)

*** «Передвижнические» стихи Г. С. (1953 год) из цикла «В дальнем районе» были вставлены по настоянию М. Дикман для усиления социального звучания.

12—13.XI.64.

Не пишем, значит? Или что-то нехорошо у Вас? Или замотались?

А вот я — так не могу, чтоб не поговорить с Вами (ох, как это чертово «В» мешает!)

Кажется, и людей вокруг достаточно... здесь Герман [Плисецкий]. Очень хороший, умный по-душевному, Сережа Артамонов, поглощенный (по уши) своей 19-летней и действительно прелестной Наташей, глуповатые своей солидностью «москвичи» Лева Левенштейн и Женя Винокуров, ужасно деловой Борис Слуцкий (одолживший, дай Бог ему здоровья, мне 100 рублей), миляга Дезик Самойлов, тянущиеся молодые — Олег Чухонцев и Алла Ахундова, и бесспорно интересные языковеды Успенский и [Владимир] Топоров. С душой плохо, Тамара Юрьевна, с душой! Не сегодня-завтра уедет Герман, и станет то, чего я так опасаясь. А ведь я так уже устал от любви к другому городу! — Слушал я вчера Баха... Как-то не так слушал — не плохо, но не так. И помещение не такое (один орган, оформленный в «славянском» стиле, чего стоит!), и легкость, с которой купил билеты на авторский вечер Шостаковича, и даже отсутствие милых, хотя и незнакомых лиц! Они ведь — как красивые диванчики*!.. А позавчера — вечер памяти Бабея: с казенным Федем и блистательным (хотя и очень старым) Эренбургом; с Соболевым**, который все время как бы молча соображал: «кого бы за ляжку?»; с наивными восторгами зала при каждом заигрывании ораторов, — насчет ли культа, или — де — не было тогда комитетов по печати, а как писали!; а главное, пожалуй, с ужасающе-эстрадной бесконцепционностью всего действия: от Федина до Дм. Журавлева (даже и Эренбург!) Вспомнил я наш скромный «тыняновский» вечер — и... Здесь публика ломилась, «гремели блюда у буфетчика»***, стояли в дверях, в президиуме — одна знаменитость, а у нас на этом уровне был разве что Слонимский! (А когда я говорю о наших альманахах****, здесь уже просто рот разевают...).

Люблю Вас.

Глеб.

* Входные места в Большом зале Филармонии. Речь идет о Московской Консерватории, которой противопоставляется Ленинградская Филармония.

** А. Соболев, писатель, тогда — глава СП РСФСР.

*** Строки Б. Пастернака.

**** Альманахи — «Впервые на русском языке», детище переводческой секции, организованы были в ленинградском Доме литераторов Е. Г. Эткиндома.

18.XI.64.

Не молчу я, Глеб Сергеевич. <...> Вы очень выразительно и полно написали о себе. Я представляю себе Ваше новое житье, его кружение и головокружение, мелькание радостей и бед, надежд и возможностей. Я почему-то спокойна за анкетную сторону Вашей жизни. Я почти уверена, что Вы будете «при деле», что и успех придет, и печатные двери откроются, и появятся новые души, которых Вы будете лелеять и растить. И жизнь станет по-новому полна, а все старое поблекнет и отдалится. Ведь могли же Вы в первом письме с гордостью похвалиться тем, что в «Юности» Вам сказали про Ленинград — «больно уж Вам там не место!». В третьем письме что-то изменилось в тоне, и все-таки — как в Вас все противоречиво зыбко и неверно!

Да, за душу Вашу я тревожусь. Как бы весь этот счастливый и тревожный трепет самоутверждения в других, все эти девочки* с мокрыми после стихов глазами не превратились [бы] для Вас в болезненную и хроническую склонность к душевным практикам. У меня с Вами множество внутренних монологов, но на бумаге все это звучит прямолинейно и грубо. Не хватает смягчающей теплоты комнат, улыбок, привычного ритуала встреч под полками Вашего имени**, подвижности и гибкости сиюминутного общения. Я умею помнить и на расстоянии. В Вас новое может вытеснить все. Не знаю, имею ли я еще право думать при Вас вслух. Все зависит от Вашего ответа.

Т.Ю.

* Г. С. описал в письме к Т. Х., как у молодой поэтессы из Киева, которой он читал стихи, глаза были мокрыми от слез.

** Т. Х. намекает на то, что Г. С. был инициатором построения новых книжных полок на Загородном, где жила тогда Т. Х., и мужественно помогал ей разбирать книги.

26.XI.64

Тамара Юрьевна, милая!

Наконец-то получил от Вас письмо. Т.к. Вы свято блюдете единство формы и содержания, думаю, что Вы далеко не случайно выпустили вразброд всех «куриц» со всей округи на его страницы! Но все-таки я продрался сквозь эту «куропись»*, хотя лучше бы не продирался — так я был огорчен! <...>

* Намек на очень своеобразный почерк Т. Х., который Г. С. окрестил «курописью».

29.XI.64.

Трудный друг — неровный, изменчивый, но в главном верный!

За последнее письмо спасибо. Впервые после Вашего отъезда оно вернуло мне возможность полноты общения с Вами. <...>

И дело совсем не в том, что Вам не понравилось написанное мною — это надо было еще резче и прямее сказать раньше еще, в Ленинграде — в тот прощальный вечер, когда Вы так интересно и верно сами говорили о своих стихах, а в мою статью вносили только вежливые коррективы. Меня обидело именно то, что Вы тогда смолчали и написали об этом в первом письме после переезда, письме по тону предельно эгоцентричном и заносчивом, хоть я и прекрасно понимала, что Вам внутренне во всех смыслах еще не по себе. А потом меня задело молчаливое «сведение на нет», и я сознательно хотела вернуть Вам хоть часть той боли, которую Вы мне причинили. Не мне Вам говорить, что Ваше переселение и для меня не прошло бесследно. И это защитно-демонстративное мгновенное «омосковление» оглушило меня и отбросило от Вас душевно.

Как видите, я и себя не жалею и прямо говорю Вам о себе слишком многое. Но Вы правы — отложим все монологи до января. Поговорим лучше о последних Ваших стихах, пронзительных и сильных. Что бы я с досады ни писала Вам, но после таких стихов действительно «мокреют глаза» не только у экзальтированных девочек. Вы нашли самые точные слова о сути своего дара — «Высокая смута». <...> А болеро — конечно, Равеля. Я это поняла и услышала до всех объяснений. И оно здесь совершенно неотъемлемо, на нем-то все и держится. Удивительно — у всех разные судьбы, но крутами воспоминаний, неотвязно и гипнотически они всплывают именно под болеро. Оно ведь и для меня очень лично. Вспоминаю — лет десять назад в комнате сидело шесть человек, сюжетно никак не связанных, и в темноте каждый думал о своем под это болеро. Я тогда слышала его второй раз в жизни — и вся жизнь возвращалась ко мне по этим крутам. И тут Вы угадали не только свое, а всем присущее. Ваши «Тяжелые стансы»* для меня больше, чем «Мы обменялись городами». Кошунственно скажу — для таких стихов стоило переехать и причинить так много горя себе и другим. Они — устрашающе-настоящие. Очень жду еще стихов и писем.

Все-таки очень друг Ваш.

Т.

* Первое название стихотворения «Болеро».

6.XII.64. Голицыно.

Милая Тамара Юрьевна!

Камень с души упал: наконец-то Вы сменили гнев на милость. Я уже писал Вам, что сейчас мне очень и безраздельно нужна Ваша добрая душа, души милых мне друзей... Нет, я не стал более одиноким, и не могу стать, пока Вы со мной, пока Вы верите в меня, ждете — и меня, а главное — от меня! Это же единственная почва, единственное небо, — без Вас и меня нет... Вот я получил последнее письмо от Вас, письмо от Дарика [Д. Я. Дара. — Е. К.], получил, знаю это, мысли и чувства от всех тех, от кого не получил писем, — и что мне еще надо!

И пусть я пишу только вам двоим, — разве же это только вам двоим? Иначе бы я просто передавал приветы, да и Вы тоже!.. Говорите обо мне, судите меня, хвалите, будто я просто не мог прийти в этот вечер, а завтра приду — такой как всегда, плохо выбритый, в нелепом пальто и почему-то чуть голодный, хотя и обедал только что. Принесу я и... всю «высокую смуту» в душе и в стихах; в душе, конечно, больше, отчего и стихи мои мне кажутся дистиллированными, не соответствующими мне. Но я их буду читать, даже некоторые по два раза, чтобы проверить себя, поверить себе в этих строчках и точках. И буду огорчаться — не Вашими замечаниями, а тем, что не смог, не сумел до конца сказать себя, или сказал только себя. Буду читать вам стихи — что еще больше этого?!.. Вот Давид пишет мне о нашем неудачничестве — пока Вы есть, я себя не считаю [таким. — Е. К.]... будем считать, что прошлый раз я прочел Вам два стихотворения (предупредив, что показываю их преждевременно). <...> Ваше письмо только подтвердило мое ощущение <...> стихотворение [«Болеро». — Е. К.] пишется и будет посвящено Вам <...> вылупится «Адам». Его читаю Вам сегодня... А стансы стали теперь прощальными. Это маленький цикл, из коего Вам целиком известно лишь первое стихотворение, а третье — почти... Все вместе — нечто вроде сонаты (так мне кажется).

1. Другу*

Мы обменялись городами.
Не обманулись: плен на плен.
Мы наши судьбы скоротали.
Что делать?

Только встать с колен.

Такая малость — встать над бездной,
найти себя и город свой!
Сияет облако над бедной,
безумной нашей головой.

Опомниться... Еще не поздно,
еще не подло...

знаешь сам,

пока врагами не опознан,
безликим кажешься друзьям.

И нас убьют еще...

Будь весел!

Не так, так эдак... Просто — будь!
Есть одиночество и ветер,
от рифмы к рифме

крестный путь.

Кому еще нужны мы, кроме
любимых женщин по ночам?
А запах нашей трудной крови
щекочет ноздри палачам.

2. Высокой стая

Не все ли вам равно — суббота
ли, вторник, сколько вас и где?
Четырехстопная свобода
и при свече — как при звезде.

Уют сегодняшней изъеден
блокадной памятью...

Явьсь
из пены благостынь и сплетен
готическая тяга ввысь!

Все выше лесенка, все уже,
и вот — как по небу уже!
И тем крылатей ваши души,
чем злее камень на душе.

Пускай безденежье и насморк,
и с виду все как у людей, —
о стая лебедей,

прекрасно
отяжелевших лебедей...

Я тоже вскидываю руки,
но не лечу, а волочу
по темным улицам разлуки
крыло, пришитое к плечу.**

3. Последнее солнце

Все будет позже... Я прохожий,
и я один в твоём саду.
Иду и — господи ты боже! —
пустой скамейки не найду.

С какою щедростью последней
колени женские спелят!
И разрастанье желтой сплетни
безличнее, чем листопад.

Лоснится лень, дурит беспечность,
сиротство комкает платок.
Всех обесцвечивая,
вечность
струит безумный холодок.

Простая, в сущности, простуда,
сырая формочка в руке.
Ни горя впереди, ни чуда
в толпе, ни выхода к реке!

Хожу садовыми кругами
с полуулыбочкой кривой —
и листьев больше под ногами,
чем было их над головой.

... Больше, кажется, ничего нет. Рука устала, то бишь охрип. То, что Вам по душе, распечатайте, но с обязательством — один экземпляр мне. Боюсь, что в

январе на перепечатку не хватит ни времени, ни... Очень много надо будет успеть: уложиться и отправить вещи, сняться с учета ЛО, побыть с детьми и с мамой, сходить в Филармонию, а главное — друзья, особенно те, с которыми надо поодиночке. Иначе — зачем же и Ленинград!

... Больше, чем когда-либо, знаю, что без Вас, без вас — не проживу. Мудрые мои, крылатые, родные! И лебеди, и лебедята!..

Глеб.

* Посвящено Герману Плисецкому.

** Строчка А. Кушнера.

11.XII.64.

Глеб, милый, очень обрадовало меня последнее Ваше письмо — такое расплавленное и летящее, такое присутствующее и воскрешающее. И хотя друзья для Вас — зеркало, доброжелательно и благодарно отражающее Вас таким, каким Вы хотели бы себя видеть, Вы умеете претворить дружбу в праздник и чудо общения. Вот за этот дар ожидания чуда во всем я и люблю Вас. Это заразительно и близко мне очень. А там, где этого нет, лебеди не «прекрасно тяжелеют», а переваливаются, как утки, или неразборчиво царапают лапами, как курицы.

С обостренным нетерпением жду свое «Болеро». «Адам», выключенный из болеро, цельнее, но жестче, и я, легко привыкающая и прирастающая душой к одному, еще как-то не могу привыкнуть к новому его внемузыкальному обличью. Но в нем возник образ женщины и райского яблока, который звучит и в других Ваших теперешних стихах, и «вот яблоко с кусочком тени, // веселый стук сентября» — прекрасно, весомо. С завершенностью и грацией выражения. <...> «Яблочные» стихи необыкновенно понравились Риду [Грачеву] и Энне [Аленник]. <...> И совершенно неотразимое для меня «Печальный голос твой, он где?». В нем Ваше сочетание невесомости с точностью и пронзительностью узнавания в каждой детали. Интонационно — это такое прикосновение голосом, на которое невозможно не ответить. <...>

С надеждой смотрю на свой почтовый ящик.

T.

18.I.65. Москва.

Дорогая Тамара Юрьевна!

... Наверно, Вы знаете об операции и очень тревожном состоянии Фриды [Вигдоровой]. Позвонив в первый по приезде вечер Ел. Серг. [И. Грековой], я допустил ужасную бестактность, — спросил, как чувствуют себя Сашки (я ничего не знал ни об операции, ни о бессменных дежурствах). Несколько смягчил Ел. Серг. рассказом о словах Богданова на нашем собрании [касалось сосланного И. Бродского], — в удобную минуту это будет передано Фриде.

Пожалуй, эта тревога окрашивает все человеческие отношения вокруг. Все остальное как-то меркнет. Врач говорит, что показательней всего будут первые две-три недели... Как ни странно, но, возвратясь в Москву, я почувствовал себя дома. Даже грустно! А там «я гость, и время за полночь, и поздно...» Все это милое-милое, бесконечно родное, но уже не мое... Туда можно возвращаться, как бумеранг, но тотчас же улетать обратно... Ленинград стал (или становится) для меня не отпуском, не отдохновением, но болью...

Очень Ваш

Глеб.

18.I.65.

Друг мой! Я стала опаздывать с письмами, потому что не успеваю жить, и срочно нужно сразу делать несколько дел: зачастили лекции. Сижу до четырех ночи, а если они утренние и далекие — встаю в 7 часов насильно и весь день в пелене сна. Кончила ненавистную статью о Брале и старалась в ней писать о чем угодно, кроме Браля — голубоглазого, пеленочно(?) чистого, честного, поэтического даже, но не моего. Ее приняли в «Звезде» с комплиментами, но должны совмест-

ными усилиями сокращать. Орлову [Вл. Н.] понравился мой Белый, но он написал целое письмо соображений и предложений. Придется что-то дополнять и менять — в пятницу узнаю, что именно. Торопят с «Молодым Ленинградом» [1964] в двух вариантах — коротким для Литгазеты, длинным для «Нового мира». Срочно требуют внутреннюю рецензию на книгу Кузьмичева о Шефнере. В это же время постоянные хлопоты с Ридом — бытовые, деловые, литературные. Размножаются почкованием молодые. Жизнь перенасыщена, в вечных попытках — и некогда остаться наедине с собой и мысленными друзьями. На днях собирались у меня *лебеди и лебедята* — Л[ена Вентцель] и я, Яша [Гордин], Саша [Кушнер] с Таней, слушали еще институтские записи Л. Я. [Гинзбург]. Позвонила на работу еще одному лебеденку — не застала, болен сын и вообще совершенно не вижу и не слышу — только беспокоюсь*. Эльга в Комарове. <...> Энна пишет очень значительную и смелую повесть и не перестает удивлять меня новизной. А Вы говорите — нам нового уже больше не сказать. <...> Л. Я. [Гинзбург] тоже еще способна удивлять пронзительностью и остротой наблюдений, мыслей и формулировок. Впрочем, ее 25-летние записи столь же мудры и отточенны, как и сегодняшние.

В «Молодом Ленинграде» меня огорчают прозаики. Крупно-болванному они противопоставляют не крупно-духовное и глубокое, а мелко-подкожное. Ефимов пишет под Толстого, старательно коряво. Но стилистическая корявость оправдывалась спотыканием совести, этической болью, а сейчас он вместо всех проблем круговой вины и человеческой ответственности заполнил полтора листа сладостно-эротическим потаенным захлебом. Может быть, если бы я не знала первого варианта(?), мне бы показалось, что он догнал Битова в изощренном любовании своей томительной грешностью. На этой же беговой дорожке Вахтин и Марамзин. Очень хорошую статью о Сосноре написал Яша [Гордин] — умную, свободную, задиристую, дружескую и беспомощную одновременно.

Желаю Вам хорошей, прочной, гармонической связи с большой землей и «прикаянности» без покаяния.

Пишите.

Т. Х.

* Речь идет о Елене Кумпан.

26.1.65. Москва.

Друг мой, Тамарочка Юрьевна!

Ишь как свято мы исполняем предписание не отвечать! А может, опять чем-нибудь обидел? Или грипп проклятый на Вас навалился?

Ну как вам живется под владычеством Дудина?* Я толком ведь ничего не знаю. Напишите, кого провалили и кто из хороших вошел.

Москва тоже кипит, но у них все те же монархические «жупелы» (Кочетов, Софронов, В. Смирнов...). Второй день идет правление. Будет, очевидно, Михалков. И они говорят, что это еще не так плохо!

Здесь вообще помешались на политической злободневности. И добро бы еще в оргделах, а то ведь и в поэзии! Чувствую, как мне будет трудно. Печататься уж ладно, — показывать будет некому! Стихов как вида искусства здесь (среди пишущей братии) не признают. Недаром даже у интеллигенции — в кумирах Коржавин и Корнилов (Евтушенко — слишком грубо). Вот в «Знамени» сегодня: ну, книжка — так, а вот «Человек»** (я принес его) — это «отлично»! Или о Лид. Як. [Гинзбург]: зачем она подписывается Л. Гинзбург, ведь все же будут путать [подразумевается Лев Гинзбург]!

В общем, как говорится, я подался в провинцию: когда еще тут поймут!

Завтра пойду разговаривать с начальством «Юности». Их, видите ли, прельстило, что я приезжий, ни к одной группе пока не привержен (и правда!), а ему*** сказано, что я «ни левый», «ни правый» (тоже правда!). Может быть, и сойдемся. Работы там, конечно, уйма, но и денег у меня тоже совершенно нет. А это, б.м., лучше, чем что-либо!

С книжкой получается весело: я-то думал, а в «Знамени» и не слышали о ней. В Бюро пропаганды — тоже не слышали, и не только о книжке, но и об авторе. Боюсь, будут посылать на стройки в обеденный перерыв, или, как сегодня предлагали, в Школу Президиума Верховного Совета (я отказался). О жизнь наша!

Дома — развал. Только-только склеил полки, а стол еще на инвалидном положении <...> ...будем слушать музыку (кусочек Ленинграда). И мебель вокрут

[Ленинградская. — Е. К.] — теплая-теплая, то ли от родности, то ли от старинности, то ли просто от темного цвета. Нет, не то чтобы скучал я! Надо привыкать к роли ленинградца на чужбине: ленинградцем-то среди ленинградцев быть не так уж хитро, а вот этак, глядишь, и стихи будет чем писать! Так все сложно — и так все просто!

Окончательно доделал «Болеро», посылаю. —

Ваш Глеб.

* Разговор идет о пере выборах в Союзе писателей.

** Стихотворение Г. Семенова «Человек», посвященное Б. Слуцкому.

*** Гл. редактору.

31.I.65.

Милый Глеб Сергеевич!

Вы правы — я человек послушный. Говорят мне, что не нужно отвечать, — я и не отвечаю. А когда адресат созрел до желания получить письмо — я ему в этом не отказываю. К тому же, как я Вам уже писала по другому поводу — я так устала от цензуры в вещах, предназначенных для печати, что в личных письмах мне хочется не думать, что можно сказать и чего нельзя. Чем больше стеснений, тем больше тоска по непринужденности. Но и это невыполнимо. О результатах выборов Вы все знаете. Анна Андреевна, предложенная Вами, прошла хорошо, — была на первом собрании правления, и Дудин приветствовал ее от имени Союза, поздравляя с премией, и все, стоя, аплодировали целых десять минут.

Ну а что касается арифметики за и против, то многие, в том числе и Лидия Яковлевна, в последнюю минуту растерялись с трудом завоеванного права голосовать за 37, а не за 46. Их смутило, что тогда пришлось бы потерять Эткинда (он 38-й), Макогоненко, Луговцова и Наташу Долинину, зато не было бы такого угрожающего балласта, как Решетов, Капица, Шестинский. Из «нечистых» не попал только Авраменко (всего 109 голосов). Все остальные — Сапаров, Решетов, Капица, Попов прошли. Дудин согласился только если вторым секретарем будет Гранин. Может быть, в новых условиях все это как-то уравнивается и черных(?) результатов не будет. <...>

Вот Вам и все поверхностно литературные новости Ленинграда. От всей души благодарю за «Болеро». <...> Тут не только нарастающее желание, но «слеза вселенной в лопатках(?)» — атомной вселенной. Необратимость диссонанса и конец света при жизни — а жизнь все-таки продолжается. Словом — я всерьез оглушена и покорена и счастлива посвящением таких стихов.

Альянс с «Юностью» одобряю. Это все-таки самый живой и обещающий молодой журнал. И Вы сможете там развести хорошую и чистую ленинградскую зону, а чем черт не шутит? Напечатать свои самые сложные и настоящие стихи... Надо только немного переждать и акклиматизироваться. Во всяком случае «Юность» — лучше литературного департамента в самом Союзе, и плодотворнее.

Да, позиция «ленинградца на чужбине», конечно, станет источником тревожных и сильных стихов. А все, что родит у Вас стихи, — благословенно. Даже неустройство. <...> Помню Вас и жду хотя бы эпистолярно.

Т. Ю.

8.II.65. Москва

Дорогая Тамара Юрьевна! Письмо Ваше о ленинградских делах получил, глубоко Вам сочувствую с молодыми. А вообще-то мне кажется, что-то в Ленинграде зашевелилось. Дай бог, чтобы стало ребятам полегче! Не Б., конечно (он мало-помалу становится в обыкновенный разряд небесталанных ловкачей-сочинителей; писание у него — не горлом кровь; еще раз не могу не отдать должного Вашей пронизательности на корню), а Риду [Грачеву], Саше [Кушнеру], Иосифу [Бродскому], когда вернется. Сгоряча тут написал даже Гранину об этом.

Быть может, и в Москве так же, но я пока лишен возможности это знать. Наверное, думаю, есть даже кровь из горла, хотя из общего лица здешнего литсуществования вывести это трудновато. И «Юность» (с нею пока на точке замер-

зания) мало чем здесь может помочь. Есть те молодые, о которых писал когда-то, но пока как-то слушать их не тянет. Артамонов, пожалуй, только, да Британишский, — и то оба ленинградцы и «из-под меня». Пожалуй, все больше проникаюсь мнением Пастернака, что поэзия (и литература вообще) — не профессия, а миссия, и только таких могу считать поэтами. Никому, в конечном счете, это не служение, а просто невозможность быть, существовать иначе. И рад бы — да нельзя!..

Насчет «Болеро» Вы перехватили. Отсутствие биологического нарастания желания — это моя неудача, не угадал. А что мое эпохальнее, чем рavelевское — уж простите! Ведь им же угадана всеобщность сбывающихся кругов, Вы же сами и написали мне об этом! А я только перенес это в стиховой ряд, не угадав, по сути дела, ничего... И боюсь, что опять «стихи начинают сбываться»*, доколе же?!

Глеб.

* Строчка Глеба Семенова.

1.III.65. Москва.

Тамара Юрьевна, милый мой друг!

<...> все еще чувствую себя вытасченной из воды рыбой... А вы, друзья мои по крови, дорогие мои люди, или вовсе молчите, или сводите со мной маленькие счеты!.. Сегодня мне особенно «куксится»... лежу, обложенный грелками, растянул мышцы бока, ни охнуть, ни вздохнуть... Т.ч. не мудрено, если хочется обижаться!

Весь день читал Л. Я. [Гинзбург, «О лирике»] и воспоминания Гладкова [о Пастернаке]. Да переводил... ужасного израильянина, стал антисемитом*. Пишите, пишите... Очень люблю Вас и очень с Вами и с вами.

Г.

P.S. Сигнал Экзюпери, или, как его здесь именуют — Сент-Экс!

* Гл. Семенов, как и большинство поэтов, жил переводами.

15.IV.65. Москва.

Тамара Юрьевна, милая!

Состояние до такой степени улиточное, что вроде как бы и не живу... У меня такое бывало осенью: я вроде бы укладывался на зиму в берлогу, часто спал днем и сосал лапу. Сейчас же — чувство, что я перепутал времена года, наподобие того, как младенцы путают день и ночь. Плохо только то, что я далеко не младенец...

Ничто не совершается, а что совершается, то помимо меня. Лопнуло с «Юностью» — само. Вышел «Медвежий компот»* — сам. Само... получилось с блокадой** в «Пионере». Даже в Гослите, сам, заключается со мной договор на этого переводного семита. Когда я говорю — «само», это значит — без моих усилий, душевных и деловых... Как облака: набегают вдруг — и так же вдруг истаивают.

...Страшная вещь — неспособность к усилию. Из-за этого — все мелким планом, как в бинокле с обратной стороны: все рядом — и далеко, все только что — и давно. Смотрел сегодня Рублева, а все уже — ой, как давным-далеко! И писем от мамы нет уже целых(!!!) три дня. И... приехали ли Вы, уж даже и не помню.

И как-то неизъяснимо созвучен Анненский. Нахожу даже, что он чрезвычайно мне близок: неблагополучие в самой сущности при полной видимости благополучия внешнего, ровная нота тоскливости и смирение с этим, нежелание выйти из круга, сделать усилие, ибо неизвестно какое... Вы правы, что как бы и что бы ни происходило со мной — я везде найду только неблагополучие...

С тех пор, как Вы уехали, не написал ничего. Говорю об этом, как о важнейшем антифакте. Ибо, как говорил Маяковский, «этим и интересен» — и Вам, да и самому себе... Мучаю себя, сержусь на себя... Я оставил (пока!) сонеты: иссушают. Я всюду вижу пробелы, казнию себя за них. Пересматриваю старые тетра-

ди, и иногда — оторопь: я так плохо писал, что не знаю, может ли *так* писать поэт; граничит с графоманией, и я ужасаюсь себе такому. А вдруг это так, и жизнь — псу под хвост?.. Я готов заискивать перед друзьями, чтобы они продолжали уверять меня... А старые тетради — я уж сожгу, и — ох, как они будут гореть!... Не сердитесь...

Ваш Глеб.

* Ю. Рытхэу, «Медвежий компот» в авторизованном переводе Г. С.

** Стихи из книги «Воспоминания о блокаде», напечатанные в журнале «Пионер» при содействии С. Артамонова.

19.IV.65.

За что же мне сердиться, Глеб Сергеевич? За то, что Вы непрерывно казните себя и тревожитесь? За то, что «живете стихом», за то, что хотите писать и жить все лучше? Конечно же не сержусь, а всей сутью разделяю этот Ваш непокой и неустройство, и то, что Вы ищете спасения во стихе и только в нем. Я теперь окончательно поняла, почему поэзия — главное для Вас. Вы — человек разносторонний и противоречивый — и собрать себя, смыслить свою жизнь, привести ее к одному знаменателю можете единственным путем: Вам нужно себя срифмовать, влить в ритмический поток — и тогда все осветится, определится, обретет органику и целостность. Тогда все живет, а не расплывается в разные стороны. Каждый собирает себя по-своему. Вы обретаете истину и смысл в стихе. Жизнь Ваша обречена стиху — и в стихах Вы всегда искренни и глубоки. А проза поступка и поведения может быть надуманна и натянута и непропорциональна. Стих у Вас всегда выстраданный, но не вымученный. В нем достоверность чувства и оправдание жизни, а вне стиха иногда концы с концами не сводятся. И дай Вам Бог всего себя перелить в стих — побольше и поглубже — но не бойтесь антрактов, это подземное накопление, а не иссякание, что-что, а стихи у Вас будут и настоящие. Конечно, иногда хочется просто дышать, жить и радоваться безотнositельно и ни для чего. Я очень завидую этому простейшему и мудрейшему дару, — но нам это, увы, не дано.

Сегодня мне привез от Вас привет Сережа Артамонов со своей Наташей — острой, красивой, детской и хищной одновременно. Хорошо, насыщено поговорили. Он пленительный собеседник — веселый, неожиданный, скачущий по ассоциациям, думающий на ходу, понимающий и развивающий каждый намек едва промелькнувшей мысли. С ним непрерывно интересно и все время чувствуешь радость общения. Почему Вы с ним видите так редко? В нем бескорыстный и живой источник душевного обмена — без суетности и себялюбия. Боюсь, что я больше создана для процесса общения, чем для результата содеянного. Не пишется мне, а все, что пишу, — не нравится и мучит, и чем больше правлю, тем больше порчу. А хороший разговор для меня почти счастье, но это бывает так редко... Больше суетности, недоразумений, осколков и непонимания. Как всегда, вижу много людей всех поколений и каждому по-своему неладно, и каждый хочет быть центром внимания и мироздания.

Жизнь бежит быстро и трудно, как будто задыхаясь, кем-то преследуемая, взбираешься на пятый этаж. Хочу видеть Вас и говорить с Вами на Загородном, но это утопия.

А Ваш 10-й этаж слишком просторен и легок. Передайте Наташе привет и теплое воспоминание о московском вечере на университетских высотах.

Пишите со стихами, если они будут, но и без тоже. Пусть хоть в письмах не будет антрактов. Письма Ваши мне очень нужны.

Т. Ю.

25.IV.65.

Я по-прежнему веду весьма улиточный образ жизни, но по-прежнему люблю Вас...

«Дворников»*, как и следовало ожидать, в последнюю минуту из «Пионера» выкинули. Снес я стихи, по протекции Фимы [Эткинда], в «Лит. Россию». Среди

них — «Бах», «Болеро», «Шостакович». Напечатают вряд ли, но хоть хотят — и то слава богу!

Основные мои события — в области «вышелушивания» (понимаете?) стихов из невнятных скорлупок окрестной тишины, что ли. Очень радуюсь, когда удаётся. Придумать, сочинить — что! А вот выковырять нечто вечно существующее, находящееся где-то рядом-рядом — это дело. Иногда по слову, по строфе, но тогда уж они абсолютны (для меня, конечно). Такое ощущение у меня от «Молитвы», от «Опять январь», от «Я плохо слышать стал»... Хотя отдельные узлы, м.б., еще и заусенят. Стихи этого рода как бы получают сами собой, настолько плотно пригнанные, что, конечно, в этом же порядке лежали давно и только ждали, чтобы я их очистил. Очевидно, с идеями так же: до поры они всехние, лежат где-то хоть возле правого уха, и нужно их только обнаружить. В общем-то — «Тщетно, художник, ты мнишь...» Посылаю стихи...

Ваш Глеб.

* Стихотворение из книги «Воспоминания о блокаде».

11.V.65.

Вспомнил тут высоко-классическую Вашу рецензию на меня, ибо прочел в верстке младшую Бабеньшеву (Инну Андрееву)*. Ни одного дурного слова, но все только — ах, как Г. Семенов удивляется! Ах, как он умеет удивляться, а ведь за плечами-то у него блокада (полфразы), и жизненный опыт. И сидя-то в электричке он удивляется, и ах, как это удивительно, что он так удивляется! И все. И ни одного слова, что я еще что-то. Очень я, очевидно, избалован, что ругал Вас!

А «баловать» меня очевидно, необходимо: без этого уже не пойдут стихи. И хотя я был крайне удивлен, когда Фрида [Вигдорова] мне написала, что получила мои стихи на 70 страницах, все же это было приятно. Если это через Вас, то, пожалуй, только не нужно было посылать «Двое» и т.п. И стихи, увы, не существуют сами по себе!..

Ах, Загородный, Загородный! Вы знаете, он мне снился на днях... Ведь именно там, черт возьми, протекла жизнь!..

Обнимаю Вас. Эльге [Линецкой] напишу обязательно. Что у всех вас?

Г.

* Рецензия на книгу Гл. Семенова «Отпуск в сентябре».

18.V.65.

Глеб Загородный, междугородный, далекий, и все-таки свой!

На этот раз причина опоздания более чем уважительная — срочно собираюсь в Комарово, срочно готовлюсь к докладу о молодой прозе — на двух секциях: критиков и прозаиков плюс молодые (20 мая), срочно порчу Белого для Гали Цуриковой, которая через неделю после 20-го приедет принимать или, вернее, не принимать мою работу. Все насыщенно и торопливо, одно обгоняет другое, жить и заглядывать в себя некогда, оглушена собственным сердцебиением. А для тревоги, печали, неприкаянности — время все-таки находится. Особенно сейчас вечером в тишине 35-ой комнаты, в дождливых сумерках и непривычном молчании. Не буду досаждать Вам своими безответными вопросами о молодых, которые — вместо доклада — обидно бродят в сознании. Я знаю, что вся эта говорильня ни к чему и ничего реально не изменит, т.е., кому удавалось издаваться, будут издаваться и впредь. Тех, кого тормозили, — по-прежнему не пускают или калечат...

Рид [Грачев] тоже получил путевку в Комарово. Чужой, замкнутый одиноко сидит за соседним столом — виновато улыбается и сумрачно молчит. Я приехала с Бейлиным и Назаровым — нас механически посадили вместе. Оба — осторожные службисты, равнодушно-любезные, чужеродно-шутливые, укоренившиеся в каком-то культурном автоматизме. Эльга 21-го мая едет в Гагры (Дом творчест-

ва), туда Вы ей и напишите и сообщите Ваш московский телефон — в середине июля она будет в Москве и, если хотите, позвонит Вам.

<...> Звонила Ваша мама. Хочет приехать ко мне сюда и списать Ваши новые стихи. Я буду ей очень рада. <...>

Как жаль, что Вы не приедете сюда внезапно...

Т.

21.V.65. Москва.

... Не знаю, оттого ли, что Вы второпях сейчас, от комаровской ли, нахлынувшей внезапно, как всегда в шлюз, весенней тишины, от другого ли чего, — но письмо Ваше — какое-то пристально горькое и в чем-то очень беспощадное и к себе, и к другим. Наверное, к Вам, с Вашими розовыми, чуть подслеповатыми очками, приходит-таки видение тщеты наших усилий и гордостное ощущение, хотя и не без усмешки, нашей обособленности. Ведь Вы все время живете так, будто только и ждете повода, чтобы поверить во что-то, хоть обмануться чем-то, обольститься, даже пустяком. А удивление — особенно где-то на склоне наших лет — это ведь так редко! «Чуда в толпе»*, даже пусть иногда и ненастоящего, поискать и поискать! Вот, наверно, Вам горько, а горечь ведь пристальна и прозрачна... Так написать о Бейлине и Назарове — это все равно, что бабочку раз навсегда наколоть на булавку! А большеротый, гордо-виноватый Рид? — так постоянно видеть нельзя, это — творчество: не видение, а увиденое! Все подлинное, небось, в этом «у» и заключается... Бывает такое освещение дня, тоже на склоне, ближе к вечеру: вдруг какое-то беспощадное озарение — и каждый листик увиден отдельно, и не только, какой он сейчас, но и судьба его, и тишина услышана в ее ликовании и безнадежности одновременно, и узнана тщета своих шагов, хотя все еще продолжаешь идти, угадана суть пешехода, идущего тебе навстречу, хотя и видишь-то его в первый раз и последний. А придя домой — чувствуешь себя разбитым, будто много-много было всего, — страшная и прекрасная вещь такое озарение! У меня потом бывают стихи...

Привет Риду и всем, кто приятен Вам в Комарово.

Ваш Гл.

* Название одной из книг Гл. Семенова.

25.V.65.

Глеб, хороший мой, до чего же Вы меня обрадовали последним эресефесеровским письмом — слов нет. И тем, что оно неожиданное. Вижу — лежит московский казенный конверт, решила, что это выговор за утерянный союзный билет — я, наконец, созналась в этом давнем преступлении, с испугом вскрываю — и узнаю любимый почерк на изысканной, совсем не казенной с виду, желтой бумаге — Ваши удлинённые буквы, естественное продолжение длинных пальцев.

Не хочу быть кукушкой, отвечающей петуху, тем более, что не согласна с Вами — предыдущее письмо мое скромное, прерывистое, суетливо-смятенное, но... это Ваше письмо действительно — самое мудрое, самое тонкое, удивительно проникающее в глубь и в суть, и такое главное для меня.

Только в одном Вы не правы: никогда розовых подслеповатых иллюзий у меня не было — даже до войны, а было и есть часто слепое и шальное ожидание чуда, хотя вокруг себя и в людях я вижу все очень трезво до мельчайшей соринки. Но ожидание для меня — синоним жизни. Кончится ожидание — и омертвеет все. И хотя давно пора это прекратить, а оно не кончается. Я и людей-то всех делю на тех, кто рождает ожидание или поддерживает его, и на тех, от которых с самого начала ждать нечего. К сожалению, я уже почти перестала ждать от самой себя — и все-таки только «почти». Вот почему так трудно писать и так стыдиться слов — не те, не единственно возможные и с мучительной радостью трудно открытые. Загораться устно легче: обращенное слово не одиноко, его поддерживает собеседник, даже молчаливый. А когда пишешь — смотришь на себя со стороны, осуждаешь, отталкиваешь, камнем лежишь у самой себя на дороге.

<...> А яснovidение Вашего звонка того — удивило, обрадовало и как-то подержало меня. Собой я, как всегда, недовольна*, но общий разговор был серьез-

ный, горячий, очень безоглядный. Пьяный Абрамов произнес вдохновенную речь о писателях, которые должны болеть за Святую Русь и предаваться самосожжению. А я в заключительном ответила ему, что для самосожжения нужна лобная площадь, а у нас ее нет... Лучше всех сказал Игорь Ефимов: «Заметили ли Вы, что не печатают? Не фронду, не критику каких-то определенных сторон жизни, а настоящую боль, которая не находит себе разрешения внутри вещи. Это и в стихах, и в прозе». Он назвал Горбовского и Рида, а я подумала о Вас.

В Комарово свежо и тихо. Младенческая, до цыплячьей пушистой желтизны, просветленная зелень листьев. Здесь Гладков, напоминающий просвещенного купца-мецената начала века, и Ричи Достян, медленно оживающая, стриженная, похожая на Жанну д'Арк в том гениальном старом фильме, углубленная какой-то страдальческой погрузневшей красотой, и еще розовый буйвол-тяжеловес Сергей Давыдов — наивный, доверчивый, элементарный до беспомощности и баболоубивый. С трепетом жду на днях Гали Суриковой в ампула редактора. А до нее не пускаю гостей, хоть мне их и недостает <...>

Т.

* Речь идет о заседании секции прозы, на котором Т. Х. делала доклад о творчестве молодых.

3.VI.65.

...несколько слов не поздравлений [с днем рождения Т. Х. — 8.06. — Е. К.], а признаний. Да Вы знаете все, что хочу сказать... Друг мой любимый, друг такой, что уже даже и не друг! Родство наше — поверх дружбы, как и поверх всего. Оно ничем не регламентировано, это родство, и ничем не может быть уязвимо... В отличие от Вашей, моя жизнь протекла на наших общих глазах едва ли не на 95%. Я доверил Вам ее, и могу ли быть не благодарен, что Вы ее взяли, а во многом и разделили со мной? И разве же дело тут в разговорах! Она же — всегда, или почти всегда, текла между ними. Дружба — ограничивается ими, родство — существует независимо!.. Обнимаю Вас.

Т.

10.VI.65.

Глеб, родной!

Спасибо, что последним письмом Вы дали мне право назвать Вас так, как мысленно я давно Вас называю. Спасибо за телеграмму, за память, за то тепло, понимание и незаменимость, которыми дышат Ваши письма, начиная с предмосковского. Расстояние многое просветляет, очищает. Уходят мелочи, обиды и счеты — если они не по существу. Остается главное, а оно главное уже потому, что остается. Рада, что мы это поняли, каждый по-своему, но об одном. Не хватает, конечно, сиюминутного общения. Пропадают безвозвратно какие-то детали, которыми хочется поделиться моментально. Многого в письме не скажешь. И то, что волнует сегодня и остывает завтра, остается неразделенным. <...>

8-е прошло неожиданно и приподнято. Было много вина, стихов — Саша [Кушнера] и Лены [Кумпан] — новых людей, новых не вообще, а со мной и в этот день: Адмони и Сильман, Гладков и Эмма Попова, Мравинский. Он-то и поразил меня абсолютной неожиданностью. В нем появилось что-то скорбное, затаенное и трагически-человечное после смерти жены.* Он при ближайшем общении совсем не так сух, зажат и «метронолинейно» неумолим, каким кажется за дирижерским пультом. Он любит Пришвина, всякое произрастание и втайне пишет... не о музыке — о Боге. Не любит автобиографические вещи, предпочитает Баха, а у Бетховена — 6-ю и 8-ю, а не 3, 5, 7-ю и 9-ю [симфонии]. Я-то 3-ю, 5-ю и 7-ю люблю больше всех, но не 9-ю — из-за хоров. А с Мравинским легко найти общий язык, он умеет слушать, подхватывает, развивает и раскрывается в репликах. И совсем не похож на тот черствый и в чем-то неприемлемый для меня образ, каким я его себе представляла по слухам. Люблю хоть мимолетно, хоть на день открывать новых людей — значительных и непривычных. Если нельзя путешествовать по новым местам, то хотя бы по новым людям — чтобы возвратиться к себе домой, к давно любимым и прочно остающимся в душе, где бы они ни были в реальном пространстве. <...>

Приезжала за стихами Ваша мама — веселая, легкая, счастливо и радостно порхающая по жизни и вместе с тем устойчиво и по-хорошему земная. До встречи письменной и устной.

Т.

* Не могу не вспомнить, что и меня Мравинский в тот день поразил очень редко встречающимся даже у людей искусства талантом — он прекрасно слушал стихи, реагируя на прочитанное мгновенно и бурно. На слух стихи трудно воспринимать, это могут немногие. Мы сидели рядом, почти локоть к локтю (кто помнит комаровские комнатки в писательском доме, тот может представить себе тесноту застолий), и его реакцию я ощущала физически, особенно она была восторженной, когда Саша Кушнер читал «Варфоломеевскую ночь». — Е. К.

20.VI.65. Москва.

Тамара, милый друг мой!

Вот я и в Москве. Поездка* была на редкость удачной, я бы даже сказал — счастливой. Сейчас — как после купанья. И смыто (надолго ли?) ощущение <...> налипшей тяжести, и не хочу — видит бог! — ощутить ее вновь.

Помню, очевидно, начало этого очищения: в Полотняном заводе, имени Гончаровой, над Суходревом-рекой. Этакie сосны по склону («вашими выпашами ввысь как сердце выдышано!»)**, и поверх них — предзакатная суматоха галок-грачей. До того крикливо-независимо, до того поглощенно вечерением, до того «не нарушая тишины», что во мне вдруг что-то сдвинулось <...> Только этого, да рассвета (этой же ночью) в лесу, когда мы шли с «дачи» (лачуги) Панченко***, было вполне достаточно для поездки (ах, какой рассвет: иволги, малиновки, соловьи, а кукушки — как по наковаленке, по очереди своими «ку-ку» с двух сторон<...>), но было и другое, чего давно-давно не хватало: ощущение своей сто-процентной уместности, нужности, попадания собой в яблочко обстановки. Это и молодые лица «семинаристов», которым так важно, что ты говоришь; это и увлеченное равнодушие твоих товарищей — Н. Панченко и Н. Белосинской (я и предположить даже не мог, что в Москве это может быть); это и та вдруг жесткая легкость существования, когда все выходит, все нравится и тебе и другим <...> Не знаю, будут ли стихи — надеюсь на это.

Ваш Глеб.

* Поездка от Бюро пропаганды с чтением стихов.

** Б. Пастернак.

*** Николай Панченко, поэт, с которым Г. Семенов сблизился в Москве.

23.VI.65.

Глеб, мой светлый! Радуюсь Вашей радости, переполняющей чудесное послекалужское письмо. <...>

А я хожу в филармонию, как на службу. Каждый вечер. Сплошной Прокофьев — угловатый, спортивный, волевой, умный, не мой, но всегда интересный. И Ван Клиберн во плоти... Похожий на повзрослевшего маленького принца, особенно улыбкой. В нем мощь, и нежность, и стихийное бытие в музыке, но Рихтер непреложнее. Мальчику этому не хватает осмысления, он совсем не думает в музыке, его качание на ее волнах — какой-то сплошной девятый вал. Но действует это гипнотически.

<...> Есть у меня для Вас одна маленькая залежалая новость. В 8-ом номере «Звезды» в разделе «Новосты литературы» (ничего себе годовой давности новости) идет моя статейка. Я уже написала корректуру. Вы правы — статья неважная, не очень моя, не совсем о Вас, но в потребительском смысле «хорошая», то есть хорошо (со знаком плюс) о Вас говорящая. Они сократили разумно, звучит членораздельно, и главное оставили. Словом, вреда от этого не будет, а удастся ли когда-нибудь полным голосом Вам и о Вас — кто знает? Вам удастся, мне уже нет. <...>

Т.

2.VII.65.

Тамара Юрьевна, дорогая!

Спасибо за Вашу ответную радость. Она накрыла меня, как отраженная от берега волна, и снова окатила тем, чего в значительной степени уже нет.

Такое со мной в последнее время все чаще и чаще.

При пробуждении только что действовавший сон кажется нелепым. При протрезвлении — все имевшие место разговоры и поступки — преувеличенными. При возвращении актера домой — грим и мизансцены — стыдными. А ведь все — и сон, и хмель, и игра — было (не казалось, а было!) истинным, естественным, всамделишным, таким, что иначе и быть не могло. <...> Ярчайшие, казалось бы, впечатления, точнейшие, казалось бы, разговоры, непреложные радости, невыносимые мучения: через час, наутро, по прошествии — где они?! И мучит страшное несоответствие прошлого и настоящего, т.е. никак не можешь *охмелеть* до степени прошлого <...> я обречен на такую оболочку умничанья, а на самом деле я проще и лучше, на самом деле — я трава, и ничего-ничегошеньки, кроме травяного, мне не нужно <...>

P.S. <...> Слушал стихи нескольких интересных поэтов: Фазиля Искандера, Ек. Григорьевой, Ир. Озеровой... читал Виктора Афанасьева: этот, по-моему, поэт, *хотя* (т.е. как раз наоборот) его меньше всего печатают и *гаже* признают. Кстати, знаете, чем окончилась эпопея в «Лит. России»? Зав.поэзией, некто Подделков, дал такое заключение: «Эти стихи Г. Семенова освещены не солнечным светом, а отраженным лунным». Разумеется, этого достаточно. <...> Как же не бедствовать.

<...> А *интересная* моя работа*, столь радующая Вас, такова: на днях в нашу комнату (нас там двое) заходит загорелый хряк Соболев** — «Здравствуйте, мальчишки!» И вдруг — хватается за бок: «Вот что значит старость! В Баку позавчера повозился с четырнадцатилетней девочкой — и ребро сломал. Ха-ха!» И уже серьезно: «Да нет, шучу! Невралгия между ребер разыгралась...» Моему напарнику, который слывет тут за интеллигента, шутка понравилась. Вот так!***

Глеб.

* С лета 1965 по лето 1966 Глеб Семенов служил референтом в СП РСФСР.

** Л. Соболев возглавлял СП РСФСР, в Баку, видимо, была очередная «декада», на которых любили «попасться» литераторы — и большие и малые.

*** Мне запомнился еще один «сюжет» в пересказе Г. С. На одном из заседаний начальства СП РСФСР за круглым столом кто-то со скуки стал обшаривать свои карманы и вдруг вытащил маленькое карманное издание «Доктора Живаго». Книжка пошла по столу, и раздались комментарии — А у меня есть большое, американское... А у меня подарочное, швейцарское, что ли... и т.д. У каждого оказалось в собственности заграничное издание романа. Трудно не вспомнить, что в 1960 году Кирилл Косцинский отправился в лагерь на пять лет за хранение американского издания «Доктора Живаго»... — Е. К.

26.VII.65.

Друг, милый! В день отъезда у Вас был какой-то тревожный голос, и я поняла, что Вам не по себе. Грустна эта неприкаянность душевная, и кому из нас удастся ее избежать — не знаю. Вот сейчас со мной самый родной человек — Лена [И. Грекова], и в чем-то нам хорошо и свободно вместе, но она сейчас замкнулась в своей тревоге. У нее почти людобоязнь, она мало кого выносит. Она вся поглощена мучительной мыслью — «А Фрида [Вигдорова]?» — А Фрида медленно угасает, и с этим невозможно примириться; и стыдно знать об этом и быть бессильным помочь. Под этим знаком и живем — виновато и с упреком за относительное здоровье, за тишину, комфорт, свежесть, за редкий смех и минутную радость.

Праздничность вносит чета Галичей. Он остроумен, сравнительно красив, чрезмерно заграничен, обдуманно элегантен — где-то на грани стиляги. А в песнях он так удивительно чувствует беды и трагедии людей, с которыми в жизни не устаивает заговорить, что за это многое ему простится. Она — поразительно красива, с безукоризненным вкусом в одежде и обличье и подчас навязчиво безвкусным поведением. Она все время как на сцене — играет в любовь, заботу,

покорность ему и вместе с тем власть над ним, и все это — правда, но правда не передается в курсиве, а в ней все курсивно, все — на публику. В ней — очаровательная смесь непосредственности и оглядки. <...> На днях с Севера получила милое, внутреннее письмо — теплое и грустное*, о том, как трудно жить только данной минутой, освобождая себя от всех жизненных связей и воспоминаний, о том, что хочется «раствориться в друзьях», и о многом другом — безымянном, неназванном и, естественно, поэтичном.

В окно смотрит многоствольный тополь, клумбы успокоительно пахнут медом, птицы свиристят не по-весеннему примиренно, а растворения и мира нет во мне. Когда и где будете дышать Вы? Очень жду Ваших писем.

Т.

* Письмо от Е. Кумпан, которая была в экспедиции на Севере.

30.VII.65. Москва.

Плохо мне, друг мой!

И если бы так, как Вам: оттого что плохо другим. Нет: мне плохо, оттого что плохо мне. А плохо мне оттого, что я плохой. А плохой — оттого, что знаю, каким бывал хорошим. А хорошим быть — начисто разучился. Как разучиваются владеть инструментом. <...> Мне не хочется писать стихи. Мне не хочется видеть людей. Во всяком случае, тех, общение с которыми требует хоть малейшего усилия. Даже когда это диктуется соображениями такта и участия. Мне не хочется, одним словом, обременять душу, коль скоро она еще есть, никакими эмоциональными нагрузками. Впечатление такое, что не выдержит. Однако это только впечатление, на самом деле безволие и равнодушие оплели душу, плющеобразно опутали. <...>

А внешне — что ж? Был в Тарусе, провожал туда Л. Я. [Гинзбург] <...> покровительственно и терпеливо. Организовал из Серпухова пустой автобус вместо такси: он дребезжал, как упавший ящик с вилами-ложками, протекал, ибо хлынул страшный ливень, нас швыряло, как чемоданы. Но зато он подвез нас прямо к дому Оттенов*. Было еще много нудно-смешных сцен с поисками комнаты и с размытыми дорогами, но все кончилось на следующий день идиллическим, хотя и черепашьим путешествием к матвеевскому «Мальчику»**, а на обратном пути — великолепной, давно не видел такой, грозой, шедшей впереди нашего такси на каких-нибудь 50—100 метров <...>

Э. Л.*** отдала огромную пачку моих стихов Оттенам. По-моему, их (стихи) надо вернуть. Нет, не в Оттенах дело, просто это как-то противоречит моему принципу: позволять иметь стихи только душевно близким <...> Уж настолько-то я не тщеславен: не хочу быть очередным списком в столице нашей Родины — Тарусе! Так-то вот, Тамарочка милая! «Кому повем...» и т.д.

Г.

* Семья Оттена Николая Давыдовича — семья литераторов, переводчиков, жила тогда в Тарусе, была в центре литературной жизни, в шутку Оттена называли вице-губернатором Тарусы, губернатором называли К. Паустовского.

** Надгробие художника Борисова-Мусатова работы скульптора Матвеева.

*** Э. Л. Линецкая.

10.VIII.65.

Глеб, милый — пишу Вам сразу же после звонка. Смерть Фриды* — лучшего человека на земле (я не знаю никого с таким даром добра и умения забыть себя для другого) — эта смерть оставила угрожающее зияние и страх за тех, кто еще жив, за нас, за то человеческое тепло и проникновение, которое еще держит в мире, не дает окостенеть и остыть. <...>

Приходил сегодня Рид — растерзанный, желтый, больной. Кричал, что он погибнет, что все мы видим это и ничего не делаем, чтобы спасти его и то, что он может передать людям, что он теряет себя — он во власти людей, лишаящих его жизни. Он безумен, и я не знаю, как его спасти. Может быть, он все-таки в

чем-то прав, хотя в своих обличениях и проповедях он смотрит мимо реального отдельного человека во имя какой-то абстрактной человечности? Но с ним уже не до споров. Он на самом деле погибает душевно и физически, и на это невозможно смотреть и стыдно своего бессилия. Я все больше отдаляюсь от «межпланетных» концепций и теоретизирований. Я верю только в непосредственное тепло общения. Только в этом климате может что-то настоящее зародиться и произрастать. Абстракция — космос, холодный, как фантастический роман.

Друг мой хороший, простите, что пишу Вам все это клочковатое и бессвязное. Но в дни смятений и утрат я не могу не говорить с Вами. Спасибо, что Вы есть.

Тамара

* Фрида Германовна Вигдорова смертельно заболела в процессе ожесточенной борьбы за освобождение И. Бродского и умерла 5-го августа 1965 года.

17.VIII.65.

Друг мой хороший! Простите, что давно не писал Вам, просто было не мобилизовать душевные силы <...> Смерть Фриды — действительно воспринимаю как начало вселенского сквозняка. Я ведь почти не плакал, ибо это не горе, а некое крушение, и разные уровни скорби на похоронах — меня коробили мало: каждый горюет в ту меру, на которую способен. Для меня эта несправедливость (боже, какое общественное слово!) — явление апокалиптическое: бог уже иначе не мог, ему надо было дать людям понять, что надеяться не на что. Его жестокость — отчаянное свидетельство, что он есть, и посмей только не поверить! По-моему, это понял Копелев [Лев Зиновьевич], а может быть, я просто очень хотел найти сомышленника: это не просто смерть замечательного человека, а предупреждение всем нам — «я есмь». После этого можно быть только бескомпромиссным, только такие выживут <...>.

Отвечайте мне по домашнему адресу. <...>

Глеб

24.VIII.65.

Глеб, милый! <...> очень прошу сразу же ответить мне опять в Комарово, где я до 31 августа нахожусь с Леной [И. Грековой]. После всего пережитого — и на редкость стойчески выдержанного ею — я сразу же вызвала ее в Ленинград и высулила дополнительное Комарово. Она оставалась в Москве совсем одна. <...> Лена настоящий и сильный человек. Только после Фриды она стала как-то намеренно резче, суше, приказательнее, полемичнее к нашим, как она выражается, «словесным сракулям» и многозначительностям. Она считает, что мы живем призрачной жизнью слов, и слова эти раздуваем. Она восстает против этой инфляции словесных измышлений и противопоставляет им — ясную непреклонную точность суждений, лишенных подтекста. Я понимаю, что это возвращение к научной недвусмысленной законности суждений — защитное. Но мне жаль, что она отказалась от растворенности и излучения, дарованных нам именно словами. О ней пока в ответном письме не говорите ничего. И все-таки при всей резчайшей разнице тона и поведения — она в чем-то самый мне родной и верный человек на земле.

Но я все время смущена, потому что по человеческому масштабу Фриды — как-то стыдно жить дальше. В стихах Ваших* менее непреклонно, чем в письме, но зато шире, выше и справедливее Вам удалось выразить все. <...>

А вот когда Вы в письме взываете к вере в библейского Бога, садистически жестокого, мстительного и разрушающего прекрасного человека, и считаете, что эта мучительная смерть — знамение господней кары — с этим я примириться не могу. Вернуться к богу-палачу, карающему нас сорока казнями — пусть даже малодушие — да стоит ли? И зачем нам такой Бог? Уж если звать к кому-то, так не к богу карающему, а к богу человеческому, приближенному(?), к богу гармонии, высоты, духовности, к богу живого тепла и внутреннего единения. Может быть, я Вас глупо поняла, но все во мне кричит против возвращения бога возмездия. Не знамение нашей вины нужно мне, а стимул к взаимному доверию

людей, к доброму чуду общения. И мне хочется увести Вас от Бога казнящего к очень человеческому, любящему, созданному самими людьми и послушному их лучшим иллюзиям внутреннему богу. <...>

Жду Вас — пока письменно.

Т.

* Имеется в виду стихотворение Г. Семенова «Памяти Фриды».

31.VIII.65.

Друг мой милый. Письмо Ваше, как всегда, пронзительно, хотя и не во всем справедливо. Виновато мое косноязычие: сохрани меня бог от «жестокого библейского Бога!» Нет, мой бог, наш бог — именно с маленькой буквы, он незримо разлит по нам, как по сосудам, и вместе с тем он един, ибо каким-то образом «наши» сосуды сообщающиеся. Но, хотя мы его как будто носили в себе и помним о нем, мы иногда о нем забываем, существуем как бы без него, святотатствуем, погрязаем во вседневье. И уход Фриды — его нам жестокое (ибо менее жестоких вещей большинство из нас не разумеет!) напоминание: «есть я, не можете быть без меня, во всем сообразуйтесь со мной; я выбрал невиннейшую жертву, чтобы вы поняли (как понимают от встряски!), что без меня вы — ничто!» — Только кажется мне, что многие все равно не поняли. Я хоть понял, и то хорошо! И очень как-то сразу стало трудно, невыносимо...

И не отлучением от себя я грожу Вам, нет. Просто предвижу жесточайшее Ваше осуждение, ибо так осуждаю себя сам, хотя (видит и понимает бог!) ничего не могу сделать. <...> Смятенно. Я никогда не страшился будущего, а это куда хлеще, чем тяготиться настоящим*.

До свидания, Тamarочка, друг мой!

Т.

* Речь идет о некоторых сложностях личной жизни Г. Семенова.

4.IX.65.

Друг мой хороший! Спасибо за письмо и стихи. Очень Ваши — почти дневниковые. Вы в них не барахтаетесь, а плывете — и строки прозрачные, отражающие Вас. До вскрика узнаваемо. В них весь Вы сегодняшний, со всем, что тревожит, казнит и все-таки притягивает Вас, со всем, что могло возникнуть только после 7-го августа [похороны Ф. Вигдоровой. — Е. К.]. Эта «пограничность состояния», как выражаются экзистенциалисты, чувствуется в каждом законченном стихотворении и в каждом отрывке. Особо пронзило меня самое проплывающее и вместе с тем вечное — про облака, и «Мне пела птица на заре», и «кто-то ненужный и вечный распят на оконном кресте». Все стихи начинаются от того, что в данную минуту перед глазами — и каждое дерево, облако и вещь в комнате — произвольно ведут к дальнему, высокому, непреходящему, и все — вокруг смерти, бессмертия и вины. Между близлежащим и дальним — никакой натяжки. Они связаны естественной ассоциацией. Но ассоциации — недоговорены. В этом угадывании главного и недосказанного для меня особая прелесть Ваших стихов — затаенно-исповедальных. Какого будущего Вы страшитесь — смерти или жизни?* <...>

Т.

* Речь идет о цикле Г. Семенова «Трудные стихи».

9.IX.65.

Большое спасибо, друг мой, за рецензию как факт и за те добрые слова, которые ее составляют, большое-большое спасибо! Объективно говоря, рецензия, конечно, очень хорошая, большего при данных условиях сказать, очевидно, и

невозможно. Этим даже и обусловлен самый жанр ее: как-никак это разговор о книге для знающих книгу, о кусочке творчества для знающих этот кусочек, трансполяция же только намечена в угадывании недостающего. Словом, разговор этот — фиксирующий и кое-что, в пределах возможного, вскрывающий, но не — открывающий, не — представляющий, не — закрепляющий место. Печально, если я начал переоценивать себя, стал ревниво недооценивать других, я не хочу этого, но все недвусмысленней кажется мне, что мало, ой как мало могущих сейчас говорить *гушою*. Пастернак, Маяковский, Цветаева, Есенин, Мандельштам, Ходасевич — говорили душою. Великолепный Заболоцкий — уже почти что нет. Твардовский — эпик. Мартынов — озабочен больше как сказать. Показался было мне таким Тарковский, но в той же восьмой «Звезде» прочел и... Вот и остается Ахматова и несколько молодых. А все это, не считите за склеротическое честолюбие, означает определенное *место*, свое, отличное не только по художественным особенностям, а по *гуше*, не по ракурсу видения, а по *гуше*, по тому же Богу, если хотите. Я, конечно, понимаю, что как раз *места-то* мне и не достается: все заняты слишком уж другим, прямого отношения к поэзии, как не-профессии, не имеющим. Вот для них — сегодняшний Румянцев в «Правде»[?]: суете это поможет, Богу — нет. Для них — глупых — это утверждение Евтушенки, для них — умных — Корнилова. А в конце концов — это один черт, делить там нечего, водораздел проходит не между Слуцким и С. Смирновым, а между Слуцким и мною, не между Агеевым и Шошиным, а между Агеевым и Кушнером. И «Правда» («правда») будет всегда на стороне первых, впрочем, и это уже благо! <...>

Дома — я стал планомерно работать. Думаю, что полтора-два месяца — и мои 7-8 книг будут у Вас на столе (не для передачи Оттенам, разумеется, хотя они вполне цивилизованные москвичи). Последним циклом, который посылаю, наверно, заканчивается книга этого года [приложен цикл «Трудных стихов». — Е. К.]. О дальнейшем — не знаю ничего. <...>

Глеб.

13.IX.65.

Друг мой душевный! Все, что Вы пишете о своем месте в поэзии и о водоразделе души и ее отсутствия, — умно и верно. И видна в этом неопределенном, как будто без земного притяжения слове — подлинная суть искусства. Вся беда только в том, что нет такого слова в нашем печатном критическом лексиконе. И ни один редактор не согласится поместить его как главный критерий оценки. Недаром Вы сами в синоним ему берете слово «Бог». Никакому рентгену, никакой анатомии эта главная и вместе с тем неуловимая суть поэзии не поддается. Поэт имеет право и на эту суть и на это слово. Критик — пока нет. Но я согласна с поэтом и завидую ему. Даже в прозе, даже в критической мысли поэт свободнее в выражении себя. И чем произвольнее он, тем убедительнее. А критики с большей или меньшей изобретательностью проговаривания все же пока обходятся рабскими словами. Вот почему так трудно и стыдно писать профессиональные статьи, пряча себя и душу, если она все-таки есть. В Вашем последнем «завещательном» цикле она бьется в каждой строчке и разлита по всем стихотвореньям. Она — воздух стиха. <...>

Другое дело, что по-земному эгоистически, дружески — я хочу, чтобы смерть и «миры иные» и «тот свет» сменились в Ваших стихах полнотой жизни, земным тяготением, силой реального чувства и произрастания сейчас, сегодня. К счастью, слово о смерти — даже не предпоследнее Ваше слово. Это состояние, навеянное гибелью Фриды. <...> Мне немного страшно от этих стихов. И вместе с тем они нужны мне. В них — ранивший, ощутимый и, к счастью, недостоверный край разлуки. <...>

Пишите скорее, друг мой! Жду вас.

Т.

21.IX.65.

Тамарочка, друг мой! Опять прошло несколько дней, как получил Ваше грустное письмо. Не отвечал, потому что вдруг никакой воли не стало, ни на что — ни на что! Прескверно чувствую себя, разваливаюсь на ходу, тянет прилечь, вернуться к стенке и ни о чем, ни о ком не думать. Но сразу же становится жалко времени, становлюсь скрягой, выжигой: как же так, уходят минуты — и

вдруг к стенке? И вот — лежа, не меняя положения, пыжусь и тщусь, до одури курно, обсыпаюсь пеплом. И крайне остаюсь недоволен <...> результатом. Прошло уже 20 дней, как решил заставить себя привести в порядок все циклы, все книги, перепечатать их (мало ли что может случиться!)... заставляю себя повседневно и ежеминутно... И — не могу остановиться! Как графоман, прости господи! Как маньяк! <...> Но надо же, надо досказать, чего не успел! И... ни приятности с Рыжим [И. Бродский, положение которого изменялось в это время к лучшему. — Е. К.], ни — обратное с Синявским [Андрей Синявский, дело которого разворачивалось. — Е. К.] — до сердца не доходят. Мизантропствую и чурюсь всех, ни мира, ни города! Из музыки — только Бах... А книги — ну их!.. Как назвать последнюю книгу? Или сперва перепечатать?

P.S. Еще, наверное, у меня расшатался вкус. Смотрел тут «Поезд» и «Мать Иоанну» Кавалеровича, а на днях «Пепел и алмаз» (Вайда). И он мне резко не понравился. Все пережато, без того святого доверия к зрителю, на котором и зиждется искусство. Во всем — белые нитки, как в опере, во всем — переигрыш. Даже великолепный Цыбульский не всегда может выручить. Бокалы по стойке, контрапункт любовного свидания и поиска патрона, убийство Шуки и его, Цыбульского, смерть с бельем и плачем, да еще прибавание каблука в часовне, — вот что остается от фильма, лобового, схематичного и... националистического. Национализм же я не приемлю ни в каком виде, в том числе — и под соусом страдания. <...> Была у меня Таня Галушко, читала стихи, а потом и оставила их. По-моему — очень хорошо и всерьез. Хотел бы, чтобы Вы послушали ее — это судьба, это все о себе и очень откровенно. Сама Таня <...> стихов своих <...> недооценивает. Этакая крикливая «Ева 20-го века», как говорили про Анну Маньяни.

А насчет Канторовича* я оказался прав: прогрессивен, но настолько самовлюблен, что непонятно, что у Вас может быть с ним общего. Вот доказательства моего мизантропства!

G.

* Канторович В. Я. — писатель, публицист и критик, в те годы близкий к новоязским кругам.

24.IX.65.

Глеб колючий! Хотя на этот раз иголки вонзились не в меня, кое в чем я даже солидарна с Вами. <...> А вот насчет Канторовича, мне кажется, Вы не правы. Да, он смешно бурлит, как Ильфопетровский «пикейный жилет». Да, в нем много суесть литературной, тщеславия, приобщений к «слухам» и страсти по-репетитовски «пошуметь». А еще — много обид и комплексов, не хватает тонкости и тишины. Но где же тут «самовлюбленность»? И если уж говорить начистоту — у кого же этой самовлюбленности нет? Кто может бросить камень? Грубого самодовольства нет ни у кого из тех, кто считается друзьями, а вот тайного самооблизывания, которое иногда делается явным... Все мы этим понемногу страдаем и, может быть, иногда любить и ценить себя не так уж плохо, иначе не сделаешь ничего, потому что будешь считать себя ничтожеством — но это все ни к чему и ни к кому в частности уже не относится. <...>

Грустно, что по-настоящему в последнее время удается говорить только с самой собой на коротких прогулках между двумя деловыми целями — не прогулках — брожениях по Летнему саду, Марсову полю, Смольному. Даже с самыми близкими Энной [Аленник], Эльгой [Линецкой], Дмитрием Евгеньевичем [Максимовым] разговор становится урезанным, ироническим, без открытости до конца. А мне подчас нужна эта открытость — иначе все условно и двухмерно.

А Ваша поза — лицом к стене — в своей угрюмой страусовости до боли близка и понятна. Но об этом поговорим в Ленинграде. Когда Вы в нем? Жду стихов и писем.

T. X.

8.XI.65.

Ну вот, значит, опять в немилости?! Ах, Тамара-Тамара! <...> Мало Вам доказательств преданнейшей и ничем не сбиваемой дружбы: все-то надо выискать и заподозрить <...>, и огорчиться, и 'этим огорчить меня...

Пишу в коридоре, т.е. в «холле» нашем: так уж получилось, что в комнате неудобно <...> А тут хоть мимо и спуют соседи, но делают вид, что так и надо. Десятилетняя Леночка [Алексеева] подошла, например, и спросила в простоте: — Это Вы стихотворение свое пишете? — Да нет, просто письмо... — Ну, это неинтересно! — Во как!.. <...>

Посылаю Вам «Девятый круг» [впоследствии эта книга стихов была названа Г. С. «Остановись в потоке». — Е. К.]. М.б., хоть письмо-рецензию напишете! «Чудо в толпе» — в самом ближайшем будущем. Обещают пригласить меня на конференцию молодых (я, по хамству, попросился в семинар вместе с Вами), это где-то 25—27-го, так поговаривают. Здесь — уж больно я кисну... доделки да бесконечные пасьянсы (этим бы я занимался и в пустыне). <...> Книжки — все 9 — небольшие, стихотворений по 30—40. Друзья прочтут их без труда и без затраты времени, которого у них маловато. (Зол и безнадежен я до крайности!). Но — обнимаю!

Глеб.

Ура! Получил Ваше письмо, и мое — теперь в другом ключе: 9.XI.

16.XI.65.

Светочувствительный и на редкость не морозоустойчивый Глеб! Ну и мимоза же Вы. <...> Вы воспринимаете как обиду и огорчение, а сами не писали почти месяц. И то я поняла почему и молча «амнистировала». И все-таки меня скорее радуют и трогают Ваши упреки. Значит — не все равно. <...> Спасибо за «Девятый круг». Никакой «рецензии» я Вам посылать не буду. От одного слова «рецензия» у меня воротит скулы — тем более рецензия на Вас. Скажу только, что эти, во многом известные мне, стихи <...> заново пронзили меня, сдвинули, растревожили. <...> Это Ваш «Страшный мир» — не могу не вспомнить 3-ю книгу Блока. <...>

Книга Ваша до конца — сочетание режущего интеллекта и сконцентрированного темперамента. Если холод, то обжигающий, и все на пределе — как непроравная плотина. Это зрелый Вы, усталый, но ничего не утративший, пронзанный горечью к «ним» — общевраждебным «нам», и к себе, но к себе с любовью и скрытым ожиданием, и готовый к растворенности, но не растворимый пока. Трудный, тревожный и непреодолимо задевающий, весь в притягательных зазубринах — словом — личность, не дай бог, если такой попадет на дороге и станет судьбой, и дай бог — в поэзии и умудренной, но уже неуязвимой дружбе.

Вызов Вам послан. Вы его, наверно, уже получили. Очень жду конференции и общего семинара — тогда уж наговоримся всласть и вгоречь! Хоть коротко дайте знать, когда Вы приедете.

Т.

5.XII.65.

Здравствуйте, друг мой!

Видите, пишу, хотя крутеж и страшный, некогда осмотреться вокруг. <...>

Прислал мне письмо Дарик [Давид Яковлевич Дар] по поводу «Круга». Как всегда, перехвалил и превознес. Пишет, что садится «переписывать», — ох, как не хотелось бы, чтобы стихи разбредались. Вы уж намекайте ему, неумному! А честно говоря, непохвала «Круга» Л. Я-ной [Гинзбург] для меня перевешивает эти «восторги». Расспросите у общих знакомых, как это было, но думаю, что я вправду огорчаться.

Еще — очень скорблю о Риде [Грачеве]*. Почему-то чувствую себя перед ним виноватым. Еще — ёкает сердчишко при воображении милого-милого Загородного**, это, наверно, самый мой дом! Такой уж родной, дальше некуда... И «лукуловы пиры», и рояль в попоне, и наши полки, и холодильник между рам, и сотни раз, небось, повторенное движение прохода, и стены — с Моцартом и козой, с буксиром и длинноносой Вами***... Тамарочка, очень люблю Вас!

Глеб.

* Рид Грачев в это время тяжело заболел и попал в психиатрическую больницу.

** На Загородном, 21, жила в это время Т. Х.

*** Г. С. перечисляет картины на стенах комнаты, в основном — работы мужа Т. Х., погибшего на войне.

8.XII.65.

Глебушка, родной! Спасибо за ласковое и помнящее письмо. Мне не нужно говорить Вам, как мне Вас не хватает. Перефразируя строку хорошо известного Вам поэта — «О как Вы нужны мне...» [Стихотв. Г. С. «Адам»]. Для меня это главные слова, которые один человек может сказать другому. Десять лет тому назад — даже число запомнила — 24 декабря — я сказала Вам это. В тот вечер Вы пришли с Британишским, а потом я впервые рассказывала Вам о себе.

А Британишский сейчас здесь, звонил и хочет прийти. Я уже отвыкла от него. Как по-Вашему, он «наш» или уже «не наш»? Через неделю, когда схлынет поток срочных обязательств — позову его. «Чудо в толпе» [цикл стихов Г. С.] еще не у меня, но уже у машинистки. В этом меня опередили, и ко мне стихи попадут готовые. Жду с нетерпением. <...>

Не только Дарик [Д. Дар], но и Рыжий [И. Бродский] совершенно восторженно принял Вас и всем говорит, что Вы для него первый живой поэт современности, и у всех кланчит стихи — если дойдет до меня — дать дубликаты или?..

Вокруг Рида свистопляска ридоносиц, друзей, родных — и все они звонят мне, как в справочное бюро или консультацию. Завтра придет его дядя, которого эксцентричный дед из любви к Киплингу назвал — Тумаем, а его сестру — мать Рида — Маугли. Тумай Арсеньевич Вите — военный, собранный, и, боюсь, сухарь. Яша [Гордин] и Марамзин [Володя] собираются к Кетлинской — просить, чтобы скорее напечатали книгу Рида, а его приняли в Союз [писателей]. А самому Риду лучше — его, кажется, выпустят в конце декабря [из больницы], и он знает это, нетерпеливо ждет, искренно хочет работать. Гипнотизирую(?) за него судьбу. Только бы вернулись к нему ясность и острота сознания и владение словом. Только бы не сорвался опять в девятый или неисчислимый круг дурной бесконечности!

После очень долгого перерыва в воскресенье соберемся у Эльги. Все мы живем торопливо, задыхаясь, в гонке и суете, разлученные с собой и друзьями! Елико возможно пытаюсь работать, но все еще не над главным. Статью о времени — как категории совести — смогу писать только в зимнем Комарово. Это уже в будущем году. Каков-то он будет — я всегда боюсь рубежей. Очень жду Вас — письменного, устного, стихового. Пусть будет в главном хорошо всем «нам».

Т.

20.XII.65

Глеб, милый! Голос Ваш — даже по телефону — письма, стихи радуют, тревожат, помогают жить. Есть в Вас какая-то несформулированная значительность и душевная суть, без которой тускло и плоско. И дар присутствовать в отсутствии.

Был вчера Володя Британишский — непонятно-благополучный, в русле, сухо-вато-логичный, с рациональными, рассуждательскими, жесткими, неблагозвучными стихами — стихами ли? И действительно прекрасной, умной, всерьез поэтической прозой — пусть он прочтет Вам рассказик «Белое блюдо» и про мальчика и трубочиста. Это куда значительнее самовлюбленной инфантильности Игоря Ефимова, Воскобойникова и многих молодых. Он умеет думать и заставлять думать других. И ритмически строить эти мысли через движение главных деталей: белое нерасписанное блюдо — как чистый холст, как судьба художника. Мне с ним после этой прозы и разговоров об этическом импульсе стало под конец интересно, и он просидел до 2-х ночи. Он, видно, человечески очень одинок и не без скрытой обиды на старых друзей. Они отходят от него — и только в семье он *неисправимо* счастлив. Но за это можно уважать.

С Ридом все еще неясно. Он очень не в себе — умоляет взять его оттуда, а сам весь во власти мучительных снов и не всегда отличает бред от реальности. Хлопочут через Союз писателей о консилиуме — потому что Удельная отдана на откуп сыновьям знаменитых отцов. Психиатрия досталась им по наследству, а не завоевана самостоятельно.

Надеюсь, что это еще не последнее мое к Вам письмо в этом году — и все-таки, на всякий случай — пусть новое в 1966-м не ломает, а построит жизнь! Пусть будут новые счастливые книги — и написанные, и напечатанные. Счастливые не тональностью, а судьбой. И пусть старые друзья останутся неисчерпанно новыми, и все «зачем?» вытеснятся стремительными «для чего!» и даже еще яснее — во имя чего! Как всегда с грустью прощаюсь.

Т.

29.XII.65.

Друг мой милый! Вот Вам еще одна оказия — Никитка* мой, и хочется думать — лебеденок** наш. Гадкий утенок еще, конечно, но — так хочу, так надеюсь! Только найдет ли он такую «стаю» в будущем? Достоин ли будет ее?

Новый год — это уже не наш новый год, нам он ни к чему. К сожалению, еще не его. Мы уже, в основном, все сказали за предыдущие, теперь договариваем, как привыкли, и заговорить по-новому не можем, да и не хотим. Он — еще ничего не сказал, и даже не знает, как и о чем будет говорить. Но — будет, так хочу, так надеюсь!..

Пусть поэтому наш общий Новый год покоится на тишине и надежде. На тишине — как у Цветаевой: *до* и *после* сказанного; на надежде — ибо его будущее — наше прошлое. Какое бы то ни было, — трудное, оступчивое, но всегда изо всех наших сил, высокое и, в последней своей степени, бескомпромиссное. Такого и ему хочу: «Дай бог ему любви, дай бог таких же высоких сил...»***

Настроение более чем скверное. Не чувствуется, не думается, не пишется, а в последнее время даже и не очень спится. Все это не по столь прямому ходу, как Вам может показаться (Вам же не кажется, я знаю!). Просто идет процесс резкого полюсования, отсюда и раздражения, и самонеуживчивость. Во всяком случае — ноль умиротворения. <...>

На службе моей — омерзительно.

Обнимаю Вас. Обнимаю всех вас.

Глеб.

P.S. М.б., найдете форму встречи с Никитой? Только не переоцените его — он еще очень-очень мальчик. Задуматься ему надо — вот что!

Г.

* Никита Охотин, сын Г. С.

** См. стихотворение «Высокой стае».

*** Вольное цитирование стихотворения Г. С. «Длинный вечер».

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

БОРИС ФРЕЗИНСКИЙ

ЗАКОЛДОВАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ ЛЬВА ЛУНЦА

Грустная история в документах и письмах Серрапионовых Братьев

Лев Натанович Лунц (1901—1924) — драматург, прозаик, литературный критик, знаток западных литератур — был, выражаясь политическим языком его и нынешней эпох, лидером левого крыла литературного сообщества «Серрапионовы Братья». В мае 1923 года ГПУ позволило тяжело больному Лунцу уехать на стажировку в Испанию; он добрался до своих родных в Гамбурге и вскоре слег; болезнь уже не отпускала его, и 9 мая 1924 года Лунц скончался; в Гамбурге он и похоронен.

В 1922 — 1923 годах в Советской России были напечатаны его трагедия «Бертран де Борн», пьеса «Обезьяны идут», повесть «Родина», рассказ «В пустыне» и статьи «Почему мы Серрапионовы Братья?» и «Об идеологии и публицистике».

В кругу Серрапионовых Братьев при всей остроте литературных споров, в которых большинство было не на стороне Лунца, его все любили, и после смерти Лунца память о нем хранили десятилетия.

Когда в мае 1924 года весть о смерти Лунца достигла Питера, она оглушила Серрапионовых Братьев. Некрологи Лунцу написали Федин («Жизнь искусства», № 22, 1924), Слонимский («Огонек», № 24, 1924), Никитин («Ленинградская правда», № 116, 1924). Собравшись, чтобы почтить память товарища, Серрапионы приняли решение издать все им написанное, а также подготовить сборник статей о Лунце. 31 мая 1924 г. М. Слонимский обратился к Горькому с просьбой написать о Лунце¹ и в июне 1924 г. написал отцу Лунца в Гамбург: «Вы знаете, чем был для нас Лева, никто из нас никогда не забудет его; для каждого из нас он жив. Но нужно сохранить его живой образ. Поэтому мы решили издать сборник его памяти, куда войдут статьи и воспоминания всех близко знавших Левушку: Замятина, Чуковского, Серрапионов и пр. <...> Издание сборника — дело ближайшего года»². 20 июня 1924 г. Е. Полонская, как бы уточняя этот план, писала отцу Лунца: «Мы решили издать осенью две книги, посвященных его памяти: 1. Книгу статей о Лева, в которую войдут статьи Горького, Замятина, Чуковского, Шкловского и всех серрапионовых братьев. 2. Книгу, составленную из всех имеющихся

¹ Это письмо не включено в публикацию переписки Слонимского и Горького в Литнаследстве, т. 70 (М., 1963).

² Письма к Лунцу и его отцу цитируются по публикации Г. Керна: «Новый журнал», Нью-Йорк, 1966, № 82, 83.

Переписка М. Слонимского печатается по подлинникам и ксерокопиям из его фонда в ЦГАЛИ-СПб (ф. 414, оп. 1, ед.хр. 51, 52, 54—57, 63, 61, 29—31); письма С. С. Подольскому и его дневники — по подлинникам из его фонда (РГАЛИ, ф. 2578, оп. 1, ед.хр. 102, 103, 112, 113, 115, 123, 34); письма к Е. Полонской — по подлинникам из собрания ее семьи.

Борис Яковлевич Фрезинский (род. в 1941 г.) — автор статей и публикаций по истории русской литературы XX века. Живет в С.-Петербурге.

на руках произведений Левы, как напечатанных, так и ненапечатанных». 21 июня М. Горький Каверину: «Да, Лунца страшно жалко... Необходимо собрать и издать все, написанное им» (Литнаследство, т. 70, с. 184), а 6 июля он сообщил Федину, что не смог написать о Лунце: «Я уже пробовал сделать это, но — не сумел. Не вышло» (там же, с. 472).

Горький, тем не менее, статью «Памяти Л. Лунца» написал и напечатал ее в альманахе «Беседа», который издавал в Берлине вместе с В. Ф. Ходасевичем. Горьковская «Беседа» напечатала трагедию Лунца «Вне закона» (№ 1, май-июнь 1923), пьесу «Город Правды» (№ 5, 1924), статью «На Запад!» (№ 3, 1923), но к распространению в СССР «Беседа» была решением Главлита строжайше запрещена (ЦГАЛИ-СПб, ф. 31, оп. 2, ед.хр. 6, списки 50, 52).

Прошла осень 1924 года, а книга Лунца не вышла, хотя потребность в ней вызывалась не одной только справедливостью. Весной 1925 года, обращаясь к покойному Лунцу, Юрий Тынянов писал: «Милый мой, вы уже год лежите на Гамбургском кладбище, — что осталось от вашей кудрявой, умной головы? — Но вы все-таки живее, чем добрая половина нашей литературы и литературной науки... Как вы нужны со своим верным взглядом, добрый мой друг, при возникновении этой срединной литературы! <...> Как вы нейтрализовали бы срединную литературу, — ваши друзья, серапионы, которых вы так любили, право же, не в состоянии этого сделать. Им некогда, они заняты тем, что сами нейтрализуются» («Ленинград», 1925, № 22, с. 13).

Между тем Серапионы еще пытались что-то сделать для Лунца.

30 ноября 1925 года Федин писал Вс. Иванову о планах выпустить второй номер альманаха «Серапионовы братья»: «Вот план: выпустить к 1 февраля (Пятилетие!) ¹ сборник с участием всех, покойного Лунца в том числе, Серапионов: поэзия, проза, статьи («Пять лет» — этак «информационно!», «памяти Лунца»)» (Т. Иванова. «Мои современники, какими я их знала». М., 1984, с. 343). Так, через полтора года идея двух книг — Лунца и о Лунце — свелась к публикации материалов Лунца и о нем в составе коллективного сборника Серапионов.

Но и это издание осуществлено не было.

Живя в Питере, Серапионы Федин, Груздев, Слонимский, Тихонов служили ради хлеба насущного по редакционно-издательской части. Н. Чуковский вспоминал: «Все важнейшие издательские предприятия в Ленинграде двадцатых годов основывались при участии серапионов и в той или иной мере контролировались ими. Крупнейшими деятелями издательства «Прибой» были Миша Слонимский и Зоя Гацкевич — к этому времени уже Зоя Никитина, так как она вышла замуж за серапионова брата Николая Никитина. В Госиздате серапионы тоже играли немалую роль, и именно благодаря им были созданы и альманах «Ковш», и журнал «Звезда». Руководителями «Звезды» вплоть до 1941 года фактически были Слонимский и Тихонов. Но главной их цитаделью было Издательство писателей в Ленинграде. Возглавлял его Федин, наиболее влиятельными членами полновластного Редакционного Совета были Тихонов, Слонимский, Груздев, а бессменным секретарем все та же Зоя Никитина» (Н. Чуковский. «Литературные воспоминания». М., 1989, с. 90). 24 июня 1929 г. Федин писал Слонимскому: «Никогда еще за десять лет работы (скажем — за восемь, с момента возникновения Серапионов) не было у нас настолько реальных возможностей для литературной «деятельности», насколько создались они *теперь*, никогда еще обстоятельства не благоприятствовали нам так, как сейчас. <...> Подумай, ведь издательство действительно *наше*, мы в нем хозяева, над нами ничего и никого, кроме цензуры, нет. Это ли не благодать? ... Мы же располагаем совершенной свободой *внутри* издательства, и любая наша фантазия, сегодня родившаяся, завтра может быть осуществлена» ².

И вот при таких возможностях книга Лунца или хотя бы публикация его вещей в альманахе или журнале — не вышли. Может быть, друзья Лунца его забыли? Нет, конечно, его помнили. (Вот одно только подтверждение. 25 июня 1928 г. Федин писал Слонимскому из Берлина: «Вчера утром, перед отъездом из Гамбурга, был вместе со стариками Лунца на могиле Левы. Старики, конечно, не могут его забыть, очень убиваются, в доме у них — настоящий культ памяти о нем. Они очень понравились мне». Затем Федин подробно описывает надгробие Лунца (даже зарисовывает его), приводит надпись, сделанную на трех языках: по-русски (Левъ Натановичъ Лунцъ, род. в Петербурге 2 мая 1901 — 5661, сконч. 9 мая 1924 — 5684), по-немецки (Dr. Leo Lunz...) и по-еврейски, и последнюю строчку на гранит-

¹ Серапионы ежегодно отмечали годовщину своего Братства, основанного 1 февраля 1921 г.

² Отметим, что при публикации этого письма (К. Федин. Собр.соч., т. 11, М., 1986, с. 135) фразу о цензуре, естественно, опустили.

ном обелиске «Наш Левушка». «Очень было тягостно на кладбище, — заканчивает Федин свой рассказ, — и очень несчастны старики».)

Почему же Серапионам не удалось издать книгу Лунца в двадцатые годы? Дело было только в цензуре. Задолго до ждановского погрома 1946 года имя Лунца внесли в черные списки — в этом убеждает проведенное нами расследование.

Говоря о Лунце, вспоминают прежде всего его статью «Почему мы Серапионовы братья?» Эту статью Лунц написал вместо автобиографии, заказанной ему, как и всем Серапионам, журналом «Литературные записки».

Первоначально этот журнал назывался «Летопись Дома литераторов». Его редактором был журналист Б. И. Харитон, отец непререкаемой участницы всех заседаний Серапионов Л. Б. Харитон и будущего создателя ядерного оружия в СССР академика Ю. Б. Харитона. Очень информативный двухнедельник, не допускавший прямых антисоветских высказываний, журнал «Летопись Дома литераторов» был запрещен на заседании Оргбюро ЦК РКП(б) 3 марта 1922 г. (постановление подписано Молотовым); одновременно было запрещено регистрировать новые журналы без санкции Москвы (ЦГАЛИ-СПб, ф. 31, оп. 2, ед.хр. 4, л. 4). Однако цензуру удалось провести. Б. И. Харитон подал заявку на издание нового журнала «Литературные записки» и 5 апреля 1922 г. Политотдел Госиздата (тогдашняя Центральная цензура в Москве) сообщил, что с его стороны препятствий к изданию нового журнала не встречается (там же, л. 9). (Заметим, что 25 марта 1922 г. было разрешено выпускать еженедельный журнал Серапионовых братьев под редакцией К. Федина (л. 5), — но это издание не состоялось.)

Уже 2 июня 1922 г. первый номер «Литературных записок» был отправлен в Москву (л. 23); следом вышел второй, затем — третий номер, значительная часть которого была посвящена Серапионам. Статью Лунца редакция подвергла аккуратной идеологической правке, опустив наиболее резвые выражения (так, были исправлены фразы Лунца: «Слишком долго и мучительно истязала русскую литературу общественная и политическая критика» и «Некоммунистический рассказ может быть гениальным, а коммунистический рассказ — бездарным»; опущены слова «„Бесы“ лучше романов Чернышевского» и т.д.). По беловому автографу статья Лунца напечатана полностью лишь в 1995 году («Вопросы литературы», вып. IV, с. 320—325). Однако эта правка журнал не спасла. 9 августа 1922 г. Политотдел Госиздата предписал своему петроградскому отделению: «По постановлению особой комиссии предлагается закрыть журнал «Литературные записки», не давая возможности его редакторам и сотрудникам создавать новые журналы» (л. 59). Власти, как видим, учли опыт реанимации «Летописи Дома литераторов».

Это постановление пришло в Петроград 11 августа, а днем раньше — 10-го — Петроградский политотдел Госиздата разрешил к печати четвертый номер «Литературных записок» с рецензией Лунца на «Жулио Хуренито» Эренбурга (л. 75). Номеру этому, понятно, выйти не дали, а Б. И. Харитону на время спастись удалось — он бежал из России, обосновался в Риге, издавал там газету, а в 1940 году после оккупации Латвии советскими войсками был депортирован в Сибирь, где и погиб в 1941 г.

24 декабря 1922 г. в Главлит (новая цензурная контора вместо упраздненного в сентябре 1922 г. Политотдела Госиздата) была препровождена заявка Серапионовых братьев и издательства «Петроград» на выпуск двухнедельного журнала «Огоньки», поддержанная Петргублитом (л. 176), но и этому плану реализоваться не дали.

Публикация Серапионовых братьев в «Литературных записках» (и особенно статья Лунца) вызвала немало откликов; наиболее обстоятельный — в литературном еженедельнике «Московский понедельник». Автором статьи «Серапионовы братья» был Валериан Лебедев-Полянский, главный редактор «Московского понедельника» и по совместительству глава тогдашнего цензурного ведомства. Он дружески предостерегал Серапионов от занятий публицистикой, критикой, теорией, ссылаясь на опыт М. Горького, который «расходится с жизнью, пытаясь быть публицистом». Пылкий Лунц ответил на эту «заботу» статьей «Об идеологии и публицистике», в которой без обиняков говорил, что, удерживая писателей от политической публицистики, власти — гласно и негласно — хотят, чтобы они занимались публицистикой в художественном творчестве: «Тов. Полянский бессознательно требует этого... Могу успокоить его: мы публицистами не станем».

Статья Лунца пришла в редакцию «Московского понедельника», когда изменилось не только название газеты (с № 16 ее переименовали в «Новости»), но отчасти и ее профиль (первую полосу теперь занимала текущая политинформация). Лебедев-Полянский опубликовал ее в № 3 (18) 23 октября 1922 г. под рубрикой «Дискуссия», с редакционным примечанием: «Редакция охотно дает место данной статье. Тем более, что автор думает, что никто ее в России не напечатает. Ответ по существу вопроса будет дан в одном из ближайших номеров». Этот шаг оказался для газеты опрометчивым. Хотя в № 5(20) и напечатали обещанный Лунцу ответ «по существу» (Б. Арватов. «Серапионовцы и утилитаризм»), в котором Серапионы обозваны «буржуазными художниками, обслуживателями мелкобуржуаз-

ной городской интеллигенции», газету это не спасло. Следующий, шестой номер «Новостей» оказался последним — газету закрыли.

В 1923 году имя Льва Лунца постоянно упоминалось в списке авторского коллектива петроградского журнала «Книга и революция». Журнал фактически редактировал К. А. Федин, хотя официально кроме него значились еще два редактора — журналист В. Быстрянский (по совместительству зав. Политотделом Петрограда, т.е. глава цензуры в Питере) и директор Госиздата в Питере, зять Зиновьева поэт И. Ионов. В 1923 году «Книга и революция» напечатала рецензию Лунца на сборник рассказов Вс. Иванова «Седьмой Берег» (№ 1(25)) и несколько откликов на пьесу Лунца «Бертран де Борн».

Четвертый номер за 1923 год оказался для «Книги и революции» последним. Наверное, журнал закрыли не столько за восторженные слова о Лунце, сколько за то, что номер открывался большой и сугубо положительной статьей Р. Арского о книгах Л. Д. Троцкого «Война и революция» (такие вещи правящий страной триумvirат — Сталин, Зиновьев, Каменев — считал недопустимыми). Между тем Серапионы (как, впрочем, и Пильняк, и Пастернак, и Маяковский, и Есенин, и Клюев) не могли не ценить серьезного отношения к ним легендарного председателя Реввоенсовета, чей художественный вкус и критический арсенал были богаче двухцветной палитры Главлита. Как бы продолжая мысль Лунца из его послесловия к «Бертрану де Борну» (1922 г.): «Я написал свою пьесу во время великой революции, и только потому, что я жил в революцию, мог написать ее» (Л. Лунц. «Вне закона». СПб., 1994, с. 142), Троцкий в том же, 1922 году писал о Серапионах: «Именно потому, что краткую свою родословную они ведут от революции, у них, по крайней мере у некоторых, есть как бы внутренняя потребность отодвинуться от революции и обеспечить от ее общественных притязаний свободу своего творчества. Они как бы впервые почувствовали, что искусство имеет свои права» (Л. Троцкий. «Литература и революция». М., 1991, с. 64). Впрочем, тогда, в пору революционного прилива, если пользоваться его более поздним выражением, Троцкий предупреждал Серапионов: «Привлекательность, свежесть, значительность молодых — вся от революции, к которой они прикоснулись. Если это отнять, на свете станет несколькими чириковыми больше — и только» (там же, с. 69), лишь 13 лет спустя в изгнании, в пору «отлива революции», он напишет: «Фальшь и невежество нынешнего «советского» бонапартизма исключают возможность какого бы то ни было художественного творчества, первым условием которого является искренность» (Л. Троцкий. «Дневники и письма». М., 1994, с. 97).

Льву Лунцу — в отличие от значительно переживших его остальных Серапионов — не пришлось с этим столкнуться в те четыре года, что были отведены ему для работы; он был так молод, что мог писать, не думая о последствиях, писать так, как хотел. Однако, когда дело доходило до выхода его сочинений к читателю и зрителю России, и в 1923 году власть репрессивно-идеологического аппарата давала о себе знать уже вполне отчетливо.

Пьесу «Вне закона», написанную Лунцем в 1920 г., напечатать в России вообще не удалось. Последнюю попытку Лунц предпринял в феврале 1923 г. «Мы, серапионы, составляем сейчас (второй. — Б. Ф.) альманах, — сообщил он Горькому, — и я не знаю, могу ли я печатать там «Вне закона». Очень бы хотелось в серапионовском альманахе» («Неизвестный Горький». М., 1994). Дело в том, что в ноябре 1922 г. Лунц отправил свои пьесы в Берлин Илье Эренбургу с тем, что, если ему не удастся их напечатать, рукописи будут переданы Горькому; в декабре на тех же условиях рукописи были посланы Лунцем Шкловскому. Второй альманах Серапионов не вышел и в итоге «Вне закона» появилась в «Беседе» Горького. В 1923 г. пьесу Лунца принял к постановке академический Александринский театр в Петрограде.

Это пьеса о революции, о механизме ее перерождения, о том, как справедливое негодование народа, задавленного властью, превращается в зверства толпы, ощутившей неограниченную свободу, и о том, как настает момент, когда любимый народом вождь отбрасывает прочь благородные лозунги (будем жить по законам чести!) и горячие обещания (никакого кровопролития!) и накидывает на разбушевавшуюся стихию куда более жесткую удавку, чем та, с которой призывал покончить.

Эту пьесу написал восемнадцатилетний юноша, чье быстрое перо изобразило суть революционного процесса, над хитросплетениями которого тогда — то есть задолго до развязки — ломали голову куда более опытные современники Лунца.

«Лунц, — так же как и Каверин, — писал в 1923 году Евгений Замятин, — в алгебре, чертежах, а не в живописи» (Е. Замятин. Избр. произвед., т. 2. М., 1990, с. 358). К пьесе «Вне закона» это относится в полной мере. Это пьеса идей и героев. Действие ее в пространстве и времени уведено далеко за пределы России 1917 года — в условную старую Испанию; при этом «Вне закона» — не зашифрованная прокламация в диалогах, а динамичное и театральное действие.

Сценическая судьба пьесы «Вне закона» отражена в трех информационных

блоках — в письмах Лунцу его друзей, в тогдашней прессе и, наконец, в архивных документах театра и цензуры.

Вот что стало известно больному Лунцу из писем, которые посылала ему в Гамбург Л. Б. Харитон. 17 июня 1923 г.: «В Александринском началась работа по «Вне закона». Декорации заказаны Анненкову. Так говорят». 21 июля: «На премьеру «Вне закона» — приезжайте к нам». 31 августа: «Аkteатры открываются 1 октября, так что особенно торопиться Вам нечего». 20 октября: «Писать скоро выучитесь, и тогда напишете свои пьесы так, чтобы их в последний момент не запрещали. Были готовы эскизы Анненкова, Вивьен разработал роль, Тиме должна была играть Клару — и все рухнуло. Экскузович¹ ездил в Москву — не помогло». О запрещении спектакля писали Лунцу многие — Замятин 13 ноября: «Обидно, что «Вне закона» — оказалась вне закона: хорошая пьеса, дай Бог здоровья автору»; Полонская 29 декабря: «Здесь все огорчены снятием «Вне закона». Особенно Вивьен, который говорит, что всю жизнь мечтал о такой роли»; художница Ходасевич 1 февраля 1924 г.: «Хотела бы участвовать в несостоявшейся постановке вместо Юрия Анненкова — «Вне закона» гениальная пьеса».

В зеркале петроградской прессы хроника этих событий выглядит так (обратимся к вечернему выпуску «Красной газеты», наиболее подробно освещавшему театральные новости) — 14 мая 1923 г.: «Ю. П. Анненкову поручено написать декорации к пьесе Лунца «Вне закона», намеченной к постановке в Малой Академической опере» (т.е. на сцене Михайловского театра, где в те годы наряду с оперными представлялись и драматические спектакли, специально подготовленные труппой Александринского театра). 5 июня: «Впервые в Александринском театре будет поставлен ряд пьес левого направления». 16 июня: «Постановка пьесы Лунца «Вне закона» в Александринском театре поручена режиссеру Н. В. Петрову. Декорации Ю. П. Анненкова». 23 июня: «Художник Юрий Анненков привлечен в Александринскую Драматическую труппу для декоративного разрешения пьесы Льва Лунца «Вне закона». Спектакль пойдет в постановке режиссера Н. В. Петрова». 25 июня под заголовком «Александринский театр в предстоящем сезоне» публикуется беседа с зав. художественной частью театра Ю. М. Юрьевым: «Из пьес современной драматургии будет поставлена очень острая пьеса одного из «серапионовцев» — Льва Лунца «Вне закона». Режиссер спектакля Н. В. Петров, декоратор-художник Юрий Анненков». 8 сентября публикуется очередная беседа с Ю. М. Юрьевым о предстоящем сезоне: «План академической драмы изменен только в деталях и последовательности работ»; одной из причин перестановок названа болезнь Е. И. Тиме; пьеса Лунца в большом списке спектаклей не упомянута, зато сообщается, что «к октябрьским торжествам театр окончательно остановился на постановке пьесы А. Луначарского «Канцлер и слесарь», порученной Н. В. Петрову». 13 октября: «Постановка пьесы А. В. Луначарского «Канцлер и слесарь» в Александринском театре поручена режиссеру Н. В. Смоличу»; в тот же день приехавший в Петроград нарком просвещения А. В. Луначарский читал труппе свою пьесу «Канцлер и слесарь», и по сообщению газеты 15 октября: «После читки А. В. Луначарскому была устроена шумная овация».

Информация о пьесе Луначарского включена в эту сводку не случайно. Скорее всего, именно Луначарскому обязана своим запрещением пьеса Лунца «Вне закона». Невольную услугу этому недоброму делу оказал и руководитель Московского Малого театра народный артист А. И. Южин (Сумбатов).

Прочитав в горьковской «Беседе» пьесу Лунца и узнав, что ее собирается ставить Александринский театр, А. И. Южин, которому острая пьеса приглянулась (он и сам был драматургом), решил, что ее стоит поставить в Малом. Пользуясь сложившимися добрыми отношениями с наркомом просвещения, Южин послал ему пьесу, чтобы заручиться политической поддержкой. (Заметим, кстати, что А. И. Южин с 1909 г. возглавлял Малый театр; в 1917 г. Временное правительство назначило его Комиссаром всех московских государственных театров; однако с приходом к власти большевиков не присягнувший им с лета Южин был понижен в должности до временного управляющего Малым театром. Директором Малого наркомпрос назначил Южина как раз в описываемую пору — 25 мая 1923 г.) Луначарский, постоянно переписывавшийся с Южиным, ответил на его обращение 16 июля 1923 г.²: «По-моему, «Вне закона» — драма плохая. Во-первых, с полити-

¹ Иван Васильевич Экскузович (1882—1942) — в 1924—1928 гг. управляющий государственными академическими театрами Москвы и Ленинграда; лицо, близкое к Луначарскому.

² Отрывки из этого письма впервые были напечатаны Т. Б. Князевской в статье «Луначарский и Южин» («Театр», 1957, № 6, с. 94). Полностью письмо опубликовано в т. 82 Литнаследства, где оно датировано 26 июля.

ческой точки зрения, я вас определенно уверяю, и надо сообщить об этом Александринскому театру в Петербург, наши коммунистические круги, да и сочувствующие нам круги примут ее за явно контрреволюционную». Мотивирует эти опасения нарком так: «Присмотритесь, какие тенденции руководят Лунцем. Народные массы изображены в виде безмозглого жестокого стада, их вождь Алонзо на наших глазах и без всякого психологического процесса, только при прикосновении к трону, превращается в тирана, гнусного преступника, изменившего своей идее и т.д. Что все это, как не самая отвратительная, самая безнадежно тупая критика революции вообще? Разве это верно, что революционеры, достигнув победы, превращаются в изменников своему слову, стремятся сесть на трон правителя, готовы убить своих жен, чтобы жениться на принцессах и т.д.? Ведь все это одна сплошная ахинея». Далее следует гимн большевистской революции и ее ста вождям и пылающее возмущение: «Какого же черта, в самом деле, станем мы ставить драмы, которые помоями обливают революцию, на наших глазах вышедшую с чрезвычайной честью из всех испытаний огромного переворота? У нас нет никаких Алонзо, а затем и строгий вывод: «Мой добрый совет вам: этой пьесы не ставить. Политически она вызовет скандал. <...> Пьеса, по-моему, очень плоха» (Литнаследство, т. 82, М., 1970, с. 375—377).

О дальнейших шагах Луначарского можно судить по тому, что уже 25 июля 1923 г. он подписал постановление наркомпроса, ставившее репертуар академических театров под свой личный контроль: «Признать, что плановый репертуар академических театров утверждается наркомом по представлению Главреперткома. Все изменения, предлагаемые Главреперткомом, при последующем контроле проводить с утверждения наркома» («Русский советский театр». М., 1975, с. 47). В силу этого постановления без Луначарского изменение репертуарного плана Александринского театра стало невозможным.

Поскольку официальной бумаги Главреперткома о запрещении спектакля Александринского театра «Вне закона» в архивном фонде Гублита найти не удалось (фонд цензурного ведомства, лишь недавно освобожденный от грифа «секретно», оказался весьма неполным, хаотичным), обратимся к бумагам Управления академических театров Петрограда — это третий информационный блок свидетельств о судьбе спектакля «Вне закона» на сцене Александринского театра. В архиве этого Управления можно найти подробные сведения о расходе дров, гвоздей, тканей, электролампочек во всех актеатрах, а вот протоколы худсоветов — предельно кратки, да и они сохранены не полностью.

Вот протокол № 1 заседания репертуарного совещания при Государственном академическом драматическом театре б. Александринский от 24 мая 1923 г. (на нем присутствовали Ю. М. Юрьев, И. В. Экскузович, Н. В. Петров, А. И. Пиотровский и др.), посвященного репертуару следующего сезона. Художественный руководитель театра, импозантный премьер бывшей императорской сцены Ю. М. Юрьев предлагает включить в репертуар помимо спектаклей по пьесам русских классиков пьесы современных авторов; он предлагает в этом качестве пьесу Лунца «Вне закона». Репертуарное совещание постановило: «Рекомендовать следующие пьесы, имея в виду новые постановки» — в списке из 5 пьес четвертой названа «Лунц. Вне закона (совр. автор) — ЦГАЛИ-СПб, ф.260, оп. 1, ед. хр. 340, л. 1. Этот протокол напечатан в сборнике «Русский советский театр 1921—1926» (Л., 1975, с. 313—315), а вот протокол № 6 в этот сборник, конечно, не вошел — это протокол заседания худсовета театра от 14 ноября, которое открылось предложением Ю. М. Юрьева «обменяться мнениями по поводу подыскания пьесы взамен пьесы талантливого молодого автора Л. Лунца «Вне закона», снятой с предполагаемого на сезон репертуара в связи с запрещением Главреперткомом». «Такое выпадение пьесы, — продолжал Юрьев, — ставит Художественную часть в тяжелые условия, т.к. пьеса «Вне закона» должна была удовлетворить как в художественном отношении, так и в кассовом» (Л. 7).

Поскольку в репертуаре театра на предстоящий сезон, представленном в Управление в сентябре, спектакль по пьесе Лунца числится (ед. хр. 346, л. 103), запрещение спектакля произошло между сентябрем и ноябрем 1923 г. — и тут кстати будет вспомнить о приезде наркома Луначарского в Петроград в октябре и о его выступлении в Александринском театре, встреченном «шумной овацией».

10 декабря 1923 г. председатель Главреперткома И. П. Трайнин (будущий юрист-академик) доложил наркомку Луначарскому, что пьеса Лунца «Вне закона» запрещена к постановке в РСФСР как «политический памфлет на диктатуру пролетариата в России» (Литнаследство, т. 82, с. 378 со ссылкой на ЦГА РСФСР). Видимо, это постановление не имело силы на территории других республик СССР, что и позволило поставить пьесу на Украине и в Грузии.

О постановке «Вне закона» в Одессе подробно писала местная пресса. 27 ноября 1923 г. «Вечерний выпуск Извений Одесского губисполкома» сообщил: «Режиссер драматического театра Л. Ф. Лазарев приступил к репетициям новой пьесы».

сы Льва Лунца «Вне закона», а во вторник 4 декабря газета сообщила уже о премьерe: «В субботу в драматическом театре премьера, идет комедия-буфф „Вне закона“. Пьеса поставлена режиссером Лазаревым действительно вне всяких законов драматического шаблона. Джаз-банд, вставленные репризы, полное отсутствие занавеса, цирковые приемы артистов — принципы разрушения театральной условности и целый ряд смелых разрывов с традициями академизма — все это вызывает интерес к пьесе». 5 декабря последовало еще одно сообщение: «В субботу 8 декабря в драматическом театре им. Шевченко состоится первое представление новой пьесы Льва Лунца «Вне закона» в оригинальной постановке Л. Ф. Лазарева. Главные роли распределены между артистами Валентой, Корневым, Веселовым и Двишским». 8 декабря премьера состоялась. 10 декабря газета поместила рецензию Д. Маллори: «Пьеса названа «трагедией-буфф». Но вся она поставлена в стиле итальянской «комедии дель-арте». <...> Пьеса идейно несколько анархична. «Вне закона» — не надо никаких законов, кроме законов совести — провозглашает герой пьесы разбойник Алонзо, но он сам же доказывает в дальнейшем всю непрочность и неприменимость такой теории. Этот принцип «вне закона», эта мораль, при которой «все дозволено», это нищезанство анархизма здесь же, в пьесе, приводит к полному крушению самой идеи свободы от законов. <...> Пьеса написана ярко, красочно и сильно. <...> Спектакль имел шумный успех».

Спектакль «Вне закона» был показан в Одессе четыре раза — 8, 11 и 13 декабря 1923 г. и 3 января 1924 г. (последнее представление — «общедоступник», которым в Одессе заканчивались сценические жизни спектаклей). Петроградский журнал «Жизнь искусства» в № 1 за 1924 г. сообщил об одесской постановке, и Л. Харитон написала Лунцу 3 января: «Только что открыла новогодний № «Жизни искусства». Поздравляю Вас! В Одессе поставили „Вне закона“».

Имеются сведения о постановке «Вне закона» в Грузии на грузинском языке (Е. Ф. Никитина. «Литература от символизма до наших дней». М., 1926, с. 352); было также намерение экранизировать пьесу (Л. Н. Замятина писала Лунцу 13 ноября 1923 г.: «Вашу пьесу «Вне закона» берет кинофирма «Русь». Экземпляр пьесы послан в Москву»), но это намерение не реализовалось.

На одесский спектакль Москва отреагировала не сразу, но жестко. 10 марта 1924 г. Главлит направил всем гублитам СССР список запрещенных для постановки пьес. В сопроводительном письме, подписанном председателем Главреперткома И. П. Трайниным, говорилось (сохраняю особенности стиля и орфографии): «Препровождая вам список № 2 запрещенных пьес глав. Репертуарный Комитет считает нужным разъяснить, что он не является исчерпывающим и включает в себя лишь те произведения, на которых глав. репертуарный Комитет обращает сейчас внимание мест. <...> Из самого списка местных репертомам должно стать ясно, что в основу политики запрещения положены следующие моменты: идеологическая (и политическая) контрреволюция (например, пьеса Лунца «Вне закона», в которой не трудно усмотреть пасквиль на революцию) <...>» (ЦГАЛИ-СПб, ф. 31, оп. 2, ед. хр. 21, л. 48). Список № 2 состоял из 69 пьес, «Вне закона» — под № 24 (л. 49). 25 июня 1924 г. Главлит разослал гублитам дополнительный список из 19 вновь запрещенных пьес, повторно включив в него «Вне закона» под № 80 (л. 118).

Наконец, 14 октября 1927 г. Главлит разослал по стране сводный список 498 запрещенных пьес, отменив одновременно все предыдущие списки. Теперь «Вне закона» значилась под № 281 (л. 283). Эту честь пьеса Лунца разделила с пьесами Аверченко, Л. Андреева, А. Блока («Роза и крест»), М. Булгакова («Дни Турбиных»), «Зойкина квартира», «Багровый остров»), Е. Замятина («Огни св. Доминика»), Мережковского, Ремизова и А. Н. Толстого, а также Гауптмана, Джерома, Доде, Роллана и Уайльда.

Вторую из пьес Лунца («Бертран де Борн», 1922 г.) автору удалось напечатать в Петрограде («Город», сборник первый¹, 1923 г., тираж 1000 экз.) еще до своего отъезда за границу. В журнале «Книга и революция» о «Бертране де Борне» положительно отзывались А. Слонимский (1923, № 2), А. Пиотровский и Т. Глаголева (1923, № 3). 11 ноября 1923 г. Федин писал Лунцу: «Рост твой, рост драматурга Льва Лунца! — впереди. Главное — не торопись (в прямом и переносном смысле), у тебя тяжелый багаж («Вне закона»), его хватит, пока ты поправляешься <...> Журнал «Книга и революция» с дифирамбами тебе вышло непременно». Г. Керн, публикуя это письмо, заметил, что речь идет о № 1 за 1924 г., который не вышел. Однако, несомненно, имеется в виду № 3(27) за 1923 г. со статьей Т. Глаголевой, напечатанной как рецензия на альманах «Город», но на самом деле почти целиком посвященной пьесе Лунца. «В ней есть ритм и дыхание эпохи, — писала рецен-

¹ В сборнике была напечатана также рецензия Лунца «Хули Хуренито» из запрещенного № 4 «Литературных записок». Второй сборник «Город» не вышел.

зент, — есть преобразующая мир романтика: сейчас она близка нам, нужна и, чем скорее увидит она огни рампы, тем лучше для русской сцены и изголодавшегося русского зрителя».

Однако единственная попытка сценического воплощения «Бертрана де Борна» в Большом драматическом театре также была пресечена. Между тем, и главный режиссер БДТ А. Н. Лаврентьев, и назначенный в октябре 1923 г. председателем художественного совета БДТ Адриан Пиотровский высоко оценили драматургию Лунца. К. Чуковский писал Лунцу 7 января 1924 г.: «Ваша слава воссияла в Петербурге. На днях встретил Лаврентьева, режиссера Большого Театра. Он говорил мне о Вашем «Вне закона»: вот *это* пьеса! ох, какая пьеса!». А. Пиотровский в статье «Новые пьесы» сравнивал «Бертрана де Борна» с «Огнями св. Доминика» Замятина, вскоре запрещенными: «И та, и другая желают воскресить «романтический» стиль драматургии, влияние Виктора Гюго заметно на обеих, обе они, наконец, написаны на исторические сюжеты. Инквизиция — тема первой из них, исход Феодализма — второй. Разумеется, и та и другая лишь историческое претворение современности. Это относится к обеим, и притом к их достоинствам. В театральном смысле драма Лунца несравненно интереснее» («Книга и революция», 1923, № 3, с. 46).

Л. Харитон сообщала Лунцу 24 февраля 1924 г.: «Пиотровский собирается в будущем сезоне предлагать Большому драматическому театру „Бертрана“ и 7 апреля: «А. Пиотровский просит написать Вам, что Больш. Драм. Театр открывається осенью „Бертраном“. Хочет списаться с Вами по поводу последнего монолога». 7 мая об этом же писал Замятин (его письмо уже не застало Лунца в живых): «Известно ли Вам, гражданин, что Ваш «Бертран» объявлен в репертуаре Больш. Драм. Театра на следующий сезон? Должен признаться, что это случилось, несмотря на все мои козни, ибо я усиленно убеждал Болдраму, что «Бертран» никуда не годится по сравнению с «Вне закона», и советовал поставить именно «Вне закона»¹. На это получил ответ, что «Вне закона» — вне закона и есть, и тут ничего не попишешь». В июне 1924 г. М. Слонимский писал отцу Лунца: «С осени в Больш. Драм. Театре идет пьеса Левушки «Бертран де Борн». Я напишу Вам о первых спектаклях».

Об этом плане БДТ «Красная газета», наученная опытом «Вне закона», весной ничего не сообщила, а 30 августа в заметке «Что обещает будущий сезон БДТ», где речь шла о готовящихся спектаклях — о пьесе Лунца не было ни слова, потому что от нее уже пришлось отказаться.

За всеми этими издательскими и театральными запретами поневоле видится и мрачная тень Г. Е. Зиновьева — полновластного хозяина города. Независимость Горького, его фронда выводили Зиновьева из себя, он санкционировал обыски у Горького на Кронверкском и ко всем, кого Горький опекал, относился настороженно. Отъезд Горького за границу избавил Зиновьева от тормозов, и он попросту закрыл Дом искусств, под крышей которого Серапионы зародились, где несколько лет они встречались, читали написанное и спорили в узенькой комнатке М. Слонимского.

Клеймо «идеологического контрреволюционера» и «пасквильанта», поставленное на имя Лунца в зиновьевскую пору, оказалось несмываемым и после изгнания из Питера первого наследника Ленина.

Серапионы не соглашались с этим клеймом — они искренне и справедливо считали себя писателями, рожденными революцией, и впоследствии, давно уже став советскими писателями, о политическом содержании былых своих поступков, суждений и споров старались не помнить. Они дожили до старости, любили фрагментарно вспоминать годы литературной молодости, и чувство вины перед молодым Лунцем, начисто неизвестным стране, время от времени посещало их.

К. Федин был первым, кто, спустя годы, напомнил читателям о Лунце; он сделал это в книге «Горький среди нас» (ее первая часть была напечатана в шестом, предвоенном номере «Нового мира» за 1941 г., а вторая, написанная в эвакуации в Чистополе, появилась в печати три года спустя). Портрет Горького Федин дал на пестром фоне литературной жизни Петрограда начала 20-х годов, и воспоминания о Серапионах вплелись в этот фон вполне органично. Федин вспоминал, как возникло содружество «Серапионовы братья», какие литературные споры вели Серапионы, причем о резких своих столкновениях с Лунцем он рассказывал с интонацией щемящей грусти. «Его (Лунца. — Б.Ф.) уход, — писал Федин, — объединил нас своей внезапностью, своим трагизмом, сжал нас в тесное кольцо, и это был

¹ «Замятин утверждает, что из всех Серапионов Вы самый талантливый», — сообщал Лунцу К. Чуковский 7 января 1924 г.

апогей нашей дружбы, ее полный расцвет, с этого момента, с этого года кольцо начало слабеть» (К. Федин. Собр. соч., т. 10, М., 1986, с. 135).

Книгу Федина (особенно ее вторую часть) подвергли жестокому разному (статья Ю. Лукина «Ложная мораль и искаженная перспектива» в «Правде» 24 июля 1944 г. и последовавшая за ней «дискуссия» на собрании в Союзе писателей, где П. Павленко назвал книгу Федина «клеветой», а М. Шагинян признала ее «вредной» — см. «Вопросы литературы», 1987, № 11, с. 223). Разнос книги Федина (первый и последний в его литературной карьере) был опасен еще и тем, что вписался в кампанию — первую за время войны — травли писателей (громили А. Платонова, М. Зощенко, К. Чуковского, И. Сельвинского, Е. Шварца). С тех пор Федин писал так, чтобы, не дай Бог, не вызвать неудовольствия властей.

В 1946 году в результате определенных интриг в непосредственном окружении Сталина идеологический удар решено было нанести по Ленинграду, причем на роль главных «героев» определили Зощенко и Ахматову. Выбор в качестве основной мишени кампании М. М. Зощенко определил и мощь рикошетного удара в сторону Льва Лунца, прежде неведомого «вождям» сталинского Политбюро.

7 августа 1946 г. начальник Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г. Ф. Александров и его заместитель А. М. Еголин представили Жданову проект постановления «О неудовлетворительном состоянии журналов „Звезда“ и „Ленинград“». 9 августа прошло заседание Оргбюро ЦК ВКП(б) с участием Сталина, Жданова, Маленкова и К°, с одной стороны, и ряда писателей (среди них были и два Серапиона — председатель СП СССР Н. Тихонов и Н. Никитин), с другой. На этом заседании Сталин высказался о Зощенко с хамским пренебрежением и злобой.

10 августа министр госбезопасности СССР В. С. Абакумов представил секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Кузнецову «справку» на Зощенко, в которой сообщалось: «Зощенко являлся членом литературного содружества «Серапионовы братья» — группировки, вредной по своему идеологическому характеру... По Ленинграду близок с писателями Слонимским, Кавериним, Н. Никитиним (бывшими членами литературной группировки «Серапионовы братья») («Литературный фронт. История политической цензуры 1932—1946». М., 1994, с. 216, 218). Сохранился и донос А. Еголина на Зощенко и его друзей: «Хорошие взаимоотношения Зощенко, Слонимского и Каверина¹ относятся еще к 1926 году <?>, к периоду создания этими лицами <?> группы «Серапионские <так!> братья», представляющей собой идеологическую и политическую вредную оппозицию в писательской среде» (там же, с. 226). Наконец, 14 августа было утверждено погромное Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград».

В конспекте доклада Жданова на собрании писателей Ленинграда значилось: «Кто такой Зощенко? Его физиономия „Серапионовы братья“» (там же, с. 227), а когда ждановские помощники подобрали ему необходимые цитаты высказываний Зощенко серапионовской поры из «Литературных записок» 1922 года, выплыла и декларация Лунца «Почему мы Серапионовы Братья?» — так имя Лунца попало в доклад Жданова: «Позвольте привести еще одну иллюстрацию о физиономии так называемых «Серапионовых братьев». В тех же «Литературных записках» № 3 за 1922 год другой серапиновец Лев Лунц так же пытается дать идейное обоснование того вредного и чуждого советской литературе направления, которое представляла группа «Серапионовы братья». Лунц пишет: «Мы собрались в дни революционные, в дни мощного политического напряжения — «кто не с нами, тот против нас!» — говорили нам справа и слева. — «С кем же вы, Серапионовы Братья? С коммунистами или против коммунистов? За революцию или против революции?» С кем же мы, Серапионовы Братья? Мы с пустынным Серапионом <...> Мы пишем не для пропаганды. Искусство реально, как сама жизнь. И как сама жизнь, оно без цели и без смысла: существует, потому что не может не существовать». Это и есть проповедь гнилого аполитицизма <так!>, мещанства и пошлости» («Ленинградская правда», 21 сентября 1946 г.).

С тех пор не только об изданиях книги Лунца, но даже и о сколько-нибудь положительном упоминании его имени в СССР нечего было и мечтать.

В 1956 году (в пору XX съезда КПСС, разоблачившего сталинские преступления, но не отменившего постановления 1946 г.) вышел 38-й том 2-го издания БСЭ с заметкой «Серапионовы братья», подтвердившей неизменность официальной оценки: «Идейно порочные установки группы проявлялись в идеологических взглядах на искусство, в отрицании общественного значения литературы, пропаганде безыдейности, аполитичности искусства. Теоретиком группы был писатель Л. Лунц. Вредное влияние «Серапионовых братьев» особенно сказалось на творчестве М. Зощенко, подвергнувшегося критике в постановлении ЦК ВКП(б) от 14 авгу-

¹ Имя Н. Тихонова, которому благоволил Сталин, Еголин благоразумно опустил.

ста 1946 г. Для некоторых писателей, входивших в группу «Серрапионовых братьев» (Вс. Иванов, Н. Тихонов, Н. Федин, В. Каверин, М. Слонимский, Н. Никитин и др.) влияние ее взглядов было непродолжительным, преодолев его, эти писатели создали значительные произведения в духе социалистического реализма».

Эта заметка реабилитировала лишь М. Слонимского, мимоходом упомянутого в постановлении 1946 г. за «ошибочный» рассказ «На заставе» и подвергнувшегося несколько лет за это третированию со стороны руководства ленинградского отделения Союза писателей; остальных «перековавшихся» Серрапионов в кампанию 1946 г. не тронули.

В годы оттепели первую попытку вернуть имя Лунца в советскую литературу предпринял Вениамин Каверин. 3 февраля 1957 г. Федин сообщал Слонимскому в Ленинград, как в Переделкино отметили годовщину Серрапионов: «1 февраля был у Всеволода <Иванова>. Каверин читал воспоминания о Лунце и Зоценко. Изрядно. Была гостящая здесь Полонская. В общем приятно». В ответном письме Слонимского от 11 февраля читаем: «Воспоминания почему-то писать не хочется. А Каверин этим, кажется, горит — он тут говорил мне об этом с азартом». Воспоминаний Каверина читателям пришлось ждать долго. Только в 1960 году с приходом Твардовского в «Новый мир» Каверин представил журналу рукопись «Белых пятен», но напечатали их (с массой цензурных вымарок) лишь через 5 лет.

Воспоминания «Белые пятна», содержавшие главку о том, как начинались Серрапионы — в ней-то и шла речь о Лунце, о Зоценко и др., — были запрещены по указанию зав. отделом культуры ЦК КПСС Д. Поликарпова (см.: В. Лакшин. «„Новый мир“ во времена Хрущева». М., 1991, с. 85). В дневниковых записях Лакшина зафиксирована канва мытарств этой рукописи: «12 сентября 1962. У нас еще с лета лежит отвергнутый цензурой очерк В. Каверина «Белые пятна»; 20 октября 1962. Пожаловался Твардовский (в беседе с Хрущевым. — Б. Ф.) и на задержку в цензуре статьи Каверина. Сказал, что, на его взгляд, постановления ЦК о литературе 1946 года отменены жизнью, устарели безнадежно, их никто уже не решится цитировать. Но корабль литературы все еще целпляется килем за эти подводные камни». Однако Хрущев, разрешив печатать солженицынский «Один день Ивана Денисовича», на критику постановления 1946 г. положительно не отреагировал. 26 ноября 1962, уже после выхода № 11 журнала с сенсационной повестью Солженицына: «„Белые пятна“ Каверина не дают нам печатать» (статья Каверина была набрана для № 12 «Нового мира» за 1962 г., но снова не прошла цензуру). 21 августа 1964: «Разрешили с новыми купюрами многострадальные „Белые пятна“». (Отметим, что во всех хлопотах по части «Белых пятен» член редколлегии «Нового мира» К. А. Федин не принимал никакого участия, правда, и не мешал хлопотам.)

В итоге статья Каверина была напечатана лишь в № 9 за 1965 год под нейтральным названием «За рабочим столом». Приведав в статье заметку из БСЭ о Серрапионах, Каверин назвал ложным утверждение, что Лев Лунц был теоретиком Серрапионовых Братьев и что его статья «На Запад» была декларацией Серрапионов. Чтобы снять с Лунца политические обвинения, Каверин прибег к цитатам из Горького и Федина: «У меня нет никаких оснований претендовать на первенство в этом вопросе. Еще Федин в книге «Горький среди нас» подробно рассказал о спорах в кругу «Серрапионовых Братьев». Он впервые совершенно справедливо заметил, что статьи Лунца, воспринимавшиеся как «серрапионовские» декларации, никогда ими не были» («Новый мир», 1965, № 9, с. 153).

В этой же статье Каверин с разумной осторожностью, но вполне определенно повел речь о книге Лунца: «Наша литература ничего не проиграет, если в библиотеках и книжных магазинах появится книга Лунца — талантливая, отмеченная чертами интеллектуальных исканий двадцатых годов. Все, что он написал, не могло возникнуть до революции, он был «биологически» связан с ней, как и другие «Серрапионовы братья». Но в своих убеждениях и вкусах он был одинок. Ближе всего к нему был я — и не могу сказать, что эта близость помешала мне учиться и работать» (с. 154).

В начале 60-х годов воспоминания о Серрапионах написала и Елизавета Полонская; питерские и московские журналы печатать их не спешили и по предложению дружившего с ней Ю. М. Лотмана Полонская отдала несколько глав в Ученые записки Тартуского университета, где они и появились в 1963 году без цензурной правки с вступительной статьей З. Г. Минц. Сколько-нибудь широкому читателю они остались недоступными, но друзья Полонской их прочли и сердечно отзывались. Написанные тогда же воспоминания Полонской о Лунце удалось напечатать лишь в 1995 году («Вопросы литературы», вып. IV, с. 314—320). В них, в частности, есть такие слова о Лунце: «Это он сочинил статью «Почему мы Серрапионовы Братья?». Впоследствии некоторым из нас пришлось отречься от нее. Ну что ж, такие казусы случались даже с апостолами! А никто из нас не хотел быть мучеником. Правда, некоторым, как, например, Мише Зоценко, пришлось пострадать за

правду, и он сделал это достойно, но не у всех Серапионовых братьев была такая выдержка, как у Зощенко». В этом месте рукописи Полонской характерную помету оставил читавший ее М. Слонимский: «По-моему, не стоит мемуаристу касаться тяжелых болезненных моментов, за которые других (а отнюдь не мемуариста) били жестоко и несправедливо» («Вопросы литературы», 1995, вып. IV, с. 319—320).

В 1963 году Академия наук выпустила 70-й том Литнаследства «Горький и советские писатели. Неизданная переписка», в который, в частности, вошла избранный переписка Горького с Серапионами Зощенко, Кавериным, Слонимским и Фединым. Большой том был сдан в набор 15 марта 1962 г. — в относительно либеральную пору, а подписан к печати 30 декабря 1962 г., когда уже возникли первые вспышки очередной политической кампании против свободомыслия художественной интеллигенции; кампания достигла апогея в марте 1963 г., когда в нее со всем пылом своего темперамента включился Хрущев. Том горьковской переписки был отпечатан как раз в это время и уже из готового тиража бдительные его кураторы вырезали два листа, вклеив вместо них другие. Лист 387—388 с двумя письмами Горького Слонимскому (следы спешки налицо — было не до корректора, отсюда дурацкие опечатки: В. В. Ходасевич (поэт) и — крупным шрифтом — СМОНИМСКОМУ). На этом листе, видимо, была сделана купюра после слов Горького: «Тут про вас разные мудрые люди вроде Степуна Ф. А. пишут и публично читают, что вы все — контрреволюционеры. Спорю, утверждая, что вы в глубокой, органической ненависти вашей к «быту» истинные бунтари и революционеры». Второй лист 563—564 содержал комментарий к впервые напечатанной по-русски (как приложение к переписке с Фединым) статье Горького «Группа „Серапионовы братья“». По-видимому, комментарий был резко ужесточен. В окончательном варианте, вопреки стабильной установке не критиковать Горького, говорится об «идейных заблуждениях Горького начала 20-х годов» и о том, что он «явно недооценивал вредности формалистических и других чуждых советской литературе тенденций в статьях и пьесах Л. Лунца, в рассказах молодого В. Каверина». Было приведено и письмо К. Федина главному редактору Литнаследства И. Анисимову, в котором подчеркивалась роль Горького в борьбе с проявлением формализма у части Серапионов (т.е. фактически у Лунца и Каверина): «Внутри кружка «серапионов» шла борьба за и против этого влияния формалистов. <...> Стремление Горького оградить «серапионов» от формализма было хорошо им знакомо».

Так, каждая советская идеологическая кампания сопровождалась ударами по Лунцу.

В 1965 году в «Советском писателе» вышла книга Каверина «Здравствуй, брат, писать очень трудно», куда вошли и одноименные воспоминания о Серапионах, где о Лунце рассказывалось дружески и заинтересованно: «Его драмы «Бертран де Борн», «Вне закона» и другие — это сильные произведения, и можно только пожалеть, что наши театры обходят их — по незнанию или равнодушию? Или по той причине, что имя Лунца до сих пор кажется одиозным?» Сохранилось несколько эпистолярных откликов на эту книгу. Федин еще 9 октября 1965 г. писал Слонимскому: «Ты, конечно, знаешь книгу Каверина, там своя особая точка зрения». В Серапионову годовщину 1 февраля 1966 г. Слонимский писал Каверину: «Спасибо за книгу... Приятно, что в твоих рассказах о том времени все точно, достоверно и в то же время лирично» (В. Каверин. «Вечерний день». М., 1982, с. 253), а 16 мая 1966 г. Слонимский писал Федину: «Венька прислал мне свою книжку, она в общем интересна, хорошо о Тынянове, верно о Серапионах (со своей колокольни — но так уж получается с неизбежностью)». Федин в письме Полонской 6 февраля 1966 г. упомянул книгу «Здравствуй, брат...»: «Первого числа ко мне пришел Каверин. Вы знаете, что у него вышла книга, где много о былом. Литература о серапионах начинает *возникать!*». В то время стандартный тираж новой прозы в «Советском писателе» был 30 тысяч экземпляров. Книгу же Каверина, одного из самых читаемых беллетристов того времени, выпустили подчеркнуто мизерным тиражом — 15 тысяч. Пользовавшийся абсолютным доверием власти директор издательства Н. Лесючевский (с ним мы еще встретимся) недвусмысленно показал тем самым, что Серапионы и, в частности, Лев Лунц остаются персонами нон гра в советской литературе.

В 1966 году то же издательство выпустило тиражом в 30 тысяч «Книгу воспоминаний» М. Слонимского, где о творческих спорах Серапионов речи не было и о Лунце говорилось сухо: «Жил в Доме искусств семнадцатилетний Лев Лунц, романо-германист, филолог, которого в университете считали будущим ученым, а в Доме искусств видели в нем будущего литератора — драматурга и прозаика».

Так или иначе, но возникающая, по слову Федина, литература о Серапионах мало-помалу готовила почву для «реабилитации» имени Лунца и, стало быть, для выхода его книги в СССР.

Существенным толчком в этом направлении стала деятельность Соломона Семеновича Подольского, историка литературы и театра, отсидевшего свой срок в

Гулаге, вернувшегося в Москву к любимой работе и неожиданно заинтересовавшегося Лунцем. В короткое время Подольский собрал тексты Лунца и биографические материалы о нем, завязал переписку едва ли не со всеми, кто знал Лунца лично (и в СССР, и за рубежом), и на основе добытых материалов написал большую статью о Лунце, намереваясь со временем доработать ее до объема книги. Именно в процессе общения Подольского с Серапионами возникла мысль об издании книги Лунца.

Вот фрагменты писем Подольскому Елизаветы Полонской¹.

26 июня 1966 г. (Комарово, Дом творчества писателей)

<...> Сегодня к обеду почта принесла Ваше письмо из Паланги. Мне было очень приятно получить его и сообщить Михаилу Леонидовичу <Слонимскому>, который сидит за соседним столом. Он, как Вам известно, старый скептик, не верит в создание книги о Лунце. Но я верю в Вас и в Ваше упорство. <...> С нетерпением ожидаю Вашей статьи о Левушке Лунце!

2 сентября 1966 г. (Ленинград)

<...> От Михаила Леонидовича я получила Вашу рукопись и прочла ее с большим интересом. Конечно, Ваша статья еще потребует Вашей собственной доработки, да и карандаша доброжелательного редактора. Федину и Тихонову нужно послать ее в доработанном виде. Каверину дайте ее так.

18 сентября 1966 г. (Ленинград)

<...> Вы напрасно беспокоитесь, ни Слонимский, ни Полонская не могут помочь Вам написать книгу о Лунце. У Вас есть достаточно силы воли и воображения, чтобы представить себе десять молодых людей, брошенных в котел революции и отзывающихся на это со всей страстью молодости и таланта. Мы верили в нашу эпоху, и никто бы не мог нас разубедить ни кнутом, ни пряником. Мы не теоретики, мы не заботились о том, в какую группу нас запишут теоретики. Мы стояли за революцию и не боялись ничего. У меня в порядке дня книга воспоминаний, она в плане 67 года (книга не вышла до сих пор. — Б.Ф.) и я не могу терять время на чтение теоретических статей. Охотно подпишу коллективное заявление в издательство о книге, посвященной Льву Лунцу. Ваше дело писать... Несмотря на Замятина, который был для нас авторитетом литературным, Лунц был ближе к Виктору Гюго по чувству, хотя русские эстеты не признавали Гюго как поэта. <...>

21 декабря 1966 г. (Ленинград)

<...> Не знаю, что Вам ответят другие Серапионовы братья. Некоторые из нас очень осторожны, «другие уже стали классиками», как писал Лунц. Что касается меня, то я поддерживаю Ваше предложение об издании «Собрания сочинений Льва Лунца».

Наиболее тесные и доверительные отношения сложились между Подольским и Вениамином Кавериним, чья последовательно антисталинская позиция убеждала Подольского в надежности каверинской поддержки. Активные поиски С. С. Подольского и посвященная Лунцу диссертация американского слависта Гарри Керна (равно как и его сенсационная публикация писем из архива Лунца в нью-йоркском «Новом журнале») — все это подсказало Каверину мысль о сборнике произведений Лунца (см.: В. Каверин. «Эпилог». М., 1989, с. 445). Для практического осуществления этого плана Каверин придумал создать официальную Комиссию Союза писателей по наследию Лунца и уже от ее имени добиваться издания его книги.

Комиссию по наследию Лунца создать был правомочен лишь Секретариат Союза писателей. Каверин написал соответствующее обращение. «Письмо, — вспоминал он, — без колебаний подписали К. Паустовский, Н. Тихонов, К. Чуковский, В. Шкловский. Я сомневался, что его подпишет К. Федин, и действительно он предложил предварительно переговорить с Н. Тихоновым, «подготовить вопрос» (что было вполне разумно), и лишь потом поставить его на заседании Секретариата» («Эпилог», с. 446). Разговор с Фединым произошел 9 января 1967 г. в Переделкино, куда Подольский привез подписанное писателями обращение и личное письмо Каверина Федину:

¹ Из всех писем Серапионов Подольскому в его фонде в РГАЛИ только письма Слонимского и Федина закрыты (отнюдь не их адресатом).

«Ялта, 27 XII 66

Дорогой Костя!

Очень сожалею, что мне не удалось зайти к тебе перед отъездом в Ялту. Мне хотелось переговорить с тобой — о литературном наследии Левы Лунца и о книге Керна (о нем), которую я читал. Мне кажется, что давно пора выпустить произведения Лунца, чтобы он занял принадлежащее ему место в нашей литературе. Для этого необходима Комиссия по его литературному наследию. Может быть, ты мог бы поставить этот вопрос в секретариате, воспользовавшись нашим письмом? Или надо действовать как-либо иначе?» (В. Каверин. «Литератор». М., 1988, с. 204).

Как пишет Подольский в своем дневнике (РГАЛИ, ф. 2578, оп. 1, ед. хр. 34), «Федин начал читать письмо Каверина; лицо изменилось — он не был готов к этому», отсюда и его реакция: «Ставить вопрос на секретариате нельзя. Вопрос это трудный. Он будет для них неожиданным. Пойдут разговоры. Надо подготовить общественное мнение». Прощаясь с Подольским, Федин сказал: «Попробуем издать Лунца» (л. 7), и Подольский записал в дневнике: «Я ушел окрыленный».

История о том, как аккуратно была задушена вторая (первая — в 1924 году) попытка издать книгу Лунца, рассказана в каверинском «Эпизоге». Каждый из членов Комиссии сыграл в этом деле свою роль, и сохранившиеся документы позволяют увидеть это воочию.

На внешние и как бы объективные обстоятельства, решившие судьбу книги Лунца, несомненно наложились еще и непростые взаимоотношения Каверина с прочими Серапионами. Уже давно Федин, Тихонов и Слонимский выступали единым блоком, а Каверин им противостоял (при том, что долгие годы внешне отношения были корректными, если не сказать — сердечными). Каверина, как прежде и Лунца, фединское крыло Серапионов числило в «формалистах» и в том, что касалось литературной политики, остерегалось. Это подтверждает и уже цитированное здесь письмо Федина Слонимскому от 24 июня 1929 г. по поводу дел в «Издательстве писателей в Ленинграде»: «Сергеев (друг Федина, партийный работник и издатель, директор издательства «Прибой». — Б.Ф.) писал мне, что он смотрит с некоторой опаской на инициативу и сильную сплоченность группы «формалистов» в издательстве. Я разделяю это опасение. Я считаю, что мы должны очень осторожно отнестись к «поползновениям» формалистов во что бы то ни стало сохранить инициативу и «ведущую роль» за собой. Ты понимаешь, что это не значит, что Каверину или Эйхенбауму со Степановым мы должны преградить путь. Сотрудничество с ними необходимо. Но издательство не может испытать «крен влево», если формалистов рассматривать „левыми“».

Когда в 1934 году, в пору создания единого Союза советских писателей, власти ликвидировали кооперативное «Издательство писателей в Ленинграде», превратив его в Ленинградское отделение государственного издательства «Советский писатель», инициатива борьбы с «формалистами» перешла от Федина, Слонимского и Тихонова, занявших влиятельное положение в правлении нового Союза, к самой власти, обладавшей иным уровнем возможностей. Но в ситуации, возникшей 40 лет спустя внутри Комиссии по наследию Лунца, все снова повторилось — Федин (он не вошел в комиссию, но к нему, как первому секретарю Союза писателей, члены Комиссии, естественно, апеллировали в трудные моменты), Тихонов и Слонимский, как только на политическом небосклоне показались тучи, объединились против «формалистов» (Каверина и теперь уже Подольского). Отметим, что голос «советского формалиста № 1» В. Б. Шкловского ныне был с Фединым, а не с Кавериним.

«Расклад» взаимоотношений перед началом работы Комиссии по наследию Лунца Каверин описал так: «Наши отношения с Фединым были почти разорваны... С Тихоновым мы только вежливо раскланивались на переделкинских улицах, и не было случая, когда бы он остановил меня и спросил хотя бы о здоровье. С В. Шкловским я в ту пору почти не встречался. Остался один друг — Е. Полонская. Хотя мы встречались очень редко — она жила в Ленинграде — но регулярно переписывались и любили друг друга. Но именно она-то и не была привлечена к делу» («Эпизог», с. 447). Заметим, что имя Слонимского здесь даже не упоминается; в другом месте Каверин говорит, что Слонимский возглавил Комиссию «к моему позднему сожалению» (с. 444). Что касается Полонской, то в 1967 г. она тяжело заболела и оправиться от болезни ей было уже не суждено.

А теперь обратимся к переписке членов Комиссии по наследию Лунца. Заметим только, что в переписке Слонимского с Фединым и Тихоновым мы напрасно стали бы искать хоть каких-либо отголосков тех событий, которыми жила тогда наша интеллигенция, — в ней не найти ни слова о повести Дудинцева, об альманахе «Литературная Москва», о «Новом мире», о мемуарах Эренбурга, о Солженицыне и т.д., ничего, что бы могло взволновать души, растревожить совесть...

1967 год

4 марта. ПОЛОНСКАЯ — ПОДОЛЬСКОМУ

<...> Наш молодой «серапионов брат» <Каверин> сохранил силу прежних лет и добился (или добивается) разрешения на печатание Собрания сочинений Льва Лунца (и этому мы, Серапионы, обязаны Вашей инициативе). На днях он приезжал в Ленинград, говорил со мною по телефону и написал внушительное письмо Михаилу Леонидовичу Слонимскому, который является нашим «братом-кунктатором» и не замедлит (или замедлит) отозваться и примет на себя роль председателя комиссии по изданию Льва Лунца. И Н. Тихонов, и Виктор Шкловский, и Федин, и даже Паустовский подписались под заявлением, что же остается издательству? Время работает на нас: у меня появился режиссер, жаждущий поставить на телевизоре пьесу автора двадцатых годов. Он спросил меня, что бы я ему посоветовала, и спросил об испанских пьесах Лунца. М.б. посоветовать ему поставить «Обезьяны идут»? <...>

Заметим, что в это время в производстве находился подписанный к печати 27 февраля 1967 г. четвертый том Краткой литературной энциклопедии с заметкой В. Л. Борисовой о Лунце — «русском советском писателе, публицисте». Отметив, что литературно-эстетические взгляды Лунца состояли в «попытке утвердить искусство как самоцель», автор подчеркнул, что это было в большой мере «болезнь роста» и что «ранняя смерть оборвала только лишь начавшуюся литературную деятельность Лунца, незаурядность таланта которого не раз отмечал М. Горький».

16 марта. СЛОНИМСКИЙ — ФЕДИНУ

<...> Последнее время я пишу Тебе письма подряд. На этот раз — по делу Лунца. Вчера мне позвонил Каверин и порадовал известием, что организуется комиссия по литературному наследию Лёвиному. Это — отлично! При этом он сказал, что согласовано с Тобой мое председательство в этой комиссии, состоящей из Тихонова, Каверина и Шкловского. Это очень лестно. В то же время меня смутило то, что я, как председатель, могу оказаться недостаточно добросовестным. Все члены комиссии — в Москве, а председатель — в Ленинграде. При этом председатель отнюдь не молодой, обремененный возрастом и болезнями и потому неспособный к выездам в Москву чуть что. Чувствую, что ездить в Москву чаще, чем сейчас (а это приблизительно — раз в год), я буду не в состоянии. Каверин ответил, что от меня мало что потребуется, заседать не понадобится, а если я буду не председателем, а только членом комиссии, — то делу будет нанесен вред. Ясно, что после этого я немедленно согласился.

15 апреля. ФЕДИН — СЛОНИМСКОМУ

<...> И вот пришло время, когда можно надеяться, что ты сможешь сказать доброе слово и о Лунце — хорошо, что ты соглашаешься возглавить комиссию по наследию его. Я думаю, дело найдет одобрение: разговор мой в СП по поводу плана Каверина принят был довольно положительно. <...>

10 мая состоялось заседание Секретариата Союза писателей, которое постановило образовать Комиссию по наследию Льва Лунца. Федин в Комиссию не вошел. Каверин писал в «Эпизоде»: «Федину мы не решились предложить войти в комиссию, для этого он — председатель Союза писателей СССР — занимал слишком высокое положение. Нам он обещал содействие и сдержал обещание» (с. 444). Надо думать, Каверин, друживший с Эренбургом, знал от него, чем оборачивается официальное участие Федина в работе комиссий по наследию. (Эренбург — один из инициаторов создания Комиссии по наследию Бабеля и ее бесценный участник — в свое время порекомендовал избрать председателем Федина, полагая, что его положение в Союзе писателей поможет комиссии в реальном деле — издании книг, но, как вскоре обнаружилось, Федин и пальцем не пошевелил, чтобы преодолеть упорное сопротивление властей изданию книг Бабеля.)

Включенный в Комиссию В. Б. Шкловский официально в группу Серапионовых Братьев не входил. В «Сентиментальном путешествии» (1923 г.) он назвал Серапионов Лунца, Слонимского, Каверина и Полонскую своими учениками. Серапионы же всегда считали его своим. Пыкий Лунц восклицал: «Виктор Шкловский — Серапионов Брат был и есть» («Новости», М., 23 октября 1922), а рассудительный Федин спустя 20 лет писал: «Виктор Шкловский, считавший себя тоже серапионом и действительно бывший одиннадцатым и, быть может, даже первым серапионом — по страсти, внесенной в нашу жизнь, по остроумию вопросов, обращенных в наши споры» (Федин. Собр. соч., т. 10, М., 1986, с. 72). Шкловский, кажется, первым назвал имя Лунца в печати, и было это в 1919 году («Жизнь искусства», 2 октября); упоминал он Лунца и в книге «Ход конем» (1921), а затем писал о нем в

«Сентиментальном путешествии». В 60-е годы у Шкловского мало что осталось от «репутации отчаянной головы, смельчака и нахала, способного высмеять и унижить любого человека» (Н. Чуковский. «Литературные воспоминания». М., 1989, с. 61), но он все еще поражал блистательной формой своих выступлений, хотя содержание их уже давно перестало быть взрывчатым. Это, конечно, не означает, что Шкловский безнадежно ослеп. В письме семье скончавшегося М. Слонимского (11 октября 1972 г.) он писал: «Я еще бреюсь, но не начинаю новых книг. Душа замощена злым камнем. Петербург. Нева. Миша. Неверный Горький. Бедный Иванов. Каверин, который сам себя обманывает. Федин, заклеенный склерозом. Прощай, прощай, прощай, жизнь. <...>».

9 июня. ШКЛОВСКИЙ — ПОДОЛЬСКОМУ

<...> Вашу рукопись я получил и просмотрел. Она очень интересна, но работа Лунца не отделена от работ его учителей — в частности, Эйхенбаума, Тынянова и моих работ. Лунц пришел на студию с работой «Дети в романах Достоевского». Конечно, работа была детская. Надо выяснить терминологию, тогда ясно станет, что сделал Лев, в чем он ошибся и кто его научил работать и ошибаться. Поговорите о Льве с Полонской и со Слонимским. <...> Посмотрите архивы (Тынянова и Эйхенбаума). Сделано Вами очень много. Поздравляю Вас и удивляюсь Вашему умному и хорошо направленному трудолюбию.

12 июня. ТИХОНОВ — ПОДОЛЬСКОМУ

<...> По-моему, все в порядке. Осенью будет собран весь сборник и будет видно, что к чему. Сборник будет немного пестроват, но если его хорошо оформить и отредактировать, то эта пестрота придаст ему оригинальность. Надо достать статью или диссертацию Лунца о Мариво. У меня есть его рассказ «Колечки», который отсутствует в Вашем списке, несколько писем. И, конечно, я попробую написать страницы воспоминаний. И мое стихотворение, посвященное Лунцу, можно будет поместить в соответствующий раздел.

22 июня. СЛОНИМСКИЙ — ФЕДИНУ

<...> Книгу Лунца собираем, осенью будут уже заказанные фотокопии его произведений. Есть мысль включить не только произведения его, но и письма и воспоминания о нем. Ты, наверное, воспользуешься тем, что у тебя уже есть о Лунце. Но, может быть, Ты напишешь сверх того, что есть? Это бы замечательно было!

5 августа. СЛОНИМСКИЙ — ФЕДИНУ

<...> Лева вновь омолаживает нас. Я сейчас принимаюсь за очерк о нем.

В приписке к письму И. И. Слонимская осторожно сообщает Федину, что они с мужем прочли публикацию Г. Керна в «Новом журнале»: «Мы с Мишей прочли те письма, о которых Вы пишете Лиде <Харитон> <...> Действительно, окунулись в прошлое. Какие прелестные Ваши письма. Вообще — сколько задора, темперамента, как остроумно. И как все любили Леву. <...> У меня Левины письма все сохранены. Я очень долго их не перечитывала — не могла. А нынче зимой перечитала».

23 октября. ТИХОНОВ — ПОДОЛЬСКОМУ

<...> Последнее время я был адски занят — другого слова нет — и не мог не только разыскать рассказ Лунца, но и вообще заниматься этой темой. Теперь, когда праздники пройдут, после них я в тишине займусь сборником о Лунце и сразу сообщу все, что надумаю в этом отношении.

31 октября. СЛОНИМСКИЙ — ФЕДИНУ

<...> Молодые литературоведы — весьма интересный народ. Извлекают забытые имена, заполняют «белые пятна» на литературной карте, подходят свежо к каждой теме. <...> Впрочем, секретарь Комиссии по наследию Льва Лунца С. С. Подольский, старик, с трудной биографией, не уступает им в энтузиазме. Он приезжал недавно в Ленинград. Летом я договорился с Базановым, директором Пушкинского Дома, о снятии копий с Левиных рукописей, имеющихся в П<уш-кинском> Д<оме>, и Базанов очень облегчил дело — там за копирование рукописей не спросили ни копейки. Жест широкий и симпатичный.

26 декабря. ШКЛОВСКИЙ — СЛОНИМСКОМУ

<...> Я согласен на съезд комиссии 14 января 1968 г. Теперь о составе книги. <...> Начинать книгу надо, как и вы думаете, со статьи Горького, со статей Каверина и Тихонова, с воспоминаний и со статьи составителя книги Подольского. Я думаю, что я успею написать. В конце книги так же надо дать письма и какое-то ко-

роткое описание — деловое о группе Серапионовых братьев. Без полемики, не влезая в вопрос о Жданове, просто написать, что было, когда собирались, кто был. Можно это сделать в виде комментария. <...> Статью Лунца о Серапионах тоже надо напечатать с упоминанием о том, сколько автору было лет. Книга трудная, книга интересная. Перегружать ее не надо <...>.

1968 год

КАВЕРИН. «Эпилог»

«Слонимский не приехал — был болен или отговорился болезнью. Шкловский хотел, чтобы комиссия собралась у Тихонова, Тихонов отказался, и решили собраться у меня, а потом пойти к Федину за благословением. Встреча состоялась 14 января и прошла, как говорится, в «дружеской обстановке». Подольский пишет о ней с восторгом, отмечая, впрочем, что «Каверин был строг, сух и держался поветски дня». Однако за обедом и я разговорился — как-никак мы не встречались годами, а молодость была хороша, и грешно было о ней не вспомнить... Машина пришла и, как мне ни было тошно, я поехал к Федину. <...> Когда, уступив просьбам Федина, я сел за стол, Шкловский провозгласил тост. <...> Не помню его дословно, однако помню, что смысл заключался в том, что все хорошо: и то, что мы издаем Лунца, и то, что на свете существует Советская власть, которая позволила нам его издавать. <...> На этот неуклюжий тост, как на камертон, было настроено заседание, заставившее меня в последний раз встретиться с Фединым, ни единому слову которого я больше не верил» (с. 448—449).

15 января. СЛОНИМСКИЙ — ФЕДИНУ

<...> Хотел на заседании прочесть свои воспоминания о Леве — я их как раз закончил, но судьба (вернее, ледяшка на пороге Дома Творчества в Комарове) распорядилась иначе [Слонимский упал, и это помешало ему приехать в Москву. — Б.Ф.]. Я их перепечатаю и пошлю. Подольского (или, может быть, Тихонова) попрошу показать их Тебе. Мне очень важно Твое мнение и всех серапионов. Дело святое, тут все должно быть чистым и достоверным. <...>

Именно в эти дни произошел конфликт, существенно повлиявший на дальнейшую работу лунцевской Комиссии. Его причиной стал Федин, сыгравший решающую роль в запрещении романа Солженицына «Раковый корпус».

25 января. КАВЕРИН — ФЕДИНУ

Мы знакомы сорок восемь лет, Костя. В молодости мы были друзьями. Мы вправе судить друг друга. Это больше чем право, это долг. Твои бывшие друзья не раз задумывались над тем, какие причины могли руководить твоим поведением в тех, навсегда запомнившихся, событиях нашей литературной жизни, которые одних выковали, а других превратили в послушных чиновников, далеких от подлинного искусства. <...> Не буду удивлен, если теперь, после того как по твоему настоянию запрещен уже набранный в «Новом мире» роман Солженицына «Раковый корпус», первое же твое появление перед широкой аудиторией писателей будет встречено свистом и топанием ног. <...> Ты берешь на себя ответственность, не сознавая, по-видимому, всей ее огромности и значения. Писатель, накидывающий петлю на шею другому писателю, — фигура, которая останется в истории литературы независимо от того, что написал первый, и в полной зависимости от того, что написал второй. Ты становишься, может быть, сам того не подозревая, центром недоброжелательства, возмущения, недовольства в литературном кругу: изменить это может только в одном случае — если ты найдешь в себе силу и мужество, чтобы отказаться от своего решения.

Письмо Каверина Федину (как и аналогичное письмо Твардовского) широко распространилось в самиздате; Федин на эти письма, естественно, не ответил, но в его письмах Слонимскому отныне имя Каверина не встречается или упоминается враждебно.

КАВЕРИН. «Эпилог»

«План сборника Лунца был послан в Секретариат, и Секретариат постановил поручить правлению издательства «Советский писатель» «рассмотреть вопрос об издании сочинений Лунца и воспоминаний о нем». Казалось бы, все трудности были позади. На деле они предстояли. Хотя «Советский писатель» как орган Секретариата обязан был выполнять все его решения, на деле эти решения не значили для издательства ровно ничего».

6 февраля. ФЕДИН — СЛОНИМСКОМУ

О Лунце ты написал очень, очень хорошо. В очерке — любовь, тепло, товарищеское восхищение. Нигде ни слова какого-нибудь отвлечения в сторону — только о нем.

С его «портретом», с оценкою его значения для молодых писателей и *народившейся* литературы в целом, я согласен. Вероятно — это наиболее эмоциональная статья из посвященных тобою писателям. В том ее сила. Думаю — ее нельзя сравнивать с тем предисловием к подготавливаемому сборнику Лунца, которое мне передали товарищи из лунцевской комиссии — Коля Тихонов, Виктор Шкловский, а вернее — еще прежде — секретарь этой комиссии — Подольский. Предисловие должно ведь, волей-неволей, сказать и нечто совсем другое о Лунце, чтобы *открыть* книгу его для людей, привыкших к искаженному представлению об этом имени. Другое должно оспорить неверную оценку явления, называемого Лунцем. Значит, не эмоции могли бы сыграть здесь преобладающую роль, а цепь непреложных доказательств, *интеллектуальный* ход их, мысль *логическая*.

И я уверен — ты можешь (и захочешь!) поработать над предисловием, чтобы утвердилась верная оценка Льва Лунца во всеобщем мнении. Если же в предисловии не будет удачно, убедительно доказана (или по меньшей мере, наглядно показана) вся нелепость сложенного критическими агитками представления о Лунце, как чуть ли не о литературном «антисоветчике», то сборник о нем не выполнит своего назначения. <...>

В издательстве «Сов. пис.» пока только имел с директором и глав. редактором подготовительный разговор о книге Лунца. И буду скоро говорить в Союзе.

17 марта. СЛОНИМСКИЙ — ФЕДИНУ¹

<...> Пользуюсь случаем напомнить о книге Лунца. Ты, конечно, получил письмо Комиссии? Там все сказано. Меня очень волнует вопрос об издании. <...>

21 марта. ШКЛОВСКИЙ — СЛОНИМСКОМУ

<...> Получил твою статью о Лье Лунце. <...> Лев Лунц оказался живым, нужным, своим.

Серапионы не сахарные, но очень талантливые ребята.

Статью надо увеличить на пять страниц — описанием Горького и напечатать сейчас. <...> Очень хорошо ты написал.

5 апреля. ТИХОНОВ — ПОДОЛЬСКОМУ

<...> Второго четверостишия в стихах «Махно» печатать не надо. Лунц взял один из первых вариантов, который я исправил в ходе работы. Строфа неважная и я ее выгнул, вот почему ее нет в печати. <...>

В статье о стихах Тихонова Лунц цитировал вторую строфу стихотворения «Махно»: «Зачервонили по ветру сабли,/По Днепру зажуپанили вестн,/Что коммуников руки ослабли,/Краснозвездцы в селах не в чести». С этой строфой стихотворение было впервые напечатано в берлинском издании альманаха «Серапионовы братья» и вошло в книгу «Брага»; впоследствии Тихонов печатал «Махно» без этой строфы.

28 апреля. ФЕДИН — СЛОНИМСКОМУ

<...> Отвечаю на твою просьбу, сделанную от имени «всей комиссии по лит. наследию Лунца» — «дать согласие на то, чтобы книга вышла под редакцией К. А. Федина».

Такого согласия я не даю.

Если речь идет о книге произведений Льва Лунца, то было бы совершенно естественно, чтобы Комиссия не только подписала предисловие к книге, но и взяла на себя работу по редакции книги. Разумеется, редактирование ее может быть возложено и на отдельных литераторов или коллегию из них — во всех вариантах по выбору и решению Комиссии. То же самое касается другой книги — воспоминаний и статей о Лунце. <...> Как и в первом случае, я не буду участвовать в редакции книги, но — как один из авторов сборника — должен заявить, что представляю сводку высказываний моих о Лунце для напечатания при условии любого по выбору Комиссии состава редакции, за исключением такого, в котором главным — а так же, само собой, единоличным редактором был бы В. Каверин. В та-

¹ Это письмо начинается с выражения благодарности Федину, чье вмешательство способствовало включению в план издательства «Художественная литература» собрания сочинений Слонимского в 4-х томах, которое было осуществлено в 1969—70 годах.

ком случае я заявил бы тебе, как председателю Комиссии, о возврате моей рукописи. <...>

28 мая. ШКЛОВСКИЙ — ПОДОЛЬСКОМУ

Ваша статья о Лунце целиком ошибочная. Нам друг перед другом нечего хитрить. <...>

Дело состоит вот в чем: что Лев Лунц был писателем чрезвычайно одаренным, и это надо не утверждать, а показывать. Зная языки, он находился под влиянием немецкого романтизма и испанского театра. В этом ничего плохого нет. <...>

Лунцу нужна была литература действующая и первое время он ее цитировал, хотя у него был и критический талант. Революция усилила интерес к романтизму — это явление временное. Революция усилила интерес к бытовизму — это было явление временное. Писатели увлекались сказом, создавали из языка непроницаемую завесу для фактов. Так писал Андрей Белый, так писал Алексей Ремизов — их ошибки Лунц понимал, но вместо этого он звал на Запад. Надо написать, на какой, почему на Запад.

Лунц не отвечает за свои ошибки, потому что он был мальчиком, а писал он хорошо. Защищать его теоретические статьи и вступать в полемику с Лебедевым-Полянским, которого все забыли, не надо, потому что не надо повторять чужой ругани.

Надо написать статью — справку на 10 страниц. Содержание такое: у Серапионов пророков не было, теории новой литературы еще не было ни у кого, она создавалась, создавалась методом попыток. Лунц, как мальчик, был патетичен в высказываниях. Его категоричность не принимал никто, но в ответ говорили другое — тоже категоричное и неправильное. <...> Спорить с партийными постановлениями, до сих пор не снятыми, Вам не надо. <...>

Братья Серапионы друг с другом говорили очень резко. Я говорю с Вами, как с братом. Так же мы говорили с Лунцем, так говорил бы Лунц сам.

8 августа. ТИХОНОВ — СЛОНИМСКОМУ

<...> Сегодня иду к Федину. Костя долго отсутствовал — был в Барвихе, лечился. Как сейчас себя чувствует — не знаю. <...> От Подольского я тоже последнее время ничего не слышал о книге Лунца. Но мне кажется, с ней ничего особенного произойти не может. Это явление далекого прошлого — и сегодня не ощущается особо остро. <...> И так много событий, более приближенных к нашим дням.

В ночь на 21 августа 1968 г. советские войска вступили на территорию Чехословакии, положив конец «пражской весне» и всем надеждам на возможность реализации «социализма с человеческим лицом». С этого момента резко ужесточается идеологическая политика Старой площади. В переписке Серапионов возникает долгая пауза.

9 октября. ТИХОНОВ — ПОДОЛЬСКОМУ

Вы послали мне рассказ Льва Лунца «Путешествие на больничной койке». <...> Конечно, его можно печатать в нашем сборнике. Рассказ грустный, но если представить, в какой обстановке он писался, то хуже и быть не может. Хорошо, что Михаил Леонидович следит за продвижением книги.

21 декабря. ШКЛОВСКИЙ — ПОДОЛЬСКОМУ

<...> Мы ни в какой форме не можем вести переговоры с Керном о каком бы то ни было обмене материалами. Из Советского Союза ни Николай Семенович, ни Михаил Леонидович не посылаем никакого материала, который не прошел через цензуру. Адресаты ненадежны и коварны. В институт Горького и ЦГАЛИ материалы можно передавать, но мы не должны быть участниками переговоров о передаче этих материалов Керну. «Путешествие на больничной койке» вводить в книгу не надо. Общее правило.

Вы, Соломон Семенович, или я, мы не имеем права от себя пересылать какие-нибудь материалы без решения комиссии, закрепленного протоколом. Никакого самовольства здесь не может быть. Материал сложный, хотя и очень хороший.

Помните, что существует комиссия и все действия должны быть с ней согласованы. Ответьте на мое письмо.

1969 год

ИЗ ЗАПИСОК ПОДОЛЬСКОГО

«Весь 1969 год прошел в попытках включить книгу Лунца в план издательства на 1970 год. О том, как вести эту борьбу, между членами комиссии проявились

разные точки зрения. Они постепенно привели к разногласиям между мной и Слонимским. Возникший спор стал предметом обсуждения внутри комиссии. За весь год не удалось организовать встречи членов комиссии, чтобы на заседании обсудить трудные вопросы отношений наших с издательством. Поэтому переписка и разговоры — личные и по телефону — были средствами обсуждения этих вопросов».

30 января. ШКЛОВСКИЙ — СЛОНИМСКОМУ

<...> Читаю письма Лунца. Какая прелесть! Какая на свете (на нашем свете) была светлая дружба. <...> Написал письмо Тихонов С. Подольскому, что надо хлопотать помещение в план книги Лунца. <...>

Для этого нужны пустяки: 1) Ты напишешь Коле, 2) Коля передает письмо Косте, 3) Костя пишет на письмо рецензию на имя Лесючевского <...>.

Здесь впервые в переписке возникает недоброй памяти имя Н. В. Лесючевского (1908—1978) — многолетнего и всесильного директора издательства «Советский писатель», профессионального стукача, служившего в 30-е годы консультантом НКВД в Ленинграде. Его доносы на Заболоцкого и Б. Корнилова («Лит. Россия», 10 марта 1989 г.) привели к аресту поэтов. В своей издательской деятельности Лесючевский последовательно выполнял явные и тайные пожелания своих могущественных хозяев, зарубив массу замечательных книг.

25 марта. ШКЛОВСКИЙ — СЛОНИМСКОМУ

Наконец получил письмо от Федина. Он пишет (передай Подольскому): «Слонимскому ответу. С Ник. Тихоновым поговорю, повидаюсь. Вообще Лунца хотел бы увидеть, как хочешь его ты. Подольский прислал мне перевод англичанина Гари Керна — книгу о Лунце. При множестве ошибок много интересного». <...>

27 марта. ФЕДИН — СЛОНИМСКОМУ

О книге Лунца буду говорить в «Сов. писателе». Ты знаешь ведь, тормоза тут будут на всяком шагу. Но думается, терять надежду на успех нельзя. Письмо Комиссии за двумя подписями — твоей и Виктора Шкловского — получил; попрошу подписать Тихонова и (со своей просьбой) вручу Лесючевскому. Виктору обещал так же — как тебе — сделать, что в силах.

КАВЕРИН. «Эпилог»

«Федин, в растроченной душе которого еще брезжила память о покойном друге, лично просил Лесючевского издать сборник, хотя как председатель правления Союза писателей на административной лестнице стоял бесконечно выше его. <...> Мне удалось разгадать несложную комбинацию, с помощью которой Лесючевский и Карпова (гл. редактор издательства. — Б. Ф.) возвращали «неудобным» авторам их книги. Карпова заказывала рецензию, заранее подсказывая ее содержание, а если попадался напористый литератор или книга не могла вызвать никаких возражений, заказывалась вторая рецензия, потом — третья, четвертая и так далее. <...> Такой же тернистый путь предстоял сборнику Лунца, с той разницей, что в этом случае издательство вынуждено было действовать осторожно — тянуть, врать, отделяваться неопределенными ответами и т.д. (с. 450, 451).

В июле 1969 года в советской печати была развернута кампания травли и дискредитации руководимого Твардовским «Нового мира». Чем дальше заходила кампания придушения полусвободного слова в стране, тем менее уютно чувствовали себя в делах лунцевской комиссии Федин и Тихонов и тем меньше шансов оставалось ждать от них прямых действий в поддержку книги Лунца.

11 сентября. СЛОНИМСКИЙ — ФЕДИНУ

Хочу известить Тебя о положении дел с изданием книги Лунца. Я получил весьма неблагоприятные (пока еще неофициальные) сведения о судьбе книги в «Сов. писателе». Рецензии (правда, с признанием таланта), как мне сообщили, — отрицательные. Издание книги признается несвоевременным. Все это — *предварительно*. Лесючевский, как меня известили, не читал книги и слова своего не сказал. На заседании Центрального Правления вопрос этот не стоял.

Я опасаюсь, что обращение мое в издательство с официальным запросом могло бы только ускорить возврат книги. И вот, я пришел к заключению, что пока что надо постараться, чтобы книга Лунца не была *официально* возвращена, чтобы она продолжала числиться на рассмотрении издательства. <...>

КАВЕРИН. «Эпилог»

«Первым испугался Слонимский, причем подобно прогрессивному параличу, это было прогрессивный испуг. Сперва он стал отделяться от Подольского, что было почти невозможно, потому что последний, с его старомодной принципиаль-

ностью, просто не понимал его. Потом он стал отказываться от председательства, а когда Подольский, с завидной для старого человека энергией, начал уговаривать Слонимского, тот ответил на уговоры грубым письмом. <...>

Вторым испугался Тихонов. Подольский передал ему мою просьбу о письме, подписанном всеми членами комиссии, но он отклонил это предложение и на вопрос: «Что же делать?» — ответил: „Ничего не делать. В издательстве идет подготовка к ленинскому юбилею“ (с. 452).

31 октября. ФЕДИН — СЛОНИМСКОМУ

Я согласен с тобой, что лучше не «форсировать» решение издательства о книге Лунца. <...> Я собираюсь на будущей неделе в издательство по разным (писательским, конечно) делам и тогда переговорю, посоветуюсь о книге Лунца — видно будет — с кем и как, чтобы не усложнять положения, не ставить на книге креста.

1970 год

В январе-феврале Старая площадь была занята изгнанием Твардовского из «Нового мира». В качестве повода для расправы использовали публикацию на Западе поэмы Твардовского «По праву памяти». А. Кондратович приводит слова Твардовского, сказанные ближайшему другу Федина писателю И. Соколову-Микитову: «Все зависит от К.А., а он и пальцем не хочет шевельнуть» («Новомирский дневник», с. 480). 3 февраля Федин вел заседание Секретариата Союза писателей, решившее судьбу редколлегии «Нового мира» («Все решили без меня, — возмутился Твардовский. — Константин Александрович Федин решил. Он председательствовал» — там же, с. 485). Федин, заявлявший еще недавно, что если Твардовскому придется уйти из журнала, то и он не останется в редколлегии, разумеется, и после разгрома журнала остался членом редколлегии (новой).

6 января. ТИХОНОВ — ПОДОЛЬСКОМУ

Я получила Ваше письмо и проект письма в издательство «Советский писатель». Конечно, книга Лунца в конце концов, я не сомневаюсь, увидит свет, но сейчас, мне кажется, надо отложить обращение комиссии в издательство и вот почему.

Как стало известно, Николай Васильевич Лесючевский в настоящее время болен и лежит в больнице Института кардиологии, и вряд ли он имеет возможность заниматься делами издательства.

Издательство же должно выполнять утвержденный план 1970 года в трудных условиях, имея дело с сокращением бумажных лимитов и, следовательно, количества изданий. А между тем, год юбилейный и требует выполнения плана в расширенном виде.

Почему мне и кажется, что в деловые отношения по книге Лунца издательство сможет вступить не сейчас, в самый разгар изданий 1970 года, а несколько позже, скажем — после выхода юбилейных изданий, т.е. где-то ближе к осени, когда положение с планом 1970 года будет более ясным.

Представленное сейчас в издательство наше обращение будет лежать, дожидаясь лучших времен. Так мне кажется...

16 марта, по настоянию Подольского и Каверина и вопреки сопротивлению литначальства, состоялся доклад о работе лунцевской Комиссии на бюро секции критики и литературоведения Московской писательской организации.

КАВЕРИН. «Эпилог»

«Почти никто не явился на бюро, в комнате едва ли было больше пяти-шести человек. Все же я сделал доклад, а Подольский — сообщение о биографии Лунца. Решение поддержать сборник состоялось после умного и содержательного выступления Вл. Огнева, высоко оценившего деятельность Лунца. «Из всех возможных форм помощи было избрано обращение к К. А. Федину», — пишет Подольский, не подозревая, что и Федин ничего не может сделать в „изменившейся обстановке“» (с. 453).

23 апреля. СЛОНИМСКИЙ — ФЕДИНУ

Я толком ничего не знаю о том, что делает московская часть Комиссии по Лунцу. Тебе это расскажет Тихонов. Болезни (перелом был мучительный) оторвали меня от всех дел, и я сам не знаю всех подробностей. Но я узнал, что Лесючевский сидит на своем посту. И вот, хочу Тебя просить. Может быть, Ты сможешь переговорить с ним о книге Лунца. Ее можно и перепланировать, вообще еще раз обдумать — *только бы не вернули!*

Это долг совести, и я *ужасно боюсь решительной неугачи*. Кто позаботится об

этой книге так, как можем мы?.. У Тебя — авторитет, вес, с Тобой считаются. Пожалуйста, подумай, сделай что возможно для Левиной книги. <...>

[Выделенные фразы подчеркнуты красным карандашом Федина по прочтении письма.]

27 апреля. ФЕДИН — СЛОНИМСКОМУ

В письме твоём есть нечто вроде заклипания: аминь, аминь — рассыпья! Это фраза, касающаяся рукописи Лунца, ее судьбы в портфеле издательства.

Представь себе! Недели полторы назад, то есть числа 15—16 с/месяца состоялась у меня встреча с Н. Лесючевским, посвященная разным издательским делам. <...> Лесючевский сказал мне, что отзывы складываются для рукописи Лунца неблагоприятно и если теперь ставить ее на обсуждение редсовета «Сов. писателя», то результат будет неизбежно отрицательным. Я, в свое время, настаивал на передаче рассмотрения книги в Редсовет, но тут, прикидывая всю обстановку, складывающуюся с редпланами, а также — особенностями «биографии» книги, я решил не форсировать передачу ее в редсовет. Разговор с Лесючевским закончился его и моим согласием — не передавать сейчас книгу редсовету, отложив это на какое-то время. Таким образом, не зная даже о «твоем предложении» — «перепланировать», «обдумать еще раз» — что следует предпринять ради издания книги, мы остановились на решении повременить. <...>

4 мая. СЛОНИМСКИЙ — ФЕДИНУ

С болезнями не стоворишься. <...> А вот с издательством «Советский писатель» можно будет, надеюсь, договориться. Да, я думаю тоже, что сейчас надо повременить. Это, пожалуй, самое полезное, что в данный момент можно сделать для издания книги. <...>

14 мая. ФЕДИН — СЛОНИМСКОМУ

Насчет Лунца тревога твоя понятна мне — я сам не знаю покоя с вопросом — что же делать? Буду говорить пообстоятельнее с гл. редактором «Сов. пис.» — В. М. Карповой.

Читая эти письма, трудно отделаться от ощущения, что присутствуешь на спектакле в театре абсурда. Однако наберемся сил и дослушаем наших героев до конца.

17 мая. ТИХОНОВ — СЛОНИМСКОМУ

Да, после юбилейных высоких дней начались обычные будни и кругом дела и заботы. Я тут болел — переутомился, как черт. Согласен с тобой, что надо «повременить», чтобы поспешностью не испортить дела, а кроме того, действительно надо подумать о некоторой «перепланировке», так как следует ее давать Редсовету уже с большей уверенностью. <...>

6 июля. ФЕДИН — СЛОНИМСКОМУ

Незадолго до отъезда сюда (в санаторий. — Б.Ф.) я, наконец, встретился с директором и главным редактором издательства «Сов. писатель».

<...> редакция издательства располагает двумя рецензиями на рукопись Лунца, принадлежащими М. Храпченку¹ и Евг. Книпович². Обе они «отрицательные». Если поставить вопрос об издании книги на рассмотрение Редсовета, то двух этих голосов будет достаточно, чтобы книга не увидела света. Мне не удалось склонить глав. ред'а и зав. издательства к тому, чтобы дать рукопись на отзыв еще двум рецензентам: они «не видят» таких кандидатов, которые могли бы отозваться о рукописи положительно (на мой взгляд — и не очень хотели бы видеть таковых).

Я избрал такой путь к дальнейшему «продвижению» дела: издательство не ставит на обсуждение рукопись Лунца, пока составители ее не пересмотрят содержание вновь, о чем писал ты мне, обдумывая «перепланировку» Левиной книги, исходя из основной идеи издания — воскресить художника Лунца. <...>

9 июля. ТИХОНОВ — СЛОНИМСКОМУ

Хочу сообщить тебе, что недавно мне позвонил Веня Каверин и сказал следующее: по его мнению, и с ним, вероятно, согласятся все, книга Лунца в таком виде, как она сейчас, в издательстве «Советский писатель» не пройдет. Целый ряд обсто-

¹ Михаил Борисович Храпченко (1904—1986) — литературовед; в 1939—1948 гг. председатель Комитета по делам искусств; впоследствии академик, с 1967 г. — секретарь отделения литературы и языка Академии наук.

² Евгения Федоровна Книпович (1898—1988) — критик.

ательств свидетельствует об этом. Поэтому у него явилось такое предложение. Взять книгу из издательства и переработать ее, т.е. перераспределить материал, удалив оттуда некоторые произведения и полемику, которая сегодня не звучит.

Я ответил ему на это, что совершенно согласен с этим предложением и что пусть он попробует единолично привести книгу в новый порядок, т.е. подготовить ее к изданию заново. Он сказал, что для взятия книги из издательства надо согласие членов комиссии. Я сказал, что достаточно, чтобы он переговорил или написал тебе об этом и ты, как возглавляющий комиссию, можешь попросить рукопись и тут не надо никакого бумажного словопрения. Дело простое и ясное.

Не знаю, звонил ли тебе Каверин или написал? Во всяком случае, книга Лунца будет, конечно, издана, но надо, чтобы она не стала какой-то ненужно полемической. Пусть она останется собранием произведений молодого талантливого, много подававшего надежд, литератора. Каверин добавил, что в Италии книга Лунца вышла, заключая только пьесы, и никакие его статьи не помещены. <...>

22 сентября. ТИХОНОВ — СЛОНИМСКОМУ

Вот уже осень на дворе. Листья летят и дни летят, и всякие дела тоже. Ну, с рукописью Лунца все стало в ином порядке. Я получил от Подольского текст обращения в Издательство, подписанный и тобой, сам подписал и отправил Подольскому, а там уж рукопись возьмут из издательства и начнется работа над новым вариантом. Тут время терпит. <...>

26 ноября. ТИХОНОВ — ПОДОЛЬСКОМУ

<...> Надо снять со сборника Лунца «Хождение»¹... Это было написано в пору молодости и носило характер злой, но шутовой пародии. Сейчас большей половины действующих лиц этой пародии нет в живых и при этих обстоятельствах произведение это теряет всякий смысл, даже шуточный. <...>

30 декабря. ФЕДИН — СЛОНИМСКОМУ

<...> А что ты, Миша, скажешь насчет близящегося 1 февраля?

<...> Независимо от каких-либо дат, надо снова обменяться впечатлениями от судьбы книги Лунца, пересмотренной ныне Подольским и не дождавшейся еще никакого ясного отзыва.

1971 год

1 февраля исполнилось 50 лет Серапионовым Братьям.

2 февраля. ТИХОНОВ — И. И. СЛОНИМСКОЙ

1 февраля — в день 50-летия нашей литературной молодости у меня хорошо посидели. Пришел Костя Федин и Ниночка². Больше не было никого. Вспомнили всех серапионов, старые времена, говорили о тебе и Мише, пили Ваше здоровье. <...>

25 марта. ТИХОНОВ — ПОДОЛЬСКОМУ

По-моему, совершенно правильно, что Вы передали в ЦГАЛИ материалы, касающиеся жизни и творчества Л. Н. Лунца, так как там его литературное наследство сохранится для всех, кто захочет изучать его и писать о нем.

Ах, эта умильная забота о доступности бумаг Лунца «для всех, кто захочет»! Что говорить о застойных временах, если и сегодня собранный С. С. Подольским и хранящийся в РГАЛИ фонд Лунца остается — по причинам, не сформулированным — закрытым!..

5 октября. ТИХОНОВ — СЛОНИМСКОМУ

Видел я на днях Федина. Он держится ничего, бодро, его все-таки поставила на ноги больница и Барвиха, и он на даче в Переделкине. Мы с ним из тех редких зимогоров, которые проводят в Переделкино зиму. <...> Воспоминаний у нас с тобой ворох — тюки — стоит задуматься и они — целыми сериями перед глазами. Да, много мы видели, много мы прожили! Удивительно даже!

Ты прав, подымать дело Лунца сейчас рано. Самый сложный узел событий, самая трудная обстановка...

¹ «Хождение по мукам» — рассказ-пародия Лунца; опубликован в «Вопросах литературы», 1993, вып. IV, с. 247—256.

² Н. К. Федина — дочь писателя.

Будем надеяться, что и эти все трудности рассосутся, со временем уйдут в обыкновенную картину действительности, а сейчас куда ни плюнь — осложнения!

Это послание — последнее из писем Серапионов, в котором упоминается так и не вышедшая книга Лунца...

На этой книге, как бы не возражал против ее издания с подачи своих информаторов Отдел культуры ЦК КПСС, у них свет клином не сошелся, и, прояви непреклонную волю Федин и Тихонов, с мнением которых на Старой площади неизменно считались, книгу Лунца, пусть даже в сокращенном виде, идя им навстречу, несомненно издали бы. (Тут кстати будет напомнить, как в 1964 году Комиссии по наследию Бабеля — ее возглавлял Федин — сказали, что мы, мол, не против издания Бабеля, но, понимаете ли, бумаги сейчас нет. Федин понимающе отмолчался, а член Комиссии И. Эренбург прилюдно заявил: «Нет бумаги? Хорошо — сейчас издается собрание моих сочинений в 9 томах, снимите один том и напечатайте Бабеля!»). Крыгть было нечем, и в 1966 году Бабеля издали, правда умершему Эренбургу этого не забыли и в последующие 20 лет не издавали ни его, ни Бабеля.) Конечно, прояви Федин и Тихонов непокорность, власти, возможно, и стали бы их меньше ценить, но они выполнили бы долг памяти до конца. Однако влиятельные Серапионы, поддержанные «пониманием» Слонимского и Шкловского, предпочли не рисковать своим покоем...

М. Л. Слонимский скончался в 1972 году, К. А. Федин — в 1977-м, Н. С. Тихонов — в 1979-м, В. Б. Шкловский — в 1984-м. Самый молодой из Серапионов В. А. Каверин дождал до перестройки и успел сдать в набор написанную на рубеже 70-х годов книгу «Эпилог», в которой безжалостно рассказал об эволюции своих старых друзей. Однако увидеть книгу «Эпилог» Каверину не было дано — он умер в 1989 году, до ее выхода в свет.

В 1981 году книга избранных сочинений Льва Лунца вышла по-русски в Израиле; в нее не вошли сценарии, рецензии, эссе и письма Лунца, а также воспоминания о нем.

В 1994 году эту книгу повторило тиражом в 2 тысячи экземпляров петербургское издательство «Композитор» по инициативе композитора С. М. Слонимского (сына писателя М. Л. Слонимского) и с его предисловием «Воскресение из небытия», в котором израильская книжка неточно названа полным собранием сочинений Лунца. Это, первое на родине автора, издание его сочинений — несомненно благородный жест человека, сознававшего мучительное бессилие своего отца и не ограничившегося попыткой его словесного оправдания.

Первая в России книга Лунца внушает робкую надежду, что полное издание его сочинений у нас впереди.

МЕМУАРЫ XX ВЕКА

Г. П. БОК

ПУТЕШЕСТВИЕ К ЗВЕЗДАМ

Главы из книги воспоминаний

Предисловие

Я написал эту книгу по настойчивым просьбам моих друзей и родственников. По мере того как события Русской революции все более удалялись во тьму лет, история жизни моей семьи и ее побега из России после октябрьских событий все сильнее пробуждала их интерес. Чтобы наиболее полно, точно и ярко отобразить всю окружающую нас действительность того времени, мне пришлось описать наше происхождение, наш быт, стиль жизни, наших родственников и знакомых. В результате само путешествие из Петрограда в Соединенные Штаты Америки стало лишь малой, заключительной частью книги. Много времени прошло с начала века. Возможно, в моих воспоминаниях есть какие-либо неточности и пробелы, но, я полагаю, они не существенны и не исказят общего представления о той эпохе и событиях той поры. Я надеюсь, вам понравится мое повествование.

За Первой мировой войной и Октябрьской революцией последовала жестокая диктатура, сильно повлиявшая на ход событий во всем мире. Мне посчастливилось пережить этот сложный период истории в безопасном отдалении от России. К счастью, времена меняются в лучшую сторону. Россия становится страной для людей, страной людей, страной, создаваемой людьми, и занимает подобающее ей место в ряду демократических государств мира.

Хотя Москва является столицей России, Петербург был и продолжает оставаться культурным и образовательным центром державы. Петербург, без сомнения, самый красивый город мира. Он по-своему энергичен, своеобразен и элегантен, как того желал и добивался Петр Великий. Я родился в этом городе в тысяча восемьсот девяносто девятом году, но не являюсь русским по происхождению, так как мой отец был гражданином Соединенных Штатов Америки и оставался таковым после приезда в Россию до конца своих лет. Отец преданно служил своей новой родине и много сделал для становления коммерции и промышленности России. Вследствие этого, моя жизнь была материально обеспеченной, но особенно горжусь я превосходным образованием, полученным в школе Тенишева. Годы обучения в этом заведении дали мне широкий интеллектуальный базис, которым, я думаю, сейчас могут похвастаться не многие. С большой радостью я встретил возвращение городу первоначального имени. Я всегда ощущал, что существование города под неподходящим и не заслуживающим того именем было периодом стагнации, упадка, и его имя просто не могло не возродиться вновь. В течение десятилетий много страданий обрушилось на город и его жителей. Но, подобно птице Феникс, он победно восстает из пепла. Несомненно, такая сила — прямое следствие присущего городу внутреннего духовного величия, величия и благородства.

Я рад сказать эти слова вам, жителям Петербурга. Мое сердце навсегда с вами и вашим городом. Желаю вам счастья и успехов в будущем!

Георгий Павлович Бок

Блумингтон, Индиана, США
1996

Георгий Павлович Бок родился в 1899 году в Петербурге, в семье американского гражданина, члена совета директоров влиятельного Руссо-Азиатского банка. Автор воспоминаний описывает Петербург начала века, быт состоятельной семьи, поездки за границу, события 1917 года и бегство семьи через Сибирь, Китай, Японию, Атлантику — в США.

© Г. П. Бок, 1997

ПОБЕГ

Ужин в пятницу шестнадцатого ноября [1917 года] по новому стилю проходил в необыкновенной тишине. Дети понимали, что в их жизни и жизни их семьи должно произойти что-то важное. После ужина отец собрал всех в кабинете и сказал, что американский посол, мистер Фрэнсис, пригласил его сегодня днем к себе и между ними состоялся примерно следующий разговор:

— Мистер Бок, вы, несомненно, понимаете всю неопределенность ситуации в городе и положение дел в стране?

— Да, господин посол, я не знаю, как долго будет открыт мой банк.

— Я не думаю, что долго. Коммунисты все разрушают, и ситуация будет ухудшаться очень быстро. Моя забота теперь — обеспечение личной безопасности американских граждан. Я не могу более гарантировать вам спокойствие и предлагаю всем американцам готовиться к эвакуации. Я зарезервировал все места в ближайшем транссибирском экспрессе, который отправляется ночью во вторник. Вы можете взять четыре места, так как я полагаю, что в вашей семье четыре человека.

Рассказывая это, отец казался взволнованным и потрясенным. Потребовалось несколько минут, чтобы к нему снова вернулось самообладание. Мать уже, наверно, обо всем знала, сидела спокойно, держала руку отца и увещевающе глядела на нас. Мы застыли в ожидании. Отец продолжал:

— Господин посол, за такое короткое время мы не успеем подготовиться к отъезду. У меня есть обязательство перед банком. Я должен переложить все свои полномочия на заместителя.

— Мистер Бок, я не думаю, что ваш банк при разворачивающихся событиях просуществует длительное время. Однако если вы чувствуете, что не в состоянии завершить ваши дела ко вторнику, вы можете отправить поездом вашу жену и детей. Я могу предложить вам мою личную защиту, в конце концов убежище в посольстве, если в том возникнет нужда. Если я вынужден буду перевести посольство в другой город, я могу вас взять с собой. Пожалуйста, подумайте о семье. Вы должны сделать все быстро, так как другие люди воспользуются вашими местами в поезде. Сообщите ответ как можно быстрее, — закончил посол.

Отец сказал, что все уже обговорил с матерью и она определенно отказалась следовать без него. Таким образом, родители отклонили предложение мистера Фрэнсиса и решили организовать отъезд своими силами, возможно, на следующем поезде, отправляющемся двадцать седьмого ноября. Мы, дети, конечно, не осознавали всей серьезности момента и чувствовали возбуждение от предстоящего переселения. Мы предвкушали путешествие через всю Сибирь, Дальний Восток и Северную Америку, ведь нам следовало обогнуть почти две трети земного шара. Причина для такого дальнего пути в восточном направлении вместо короткого западного была проста — война. Немцы высадились в Финляндии, и мы оказались отрезанными от Западной Европы. Наши родственники, сначала Георгий, Маргарет и Ваня, а потом Джин с Маделиной Каестлины, выбрали в Финляндию до того, как немцы захватили север. Более того, они были швейцарцами, то есть представителями нейтрального государства. Мы же являлись союзниками России и поэтому держались подальше от немцев. Все родственники теперь находились в Норвегии в ожидании удобного момента, чтобы попасть в Англию через Северное море, а оттуда перебраться на континент.

Таким образом, нам ничего не оставалось делать, как забронировать места на следующий транссибирский экспресс. Отец проинформировал об этом мистера Фрэнсиса, который сказал, что один из его атташе, мистер Брекинридж, повезет этим поездом дипломатический багаж и, если отец пожелает, он может сдать некоторые ценности семье к нему, так как брат с собой деньги, картины и ювелирные изделия не следует ввиду возможных конфискации. Так и поступили, привезенные матерью драгоценности посольство обязалось доставить в Пекин.

Последующие дни мы посвящали приготовлениям к отъезду. Отец завершал свои дела в банке, мать орудовала дома. Войска Германии подбирались к Риге и рвались вперед. Поэтому в квартире решили оставить Матильду и еще одну горничную, зрителям открыли счета для выплат, а квартплату внесли за год вперед. Мы не могли взять с собой ничего ценного и, надежно упаковав медную кухонную утварь, предметы искусства, картины, бронзу, а также отцовскую коллекцию восточных ковров, послали их прочь от наступающих немецких войск на текстильный завод в Тверь, где отец был члном правления. Столовое серебро, в изобилии подаренное родителям на серебряную свадьбу в июне этого года, доста-

вило нам много хлопот и включало несколько полных столовых наборов, множество отдельных предметов, среди которых выделялась роскошная чаша вместимостью около семи литров, сделанная из полноценного чеканного серебра и украшенная овальными аметистовыми медальонами. Серебряную утварь поместили в крепкие деревянные ящики и отправили в московский банк «Союз». Все полагали, что эти меры временные, что вступление в войну Соединенных Штатов приведет к скорой победе, дела в России наладятся, все будет по-старому и мы вернемся за оставленной собственностью в Петроград. Это мнение было столь сильно, что отец отказался тайно вывезти свои ценности, так как легально это не позволялось из-за войны, и брал в изгнание лишь минимум вещей для личного пользования.

Для такого дальнего путешествия нам следовало получить паспорта, и, как рекомендовалось местным участком милиции, мать пошла в городское управление. Она нашла чиновника, ответственного за необходимую процедуру, но по причине позднего времени ей отказали. Этот бюрократ очень гордился своим новым положением и предложил ей прийти на утро следующего дня. Мать пришла утром и увидела того же самого чиновника. Тот заявил для пущей важности, что сперва следует изучить ее дело и затем уже должным образом ее известят о результате. Мать не приняла этого издевательства и напомнила, что он обещал оформить документы сегодня. Она задела его самолюбие и выиграла. «О да, если я сказал, то так и будет!» Без лишних слов он приложил печать и поставил подпись. Потом добавил: «Вы знаете, я ведь жил в Нью-Йорке. Возможно, у нас есть общие знакомые. Кто ваши друзья там?» — «Президент Вильсон и прежний президент Рузвельт», — не моргнув глазом, резко ответила мать. Она всегда отстаивала свою точку зрения и не терялась в подобных ситуациях.

Так как американский посол не резервировал мест в транссибирском экспрессе, отправлявшемся двадцать седьмого ноября, отец незамедлительно связался с международной компанией «Вагонс Литс». К великому счастью, удалось приобрести билеты в одно купе первого класса, где было два места, хотя большинство билетов раскупили спекулянты. Отец поручил Петру Правдину¹ разыскать всех возможных перекупщиков и достать еще два билета. Утром во вторник весь багаж прибыл на вокзал. Хотя дополнительных билетов еще не купили, окончательно решили ехать этим поездом, даже если отцу и Георгию² придется находиться в переполненном третьем классе. Во второй половине дня стали появляться провожавшие нас друзья и родственники, а вечером отца подозвали к телефону, и после короткой беседы он дал Георгию полторы тысячи рублей, объяснив, как разыскать Петра Правдина по нужному адресу. Приехав в отдаленный район города, Жора встретил Петра, и, взбравшись по темной лестнице, они постучали в общерпанную дверь. Дверь тотчас открыл здоровенный мужик. После короткого разговора Петр сунул ему пачку купюр, пересчитав деньги, мужик вручил нам билеты. Довольные сделкой, мы направились в контору компании «Вагонс Литс», где билеты признали действительными. Нам досталось купе второго класса, но все же это было лучше, чем ничего, и оказалось как раз вовремя. Мы чувствовали себя счастливыми, хотя второй класс обошелся дороже первого. Позднее мы обнаружили, что нам повезло вдвойне, так как все последующие поезда отменялись.

Прощание сопровождалось смешанными чувствами. Родителям не хотелось расставаться с друзьями и следовать навстречу неизвестности, но они верили в удачное завершение нашего пути. Мы же, дети, сгорали от нетерпения в восторге от предстоящего, достаточно необычного путешествия в Америку, тем более что после долгого периода мрачных времен мы отвыкли от обычных развлечений и поездок по железной дороге. После моего появления с долгожданными билетами начались слезные объятия, посыпались наилучшие пожелания и клятвенные заверения писать друг другу письма. Наконец мы сели в вагон компании «Вагонс Литс», которых во всем составе было всего два. Так как билеты покупали в таких разных источниках, да еще не одного класса, нас приятно удивило, что два наших купе оказались соседними, и мы охотно уединились в них, отгородившись от внешнего, такого неприветливого мира. Тут все напоминало нам о прошлых путешествиях по Европе: зеркала в рамках красного дерева, привернутые латунными болтами к парчовым стенам, те же позолоченные приспособления, та же

¹ Верный слуга семейства (прим. авт.).

² Здесь и далее автор часто говорит о себе в третьем лице (прим. ред.).

монограмма на коврах, обивке диванов и оконной занавеси, знакомая коричневая форма проводников и фуражка носильщика, однако все выглядело несколько потертым и поношенным, не таким идеальным, как в прежние времена. <...> Было приятно ощущать, что мы вместе, мы чувствовали себя счастливыми и готовыми в нелегкий путь.

СИБИРЬ

Возможно, первым свидетельством того, что наше путешествие будет не совсем обычным, стали два казака, направлявшиеся куда-то в Сибирь. Их приставили для охраны вагона, предложив им за это бесплатный проезд. Они не имели купе и решили спать в коридоре прямо на полу. Мы охотно приняли их как наших телохранителей, и нам повезло, так как они оказались хорошими честными парнями, и ничего плохого в дальнейшем не случилось. На вокзале царила полная неразбериха. Сотни людей томились в залах ожидания, коридорах и на платформах. На несколько поездов объявили посадку, кондукторы ударяли в колокола, свистели паровозы. Казалось, что все пассажиры давно уже сели в вагоны, но поезд не отправлялся. Эта суматоха продолжалась и поздно вечером, но вот, после легкого толчка, наш поезд наконец тронулся и медленно поплыл прочь от вокзала, временами замедляясь и совсем останавливаясь. Оставив позади столицу и ее окрестности, он уверенно набрал скорость. Кто спал в ту первую ночь, не запомнилось. События недавнего времени переполняли наши головы. Воспоминания сменяли друг друга, постепенно удалялись, уходили в прошлое, само прошлое становилось призрачным и далеким. Хорошо ли, плохо ли мы спали, но проснулись рано утром от ударов, доносившихся снаружи неподвижного вагона. Посмотрев украдкой через щель занавески, мы, к большому своему ужасу, увидели на платформе толпу разъяренных солдат. Как мы узнали потом, поезд находился в Вологде. <...> Шум и крики снаружи казались невразумительными, но вид толпы был нам хорошо знаком. Всю революцию, то там то здесь, бунтовали отдельные части войск, угрожая расправой полковым офицерам. Вскоре стало известно, что солдаты дезертировали с фронта и страстно желали вернуться к своим домам, намереваясь реквизировать для этой цели наш поезд, да и вообще любой другой поезд, появившийся на вокзале. Мы с тревогой ожидали исхода инцидента, длившегося несколько часов. Один из пассажиров нашего вагона, бывший судья, произнес из тамбура вагона пламенную речь и своим ораторским искусством кое-как смог убедить солдат, что вскоре прибудет другой поезд и заберет их в нужном направлении. Поезд покинул Вологду и побежал дальше на восток. Такие сцены повторялись на каждой остановке в течение первых четырех дней путешествия. На одной станции наши верные казаки, представ перед открытой дверью в угрожающих позах, с шашками наголо, заявили дезертирам, что в вагоне перевозят под охраной политических заключенных, таким образом заставив солдат повиноваться, пока поезд не тронулся. <...> Один раз взбунтовавшимся солдатам удалось отцепить паровоз от нашего состава. У них уже были вагоны, но их паровоз сломался, и мы простояли добрую половину дня, пока начальник станции не нашел для нас замены. Паровоз подогнали к составу, и движение возобновилось. Толпа выбила окна соседнего вагона, так что его пассажирам пришлось путешествовать в холоде. Нам в этом отношении повезло, но все же наши нервы порядком истрепались. Казалось, люди становились все злее и ожесточеннее, по мере того как мы продвигались на восток.

Иногда наш поезд плелся довольно медленно, временами вообще останавливаясь на половине пути непонятно где и почему. Всякий раз, когда поезд притормаживал, наши сердца сжимались в ожидании возможных неприятностей. И это беспокойство было не беспочвенно, так как днем на станциях повсюду находились дезертиры. Ночью они, вероятно, спали, и поезд беспрепятственно проскальзывал мимо станций.

За окнами раскинулся сельский пейзаж. Наблюдать его не доставляло особого удовольствия. Насколько хватало глаз, виднелась скучная, покрытая снегом равнина, и редко что-либо нарушало ее однообразие — деревья, небольшие рощицы, замерзшие речушки, скопления ветхих избушек или лачуг, скупо освещенные низким северным солнцем. Урал оказался довольно мрачной землей. Это были покрытые жиденьким лесом холмы, непохожие на те высокие горы, что мы видели прежде. Но все же колея здесь шла на подъем и паровоз заметно напрягался. Через несколько часов подъем уже остался позади, наступил торжественный момент: поезд пересекал границу Европы с Азией и въезжал в Сибирь. С

этого времени наше путешествие стало безопаснее, хотя и не без некоторых приключений. Мы настолько успокоились, что посещали других пассажиров нашего вагона. В соседнем с матерью и Верой купе мы познакомились со спасающейся от революции и направляющейся в Японию молодой парой — Володей и Лидой. Мы обедали вместе с ними, пили чай, а вечерами даже танцевали в коридоре, отбивая па в такт стуку колес. <...> Отец <...> плохо спал и часто сидел на нижней койке, вспоминая громаду обрушившихся на него событий последнего времени и их всевластных непреодолимых последствий. Революция вмиг разбила вдребезги все, к чему он так стремился в течение многих лет. Ему шел пятьдесят пятый год, и еще недавно он был на взлете своей карьеры. Мать, без сомнения, оказалась в расстройстве. Ведь ей пришлось внезапно расстаться с такими любимыми ею прелестями жизни — высоким социальным положением, изысканной питерской квартирой, дорогими подарками, преподнесенными на их серебряную свадьбу. Она, впрочем, успела спасти часть драгоценностей, когда мистер Фрэнсис предложил взять их в дипломатический багаж посольства, и зашила свое жемчужное ожерелье в небольшой удобный кармашек под локтем. Отец и Георгий спрятали по пятисотрублевой купюре в галстуки под воротники рубашек. Нас предупреждали не брать ничего ценного, и мы в избытке распихали по чемоданам одежду, которая теперь путешествовала вместе с нами в багажном вагоне. Георгий и Вера были очень возбуждены таким долгим и интересным переселением в сказочную «страну звезд». Нам казалось, что мы воистину принадлежим Америке, так как наши предки происходили оттуда родом. Путешествие по Сибири завораживало нас, и даже страшные первые дни лишь только прибавили нам азарту. <...>

На пятое утро, после пересечения широкого, замерзшего Иртыша, поезд прибыл в Омск. Там он стоял целый час, и мы смогли посетить привокзальный ресторан. Прекрасный обед приятно отвлек нас от поднадоевшей уже снеди вагона-ресторана. Возвращаясь к поезду, мы заметили множество людей на широкой платформе перед зданием вокзала. Некоторые просто стояли, другие направлялись к вагонам, эта картина не казалась такой воинственной и революционной, как на станциях в начале нашего пути. После обычных трех ударов колокола состав тронулся и из здания вокзала показалась бегущая женщина. Она направлялась к вагону впереди нашего, так что вскоре мы потеряли ее из виду. Внезапно поезд затормозил и резко остановился, толпа мгновенно охватила то место, где исчезла из нашего виду женщина, и нам оставалось только гадать, что же произошло. Напрасно мы пялились в окна коридора, но вскоре прошел слух, что несчастная женщина, поскользнувшись на обледенелой подножке, попала под колеса следующего вагона и погибла. <...> Происшествие неприятно нас поразило, мы чувствовали себя на фоне всех предыдущих печальных событий совсем подавленными. Поезд стоял, пока не прибыла полиция. Через час паровоз свистнул, наш состав тронулся и возобновил свой бег по заснеженным пустынным равнинам Восточной Сибири, прикрытым тяжелыми серыми облаками, вид которых никоим образом не рассеивал нашего мрачного настроения. К вечеру несчастный случай в Омске забылся и мы хорошо поужинали в вагоне-ресторане в небольшой компании ставших уже знакомыми пассажирами.

После ужина последовала недолгая остановка на какой-то станции, а через некоторое время в коридоре появились вооруженные солдаты с красными повязками на рукавах. Заходя в купе и приказывая всем оставаться на своих местах, они проверяли документы и обыскивали вещи. Заметив небольшой американский флаг, прикрепленный к багажной полке в купе матери, солдаты вежливо отдали честь и прошли мимо, так как поняли, что мы американские граждане. Ни слова не было сказано в оправдание этого обыска и никто не извинился. Проверив весь вагон, солдаты удалились. Ночью поезд долго стоял в Красноярске, его толкали несколько раз то вперед, то назад, прежде чем он возобновил свое движение. К утру появились слухи обо всем происшедшем накануне. Говорили, что женщина, которая попала под поезд в Омске, имела при себе какую-то записку. Из нее стало ясно, что на поезде есть контрабанда опия, информацию об этом сообщили вперед по телеграфу, и на предыдущей станции солдатам приказали обыскать все вагоны. Наш проводник оказался причастным к преступлению. Он и солдаты проследовали в вагон-ресторан, где ночью ему учинили допрос. Потом все они сильно напились и устроили пожар. Сгоревший вагон-ресторан отсоединяли в Красноярске, — вот почему там поезд несколько раз толкали, — солдат и проводника арестовали. <...> Отец вспомнил, как однажды рано утром он подметил, что на одной из панелей стены в коридоре нашего вагона отсутствовало большинство винтов. Он удивился и осмотрел все другие панели, но они оказа-

лись в порядке. Он также вспомнил, как в ночь перед прибытием в Омск, когда он не спал и прогуливался в коридоре, проводник, не заметив его, светил в окно фонарем, как бы кому-то сигнализируя. Отцу даже показалось, что кто-то отвечал извне. Все эти детали лишь добавили интереса к делу. Мы сожалели о потере вагона-ресторана, который вряд ли мог быть заменен на просторах Сибири, и ломали голову над тем, как просуществовать без него оставшуюся часть путешествия. Но по прибытии на станцию заметили множество крестьян, выстроившихся шеренгой перед поездом. В их лотках лежала ветчина, жареное мясо, дыплята, котлеты, всевозможные сорта хлеба, масло, вареные яйца и прочие продукты. Не стоит говорить, что мы закупили всего этого впрок и устроили большой банкет, а наши казаки приносили со станции для чая кипятки, и все мы пировали, вместо того чтобы голодать. Так продолжалось до Иркутска, куда мы приехали вечером на восьмой день и где оказался хороший привокзальный ресторан.

Теперь стало ясно, что наш поезд отставал от расписания. Мы уже находились в пути больше недели, но не преодолели и половины расстояния, в то время как поездка до Харбина обычно длится восемь дней. Опоздание не имело для нас большого значения. <...> Но все же это начинало досаждать, а отсутствие возможности принять ванну вызывало определенный дискомфорт. Всеобщая неразбериха и вмешательство дезертиров сильно задержали наш экспресс, особенно в тот день, когда нам искали паровоз. Вероятно, мы делали больше остановок, чем планировалось.

Однажды, после езды в течение нескольких часов по пустынной территории без малейших признаков заселенности, поезд остановился и стал двигаться в противоположном направлении и в конце концов прибыл на ту же станцию, с которой отправлялся. Видимо, поезд послали по неверному пути, что заметили довольно поздно. Мы находились в Центральной Сибири, вдалеке от трагических событий того времени. Продвижение наше было размеренным и спокойным, экспресс сейчас не терял столько времени, как в начале путешествия. В самом деле, мы и не мечтали о том, чтобы нагнать потерянное время. Удивительно, что при всех обстоятельствах наше путешествие еще хоть как-то продолжалось. Тогда мы особо не радовались такому нашему везению, но, узнав о победе революции и тотальном разгроме в России, изменили свое мнение. Последствия войны и тем более Октябрьского переворота еще не достигли этих отдаленных мест.

Поезд держал свой извилистый путь через долины и ущелья, временами преодолевая крутые подъемы и туннели. Снег покрывал далекие вершины, а близлежащая безлюдная местность поросла густым сосновым лесом. Скванные льдом горные потоки и водопады встречались в изобилии. Мы перебежали с одной стороны вагона на другую, любуясь величественной панорамой этого края, но, к сожалению, не смогли насладиться созерцанием изумительной природной жемчужины, озера Байкал, так как миновали его ночью. На следующий день пейзаж значительно изменился, мы приближались к северной оконечности монгольской пустыни Гоби. Снег здесь отсутствовал, виднелась лишь ширь волнистых песчаных холмов да дюн, а между Улан-Удэ и Читой попадались караваны верблюдов. Тут все было однообразным в цвете и формах, так что не чувствовалось, спускаемся ли мы с горы, поднимаемся вверх или ползем по ровной местности.

После двух дней поездки по бесплодной пустынной земле, утром одиннадцатого дня, поезд прибыл на станцию Маньчжули, на границу России с Китаем. Мы ожидали обычных таможенных процедур и немного этого боялись, но, высадившись из поезда, к огромному нашему изумлению, заметили британских таможенников. Они добродушно поздравили нас со спасением от революции, и никакой проверки багажа, тем более конфискации не последовало. Мы могли взять с собою все ценности, какие смогли бы унести, и очень огорчились этим известием.

КИТАЙ

Когда путешествие возобновилось, наш поезд уже двигался по Китайско-Восточной железной дороге, являвшейся частью финансового предприятия отца. Пейзаж за окном не изменился, и мы с нетерпением ожидали завершения этой затянувшейся поездки. На следующий вечер мы наконец приехали в Харбин. Поезд следовал дальше во Владивосток, так что большинство пассажиров высаживалось здесь. Мы сердечно попрощались с нашими товарищами по несчастью, Володей и Лидой, поклявшись во что бы то ни стало разыскать их в Японии, через которую собирались плыть в США. На вокзале нас встретил управляющий местным отделением Руссо-Азиатского банка мистер Нельсон, одно время обу-

чавшийся банковскому делу у отца. Мы поехали на санях к дому мэра города, где мистер Нельсон организовал для нас временное пребывание, так как все гостицы переполняли беженцы из России.

Расположившись в большой комнате на диванах и временных койках, мы не чувствовали себя неудобно и определенно радовались завершению нелегкого переезда. Наши хозяева оказались более чем гостеприимными, и, отоспавшись, мы прекрасно позавтракали. Стояла солнечная, но очень холодная погода, около сорока градусов ниже нуля. Мы много лет жили в суровом климате Петербурга и переносили достаточно холодные зимы, но этот сумасшедший мороз был нестерпим даже для нас. К счастью, отсутствие ветра значительно ослабляло ощущение холода, и мать отправилась с детьми на ознакомительную прогулку.

Харбин застроен, как и большинство городов Сибири, в основном одноэтажными домами, однако здесь присутствовали постройки в китайском стиле с изогнутыми крышами и иероглифами на вывесках магазинов. Маньчжурия, являвшаяся провинцией Китая, управлялась на севере совместно с Россией, а на юге совместно с Японией. Бросалась в глаза перенаселенность города, пешеходы заполняли все тротуары, по мостовым друг за другом двигались многочисленные сани, меж которыми лавировали редкие автомобили. Мать взяла нас в булочную и кондитерский магазин. Здесь поражало разнообразие выбора, тут находилось все, о чем мы почти забыли: эклеры, воздушные пирожные с кремом, наполеоны, бисквиты, дамские пальчики, сладкие булочки, кофейные пирожные, слоеные пирожки, пироги, торты, все изумительно соблазнительное, ничуть не хуже того, что мы видели в Петербурге. Неудивительно, ведь город наводнили богатые эмигранты, сохранившие сбережения и ценности от конфискации или прямого ограбления. Многие из них еще не растратили свои средства, не зная, что ждет их впереди. После восторженного осмотра всей этой снеди Георгий воскликнул: «Тут двадцать один вид моих любимых пирожных!» Мать мягко посмеялась, но все же кое-что купила.

Мы провели вечер в гостях у Нельсонов, где нас по-королевски встретили и устроили роскошный ужин. Это было подобно раю после бегства из ада. На следующий день российский комендант прислал за нами автомобиль. <...> Генерал-комендант и его жена развлекали нас как могли, затем родители отправились с ними куда-то с визитом, а мы остались в доме коменданта в компании его детей.

После восьми дней передышки мы возобновили путешествие и сели утром на дневной поезд, который должен был доставить нас в город Чанчунь — южное окончание трансманьчжурской ветки Китайско-Восточной железной дороги. Пейзаж за окном напоминал Восточную Маньчжурию перед Харбином, однако привлекали внимание здешние железнодорожные станции, похожие на небольшие крепости, охраняемые солдатами с пулеметами. Говорили, что тут полно бандитов, нападающих на поезда, а пассажирские вагоны имеют броню вдоль стен от пола до окон, так что в случае атаки надо лечь для безопасности на пол или присесть. С нами ничего плохого не произошло, и около полудня мы прибыли в Чанчунь. Здесь нас встретил представитель местного отделения отцовского банка и проводил к другому поезду, принадлежащему Чозенской железной дороге, управляемой японцами. Состав оказался более современной конструкции, чем предыдущий, причем, как мы обнаружили позднее, походил на американские поезда, да и ехал быстрее. Гости вручили нам корзину с продовольствием, сказав, что еда в здешних поездах оставляет желать лучшего. В ней лежали жареные цыплята, ветчина, булочки, фрукты и бутылка вина. Пируя этими дарами весь день, мы к вечеру приехали в Муқден, но не смогли осмотреть город, так как уже стемнело, а утром нам следовало садиться на очередной поезд.

Не покидая вокзала, мы поужинали в ресторане и заночевали в привокзальной гостинице «Ямато», подобной множеству других, принадлежавших Чозенской железной дороге. Большие комнаты с высокими потолками, элегантной мебелью и удобными кроватями приятно поразили нас. Хорошо отоспавшись, мы утром разыскали наш поезд. Широкая вокзальная платформа, в середине которой находились длинные здания с залами ожидания и багажным отделением, разделяет два пути. На одной стороне заканчивается Чозенская железная дорога, на другой начинается Китайская. Мы теперь намеревались ехать по Китайской дороге на юг в Пекин. Знакомый банкир позаботился о нас и зарезервировал весь последний вагон, полагая, что нам было бы приятнее путешествовать в кругу своей семьи, а не в компании шумных, говорливых китайцев.

Вагоны были деревянные, а паровоз очень маленький, мы такого прежде никогда не видали. Поезд задерживался с отправлением, платформа кишела людьми в коротких стеганых пальто, стоял сильный мороз. Мать с Верой зашли погреть-

ся в вагон, отец и Георгий оставались снаружи и ожидали багаж, но его все не подвозили. Это не сулило ничего хорошего, так что отец попросил Жору сходить в багажное отделение и выяснить, в чем там дело.

Зайдя в здание, Георгий подошел к длинной низкой стойке, где несколько служащих просматривали толстые книги с записями. Жора обратился к ближайшему из них, но тот его не понял. Жора попробовал заговорить с другим, но и это не удалось, его бесцеремонно игнорировали. К счастью, Георгий разглядел свою фамилию в одной из раскрытых книг и, перегнувшись через стойку, ткнул в нее пальцем. При этом он, чтобы не упасть, схватился за печную трубу, вертикально поднимающуюся от печи к высокому потолку и идущую далее горизонтально вдоль стены. Труба пошатнулась и не упала только потому, что повисла на какой-то поддерживающей ее проволоке. Конечно, эта оплошность не осталась незамеченной, и Георгий спешно удалился из боязни возможных последствий за порчу отопительной системы, но, к его удивлению, ничего не последовало, наоборот, багаж тут же доставили к вагону. Мы радостно погрузились в вагон и стали критически осматривать наше пристанище. В одном конце его располагалась жилая комната со стульями и парой столиков, занимающая всю ширину вагона и примерно треть его длины. За комнатой находился коридор, охватывающий три или четыре купе, хозяйственную каморку и купе проводника. Проводник был особенным, не похожим на тех, что мы видали прежде. Высокий китаец в длинном шелковом одеянии, в круглой шапке с пуговицей в центре и с косичкой за спиной глубоко поклонился каждому из нас и затем удалился. Вскоре он вернулся, держа в каждой руке по небольшому фарфоровому кубку со сладостями, поставил их на столик в дальнем углу салона и снова удалился. Так повторялось несколько раз, и через некоторое время у нас стояли чаши с фруктами, пирожными, печеньем, конфетами и тому подобной мелочью. Все сопровождалось глубокими безмолвными поклонами. Потом мы выяснили, что проводник почти ничего не знал из тех языков, которыми владели мы, и, таким образом, наше общение не могло быть словесным. Когда мы первый раз вошли в вагон, то обнаружили там какую-то закутанную в меха даму, сидящую в кресле. Это оказалась графиня Головина, бегущая из России от революции. У нее было неважное здоровье, и родителей попросили, чтобы графиня проследовала вместе с нами до Пекина. Головина выглядела достаточно молодо, была вполне привлекательной наружности, очень милой и спокойной, так что ее присутствие ни в коей мере нам не помешало. Однако нас мучил зверский холод, почти такой же, как и снаружи. Окна замерзли, от нашего дыхания шел пар, мы кутались в зимнюю одежду. Выяснение отношений с проводником не повлекло эффекта, и мы надеялись, что что-нибудь изменится само по себе в пути. К нашей радости, поезд вскоре тронулся, закрипели колеса, загромыхали окна, трубы парового отопления немного потеплели, но наши надежды на то, что в дальнейшем они станут совсем горячими, не оправдались.

После того как поезд разогнался, появился кондуктор, также не похожий на тех, которых мы прежде видали. В ярко-зеленой форме с множеством латунных пуговиц и в густой меховой шапке, он был обвешан полным набором кондукторских принадлежностей: роликми разноцветных билетов, щипцами, фонарем со свечой, свистком, рожком, красным и зеленым флажками в чехле и большой кожаной сумкой. Пока мы на него таращились, он приблизился к отцу, с глубоким поклоном снял шапку, широко улыбнулся и, назвав его капитаном, потребовал билеты. Отец протянул ему билеты, кондуктор проверил их и должным образом проколол. Затем отец обратился к кондуктору по-русски, попросив, чтобы что-нибудь сделали с отоплением. Тот поклонился, не выказав ни знака понимания. Отец повторил просьбу по-английски. Кондуктор поклонился и протянул ладонь. Это был ясный знак, отец тотчас положил в его руку банкноту, кондуктор еще раз глубоко поклонился, пробормотав: «Конечно, капитан, обязательно, капитан», и удалился в начало поезда. В течение долгого времени ничего не менялось, и мы думали, что о нас позабыли. Поезд прибыл на какую-то станцию, толпы китайцев ссаживались с поезда, другие садились на него. Мы с большим интересом наблюдали это суетливое зрелище, ни в коей мере не подходящее на то, что происходило в начале путешествия до Урала. Суматоха казалась вполне нормальной и мирной.

Внезапно, после легкого толчка, вагон пришел в движение, но, к нашему удивлению, в противоположном направлении от остального состава. Это длилось не долго, вагон замер и двинулся в другую сторону, мы переехали на соседнюю колею, миновали поезд и затем снова остановились. Паровоз погнал наш вагон в направлении вокзала и присоединил его в начало состава. Вскоре мы возобнови-

ли путь, а вкусный запах печеных яблок, положенных ранее на трубы отопления, наполнил купе. Это было доброй приметой. Мы забрали яблоки с труб и съели их, в помещении потеплело, мы принялись скидывать наши одежды. Вскоре стало совсем уж жарко. Поначалу, когда вагон находился в конце поезда, тепло не доходило до нас, теперь же мы соседствовали с его источником и пар в избытке грел наше жилище. С широкой улыбкой на лице появился кондуктор. Отец спросил его, нельзя ли умерить тепло поворотом какого-либо вентиля. На этот раз он предупредил ситуацию и протянул банкноту сам. Кондуктор взял деньги, глубоко поклонился и промолвил: «Да, капитан, конечно, капитан», возможно, эта фраза являлась всем его знанием английского языка. Потом он взобрался на тендер паровоза и что-то крикнул. Почти сразу же шипение пара прекратилось, вагон стал охлаждаться. Что произошло с остальными вагонами, мы не знаем, но очевидно, никому до этого не было дела, те же, кто мог платить, обслуживались безукоризненно. Салон стал более или менее пригоден для проживания, а в купе все же оставалось прохладно. Мы накрылись пальто поверх одеял и спали не раздеваясь.

Утром мы прибыли в Пекин. Весь вокзал представлял собою единственную платформу под навесом за городской стеной. Нас встретили один из прежних отцовских протезе по Руссо-Азиатскому банку и облаченный в шелка китайский представитель. Банковский знакомый нашептал что-то отцу на ухо, отец достал из бумажника визитку и вручил ее китайцу. Последний с достоинством взял ее в обе руки, приложил ко лбу и глубоко поклонился, не произнеся ни слова. Наш знакомый показал, что нам надо следовать за ним, провел нас через небольшие ворота в толстой стене, и мы очутились перед гостиницей компании «Вагонс Литс», построенной в своем обычном стиле. Мы намеревались провести здесь Рождество, и нам выделили прекрасные комнаты. Пребывание в Пекине оказалось достаточно приятным. Как только мы расположились в номере, к отцу пришел китаец, одетый в европейский деловой костюм и представившийся как помощник министра финансов Лу Ценг Тсяна, бывшего посла в России, близкого друга отца, сын которого Секар Са часто играл с Георгием в Петербурге. Этот человек объяснил, что имеет автомобиль, любезно предоставленный министром финансов, и что он будет подъезжать к отелю каждое утро и брать нас на прогулки по городу, сопровождая нашу семью в качестве переводчика. После завтрака в гостинице мы поехали осматривать город. Китай тогда уже не являлся империей, революция Сун Ят Сена тысяча девятьсот двенадцатого года установила режим, близкий к демократическому. Одним из последствий этих перемен стало открытие так называемого Запрещенного города, обширного комплекса резиденции императора и правительственных зданий, занимающих большую территорию в центре столицы.

Сам город окружен толстой стеной, правительственная территория отделена от города еще одной стеной. Несколько областей внутри Запрещенного города и некоторые частные дома тоже окружены стенами. Оштукатуренная стена вокруг Запрещенного города окрашена в красный цвет, в то время как все прочие стены кирпичные или каменные.

Китай — страна стен, подобная гигантской крепости, и ее жители искусны в изготовлении соответствующей утвари. Конечно, если есть стены, то должны быть и ворота. Они разнообразны, различных стилей, форм и размеров. Некоторые напоминают круглые дыры, другие — туннели под арками, третьи увенчаны башнями, которые могут быть многоэтажными и с традиционными загнутыми крышами. Встречаются красиво разукрашенные деревянные ворота, охватывающие дорогу и имеющие чисто декоративное назначение, иногда несущие над собой крышу в традиционном китайском стиле. Всюду видны горизонтальные, вертикальные, круглые, квадратные и прочие вывески с причудливыми иероглифами. Некоторые дороги в Запрещенный город проходят над горбатыми мостиками, тоже имеющими декоративное назначение. У этих мостиков очень тщательно сделанные резные мраморные перила. Поражают воображение черепичные крыши, украшенные по углам фигурками зверей, драконов, птиц и поддерживаемые резными столбами, установленными один на другой и создающими замысловатую композицию. Деревянные детали ворот и построек покрыты пестрыми узорами. Все это несколько необычно, живописно, ярко и временами даже внушает некий страх.

В Запрещенном городе мы пошли в музей, где осмотрели прекрасную скульптуру, множество картин, образцы вышивки и знаменитый китайский фарфор. Здесь также находились металлические вещи — оружие и доспехи. Все ценности выставлены теперь на всеобщее обозрение, до революции простых людей сюда

не пускали, поэтому и называется это место Запрещенным городом. Наш гид пытался объяснить нам какие-то знаки и надписи, но мы многого не запомнили, так велико было наше потрясение от всего увиденного. Впрочем, часть экспозиции завылдилась и внешне производила впечатление беспорядка и неухоженности.

Гостиница, в которой мы остановились, располагалась в квартале дипломатической миссии, где находились иностранные посольства. Это место также окружено своей собственной стеной и на юге примыкает к городской стене. Стену вокруг дипломатической миссии построили после жестокого восстания тысяча восемьсот девяносто восьмого года, когда китайцы под предводительством и покровительством тогдашней императрицы и ее двора пытались изгнать из страны иностранцев. Тогда пострадали многие дипломаты, представителям был нанесен значительный материальный ущерб, но желаемого результата повстанцы не достигли. Теперь посольства выглядят сродни маленьким крепостям внутри одной большой цитадели — дипломатической миссии. Ворота охраняются пулеметами, все посольства имеют свои военные гарнизоны.

Через несколько дней после приезда в Пекин отец пошел в американское посольство, рассказал здешнему послу о событиях в Петрограде, обстоятельствах нашего путешествия и получил драгоценности матери из того дипломатического багажа, что перевозили транссибирским экспрессом. Потом мы отобедали в посольстве и встречались с семьей посла, однако в основном нас развлекал Лу Ценг Тсян, устроивший в нашу честь роскошный обед. Там присутствовали китайцы, европейцы, помощники и друзья министра, люди из Руссо-Азиатского банка. Жена министра происходила родом из Бельгии, так что кухня, несмотря на китайский интерьер дома, была европейской. Секар Са, как и Георгий, подросток, мы болтали на смеси русского и английского языков, изясняясь иногда просто жестами. Интересно, что раньше мы гораздо лучше понимали друг друга, чем теперь. Вера разговаривала с дочерью министра — прекрасной леди, удачно сочетавшей в себе черты двух наследованных наций и культур. Потом последовали экскурсии для осмотра храмов города и других достопримечательностей. Ходили мы также и за покупками. Мы посетили магазин, расположенный вблизи гостиницы, купив на память несколько безделушек — фарфор, вышивки, маленькие коврики, фигурки из слоновой кости. Было забавно общаться с продавцом. Когда его спрашивали о цене, он смешно картавил на английском языке: «Цена десять долларов, но отдам за пять!», сопроводжая это глубоким поклоном и широкой улыбкой. Ко всему прочему, мы еще катались на рикшах. Сперва казалось странным, необычным и неудобным ехать в повозке, которую вез человек, но потом неудобства сменились удовольствием от вручения рикше суммы значительно большей обычной платы. Расценки, по нашим понятиям, оказались здесь до смешного малы. Мы осмотрели здания Летнего дворца, а прекрасный пейзаж вокруг — сады, небольшие озера с горбатыми мостиками и множество взбирающихся на холмы построек — надолго задерживал внимание посетителей. На одном из озер находился Мраморный корабль, ставший впоследствии известным как первое место Китая, оккупированное Японией в тысяча девятьсот тридцать первом году. Впрочем, это вовсе не корабль, а двухэтажный мраморный павильон китайского стиля, построенный посредине озера, где мы пили чай, подаваемый в небольших узорчатых чашках с крышками, но без ручек. Чай был бледным и несладким, когда же Георгий попросил сахару, возникло замешательство. Официанты не знали, что и делать, там никто не пьет сладкий чай! <...> Вечером в Пекине нечего делать, и все оставались в гостинице. Тут устраивали концерты и танцы, показывали кино, но наиболее примечательным оказался фокусник, старик-китаец, облаченный в традиционные шелка и не использовавший никакого реквизита или помощника. Он сидел на полу и жестами приглашал публику рассаживаться полукругом вокруг него. Потом он начал доставать неизвестно откуда различные предметы и прятал их обратно, всегда сопроводжая это словами: «Раз пиф, два пиф, ега ланг танг!». Затем он кувыркался, и всякий раз появлялся то кролик, то голубь, а в заключение целый набор стеклянных чаш с водой и рыбками, сначала небольшая, потом все больше и больше. Мастерство фокусника забавляло и очаровывало публику. <...> Под Рождество в гостинице нарядили елку, все без меры веселились и пели. Мы в первый раз увидели здесь, как англичане и американцы празднуют этот праздник.

Двадцать седьмого декабря наша семья возобновила свой путь. Мы сели на обычный китайский поезд до Пэкоу, заказав два купе, которые не шли ни в какое сравнение со всеми предыдущими. Диваны были кожаные, отделка тускло-коричневая, однообразная и грязная. Из-за холода мы решили спать прямо в одежде. Что касается туалета, то нехитрые удобства этого поезда нас вообще

очень сильно поразили. В одном купе мы обнаружили груду сложенных уток, возможно там ехали охотники. Людей, живших по соседству, мать считала пьяницами и разбойниками, предупредив, чтобы мы ничего от них не брали, даже сигареты, так как подозревала, что нас могут отравить. Но плохого не случилось, и мы мирно катили по китайской глубинке. Казалось, весь Китай желтый, земля желтая, желтые домишки захудалых поселений окружены желтыми стенами. Люди тоже желтые, правда одеты в голубое. Небо голубое над головой, но опять же желтоватое на горизонте. Ни деревьев, ни травы, ни насаждений, только худая скотина да тощие куры. Мало дорог, людей много, высоких и не очень, во всех позах, иногда в не очень деликатных даже в людных местах.

Поезд останавливался в поселениях, представлявших собою лабиринты стен с торчащими из-за них загнутыми черепичными крышами. То там, то сям выглядывала небольшая пагода или восточный храм. По дорогам ползли тачки и двуколки, запряженные лохматой лошадейной или быком. Многие пешие несли по две котомки на коромысле через плечо, ступая характерной семенящей походкой, чтобы котомки не раскачивались.

Во второй половине следующего дня [мы] прибыли в город Пэкоу, расположенный на великой реке Янцзы. В то время мост через реку еще не существовал, и мы взобрались на борт колесного парохода, чтобы преодолеть водную преграду и оказаться на другом берегу в городе Нанкине. Судно было переполнено народом, в него долго грузили багаж, прежде чем оно отчалило. Охотники из нашего поезда сели на этот же пароход, так что мать следила за Верой ястребиным оком, иначе, как говорила она, «эти разбойники схватят ее». Пересечение реки заняло много времени, корабль пристал к противоположному берегу уже за полночь. Наняв рикш, наша компания отправилась к отелю «Нанкин». Хотя рикша, который вез Веру, временами опережал нас и вовсе исчезал из виду, ничего плохого опять же не случилось, и, спустившись к гостинице после довольно крутого подъема по улице, мы ненадолго обустроились здесь в ожидании ночного поезда на Шанхай. Хорошо поужинав и немного отдохнув, все отправились на вокзал. Предстоящая поездка должна была стать последней по земле Азии, потом мы намеревались плыть пароходом в Японию и далее в США.

Наш поезд мало отличался от предыдущего. Мы спали не раздеваясь, а по прибытии утром в Шанхай нас, как и обычно, встретили люди, имеющие отношение к отцовскому банку. К нашей радости, среди них оказалась Чарли Блюлер, эмигрировавший от революции и устроившийся в шанхайское отделение Руссо-Азиатского банка. Мы поселились в отеле «Националь», который выходил фасадом на набережную реки Вангпу. На берегах Вангпу раскинулся Шанхай. Город, или по крайней мере та его часть, где располагалась отель, имела вполне европейский вид, тут находились большие здания банков и удобная для прогулок набережная с высокими деревьями. За рекой виднелись промышленные строения, доки судостроительного завода, а по самой реке сновали всевозможные суда и суденышки: сампаны, джонки, паромы, товарные пароходы. Вдоль берега ездили рикши, повозки, изредка проносились автомобили. Экипажи привычного викторианского стиля в большинстве своем переездили по одному человеку. Мужчины стояли сразу позади извозчика, женщины сидели. Нам казалось странным, почему мужчины стояли, очевидно, это было что-то вроде местной традиции. Люди европейской внешности пешком не ходили, китайцы же либо ходили пешком, либо ездили на рикшах и, не смущаясь, нагружали последних до предела, залезая всей семьей на одну повозку и прихватывая порой еще какую-нибудь поклажу.

В отеле нам досталась целая квартира с тремя спальнями и большой гостиной с видом на набережную, обставленная элегантно и удобной мебелью. Это напомнило старые добрые времена, когда наша семья отдыхала в Европе. Мы теперь находились южнее русской зимы. Солнце светило весело и ярко, так что Георгий пошел прогуляться и осмотреть достопримечательности города. Как бывалый путешественник Жора нанял рикшу, говорившего по-английски. Сначала они перемещались по шумной торговой улице Нанкин, выходявшей на набережную недалеко от отеля. Здесь ходили трамваи, тротуары переполнял народ, по внешности почти все китайцы, правда выглядевшие несколько богаче тех, что мы видели в Пекине или где-либо еще. Среди них встречалось немало девушек. Веселые и грациозные, девушки проворно шли парами или группами — приятно посмотреть. Женщины носили неловкую неуклюжую одежду, маленькие ступни в обуви на низком каблуке заставляли их идти неестественной семенящей походкой. Впрочем, некоторые, одетые в черные шелковые костюмы, смотрелись вполне изящно. Рикша провез Георгия по другим улицам, остановился у какого-то дома и сказал: «А здесь хорошие девочки. Очень неплохие». Однако Георгий, то

ли в силу своей скромности, то ли из страха, не решился отвратить прелестей этого места и приказал поворачивать обратно к гостинице. Когда Георгий вернулся, он увидел Веру и родителей в компании странного пожилого человека в пальто фасона «принц Альберт». «Ты где был?» — строго спросили его. Жора стал перечислять впечатления от недавней прогулки, но господин в пальто перебил: «Не следовало бы появляться в городе без прививки от оспы». Станный человек оказался доктором. Георгий, подчинившись его приказу, сделал прививку. Вечером пришел эмигрировавший из России господин Путилов, сослуживец отца по банку и прежний министр финансов во Временном правительстве. Все пили чай с печеньем, было очень весело и мило. Вдруг мать внезапно вскрикнула, заметив, что из ее кольца исчез бриллиант. Мы тотчас бросились его искать, так как мать уверяла, что потеряла его совсем недавно. Путилов долго ползал на коленях в своем официальном костюме и, к всеобщему облегчению, нашел камень.

Обычно мы питались в ресторане на последнем этаже гостиницы, откуда открывался прекрасный вид на весь город. Кормили здесь отменно, столы украшались картинами из разноцветного песка, который один официант весьма искусно сыпал из трубок на скатерть. Удивительно, как много таланта таилось среди всеобщей нищеты и заброшенности. Даже упаковочные коробки словно соревновались по красоте своей живописной росписью. Витрины магазинов всегда очень тщательно и продуманно оформлялись. Вывески встречались в изобилии, а сами иероглифы отличались особенной замысловатостью, по крайней мере так казалось нам.

<...> Наша семья и знакомые справляли Новый год в гостинице «Астория». Играл оркестр, шампанское лилось рекой, а столы ломились от всевозможных деликатесов. Апогей наступил ровно в полночь, когда под звуки традиционной шотландской песни «Доброе старое время» в зале появилась нагая женщина на коне. Гогот и одобрительные аплодисменты заглушили музыку. Сделав широкий круг, наездница удалась. <...> Празднество в этот первый день тысяча девятьсот восемнадцатого года продолжалось до самого утра...

ТИХИЙ ОКЕАН

Седьмого января мы перебрались на противоположную сторону реки Вангпу, и вскоре уже поплыли вниз, навстречу реке Янцзы, где намеревались пересечь на тихоокеанский лайнер. Нам предстояло первое большое плавание по океану, предвкушение надвигающихся приключений полностью завладело нашими чувствами. Мы разместились в двух соседних каютах, значительно более просторных, чем купе поездов, там имелся чулан для багажа и, что приятно, умывальники с горячей и холодной водой; но так как каюты располагались на нижней палубе, были только круглые иллюминаторы, а не обычные окна. Корабль, принадлежавший японской компании «Тойо Кисн Кайша», назывался «Сибиря Мару». Меньше трансатлантических лайнеров, однако все же достаточно просторный, он вмещал палубу для прогулок, столовую, бар, пару холлов для отдыха, небольшой гимнастический зал и дневные ясли. Войдя в каюту, мать сразу же прилегла на койку в предчувствии морской болезни, Вера последовала ее примеру. Отец с Жорой пошли в комнату отдыха для мужчин, чтобы покурить и отметить начало морского пути, выпив немного вина. <...> В первую ночь плавания погода пассажиров не жаловала. Высокие волны Желтого моря, стонущий ветер, скрипящие снасти, размеренное качание палубы, запах масла, дыма, еды, — все это сильно досаждало. Впрочем, отец выглядел спокойно и безмятежно, он инструктировал нас, что можно делать на борту судна, а что нет. Казалось, после того как мы покинули дом, он в первый раз владел собою и, возможно, даже чувствовал себя счастливым.

На вторую ночь море успокоилось, мы прибыли в Нагасаки — первый порт нашего морского путешествия. Судно бросило якорь в середине широкой бухты, вокруг, кроме множества огней, ничего нельзя было разглядеть. Когда забрезжил рассвет, показались отдаленные холмы, усыпанные крышами жилых домиков, прорезаемых то там, то сям большими промышленными постройками, вдоль берега виднелись доки верфей и портовые сооружения. Матросы нашего парохода стали спускать за борт какую-то конструкцию с деревянными ступеньками-площадками, похожую на огромную веревочную лестницу. Поначалу мы не поняли, для чего это делалось, но вскоре подошла баржа, а на каждую площадку этой лестницы взобрались по две женщины. Вблизи верхней площадки находился открытый люк, и японки, передавая друг другу корзины с углем, принялись ссыпать

его в трюм, кидая пустые корзины обратно на баржу. Это продолжалось несколько часов, процесс напоминал работу пожарной команды. Мы взирали на действо с благоговейным страхом и удивлением, так как никогда прежде не видели и не могли представить себе такого грубого труда, совершаемого слабым полом. Грузчицы весело болтали, негодования с их стороны не чувствовалось, казалось, тяжелый труд не доставлял им каких-либо страданий или неудобств.

Подняв вечером якорь, «Сибиря Мару» возобновила свое плавание. Мы обогнули западную оконечность острова Кюсю и прошли через Корейский пролив мимо островов Цусима. Это место хорошо известно поражением русского флота, предводимого адмиралом Рожественским, во время русско-японской войны. Миновав затем узкий пролив Симоносеки, мы вышли во Внутреннее Японское море. Было темно, но утром взошло ясное солнце и перед нашими глазами предстал величественнейший пейзаж. Пароход, то и дело меняя курс, лавировал меж множеством небольших островков. У подножий крутых холмов на берегах этих клочков земли примостились живописные селения. Виделись черепичные крыши с загнутыми краями, ворота с красными столбами, кривые зонтичные сосны напомнили нам картинки с традиционных японских гравюр. Судно двигалось медленно, море было спокойно, так что мать чувствовала себя сносно и, сидя на палубе в кресле, созерцала прекрасную панораму. Она постепенно привыкала к морю, поправлялась изо дня в день и, спускаясь в столовый зал, принимала участие в наших скромных пиршествах.

Прибыв ночью в Кобе, судно простояло в порту до вечера следующего дня. Здесь мы в первый раз сошли на землю Японии. Погода напоминала весну, вокруг цвели деревья. К нашему удивлению, мы увидели среди них камелию. Мы никогда не встречали это растение в виде деревьев, мать разводила ее в квартире, но она была всего лишь маленьким кустом. В остальных отношениях Кобе нас ничем не удивил. Это оказался небольшой промышленный городок с пыльными немощеными улицами, главным образом пешими людьми и несчастными рикшами. Такое наше впечатление от Японии особо не изменилось и на следующее утро, когда, пришвартовавшись в Йокогаме и сойдя с корабля, мы сразу же сели на электропоезд до Токио. Недолгий путь пролегал через непривлекательного вида промышленные области. Сиденья располагались вдоль стен вагонов глубокими скамьями, как в старых трамваях и современном метро, а японцы сидели на них прямо с ногами без обуви, которая стояла перед ними на полу, главным образом сандалии. Мы единственные сидели нормально. <...> В Токио отец нанял такси, чтобы ознакомиться с достопримечательностями столицы. Мы осмотрели правительственные здания и прибыли на место, откуда через широкий ров виднелась резиденция императора, подойти же ближе не разрешалось. Обед в ресторане отеля «Империал» относился полностью к европейской кухне, да и сама гостиница выглядела ничуть не хуже европейских, столики стояли по-обычному, никто не сидел на полу. Вечером мы вернулись в Йокогаму. Отцу вручили телеграмму, прочитав ее, он побледнел и на глазах у него появились слезы. Сообщалось, что скончалась Маделина Каестлин. Это было сильным ударом для нас, и только через месяц в Нью-Йорке мы узнали подробности. Выбираясь из Норвегии в Англию, Джин и Маделина пересекли Северное море, затем проследовали через Ла-Манш во Францию, добрались поездом до Парижа и поселились в отеле «Регина». Маделина очень радовалась прибытию в родную страну и пережила удар, от которого не смогла оправиться, а вскоре после смерти освободили от немецких войск ее провинцию Эльзас. Маргарет, Георгий и Ваня Каестлины переехали в Лондон, где окончательно и обосновались.<...>

Постепенно мы теряли наши прежние связи. Это становилось очевидным, и от этого делалось горько. Осознав, что семья упускает прекрасную возможность задокументировать на память историческое путешествие, Георгий отправляется в город, чтобы купить фотокамеру. Он попадает в фотомагазин, где обращается с соответствующей просьбой к продавцу. Тот незамедлительно выносит важной походкой большой крутой лоток с портативной камерой «Кодак», оснащенной автоматическим затвором. Георгий покупает ее за предложенную продавцом цену, не торгуясь и не имея ни малейшего представления о здешних ценах на камеры, их различиях и свойствах. Но камера его не подвела, в дальнейшем он много пользовался ею и хранил ее в течение долгих лет.

Вечером четырнадцатого января «Сибиря Мару» направилась в восточном направлении прочь от Японии. Мы вышли в открытый океан и следующие шесть дней не видели земли. Стояла очень хорошая, спокойная погода, океан был голубой и тихий, а небо безоблачно. Вокруг судна резвились дельфины, на палубу прыгивали летучие рыбы, ночью нас накрывало изумительное, с мириадами

звезд небо. Потихоньку мы привыкали к кораблю, а заодно и к пассажирам. На судне не существовало классов, как на атлантических пароходах крупных компаний «Кунарда» или «Белая звезда». Таким образом, нам разрешалось свободно бродить по всему судну, за исключением кают экипажа, грузовых отсеков и машинных отделений, куда, впрочем, однажды устроили экскурсию. Георгия поразили установленные там огромные четырехцилиндровые паровые машины троекратного расширения. Открытые палубы были излюбленным местом наших гуляний. Мы проводили здесь все свободное время, в основном сидели на солнце в креслах, особенно любила загорать мать. Дети бешено носились между взрослыми, орали и толкались, люди пожилого возраста степенно прогуливались туда-сюда, кто помоложе, принимали участие в распространенной на кораблях игре, где требовалось загнать кием деревянную шайбу в квадраты на противоположной стороне длинного, расчерченного на полу прямоугольника. Вечером всегда устраивали какое-нибудь развлекательное мероприятие, танцы, кино, лекции и, конечно, игры — карты, лото и прочие. В баре изрядно пили, иногда флиртовали, хотя осторожно, сдержанно и благоразумно. На шестой день плавания после Японии наступило воскресенье. Так как на борту присутствовало несколько миссионеров, вечерние развлечения отменили, а в главном холле провели воскресную религиозную службу. Ночью мы пересекли Международную линию перемены дат. Когда ее минуют с запада на восток, календарь переставляют на сутки назад, при этом один и тот же день повторяется, и оказалось, что у нас будет второе воскресенье. Миссионеры намеревались еще раз заменить кино богослужением, но это, естественно, не понравилось менее набожным пассажирам, которые пожаловались капитану. Японец-капитан согласился, что одного воскресенья вполне достаточно для отправления религиозных надобностей, и разрешил показ фильмов. Миссионеры недовольно ворчали. Утром, после долгого перерыва, мы наконец увидели землю, судно проходило мимо самых западных, отдаленных от основного скопления Гавайских островов. Наш курс пролегал немного к югу, день ото дня становилось все теплее. Стаи чаек преследовали корабль, птицы жалобно стонали на ветру, набрасываясь на каждый кусок пищи, швыряемый им с палубы. Особенный гвалт стоял, когда кок сваливал за борт помой. Забавно было наблюдать возню, происходящую при этом. Заключенные в такое ограниченное пространство, как корабль, люди искали развлечений. В результате наблюдались проявления старых привычек и возникали новые пристрастия. Отец, никогда не питавший тяги к атлетике, теперь с завидной живостью и энтузиазмом гонял шайбу кием. Когда организовали соревнование, длившееся семь дней и требовавшее многих раундов, он, к своему и общему великому удивлению, стал чемпионом «Сибериа Мару». Это сильно подняло его дух и вообще произвело на него целебный эффект, развевая уныние и подавленность предыдущих месяцев.

Утром двадцать третьего января судно прибыло в Гонолулу, срединную точку нашего морского путешествия. Сойдя после раннего завтрака на берег, мы в первый раз оказались на земле Соединенных Штатов Америки и, чтобы ознакомиться с местностью, наняли извозчика. Сначала мы двигались по главным улицам небольшого тропического городка, потом поехали к аквариуму, где осмотрели коллекцию удивительных рыб, соперничавших по окраске с бабочками и птицами. Прежде невозможно было представить себе такое невероятное разнообразие форм, цветов и размеров, и ведь все это плавало где-то в глубинах океана! Затем мы задержались на пляже Вайкики, мало отличавшемся от множества других. <...> Здесь мы видели Алмазную Голову — высокую скалу, расположенную несколько восточнее того места, где мы находились. Потом, через богатый лес с невиданными прежде растениями: пальмами, высокими папоротниками, всевозможными хвойными деревьями, мы проследовали в глубь острова и, поднявшись на высокий холм, очутились на вершине крутого откоса Нуану Паи. Отсюда открывался фантастический вид: на севере от нас вздымались гряды гор, а в долинах меж ними раскинулись плантации ананасов. Седловина перед откосом была подобна узкой трубе, здесь дул сильный и устойчивый ветер, бегущие по небу облака то и дело осыпали нас дождем. Он длился всего несколько минут, но когда кончался, потоки мутной воды стремительно неслись по склонам вниз. Вдоволь налюбовавшись необычным пейзажем, мы повернули обратно на пристань, купив по дороге большой ананас. Он оказался таким спелым, что пришлось держать его не за листья, а снизу, иначе бы он оторвался и упал. Ананас походил вкусом на консервированные, что мы пробовали в Петербурге, и сильно отличался от «свежих», что продают в Европе, — те были значительно водянистее этого. К сожалению, мы стояли в Гонолулу лишь сутки, но использовали это время до предела и совсем не ложились спать.

СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ

Погода во второй половине нашего путешествия от Гавайев до Америки не была такой спокойной, как в первой. Штормило не очень сильно, но постоянная качка все же досаждала. Теперь мы плыли несколько смещаясь на север, так что постепенно становилось холоднее. Оставшиеся пять суток до берегов США представлялись нам уж слишком длинными, однообразие жизни на судне все более утомляло нас, и мы с нетерпением ожидали окончания затянувшегося пути. Ранним утром тридцатого января пароход скалистые Фараллоновы острова, где, как говорили, обитает множество тюленей, а примерно в два часа дня, пройдя через Золотые Ворота — узкий пролив в гористой Калифорнии, оказался в большой бухте Сан-Франциско. Вскоре судно пришвартовалось к пристани и пассажиры сошли на берег. Мы были в своей родной стране!

Формальности в таможне не заняли много времени, нам тотчас же разрешили проследовать в гостиницу. Выбрав отель «Палас», отец снял номер на втором этаже, с окнами, выходящими на Маркет-стрит. Как только все расположились в комнатах, отец дал Георгию десятидолларовую бумажку, предложив ему осмотреть Сан-Франциско. Жора собрал на пароходе кипу журналов с описаниями и фотографиями достопримечательностей и прочих диковин Соединенных Штатов. Ему там особенно понравилась Южно-Тихоокеанская железная дорога, и такой интерес к железнодорожному делу заставил его попытаться разыскать вокзал на Третьей стрит. Эта улица должна была быть где-то недалеко от отеля. На карте города Жора разглядел, что она пролегает параллельно Монтгомери-стрит, на углу которой находится «Палас». Не зная города, да и немало пораженный непривычным видом высоких небоскребов, он пошел в противоположном направлении и, миновав несколько кварталов, так и не нашел Третьей улицы. Решившись спросить у прохожего, где он находится, Жора приблизился к человеку, несшему за ручку странную металлическую коробку. Судя по его виду, это был рабочий. Как потом узнал Георгий, он нес поклажу с едой. Жора объяснил, что ему нужно, прохожий принял его долго описывать, как туда добраться, но потом понял, что это сложно запомнить, и сказал: «Пойдем лучше со мной. Я как раз туда направляюсь. Мы поедем на трамвае, так как это довольно далеко отсюда». Большой трамвай подошел быстро, они поднялись на заднюю платформу, где спутник Жоры опустил монету в стеклянную кассу перед кондуктором. Это оказалось для Георгия новым, в Петербурге кондуктор сам подходит к пассажиру в салоне трамвая за платой. У Георгия не было монет, только десятидолларовая банкнота, которую он и протянул кондуктору. Последний не взял ее и что-то сказал, но Георгий не уловил его слов. Тогда компаньон Жоры опустил еще одну монету, Георгий же понял, что это плата за него, поблагодарил незнакомца и пообещал разменять десять долларов на вокзале, чтобы вернуть ему деньги. Жора попытался это сделать, когда они сошли с трамвая, но спутник сказал: «Не надо, ты нездешний, так что я провожу тебя до вокзала, будь моим гостем». Они пришли на вокзал, где на нескольких путях стояли готовые к отправлению составы. Пока Жора разглядывал поезд и окружающую обстановку, человек стал прощаться. <...> Георгий сердечно поблагодарил незнакомца, несколько смущенный такой искренней гостеприимностью.

После возвращения Георгия в гостиницу отец нанял такси, и вся семьяехала осматривать Сан-Франциско. Зная, что город серьезно пострадал от сильного землетрясения десятилетней давности, мы искали следы разрушений, но ничего не заметили. Местные жители не любят говорить об этой трагедии и чаще упоминают о большом пожаре, сопровождавшем землетрясение. Нас поразили раскинувшиеся на холмах величественные кварталы города. Здесь по крутым улицам ходили необычные трамваи на канате. Особо захватывающая панорама открывалась с холмов Твин Пикс. Нежно-голубая вода бухты отражала сияние солнца, вдоль побережья шумел пенный прибой, холмы вокруг залива темнели коричневатой растительностью, в Золотом парке росли высокие стройные эвкалипты, за отелем «Клифф» вырисовывались суровые утесы. Все казалось каким-то новым, было динамично, остро, чисто, безупречно и ярко.

Вернувшись в отель для ужина, отец и Георгий любовались в окно на Маркет-стрит. Движущаяся электрическая реклама выглядела очень эффектно, мы не могли ничего подобного представить себе ранее. Выше ее во мраке сияли гигантские буквы «Кин Катлер». «Пап, что это значит?» — спросил Георгий. Отец объяснил: «Реклама кухонных ножей, ножниц и всего остального режущего и острого». — «А почему написано с буквы «кей», а не с буквы «си»?» Отец, засме-

явшись, объяснил, что это рекламный трюк. Это было американизмом. Впрочем, Георгий быстро осваивался и приспособивался к новой жизни. На следующий день праздновали день рождения матери. В Питере его устраивали основательно, приходило много гостей, дарили множество подарков и охапки цветов. Теперь же, вдалеке от дома, мы довольствовались лишь хорошим обедом в гостиничном ресторане «Палм Корт», а вечером пошли в кино. В целом все здесь оказалось знакомым, правда большинство фильмов, конечно, были американские. Мы еще не привыкли к новому языку, американскому акценту и не поняли многого, что говорили актеры. Но водевиль между фильмами явился для нас неожиданностью, и мы вдоволь насладились этими музыкальными номерами.

Через пять дней мы сели на ночной поезд, направлявшийся в Лос-Анджелес. Внутренняя обстановка его вагонов выглядела несколько необычно. Родители расположились в гостиной, довольно большой по сравнению с привычными купе комнате, имевшей забавное приспособление в углу: обитое сиденье с приподнимающейся крышкой, под которым обнаруживался унитаз. Нам казалось очень странным, что такой предмет находится в комнате, где живут, спят и едят. За откидной ширмой примостилась раковина, но это уже было знакомо по прежним поездкам в купе компании «Вагонс Литс», где, впрочем, еще прилагались ночные горшки продолговатой формы, смешно напоминавшие соусницы. Вера с Георгием разместились в купе, называвшемся секцией. Такие секции располагались по обеим сторонам прохода, отделяясь от него на ночь плотными зелеными занавесками. <...> Вечером отец взял Жору в «клуб», тоже необычное для европейцев место, — просторную комнату с баром и открытой платформой для прогулок, находившиеся в последнем вагоне. Здесь, на платформе, особенно хорошо ощущалась скорость движения: убегающие вдаль блестящие рельсы, разноцветные огни светофоров, выпрыгивающие внезапно из-за крыши и исчезающие во тьме, зачаровывали и манили к себе. Поезд грохотал на стрелках, рельсы выскакивали из-под платформы и устремлялись куда-то в сторону, все это казалось таким удивительным, интересным и новым. Но пейзаж вокруг оставался невидим, так что мы с нетерпением ждали утра. Назавтра поезд уже ехал где-то недалеко от Лос-Анджелеса, мчась вдоль побережья мимо скал, о которые пенистыми брызгами разбивался прибой. По прибытии в Лос-Анджелес мы остановились в отеле «Балтимор», что расположен в деловых кварталах этого большого мегаполиса, и, взяв, как обычно, такси, проехали по центральному кварталам. Нас поразили пальмы на улицах, множество одноэтажных домиков, заросших вьющимися растениями, часто между домами и даже недалеко от обширных пляжей мелькали нефтяные вышки. Сочная растительность перемежалась участками сухой бесплодной земли, голыми холмами, пересохшими ручьями. Такие контрасты, отсутствовавшие в Сан-Франциско, предвещали нечто новое, Землю Контрастов и Большого Разнообразия.

Следующие пять дней наша семья опять находилась в пути. На этот раз мы ехали дорогами компаний Калифорнии, Атчисона и Топики, в целом называемыми железной дорогой Санта-Фе. Поезд был почти такой же, как и предыдущий, имевший купе того же самого устройства. Поначалу мы питались в вагоне-ресторане. Еда там особо не отличалась от европейской, необычными казались лишь чернокожие официанты, а еще то, что, заказывая блюда, следовало записывать их на бумажке. Стояла хорошая погода, но однообразие пейзажа за окном, бесплодность и сухость земель, жидкая растительность, пустыньность безграничных просторов юго-запада Америки несколько утомляли. К нашему разочарованию, мы узнали, что миновали ночью много интересных мест — Сьерры, реку Миссисипи, Скалистые горы. Стремясь поскорее закончить путешествие, мы не делали остановок и пропустили Большой Каньон, прочие природные прелести и диковины. Примечательно, что черты «дикого Запада» все еще присутствовали в этих местах, хотя и быстро исчезали. Погода становилась холоднее не по дням, а по часам. Когда поезд прибыл в Чикаго, мы очутились снова в зиме, здесь падал снег. Остановившись в отеле «Конгресс» на Мичиган-авеню, мы взирали из окон на замерзшую гладь озера и обширное непривлекательное пространство, где в озеро ссыпался мусор, привозимый сюда небольшими локомотивами, — тут предполагалось заложить Большой Парк. Лежавший на земле снег был непривычно грязен, местность вокруг отеля выглядела очень однообразно, стояла облачная, сумрачная погода, все чувствовали себя подавленными.

Четырнадцатого февраля мы сели на поезд «Двадцатый век», принадлежавший Нью-Йоркской Центральной железной дороге, и через двадцать часов въехали в огромное подземное сооружение Центрального вокзала Нью-Йорка. Путешествие к звездам наконец-то завершилось! Нас встретил Джон Пауэр Хатчинс,

женившийся к тому времени на некоей леди очень привлекательной наружности. Молодая семья провела утомленных, но возбужденных последними событиями путников к гостинице «Голланд Хаус» на Пятой авеню, нашему первому пристанищу в родном городе отца. Так началась новая жизнь семьи Боков в стране, которая стала для нас второй родиной. Отец обнаружил, что город сильно изменился за время его тридцатичетырехлетнего отсутствия, заметив: «Только названия улиц те же самые». Он прожил после приезда в Нью-Йорк всего несколько лет и умер от рака в феврале двадцать третьего года. Мать смогла подавить все сожаления о потерянной светской жизни и высоком социальном положении в Петербурге, с большим умением и в жертву себе занимаясь делами семьи. Всегда оставаясь в полном здравии, она прожила долго. Вера отказалась ходить в школу, но в силу своего прилежания, старания и тяги к знаниям обучалась самостоятельно и в дальнейшем работала иллюстратором книг. Она не выходила замуж до смерти Маргарет, ее сестры, когда Георгий Каестлин, прежний муж Маргарет, стал супругом Веры. Вера и Георгий жили в Цюрихе, куда Георгий возвратился из Лондона. Георгий скончался несколько лет тому назад, Каестлины имели короткую совместную жизнь, во всех отношениях бывшую для них счастливой.

По приезде в Нью-Йорк Георгий Бок стал готовиться к поступлению в университет по механике и инженерному делу. Отец нанял ему студента из инженерного факультета Колумбийского университета, который переучивал Георгия с русского на американский лад. Жору зачислили в Колумбийский университет осенью восемнадцатого года, и после начальных трудностей с языком он получил в двадцать втором году степень бакалавра искусств, а в двадцать четвертом диплом мастера инженерных наук. Он работал по профессии на протяжении почти полувека. В тысяча девятьсот тридцатом году Георгий женился на Барбаре Трэмбол, уроженке города Сизтла. У них родилось двое детей, Алиса и Петер. Барбара безвременно и внезапно умерла в тысяча девятьсот пятьдесят первом году. Георгий женился в тысяча девятьсот шестидесятом году на Мэрджери Мэйси, как и он, потерявшей супруга. Георгий Бок посещал Советский Союз в тысяча девятьсот семьдесят четвертом году, проведя по четыре дня в Москве и Ленинграде, лично убедившись в убогом состоянии несчастной страны и поклявшись никогда не возвращаться сюда снова, пока здесь правит жестокая диктатура.

ДАНИИЛ ДАНИН

ДНЕВНИК ОДНОГО ГОДА, ИЛИ МОНОЛОГ - 67

(отрывок)

3 июня

Страшно устаешь, когда отдыхаешь изо всех сил.

Зримо стареет Виктор Некрасов. В его облике появилась несчастливость. Стало видно, что он — писатель несчастливой судьбы. И видно, что денег нет. Но еще виднее другое: он сознает, что его прекрасная репутация вольнолюбца далеко обогнала его творчество и дела. Представляю, как он постоянно примеряет свой рост по Солженицыну и томится этим сравнением.

(Добавление 80 г. — Год назад мы встретились в майском Париже. Он постарел, естественно, еще больше. Но в нем появилась истинная счастливость. Созданный для сочувственного глазения на мир, он зажил наконец желанной жизнью. И больше не примеривается к С. — даже внутренне враждует с ним, как прирожденный и убежденный западник. Как-то он тихо сказал мне на ухо: «Понимаешь, я не люблю Христа!» Курит самый дешевый «Голуаз», денег по-прежнему мало, но видно — он писатель счастливо обретенной судьбы... Подарил мне громадную карту Парижа «с птичьего полета» и взял слово, что я найду для нее стену в квартире. А я еще не нашел.)

5 июня

Сегодня пикейный жилет П-в остановил на лестнице Осю и Ирину Хейфиц. И, бледный, спросил: «Вы слышали — неприятное сообщение: началась война!» Ира схватилась за сердце. Под райскими небесами ее едва не хватил инфаркт. А П-в не сразу объяснил, что услышал по радио о войне Израиля и арабов.

Так, поздней осенью 56-го, когда мы были в Гаграх и жили в такой же блаженной атмосфере южной праздности, вдруг разразилась тревога суэцких событий. Тогда все тоже, оглядываясь, понижали голос, чтобы выразить сложные чувства: отвращение к фашистско-националистическому Насеру, неодобрение нашей тяги к нему и непонимание воинственности малочисленных израильтян, и предчувствие новых волн юдофобства в мире, и страх перед разрастанием малой войны в третью мировую, и многое другое... И сегодня здешние евреи переглядываются со значением, ни на минуту не веря, что происходящее может обернуться чем-нибудь иным, кроме беды.

...Неумирающий островок, заливаемый океаном вечной ненависти.

Или по-другому: неумирающий оазис, засыпаемый пустыней вечной ненависти.

Оптимизм русского Виктора Некрасова и отнюдь не русского Лели Волинского.

Приглушенный треск транзисторов на всех трех этажах ялтинского дома. Нет своего — хожу одалживаться новостями.

В опубликованном в этом году в № 4—6 «Звезды» «Дневнике одного года, или Монологе-67» Даниила Данина по техническим причинам оказался ненапечатанным отрывок с 3-го по 21-е июня. По просьбе автора мы публикуем эти записи. — *Рег.*

6 июня

Озираясь назад, вижу, что уже двадцать лет становлюсь все более аполитичным или надполитичным — процесс, идущий со скоростью самой жизни.

...Виктор, загорающий на балконе, весело сообщил, что Пикассо высказался в защиту Израиля. А я ему в это время давал читать своего «Улетатля» о Татлине.

7 июня

Вчера приехали Андрей Битов и Инга — молодые, красивые, тяжело здоровые на вид. Сегодня вчетвером отправились в Никитский сад. У входа Андрей вдруг увидел ленинградского приятеля — тоже молодого писателя — Михаила Глинку.

— А ты что здесь делаешь?

— Вожу экскурсии.

— ??? (Вопросительных знаков и вправду было четыре — так удивителен был для всех нас четверых непредвиденный ответ ленинградца-прозаика.)

От этого ответа вдруг повеяло подлинной жизнью — ее свободным режиссерством.

Давно я не испытывал такого мгновенного расположения к ближнему с первого взгляда. Уверен, что и проза у него окажется настоящей.

8 июня

Вечером в кино — «Земляничная поляна». В третий раз, как в первый раз! Уходишь из зала с перехваченным горлом.

Это картина про то, что каждый несет свой ад внутри себя. И еще про то, что никогда не поздно судить себя, дабы хоть немножко отсудиться. А глубже есть еще вот что...

Старый профессор так тягостен для ближних и так привлекателен для дальних. Ближние не знают того, что узнаем мы — дальние. А мы узнаем, что делается в его сердце и в его памяти. Мы свидетели бед его совести. Короче: мы на время картины — это он сам. Мы переживаем непреодолимость его внутреннего одиночества. Мы помещены в его систему нравственных координат.

Молодые на экране еще думают о Боге и с непринужденной легкостью спорят о нем. Они еще надеются на существование абсолютной — для всех пригодной — системы отсчета в нравственной области. А профессор уходит от этих споров. Он устало ироничен — он просто знает, что нет такой системы нравственных отсчетов, в которой можно было бы спастись: уйти от самого себя — от прожитого и содеянного...

10 июня

Насер отрекся. На пятый день войны!

Что думает сейчас Никита Сергеевич, давший ему в свое время Золотую Звезду Героя Советского Союза?

Эта война оказалась схваткой двух цивилизаций. Так некогда маленький Рим завоевал полимира. Несчастные бедуины и феллахи — на них обрушился другой век. Пустит ли себе Насер пулю в лоб? Все-таки похожего блефа, кажется, не знала история диктатур. Что бы ни случилось дальше, этой сатирической страницы уже не вычеркнуть даже из учебников.

Кроме «скрытой теплоты патриотизма» есть «скрытая теплота истории»: израильяне идут по Синаю с неизбежным ощущением, что сорок веков смотрят на них не с высоты пирамид, а из песков пустыни. И этому нечего противопоставить.

А чем кончил маленький распухший Рим — пока вспоминать слишком рано.

11 июня

Опять я оказался плохим пророком. Насер не пустил себе пулю в лоб. Довольствовался тем, что его убила история. Обнаружилось, что его отречение — игра. Но почему-то все вокруг так и отнеслось к этому — с самого начала. А я поверил! В моем сером веществе есть излишне серые места. Одно из них — замаскированная оптимизмом разновидность простодушной глупости.

Сегодня, как говаривал Юра Герман, «ту-ту, би-би!» — уезжаем в Москву. Отлучились на месяц, а возвращаемся уже в другой мир.

(Добавление 80 г. — Едва ли кто-нибудь догадывался, сколь другим он окажется еще на наших глазах. Вспоминается, как тем летом все евреи, даже ласкаемые госу-

дарством, невольно почувствовали, что в результате этой далекой войны они окончательно стали в глазах государства «внутренними эмигрантами». Короче — нежелательными чужаками, каковы бы ни были их биографии, взгляды и вера. Пятый пункт стал их желтой повязкой. Но кому приходило в голову, что им — единственным! — разрешена будет действительная эмиграция?! И что столь многие из них пойдут на этот вариант «исхода»?! И что вслед за тем возникнет в 70-х годах политическая — диссидентская — эмиграция?! И что в 80-м году у наших официальных лиц появится тревожный термин — «утечка мозгов»?! А многие все-таки не хотят соглашаться, что они живут в другом мире, чем тот, что был до лета 67 года, и продолжают твердить: «Да ну — все то же, все то же...»)

13 июня

Вчера вечером — через три часа после возвращения домой, на Аэропортовскую, — ошеломляющий и обескураживающий подарок от мамы: письмо Солженицына — то самое, съездовское, полученное Некрасовым, уже ставшее притчей о свободолюбии! Получив его в мое отсутствие и прочитав, потому что оно было на машинке и без обратного адреса, мама держала совет с Тусиной сестрой Шурой. «Мы решили уберечь тебя от беды...» И не переслали письмо в Ялту!

На полмгновенья я вспыхнул. Но от словоизвержения удержался... Представилось, как потрясло их прочитанное! Как тотчас обрисовалось мое «преступное соучастие» в недозволенном! Какой знобящий страх охватил их души, навсегда терроризованные нашим прошлым! Словом, я промолчал.

Но был тщеславно обрадован до крайности. Тем был обрадован, что удостоился: Солженицын причислил меня к разряду «относительно порядочных», которым разослал свое послание. (Может быть, оттого, что еще помнил, как в начале года я отправил ему по рязанскому адресу свою «Неизбежность странного мира»). В апреле он отозвался добросердечной открыткой.)

И вот теперь я — порядочный — не знаю, что мне делать с его съездовским письмом? В нем — требование разрыва с нашей духовной действительностью. Его праведный максимализм — вплоть до провозглашенной готовности полатиться жизнью за отстаивание правды — исключает полусогласие или полупоступки. Вслух солидаризироваться с ним, значит пойти на изменение ВСЕЙ жизни: начать спать по-другому, ходить по-другому, общаться с ближними по-другому, словом — существовать по-другому: с иными тревогами, страхами, надеждами, с иным ощущением себя дома, на эскалаторе, в лифте, среди людей и без людей... Я к ЭТОМУ не готов! Еще честнее — не способен на ЭТО... И понимаю: все, что я сделаю, это отвечу С. Поблагодарю за доверие и объяснюсь.

Десятилетиями терроризованные поколения обречены жить двойственной жизнью, если сознают, что они терроризованы. Выглядеть в истории красиво им не дано. Тем острее они ощущают жертвенность единиц, нашедших в себе силу отречься от повального рабства своего поколения. С. и я — почти одноплетки, и мне не в чем искать оправдания. А лукавить — совсем уж недостойно.

(Добавление 80 г. — Я кое-что переменял в этой записи. Хотелось выглядеть лучше. Возможно, оттого, что был на тринадцать лет моложе и втайне еще подзуживал себя, что в один прекрасный день запишусь в герои. Не записался. И стало окончательно ясно — не запишусь. Как в «Облаке» Маяковского: «уже ничего не будет — ночь придет, перекусит и съест...»)

(Еще одно добавление 80 г. — Около двух лет назад пришел Боря Жутовский, несколько взъерошенный и не в своей тарелке, сказал, что хочет посоветоваться. Вася Аксенов предложил ему стать художником-оформителем рукописного Альманаха, из-за которого явно заварится каша. Соглашаться или не соглашаться? Решать чужую судьбу нельзя. Мне оставалось спросить его — готов ли он к ДРУГОЙ жизни? Готов ли он к эмиграции, если ему скажут «позвольте вам выйти вон!»? Боря, не задумываясь, ответил, что все это не для него. Тогда я сказал, что и разговаривать не о чем — соглашаться он не должен!.. Бедняга, как все мы, он долго мучился поисками формы отказа.

Позже выяснилось, что речь шла о «Метрополе». Думаю, что Вася А. был внутренне готов к эмиграции. И потому его игра с Борей шла не на равных...)

15 июня

После вечеринки: «Ребята, кто пошутил шапку?»
Как перевести это иностранцу?

16 июня

Простейшее объяснение израильского блицкрига: они начали в Понедельник и вынуждены были кончить до субботы.

17 июня

Студент Вольфганг Паули, — один из будущих гениев квантовой физики, — прослушав в Мюнхене лекцию Эйнштейна, громко сказал:

— А знаете, то, что говорил господин Эйнштейн, не так уж глупо!

Позднее, когда он отправлялся в Копенгаген — столицу квантовой физики, — его отец, венский профессор, выразил надежду, что сын научится у Бора хорошим манерам. Но в пылу полемики Паули однажды Бору сказал, что тот — «просто-напросто балда». (По другой версии — «дурак».)

Время даже сверхгрубости превращает в славные анекдоты, если моветонщики успевают обзавестись биографиями гениев.

20 июня

Кто-то должен был бы рассказать в ООН — на пленарном заседании! — прекрасную историю, приключившуюся в Копенгагене конца 20-х годов, когда там отыскивали квантовую механику.

...Бор со своими «мальчиками» любил смотреть вестерны и гангстерские фильмы. Рассказывают, что однажды Георгий Гамов сказал:

— Какого дьявола! Почему всякий раз тот, на кого нападают, успевает выстрелить первым? Это противоречит логике...

Бор возразил, что, напротив, — это вполне естественно: у защищающегося нет комплекса вины и он стреляет без колебаний — не обременяя себя рефлексией. Вот и все. А нападающий — даже гангстер — так или иначе на считанные мгновения размышлением обременен: «стрелять или не стрелять?»

Гамов сказал, что такая теория не слишком убедительна и нуждается в экспериментальной проверке. Все обзавелись детскими пистолетами и стали играть в гангстеров. Устроили в институте засаду на Бора. Нападение было внезапным, но Бор успел выстрелить первым! Повторили опыт — результат был тем же... Теория выдержала лабораторное испытание.

...В наши дни — только что! — она выдержала трагическую проверку на Ближнем Востоке, когда Насер грозил уничтожением Израилю. Проблема агрессии не так проста, как это кажется. У Израиля есть оправдание историей. Смешно: квантовая механика могла бы снабдить израильтян еще и оправданием психологией.

21 июня

В почтовом ящике — неурочно опущенное письмо. Без марки, без штемпеля, без обратного адреса. Прежде чем прочесть, посмотрел на подпись: «Богораз». И не сообразил, что это ведь жена Юлика Даниэля, с которой мне не случилось познакомиться.

Письмо — вопль, обращенный ко всем, начиная от Правительства и кончая столь малыми мира сего, как «писатели, деятели искусства, ученые». Даниэль посажен в БУР — за противление злу. (А противляться не надо, поскольку Толстой — зеркало русской революции!)

Вспомнил, как видел его в последний раз. Было это на похоронах Фриды Вигдоровой — чистой и деятельной души. Удивило тогда его лицо: большое, бледное, затравленное. Немые глаза. Возможно, он уже знал свою судьбу. Стоял в толпе, всем посторонний. Не подошел — поздоровался издали кивком головы. Но, правда, он в ту пору знал, что я негодуяще зол на него из-за истории с Таней Макаровой: он запутывал ее и без того запутанную жизнь квазироманом...

...Однако, что же мне делать с письмом Богораз? Стараясь представить, чего бы она хотела от меня? Протеста в какой форме? Ясно одно: она почему-то верит, что я не промолчу. Нельзя обмануть такую веру — не ради облегчения участи Ю. Д. (тут все тщета), а ради облегчения собственной совестливости, уже преданной и проданной столько раз...

(Добавление 80 г. — Я тогда написал письмо прокурору Руденко, сохранив себе копию и поставив о нем в известность писательского оргсекретаря Виктора Ильина, который сказал мне: «Не ты один написал, но юридические вещи так не делаются». Я возразил, что это не «юридическая вещь». Он согласился с сочувствием! И сказал: «Если получишь ответ, расскажи».)

Ответа я не получил. Так, в свое время, когда из-за Синявского пострадал в Университете Виктор Дувакин — его учитель, мы втроем — Рита Алигер, Юра Трифонов и я — послали защитительную телеграмму ректору Петровскому. Но ответа тоже не было. Не принято это! Да и что отвечать и ради чего отвечать?)

ЭССЕИСТИКА И КРИТИКА

АЛЕКСАНДР ЖОЛКОВСКИЙ

КНИГА КНИГ ПАСТЕРНАКА

(К 75-летию «Сестры моей — жизни»)

Вертоград моей сестры...

А. С. Пушкин

«Сестра моя — жизнь» была третьей по порядку книгой стихов Пастернака, но первой, принесшей ему беспорное признание. Она сразу выдвинула молодого, а впрочем, не такого уж и молодого, двадцатисеми-тридцатидвухлетнего автора (посвятившего ее Лермонтову, который дожил лишь до первого из этих сроков) в первый ряд современных поэтов. Хотя большинство составивших ее стихотворений были вдохновлены событиями лета 1917 года, написаны тогда же и вскоре стали появляться в печати, книга как целое вышла лишь пять лет спустя — в начале мая 1922 года тиражом 1000 экз.

Сегодня, благодаря серии квалифицированных изданий пастернаковского наследия и многочисленным мемуарным, эпистолярным и исследовательским публикациям, как на родине, так и за рубежом, особенно интенсивным со времен гласности и последовавшего вскоре столетнего юбилея Пастернака (1990)¹, о «Сестре моей — жизни» и ее авторе известно немало. Осмыслена биографическая подоплека книги — платонический роман поэта с Е. А. Виноград, выявлены многие ее литературные связи — русские и европейские, проанализировано ее поэтическое новаторство в трактовке человека и мироздания как граней единого целого и установлена катализирующая роль в формировании такой «типично пастернаковской» картины мира той экстатически соборной атмосферы «между двумя революционными сроками» (Пастернак), которая была фоном любовного сюжета книги.

Характерным новым аспектом пастернаковедческих штудий становится все более внимательное изучение мировоззренческих корней творчества Пастернака, начиная с ранних марбургских занятий философией и кончая позднейшим (а в какой-то мере и ретроспективным) обращением к православию. В конфессиональной траектории Пастернака особое место занимает проблема отвержения им еврейства — как собственной «иудейской идентичности», так и соответствующего самосознания евреев в России и мире вообще. Проблема эта, привлекавшая внимание исследователей (Л. С. Флейшмана, Эфраима Зихера, Р. Д. Тименчика, Михаила Эпштейна, Ю. М. Каган) преимущественно в последние годы, тем сложнее и интереснее, что такое отвержение носило у Пастернака то явный, то подспудный характер, самым интимным образом переплеталось с его общим «европейским», так называемым «иудео-греко-христианским», мировосприятием, а во многом совмещалось с притяжением — опять-таки как сознательным, так и подсознательным.

Александр Константинович Жолковский (род. в 1937 г.) — лингвист, литературовед, постоянный автор «Звезды». В 1979 г. эмигрировал. Преподавал в Амстердамском и Корнеллском университетах. С 1983 г. — профессор университета Южной Калифорнии.

Как мы увидим, внимание к двойственной — «иудейско-христианской» — теме позволяет пролить неожиданный свет на самую суть эпохальной третьей книги поэта, а в более широкой перспективе — и на весь его жизненный и творческий «текст».

1

Заголовок «Сестра моя — жизнь» — едва ли не самая эмблематическая формула пастернаковского мифа. Даже в поздние годы, когда Пастернак отрекался чуть ли не от всей своей ранней продукции («до 1940-го года»), он по-прежнему ценил этот программный образ. Когда в 1955 году Корней Чуковский спросил его, над чем он работает, Пастернак ответил: «Вот кончу роман — примусь за составление своего однотомника. Как хотелось бы все переделать, — например, в цикле „Сестра моя — жизнь“ хорошо только заглавие». А много раньше, отстаивая перед ревновавшей его первой женой Евгенией Владимировной свое непреодолимое тяготение к окружающему миру (и в частности, к Цветаевой), он писал ей, лишь слегка лукавя:

«Ведь что-то я хотел сказать заглавьем „Сестры моей — жизни“, и это что-то живет во мне. Я не могу отказаться от дружбы, от почти домашней интимности, перехлестывающей на улицу, от чувства родства с совершенным, оформляющимся в лице, искусством» (7 июля 1928 г.).

Счастливо найденное заглавие имеет внушительную христианскую родословную. Прежде всего, как установили комментаторы, оно восходит к любимому Пастернаком стихотворению Верлена из книги «Мудрость» («Sagesse»)², со строчкой — *La vie est laide, encore c'est ta soeur* («Жизнь некрасива, но все же она твоя сестра»). Согласно одной из версий, стихотворение было написано Верленом в 1880 году в порядке христианского ободрения его любовнику и символическому «сыну» Люсьену Летинуа по случаю его отправки на военную службу. Относительная оптимистичность стихотворения отмечается исследователями как отличная от эстетского пессимизма таких авторов, как Бодлер, Леконт де Лиль, Флобер, братья Гонкуры, и предвещающая аналогичный тонус у более позднего христианского поэта — Ф. Жамма. Истоки подобного христианского прославления Бога и Божьего мира в сочетании с упором на метафорику родства восходят к гимнам Св. Франциска Ассизского, независимо от степени знакомства Верлена с этими текстами.

В «Песни о Брате Солнце», или «Похвале Творениям» (1224)³, Франциск обращается к светилам и стихиям как братьям и сестрам, а землю называет одновременно и сестрой, и матерью. В по возможности буквальном переводе:

Будь благословен, Господи, во всех Твоих творениях, в особенности — в господине брате Солнце...

Будь благословен, Господи, в сестре Луне и Звездах...

Будь благословен, Господи, во брате Ветре...

Будь благословен, Господи, в сестре Воде...

Будь благословен, Господи, во брате Огне...

Будь благословен, Господи, в сестре нашей матери Земле...

Будь благословен, Господи, в сестре нашей Смерти телесной... (3, 5—9, 12).

А в «Похвале добродетелям» Св. Франциск объявляет царицу мудрость сестрой святой простоты и последовательно разрабатывает «сестринскую» трактовку других добродетелей:

О царица мудрость, Господь (ga) хранит тебя вместе с твоей сестрицей, чистой и святой простотой.

Госпожа святая нищета, Господь (ga) хранит тебя вместе с твоей сестрицей, святой смиренностью.

Госпожа милость, Господь (ga) хранит тебя вместе с твоей сестрицей святой послушностью (1—3).

Еще один вероятный францисканский источник — житийные «Цветочки Франциска Ассизского» (конец XIV в.), которые должны были быть хорошо известны Пастернаку уже в 10-е годы, ибо это жизнеописание «вышло в русском переводе в 1913 году с предисловием С. Н. Дурылина, а Дурылин был одним из первых, кто поддержал Пастернака в его ранних поэтических опытах» (В. Аль-

фонсов). Жизнеописание Св. Франциска и исследования о нем стали появляться в России с 90-х годов прошлого века, и его образ оказал определенное влияние на культуру русского модернизма (Стефано Гардзонио).

На стыке модернистских и религиозных исканий русской интеллигенции рубежа веков видное место занимает фигура Александра Добролюбова (1878—1943?), начавшего с шумной славы декадента, а в дальнейшем ушедшего из литературы в народ и основавшего в Поволжье собственную христианскую секту. Как отмечает Е. В. Иванова,

«...у Франциска Ассизского он усвоил... ряд натурфилософических идей. Добролюбова можно назвать одним из первых русских францисканцев начала XX века. Обращение „брат“ прилагалось им и его последователями ко всей живой природе — к птицам, травам, звездам и т. п. — и выглядело настолько необычным в глазах других сектантов, что их прозвали за это „братками“... В... стихотворении [Добролюбова], являвшемся гимном, исполнявшимся добролюбовцами во время собраний... есть... строк[и]...: *Сестры птички в лесах привечали меня..., Возвратит мне блистанье сестрица весна...* В сходном смысле Добролюбов высказывается и о Боге: „Отец мой и Сын мой, Возлюбленный мой, Старший брат мой, невеста моя и сестра. Правая рука моя, Он — вся жизнь моя и душа моя!“».

По мнению исследовательницы, знакомство молодого Пастернака со стихами или личностью Добролюбова не доказано, и «тем больший интерес представляет... такое совпадение: в неопубликованном стихотворении Александра Добролюбова задолго до Пастернака [в 1907 году] появилась строка *Сестра моя жизнь*» (Е. В. Иванова). Согласно И. П. Смирнову и И. Р. Дёринг-Смирновой, Пастернак заимствовал свое заглавие непосредственно из прозы или поэзии Добролюбова.

Св. Франциск не является каким-то абсолютным первоисточником интересующей нас образности. Как известно, литература всегда «уже была», и, значит, всякий новый текст всегда был интертекстуален, уходя корнями в еще более седую литературную древность. Тем более это верно применительно к христианской традиции вообще и особенно — к поэзии и жизни Св. Франциска, сознательно ориентированным на подражание евангельским и библейским образцам, а также на их свежее — предренессансное — воплощение и преобразование.

«Песнь о Брате Солнце» представляет собой вариацию на библейские псалмы (Псалтирь, кстати, была любимым чтением Пастернака) — 135-й, где Господь восславляется за его творения — солнце, луну и т. д., и в еще большей мере 148-й, где сами эти творения призываются восхвалить своего Творца.

Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. /.../ Который сотворил небеса, ибо вовек милость Его;/ Утвердил землю на водах.../ Сотворил светила великие.../ Солнце — для управления днем.../ Луну и звезды — для управления ночью... (Пс. 135: 1, 5—9).

Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. /.../ Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света./ Хвалите Его, небеса небес, и воды, которые превыше небес. /.../ Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны,/ Огонь и град, стог и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его,/ Горы и все холмы, деревья плодоносные и все кедры. /.../ Он возвысил рог народа Своего, славу... сынов Израилевых, народа близкого к Нему. Аллилуя (Пс. 148: 1, 3, 4, 7—9, 14).

От этих библейских образцов гимн Св. Франциска отличается целым рядом новаторских решений.

Прежде всего — введением христианского мотива любви к телесной смерти. Создав перечислением творений Божьих мощную поэтическую инерцию, поэт получает возможность на том же дыхании причислить к их кругу также и смерть, — в отличие от ветхозаветного псалма, кончающегося упоминанием о близости к Господу народа Израилева. Появление «смерти» эффектно подкреплено звуковой переключкой, в составе общей «сестринской» формулы (*per sora postra*), разительно противоположных «матери» (*matre*) и «смерти» (*morte*). А это сближение крайностей, в свою очередь, подготовлено парадоксальностью сочетания «*сестра наша мать Земля*» (*sora nostra matre Terra*).

Еще одна инновация — мотив братского родства с миром. Настойчивое употребление терминов родства («сестра», «брат», «мать») при обращении к основным частям творения (Солнцу, Земле, Воде и т. д.) читается как прямое до наивности поэтическое преломление того духа монашеского братства, который был столь существенен для учения и деятельности Св. Франциска.

Наконец, оригинально и братское же, если угодно, смешение мировых стихий как одновременно субъектов, объектов и инструментов центрального акта — восхваления Господа. В языковой ткани гимна это осуществлено двусмысленным употреблением предлогов *con*, «с, вместе с, посредством», и *per*, «благодаря, через, при помощи»; у итальянских исследователей они даже получили название «ужасных» (*i pterozioni terribili*). Действительно, центральный повелительный оборот может пониматься и в смысле «будь благословен **за что** — за Солнце, Луну...», и в смысле «будь благословляем **кем** — Солнцем, Луной и т. п.», и в смысле «будь благословляем **при помощи кого/чего** — Солнца, Луны...».

Созвучность «братско-сестринской» установки Франциска заглавию пастернаковской книги и его общему поэтическому мироощущению очевидна. В широком плане этот новаторский мотив Св. Франциска может быть соотнесен, при всех поправках на его смиренно-христианские обертоны, с футуристическим желанием «звездам тыкать» — в программной хлебниковской формулировке, примененной также к Маяковскому, а во многом и к раннему Пастернаку.

Не менее примечательна близость между путаницей с «ужасными предложениями» и многообразной пастернаковской техникой сдвигов сочетаемости и перемешивания грамматических ролей, реализующей его поэтику единства мироздания, в котором «люди и звери» и вообще все со всем «на равной ноге». Вспомним лотмановский разбор ранних черновых набросков Пастернака, в которых *опыляют и сквозят* и колеблющаяся на ветру свеча, и листаемая ветром и читателем книга, и ветер, и вечерняя даль, и сам читающий субъект. А на уровне фонетической техники вполне по-пастернаковски звучит сближение *matre* — *morite* (ср. *шлюзы жалюзи, на чердаке — чертог* и т. п.).

Что касается происхождения сестринской метафоры, излюбленной Франциском Ассизским и столь важной для Пастернака, то, хотя ни 135-й, ни 148-й, ни какой-либо иной из библейских псалмов ее не содержит, своими корнями она уходит именно в Ветхий завет. Образ «сестры» фигурирует там в самых разных поворотах, в том числе в переносных сочетаниях с такими обобщенными сущностями, как города, народы и даже абстрактные свойства.

Большая же сестра твоя — Самария, с дочерьми своими живущая влево от тебя; а меньшая сестра твоя, живущая от тебя вправо, есть Согдома, с дочерьми ее.

И сестры твои, Согдома и дочери ее... и Самария и дочери ее... (Иез. 16: 46, 55; эта глава обращена пророком от имени Бога к еврейскому народу как «дщери Иерусалима»; Иез. 16: 3).

...презрит тебя, посмеется над тобою девствующая гочь Сиона, покачает вслед тебя головою дочь Иерусалима (Ис. 37: 22).

Скажи мудрости: «ты сестра моя!» и разум назови родным твоим (Прит. 7:4).

А в Новом завете (Откр. 17: 5) в терминах родства описывается пресловутая Вавилонская блудница: *И на челе [этой жены] написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудниц и мерзостям земным; ср. напротив, вышний Иерусалим свободен; он — мать всем нам (Гал. 4: 26).*

Примечательно, что одна из «усестряемых» в библейской традиции категорий — «мудрость» Притчей Соломоновых⁴ — совпадает с заглавной темой книги Верлена и входит в число сестринских сущностей у Св. Франциска.

В целом можно сказать, что, по сравнению с ветхозаветными (и, значит, первоначально иудейскими и лишь унаследованными христианством) псалмами, гимн Св. Франциска звучит по-христиански аскетично — вплоть до приятия смерти. Но на фоне предшествующей еще более суровой христианской традиции он выделяется своим радостным братанием с Божьим миром. Пастернаку «Сестры моей — жизни» у Франциска (и Дурьилина как его интерпретатора) был особенно близок именно этот второй, условно говоря, пантеистический элемент (С. Гардзонио). В других же отношениях он обращается — так сказать, через голову своего итальянского предтечи — непосредственно к Библии, причем именно к Ветхому завету.

Ветхозаветные подтексты нередки в «Сестре моей — жизни». Так, заглавное стихотворение книги («Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе...») содержит знаменитое снижающее упоминание Библии:

Что в мае, когда поездов расписание
 Камышинской веткой читаешь в купе,
 Оно грандиозней святого писанья
 И черных от пыли и бурь канаве.

Или, в поздней редакции:

Что в мае, когда поездов расписание
 Камышинской веткой читаешь в пути,
 Оно грандиозней святого писанья,
 Хотя его сызнова все перечти.

Однако за этим шокирующим футуристическим жестом обнаруживается скрытая отсылка к великому пратексту: оказывается, что реальная география камышинской железной дороги содержит такие названия, как станция Моисеево (Р. Д. Тименчик)⁵.

Более того, само словосочетание *камышинская ветка* (если в пастернаковском духе увидеть в нем еще и «ветку камыша») представляет собой двойную отсылку к истории Моисея. Младенцем он был найден в «корзинке из тростника... среди тростника/ в камышах» (Исх. 2: 3—5). А одно из его чудес состояло в разделении вод моря *Yam Suf* (Исх. 13, 14) — название, которое обычно анахронистически переводится как «Чермное (т. е. Красное) море», но буквально значит «Тростниковое» и, тем самым, «Камышовое» (особенно при русифицирующей трактовке библейских сюжетов, столь характерной для Пастернака). Несколько яснее «камышовое море» было прописано в эпиграфе к одному из ранних вариантов стихотворения, взятом Пастернаком из собственных (ныне утерянных) стихов: *То есть сон, понимаешь, совсем огурел,/ Стоя в сене, как в море, по пояс,/ Как завидел за сагом в заборной дыре/ На Камышин пронесшийся поезд.*

Одно из стихотворений книги, открыто спроецированных на ветхозаветный фон, — это «Степь». В нем прямым текстом проходит словесный мотив *В Начале...*, а интригуяще неточная рифма *запорошит/парашют* в финальной строфе оказывается зашифрованной отсылкой к этому первому слову Библии — *bereshit* (давшему и древнееврейское название ее первой книге). При этом уникальная у Пастернака рифмовка, основанная на согласных и как бы игнорирующая гласные, имитирует важнейшую черту того языка, на котором был написан Ветхий завет (Р. Д. Тименчик). Но тогда и в слове *камышинской* можно прочесть анаграмму еврейского произношения имени Моисея — *Моше*, а возможно, и целого proverbialного выражения *ka-Moshe*, «как Моисей».

«Степь» изобилует прямыми и подразумеваемыми подтекстами из книги Бытия, включая сложную аллюзию, которую несут даже невинные, казалось бы, комары в строках: *... В Начале/ Пльн Плач Комариный, Ползли Мураши,/ Волчцы по Чулкам Торчали.* Дело в том, что Гете (которым в те годы как раз очень увлекался Пастернак) описывает в «Поэзии и правде» (кн. 11), как во время его ухаживаний за Фридерикой Брион они поехали гулять на лесистый остров, но вынуждены были спастись бегством от нещадно кусавших комаров. По возвращении Гете излил свое раздражение в шуточном теологическом диспуте с отцом Фридерики, пастором, сказав ему, что сотворение комаров опровергает либо всемогущество, либо доброту Господа. Пастор не остался в долгу и возразил, что в Раю комары если и существовали, то уж, конечно, не жалили, а только пищали⁶. Дополнительный пастернаковский парадокс состоит в том, что у него *Вся степь — как до грехопадения*, но в ней уже фигурируют *волчцы*, посланные, как известно, позднее — в наказание за грех Адама и Евы (Быт. 3: 18).

В связи с этими комарами нельзя не вспомнить о зловеще эротическом комаре из стихотворения «Наша гроза», сладострастно всаживающем свой *хобот малярный*, он же — *стрекало озорства*. В нем Е. В. Пастернак усматривает скрытый намек на фамилию общего знакомого Пастернака и Е. А. Винограда и ее двоюродного брата и первого «соблазнителя» — А. Л. Штиха, по-немецки (*Stich*) означающую «укол, укус, жало». В дальнейшем этот «комаринный» мотив нашел отражение в фигуре Комаровского — растлителя Лары.

Еще два примера. Обрамляющий образ стихотворения «Как у них» (тоже из «Сестры»): *Лицо лазури дышит над лицом/ Недышащей любимицы реки* представляет собой остранный перифраз «духа/дыхания Божьего, носившегося над водами» (Быт. 1: 2). Русский предлог «над» (а в ряде европейских языков — метафорический оборот «над лицом [вод]», *upon the face [of the waters]*) служит переводом древнееврейской предложной конструкции 'al-rpei, этимологически расширяваемой как «над лицом», но означающей попросту «над». (Подобная

грамматикализация «лица» знакома нам по перешедшим в русский язык библейским оборотам типа «перед лицом [Бога]», «[стереть] с лица [земли]» и т. п.).

В таком случае лейтмотивный принцип книги (и шире — всей пастернаковской поэтики), заданный эпиграфом из стихотворения Ленау «Картина» (в буквальном переводе: *Бушует лес, по небу пролетают/ Грозовые тучи, / Торга рисуются мне [рисую я — mal ich] в движении непогоды, / О, девочка, твои черты*), обнаруживает двойное происхождение. Наряду с романтической поэзией, его необъявленным источником оказывается книга Бытия — в соответствии с убеждением тридцатилетнего Пастернака, что «книга и Библия — синонимы» (Н. Н. Вильмонт), в более поздней формулировке зафиксированным в «Охранной грамоте»: «Библия есть не столько книга с твердым текстом, сколько записная тетрадь человечества» (ч. 2, гл. 18). В обоих вариантах одновременно — и романтическом, и библейском — идея «вписывания женщины в картину мироздания» могла встретиться Пастернаку у другого любимого немецкого (еврейского, христианского) поэта — Гейне: *Да, тело женщины — стихи, / И это стихотворенье! Вписал в альбом природы Бог / В порыве вдохновенья. /... / Воистину, женское тело — песнь, / И даже — песнь песней* («Песнь песней»; пер. Л. Пеньковского).

Стихотворение «Давай ронять слова...» не только непосредственно посвящено вопросу о сотворении мира и упоминает книгу Экклезиаста, но и анаграммирует имя Божие — в соответствии с его принципиальной анонимностью в иудаизме.

Ты спросишь, кто велит?
— Всесильный Бог деталей,
Всесильный Бог любви,
Ягайлов и Ядвиг.

Из-за имен довольно периферийной религиозно-династической пары — *Ягайлы и Ядвиги* — проглядывает табуированное имя *Ягве*.

Можно было бы упомянуть множество других «божественных» мест из «Сестры моей — жизни». Перейдем, однако, к заглавному образному комплексу книги.

Он складывается из многообразных сплетений ряда мотивов: лирического «я»; «сада»; «зеркала»; «любимой» — «ТЫ» («ТЫ» соблюдается почти до самого конца книги, где появляется отстраняющее «вы»); «ветки»; и более абстрактной женской сущности — «жизни». В рамках этого комплекса «сестра моя жизнь» из заглавного стихотворения, где она дана в 3-м лице (*Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе / Расшилась весенним дождем обо всех*) и на фоне «камышинской/камышовой ветки», как бы отождествляется с «веткой» и другими компонентами комплекса.

Из сада, с качелей, с бухты-барахты
Вбегае ветка в трюмо!
Огромная, близкая, с каплей смарагда
На кончике кисти прямой. <...>
Родная, громадная, с сад, а характером —
Сестра! Второе трюмо!

(«Девочка»)

В следующем стихотворении («Ты в ветре...») «я» обращается к ветке уже на «ТЫ»:

Ты в ветре, веткой пробуящем,
Не время ль птицам петь <...>
Сиреневая ветвь!

В отличие от «ветки» и «любимой», «сестра-жизнь» в книге на «ТЫ» так и не называется, но как «жизнь», так и другие абстракции нередко выступают в связи и соседстве с «тыкаемой» любимой:

Он [лес] — в слезах, а ты прекрасна,
Вся как день, как нетерпенье!

(«Mein liebchen...»)

Грех думать — ты не из весталок:
Вошла со стулом,
Как с полки жизнь мою достала
И пыль обдула.

(«Из суевья»)

А задним числом усеменение жизни закрепляется стихотворением 1936 года, посвященным выходу книги в чешском переводе:

Казалось альфой и омегой —
Мы с жизнью на один покров;
И круглый год, в снегу, без снега,
Она жила, как alter ego,
И я назвал ее сестрой.

(«Все наклоненья и залогои...»)

Вообще, в более поздних текстах Пастернака программному «тыканью» и братанию подвергаются как «жизнь», так и любые сопрягаемые с ней лица и персонажи.

«Ты такая прекрасная, такая сестра, такая сестра моя жизнь, ты прямо с неба спущена ко мне; ты в пору крайностям души. Ты моя и всегда была моею и вся моя жизнь — тебе» (письмо к Цветаевой, 25 марта 1926 г.).

«Я вижу тебя полураздетую в лодке [на фотокарточке], и твое... тело... не только меня волнует твоей особой женской прелестью... но... говорит мне... ты — поэт... ты мой брат...» (письмо к Е. В. Пастернак, 17 сентября 1926 г.).

«...ты близкая спутница большого русского творчества, лирического в годы социалистического строительства, внутренне страшно на него похожая, — сестра его...»

«...ты... такая разгадка всего моего склада... такая сестра моему дарованью... выход... через революцию к... последнему смыслу родины и времени» (письма к З. Н. Нейгауз-Пастернак 14 мая и конца июня 1931 г.).

Ты стала настолько мне жизнью...; А ты прекрасна без извилин, / И прелести твоей секрет / Разгадке жизни равносильен. /.../ Ты из семьи таких основ... (книга «Второе рождение»; стихи, обращенные к Зинаиде Николаевне).

«У него являлось... торжествующее чувство общности породы с ее [Лары] красотой, он вдруг открывал в себе товарища ее женственной прелести... брата, загорающегося недозволенной страстью к сестре своей» (Пастернак, наброски к «Доктору Живаго»).

Такая переадресация лейтмотива книги, первоначально вдохновленного прототипом ее героини, Еленой Виноград, другим лицам (список легко расширить) в каком-то смысле противоречит известной авторизованной версии истории возникновения книги. В 1959 году Пастернак рассказывал Зое Маслениковой:

«— Когда я заканчивал «Поверх барьеров», девушка, в которую я был влюблен, попросила меня подарить ей эту книгу. Я чувствовал, что это нельзя... и я тогда поверх этой книги стал писать для нее другую — так родилась «Сестра моя — жизнь», она так и не узнала о подмене...»

«...оказалось, — комментирует Е. Б. Пастернак, — что подарить [Е. А. Виноград] стихи, посвященные болезненным подробностям отношений с Н. М. Синяковой — если брать сюжетную сторону книги, — совершенно невозможно».

Однако применительно к заглавному лейтмотиву третьей книги подобное перепосвящение оказалось не только возможным, но и циркулярно воспроизводимым. Почему? Полагаю, что его настойчивое тиражирование свидетельствует о приоритете для Пастернака самой предвечной идеи братства над конкретными сестрами, женами и иными усеменяемыми адресатами. Продолжим поиск ее ветхозаветных источников.

Любовь на фоне сада, ветвей, цветов, ароматов, вина, драгоценных камней (вроде *smaragda*) и братско-сестринского родства имеет великий библейский прототип — «Песнь песней Соломона». Написанная в форме диалога между, условно, Невестой и Женихом и восходящая к египетской традиции свадебных песен, «Песнь песней» обрела на рубеже веков новую жизнь в европейской и русской литературной традиции. Традиционно толковавшаяся преимущественно в спиритуальном духе (как религиозный трактат о любви Бога/евреев к своему народу/церкви/торе), она стала читаться как светский любовный текст (поэма, драма, эротический цикл). Важной вехой в этой реинтерпретации «Песни песней» стал ее новый комментированный перевод на французский язык, выпущенный Эрнестом Ренаном («Le Cantique des cantiques»; 1860).

В России новая трактовка «Песни» получила права гражданства, как всегда, с некоторым запозданием. Роль, сравнимую с ренановской, в русской культуре,

по-видимому, сыграло издание «Песнь Песней Соломона. Перевод с древне-еврейского и примечания А. Эфроса. Предисловие В. Розанова» (СПб.: Пантеон, 1910; 264 с.). В этот предствительный том вошли также: старинный южнорусский перевод «Песни»; рассуждение о ней Феофана Прокоповича (1730), извлечения из работы о «Песни» Гердера (1776) и из комментариев Ренана (1860); небольшая антология «„Песнь песней“ в русской поэзии» — стихи Державина, Пушкина, Фета, Мея, Феофанова, Лохвицкой, Брюсова и нек. др.; обзор преломлений «Песни» в русской музыке (у Римского-Корсакова, Мусоргского и Рубинштейна, которому принадлежит целая опера «Суламит», 1901), написанный Ю. Д. Энгелем — другом семьи Л. О. и Р. И. Пастернаков и одним из музыкальных учителей Бориса; и ряд других материалов и комментариев. О росте популярности «Песни» говорит появление в 1908 году орнаментально ритмизованной повести Куприна «Суламифь» (à la «Саламбо» Флобера), а в 1911-м — элегически осовремененной квазиавтобиографической «Песни песней» Шолом-Алейхема (с подзаголовком «Юношеский роман»).

Таким образом, «Песнь песней» переживала триумфальное возвращение в культурный канон более или менее одновременно с фигурой Франциска Ассизского и как раз в годы формирования Пастернака. Поэтому скрещение обеих этих возрожденных традиций — одной преимущественно иудейской, другой христианской — в «сестринской» книге Пастернака было, при всей несомненной оригинальности, достаточно закономерным⁷.

В новом свете под этим углом зрения предстает и упомянутое выше стихотворение Добролюбова, обращенное к его возлюбленной (Анне Велькиной):

Заклучил я с тобой завет
Среди яблонь в весеннем саду.
Яблонь цвела в серебристом цвету
И блестили средь яблонь плоды.
Серафимы нам пели с тобой
Вдохновенный псалом торжества.
Не слышали его прежде нас
Дети неба и дети земли.
Вдруг упал я ниц лицом до земли
Пред тобою, сестра моя жизнь!
И склонилась и ты до земли
И отверзла ложесна свои
И дала мне лобзанья любви.
И земля, и весь сад предо мной
Засияли нездешней красой.
Серафимские песни неслись надо мной
Прославляя творца всех времен...⁸

Помимо слов *сестра моя жизнь*, примечательно, при очевидных различиях и неравноценности в поэтическом отношении, предвосхищенное здесь Добролюбовым «пастернаковское» совмещение автобиографического основного топоса с францисканским, эдемским и давидовско-соломоновским. Основной совмещения служат общий для всех них мотив сада, а также объединяющее обе части Библии слово «завет» и прославление *творца всех времен*. На эту основу нанизаны различные и даже взаимно противоречащие мотивы, взятые из разных дискурсов: из собственной биографии — обращение к любимой женщине, из книги Бытия — яблоко и плотская любовь, у Франциска — сестринство, у Давида — «псалом», из «Песни песней» — воспевание плотской любви. Привлечение «Песни песней» вполне естественно, поскольку она была, среди прочего, попыткой позитивной вариации на тему основоположного библейского мифа о роковой любви двух очень близких родственников, возникшей, так сказать, в пра-саду человечества⁹.

В какой же мере «Песнь песней», при посредничестве Гейне уже вошедшая в интертекстуальный фон «Сестры моей — жизни», образует непосредственный поэтический подтекст этой книги и пастернаковской поэтики вообще?

3

Начнем с трижды проходящего в «Песни» призыва Жениха к Невесте встать, выйти в сад и убедиться, что настала весна — сезон цветения и птичьего пения:

*Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал;
Цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей.*

Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоение. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! (2: 10—13; см. тж. 6: 11; 7: 13).

В «Сестре» этому буквально вторят строчка (и заголовок раздела) *Не время ль птицам петь* и повторяющийся мотив совместного выхода в сад (типа: *Теперь бежим сощипывать, / Как стон со ста гитар, / Омытый мглою липовой / Садовый Сен-Готард; «Дождь»*). Из русских вариаций на «Песнь песней», собранных Эфросом, фиксацию абстрактной категории «времени пения/цветения» находим у Мея, причем в поразительно «пастернаковском» ключе: ... *И смоковница в цвету, — / Завязала плод и семя, / И обрезания время / Запыhalось на лету* («Еврейские песни»; 1861), а также у А. Зарина: *Время пения настало* («Из Песни песней»; 1894).

Призыв вставать каждый раз следует в «Песни» за деликатным предупреждением не будить Невесту: *Заклинаю вас, дщери Иерусалимские... не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно* (2: 7; см. тж. 3: 5; 8: 4). Ср. у Пастернака: *Будешь... / Ты с того утра виднешься, / Век в душе качаясь / Лилиею, праведница! / ... / Спи, царица Спарты, / Рано еще, сыро еще* («Елене»).

В свою очередь, пастернаковское приравнивание возлюбленной к цветам, в последнем примере — к лилии, а в других случаях — к сиреновой ветви и т. п., тоже переключается с «Песнью песней». Там Невеста отождествляет себя с нарциссом, или розой саронской, или ландышем, или лилией долин (переводы различны), а любовные ласки героев многообразно выражены в садовом коде:

Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти.

Подумал я: влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее; и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков (7: 8—9).

Вспомним у Пастернака ивы, целующие влюбленных в ключицы (а лодку — в уключины), в «Сложь весла», а также Юрия Живаго, обнимающего рябину так, как если бы это была Лара:

«Она... простирала две заснеженные ветки вперед навстречу ему. Он вспомнил большие белые руки Лары, круглые, щедрые, и, ухватившись за ветки, притянул дерево к себе. Словно сознательным ответным движением рябина осыпала его снегом... Он бормотал: — Я увижу тебя, красота моя писаная, княгиня моя, рябинушка, родная кровинушка» (ч. 12, гл. 9).

Подмена ближневосточной флоры севернорусской, как уже говорилось, соответствует пастернаковской установке на создание в «Докторе Живаго» своего рода российский извода Евангелия (в частности, в «Рождественской звезде» с ее снежным пейзажем). При этом у трансформации «виноград — рябина» есть и прямой поэтический прецедент — «Рябина» П. А. Вяземского (1854; подсказано К. М. Поливановым):

Тобой, красивая рябина,
Тобой, наш русский виноград,
Меня потешила чужбина,
И я землячке милой рад. <...>

Ты вся обвешана кораллом,
Как шеи черноглазых дев. <...>

Нет, здесь ты пропадаешь даром,
И средь спесивых винных лоз
Не впрок тебя за летним жаром
Прихватит молодой мороз...

Далее, Невеста в «Песни песней» предстает запертой на замок, который Жених пытается открыть, сначала безуспешно.

Запертый сад — сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник...

Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста...

Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя...

Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него (4: 12; 5: 1, 2, 4).

Сходные ситуации несколько раз проходят в «Сестре»:

*Всю ночь в окошко торкался/ И ставень гребезжал./ Вдруг гух сырой прогорклости/
По платью пробежал («Ты в ветре...»);*

*Если губы на замке,/ Вешай с улицы гругой./ Нет, не на дверь, не в пробой,/ Если на
сердце запрет./ Но на весь одной тобой/ Немутимо белый свет./ <...>/ Гарь на солнце
под замком,/ Гниль на веснах заперти («Дик прием был...»).*

Из рук не выпускал защелки./ Ты вырывалась... («Из суеверья»)¹⁰.

Обращенной вариацией на ту же тему (с характерным для Пастернака перемешиванием гендерных ролей) является образ сада/ветки (т. е. любимой), ломающихся в жизнь, в комнату и в трюмо («Зеркало», «Девочка»). В романе этому вторят липовый сук, выбивающий окно, и оторвавшаяся ставня, бьющаяся о наличник, которые воспринимаются Юрием как знаки возвращения уехавшей Лары. Кстати, мотив «запечатленности» и «просовывания руки в скважину замка»¹¹ достаточно хорошо отражен и в более ранних русских подражаниях «Песни песней».

К числу общих с «Песнью песней» черт «Сестры» относятся также восторженные взаимные хвалы влюбленных (типа *Ты прекрасна...*); взаимное приравнивание к большим неантропоморфным сущностям (саду, горам, странам, солнцу, заре, дню, вечеру); и употребление самого слова «песнь/песня» — как в любовном, так и в «божественном» смысле: *И песнь небес: «Твоя, твоя!»..; Этим ведь в песне тешатся все./ Это ведь значит — пепел сиреневый./ Роскошь крошеной ромашки в росе./ Звезды и звезды на губы выменивать!; О, не бойся, приросшая песнь!*

Что касается авторства «Песни», условно приписываемого царю Соломону, то, как известно из воспоминаний современников, Пастернак живо интересовался фигурой Соломона, с которым, кстати, как и со Св. Франциском, он разделял репутацию мага: «...он любил природу не так, как мы все ее любим. Он... слышал и понимал ее язык. Он слышал треск лопающихся почек и понимал голоса птиц» (Н. Табидзе).

Но особенно важен для нашего сопоставления неоднократно проходящий в «Песни песней» мотив квази-инцестуальной любви между братом и сестрой.

Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста...

О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста...

Запертый сад — сестра моя, невеста...

Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста...

Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя...

О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей!... тогда я... целовала бы тебя, и меня не осуждали бы (4: 9, 10, 12; 5: 1, 2; 8: 1).

В «Песни песней» и в соответствующей традиции свадебных песен «инцест» был чисто фигуральным и служил риторическому подчеркиванию как расстояния, так и близости между партнерами. Однако его мифологическим прототипом был эндогамный брак Изиды и Озириса — близнецов, которые зачали своего сына Гора еще во чреве своей матери. А в каком-то смысле эндогамными были и еврейские законы о браке: за специально оговоренными исключениями, евреям полагалось жениться на еврейках; позволялось брать в жены своих родственниц, в том числе двоюродных сестер и сестер жены брата; а по обычаю левирата, после смерти одного из братьев его жена переходила к другому (и даже к отцу)¹². Оппозиция эндогамии/экзогамии (то есть установок на брак внутри и вне собственного рода) в широком смысле была существенной чертой личной мифологии Пастернака, о чем речь впереди.

Разумеется, некоторые из приведенных переключек могут быть отнесены на счет типовых признаков любовно-свадебного жанра. У «Сестры моей — жизни» есть, однако, еще один, внелитературный аспект, который делает ориентацию на «Песнь песней» особенно вероятной. Это — значащая, типично еврейская фамилия женщины, послужившей прототипом героини и адресатом книги: Виноград. «Песнь песней», будучи классическим древнееврейским образцом любовной лирики, естественно, давала в распоряжение поэта богатый набор виноградных, винных и садово-виноградских мотивов. Однако если имя «Елена» открыто фигурирует в книге — как таковое, а также в виде разнообразных поэтических и мифологических ассоциаций (с Гете, Ленау, Э. По и др.; они хорошо изучены), то «виноград», будь то как имя собственное или нарицательное, в тексте отсутствует.

Тем не менее, некоторые косвенные аллюзии на виноград в книге обнаруживаются. Прежде всего, как отметила К. О'Коннор, в стихотворении «Определе-

ние творчества» появляется «лоза Изольды» (*Соловьем над лозою Изольды/ Захлабнулась Тристанова захолодь*) — символ посмертного соединения влюбленных:

«Из могилы Тристана выросла лоза, которая лепилась по стенам, пока не спустилась в могилу королевы [Изольды]. Ее три раза срезали, но она каждый раз вырастала еще более сильной, чем раньше, и это чудесное растение с тех пор всегда осеяло могилы Тристана и Изольды» (указатель Булфинча).

Кроме того, многочисленные ветки, кисти сирени и смородины и гроздь образуют русские соответствия виноградных ветвей и кистей, столь центральных для библейской, особенно ветхозаветной топики.

И пришли к долине Есхол, и срезали там виноградную ветвь с одною кистью ягод, и понесли ее на шесте двое...

Место сие назвали долиною Есхол [виноградная кисть], по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы (Чис. 13: 24—25; эпизод с разведыванием земли Ханаанской).

Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоём; сыновья твои, как масличные ветви, вокруг тралезы твоей (Псал. 127: 3).

Я [Бог] насадил тебя [дочь Иерусалима = Израиль], как благородную лозу — самое чистое семя; как же ты превратилась у Меня в дикую отпрысь чужой лозы? (Иер. 2: 21).

Я [Иисус] есмь истинная виноградная Лоза, а Отец Мой — виноградарь; Я есмь Лоза, а вы ветви... (Иоан. 15: 1, 5).

В «Сестре моей — жизни» мотивы вина, любви и песни соединяются в стихотворении «Имелось»:

Засим, имелся сеновал
И пахнул винной пробкой. <...>

В траве, на кислице, меж бус
Брильянты, хмурясь, висли,
По захладелости на вкус
Напоминая рислинг. <...>

Есть марки счастья. Есть слова
Vin gai, vin triste, — но верь мне,
Что кислица — травой трава,
А рислинг — пыльный термин.

Имелась ночь. Имелось губ
Дрожание. На веках висли
Брильянты, хмурясь. Дождь в мозгу
Шумел, не отдаваясь мыслью. <...>

Как музыка: века в слезах,
А песнь не смеет плакать,
Трясалась, не прорываясь в ах! —
Коралловая мякоть.

Текст открывается снижающей реминисценцией из стихотворения «Лето» (где *Топтался дождик у дверей,/ И пахло винной пробкой*), а кончается сплавлением образов кислицы (щавеля) и рислинга (вина) с брильянтами слез любовью, дрожанием ее губ, музыкой, песнью и любовным (хотя, по-видимому, не консуммированным — «не прорывающимся в ах!») экстазом. К кислице и рислингу мы еще вернемся.

Слово «виноград» не только не фигурирует в «Сестре», — даже в «Темах и вариациях» оно появляется только в пушкинском цикле, не обращенном к Елене Виноград (*Загаром крылся виноград*). Зато в «Докторе Живаго» празднование свадьбы Юрия и Тони включает пение «величания „Виноград“» (ч. 4, гл. 3). В этом величании (оно существует в ряде вариантов, но в романе не приводится) жених выступает как виноград, а невеста — как ягода:

Виноград в саду цветет,
А ягода, а ягода созревает.
Виноград-то — [Иван]-сударь,

А ягода, а ягода — свет [Прасковья] его.
Люди в див дивуются:
Что за дети хороши,
Уродились хороши!¹³

А в следующей главе Ларе на свадьбу с Пашей Антиповым дарится ожерелье, похожее на «кисть мелкого винограда» (ч. 4, гл. 4).

Согласно Е. В. Пастернак, одним из прототипов Паши был общий знакомый Пастернака и Елены Виноград, ее жених Сергей Листопад, погибший на войне и долго оплакивавшийся ею во время их романа. Стоит ли говорить, что слово «листопад» не появляется в стихах Пастернака вплоть до 1930 года (*Лопатами, как в листопад, / Гребут березы и осины...; «Вторая баллада»*)?

4

Поскольку речь зашла об этих фамилиях, примечательно, что, при всем богатстве «ботанической ризницы» автора «Сестры моей — жизни», слово «пастернак» блистает полным отсутствием в его художественном корпусе. Вообще, надо признать, что фамилии участников этого любовного треугольника, отчасти по-смертного, — Пастернак, Виноград, Листопад — не особенно просились в стихи, разве что обереутские. Однако отмеченная выше кодировка Штиха как комара/Комаровского подталкивает к дальнейшим поискам возможных криптограмм.

Пастернак, разумеется, прекрасно отдавал себе отчет в смысловом потенциале собственной фамилии. Его письма к Ольге Фрейденберг и к первой жене, Евгении Владимировне, а также воспоминания его брата Александра Леонидовича содержат целую батарею «пастерначных» каламбуров.

«Да, мы видели [родителей — Л. О. и Р. И. Пастернаков] на вокзале... Одним словом, как будто это не люди, а овощи, которые были подвергнуты последовательной пересадке из местности в местность. Свойство пастернака расти в земле и обрастать землей; да, таково свойство этого вида. Вы понимаете, для них совершенно закрыт был вид на Екатерининском канале! В этом смысле папа оказался меньше всего пастернаком...» (письмо к А. О. и О. М. Фрейденберг, 19 августа 1910 г.).

«Записка была написана рукой Маяковского. Она долго сохранялась у меня как некая дорогая реликвия, но при переездах она потерялась. Я знал наизусть ее содержание. В записке стояло: „В супе нашего веселья не хватает только вас, о Пастернак!“ — и все. Запиской же... я ответил: „Маяковский, вы правы — без пастернака суп пресен! Еду!“... В тот вечер... ехидничали, злословили, каламбурили, как всегда...» (А. Л. Пастернак).

Особенно интересны в этом огородном плане два письма Б. Л. Пастернака к жене Евгении Владимировне — благодаря серьезности их содержания, их поэтическому тону, а также проходящей в них важной теме адаптации к советской литературной среде.

«Мира, в котором я был... приготовлен... и снабжен клеймом — не существует. Было сердце.... В борьбе за существование оно пытается превратиться во что-нибудь из того, что его окружает. Но его способность к оборотничеству сомнительна. Его окружает жесткая флора пустыни. Куда ему меряться с ней в ее жилистости, мясистости и буйной выносливости» (25 июня 1924 г.).

«И слава Богу, что к обеду моему подаются перец с горчицей. Как бы стали мы есть лучшее, что может дать земля, не ставь судьба к нам на стол этого горького судка? Крестьянские и пролетарские поэты словно нарочно созданы, чтобы было у нас, чем обливаться и посыпать салат, огурцы и редьку. Ты скажешь, что я слишком много о себе говорю. Ну прости, а мне казалось, что о тебе, я нас друг от друга не отделял. Но если вспомнить, что и пастернак существо огородное, а также оглянуться на сказанное в первых строках письма [о розе, вложенной ею в письмо к нему] или просто... сунуть нос в выдвижной ящик [где роза находится в этот момент], то надо будет признаться, что письмо совсем ботаническое... О чем тебе убиваться? Выйдем, выйдем на дорогу, родной кусок меня самого, правая моя рука, межреберное мое чудо... я вижу наплывы густой зелени... и тебя и себя, глядящего на тебя и, кажется, сутки сплошь целующегося и срощегося с тобой, и вот мы с тобой цветом, пахнем, ослепляем или дышим тенью» (3 июля 1924 г.).

Отвлекаясь от богатой интертекстуальной клавиатуры этих фрагментов и от красноречиво иудаистической, в ритуальном духе седера, трактовки кулинарных

мотивов, сосредоточимся на тщательно выстроенном автором письма романе о розе и пастернаке. Если весь отрывок читается как подстрочник некоего обобщенного пастернаковского стихотворения, то не образует ли данный ботанический союз проясняющую параллель к любовной связи между кисллицей и рислингом из «Имелось»? Не дает ли он дополнительное основание рассматривать их как метонимических заместителей не названных в тексте пастернака и винограда и, значит, Бориса Пастернака и Елены Виноград?

Русское слово «пастернак» (и соответствующая еврейская фамилия) представляет собой заимствование из немецкого через польский и восходит к латинскому *pastinaca*. Обращение к латинским, этимологическим и энциклопедическим словарям обнаруживает исходно женский, а не мужской (как в новоевропейских языках), род этого слова, а также неожиданные смысловые связи внутри соответствующего лексического гнезда. *Pastinaca* оказывается производным от глагола *pastinare*, «вскапывать почву под виноградник», и существительного *pastinum*, «мотыга для вскапывания под виноградник; участок земли, вскопанный под виноградник». Внутренняя форма слова «пастернак» прочитывается приблизительно как «пряный корнеплод, растущий на участках, вскопанных под виноградники»¹⁴.

Тем самым, как бы уже по самой сущности вещей, заранее сбывается свидание, назначаемое Елене Виноград в книге «Темы и вариации» (1917):

Я скажу до свиданья стихам, моя мания,
Я назначил вам встречу со мною в романе.
Как всегда, далеки от пародий,
Мы окажемся рядом в природе.

«Пастернак» и «виноград» оказываются в буквальном смысле рядом — если не в природе, то, во всяком случае, в той садово-виноградно-огородно-свадебно-романной культуре, которая объединяет «Сестру мою — жизнь» с «Песнью песней» и образует столь постоянный контекст жизни и творчества Пастернака вообще.

Мог ли Пастернак знать и иметь в виду все это? Заглядывал ли он встарь в этимологический словарь?

Он явно любил каламбуры, каковые, вместе с другими неожиданными совпадениями, он толковал как подаваемые ему знаки родства с мирозданием и божественным промыслом.

Он любил значащие имена — имена, которые, по формулировке Дурылина, «спрягаются», вроде латинского имени Рели(н)квимини в ранней прозе (*reliquimini*, «вас оставляют»; *reliquimini*, «вы в долгу»; Ю. М. Каган), или иным образом «говорят». Таковы «доктор Живаго», «(мед-)сестра Антипова», место их роковой встречи — «Юрятин» (от «Юрий» и «Св. Георгий») и мн. др.¹⁵

Он любил также значащие топонимы. Вдобавок к Юрятину вспомним: многократное каламбурное обыгрывание эстонских названий станций *Вруда*, *Тикопсь* и *Пугость* в переписке с Фрейденберг; осмысляющую разработку названий *Ржакса*, *Мучкап*, *Балашов* и других в «Сестре»; его эстетическое наслаждение при известии, что его жена Евгения с сыном Евгением живут в Германии на Евгеньевской улице (*Eugenstrasse*); и насыщение географии романа «Доктор Живаго» такими мифологически богатыми названиями, как *Юрятин* и *Мелюзеево* (от Мелюзины), — в духе эмблематических топонимов Ветхого завета (типа долины Виноградная Кисть в книге Чисел).

Далее, Пастернак прекрасно владел ботаникой, начиная с его образцовых (судя по воспоминаниям его брата и его собственным) школьных гербариев и кончая необычайным богатством его растительного словаря, включающего наименование множества малоизвестных трав и корней.

Он вообще любил лексикографические раритеты, которые ему иногда приходилось даже снабжать подстраничными пояснениями к стихам. Импонировала ему и сама идея словаря, и это слово и связанные с ним фигурируют в его стихах.

Ну и, конечно, он был превосходным латинистом. Он даже преподавал латынь некоторым из своих пассий, в частности Иде Высоцкой; а одно время предполагалось, что он станет репетитором по латыни у Елены Виноград (еще до увлечения ею).

Едва ли не весь этот круг тем налицо в двух стихотворениях из «Второго рождения» (обращенных к Зинаиде Николаевне):

Любимая..... <...>
А ты — подспудной тайной славы
Засасывающий словарь.

А слава — почвенная тяга.
О, если б я прямой возник!
Но пусть и так, — не как бродяга,
Родным войду в родной язык. <...>

И я б хотел, чтоб после смерти <...>
Тесней, чем сердце и предсердье,
Зарифмовали нас вдвоем. <...>

Всем тем, что сами пьем и тянем
И будем ртами трав тянуть.
(«Любимая, — молвы слащавой...»)

... Зубровкой сумрак бы закапал,
Укропу к супу б накрошил,
Бокалы — грохотом вокабул,
Латынью ливня оглушил. <...>

Откупорили б, как бутылку,
Заплесневелое окно, <...>

..... И солнце маслом
Асфальта б залило салат.

А вскачь за громом, за четверкой
Ильи-пророка, под струи —
Мои телячьи бы восторги,
Телячьи б нежности твои.

(«Все снег да снег...»)

Комплекс «овощи — травы — корни — почва — словарь — вокабулы — пробка — бутылка — вино — выход наружу — дождь — любовь — родство с миром» практически тот же, что представленный в «Имелось», вообще в «Сестре моей — жизни» и в приведенных письмах к Евгении Владимировне.

При этом в житейском дискурсе, на уровне домашней семантики, не обязательно отражающейся в стихах, состав этого комплекса мог быть еще богаче. Наглядный пример — любовь пастернака к розе, вербализованная лишь в частном письме. Аналогичным образом, ботанические обороты *зубровки*, то есть водки, настоящей на диких травах, очевидны, латинские же сразу в голову не приходят. Лишь пристальный филологический анализ (того типа, который больше принят в мандельштамоведении) позволяет предположить связь через глагол «зубрить», хотя и отсутствующий в тексте, но охотно сочетающийся с «латынью». Эта ассоциация могла отпечататься в каких-то шутках, принятых между гимназистом, а затем репетитором, Пастернаком и его родными, друзьями и (со)учениками, но не обязательно зафиксированных в его литературном наследии. К счастью для толкователей, она всплывает в другом стихотворении: *Январь, и это год Цусимы./ И, верно, я латынь зубрю* («9-е января [Первоначальный вариант]»; 1925)¹⁶.

Огородно-кулинарно-застольные мотивы пастернаковской лирики, и в частности стихотворения «Все снег да снег...», стали (согласно М. Л. Гаспарову и Омри Ронену) объектом поэтической полемики со стороны Цветаевой. Речь идет о финале поэмы «Автобус», законченной в 1936 году, то есть после всестороннего разочарования Цветаевой в Пастернаке — поэте, гражданине, человеке, возлюбленном. Именно в пастернаковскую «гастрономическую» поэтику (хотя и не обязательно в него лично как героя поэмы) метит иронический пассаж про спутника-гурмана, который о цветущем дереве говорит: «*Как цветная капуста под соусом белым!*» и в заключительной строфе поэмы получает уничтожающую отповедь:

Ты, который так царственно мог бы — любимым
Быть, бессмертно-зеленым (подобным плющу!) —
Неким цветно-капустным пойдешь анонимом
По устам: за цветущее дерево — мщу.

Добавлю, что полускрытая адресация к Пастернаку проглядывает также в использовании Цветаевой сестринского мотива (давно связавшего обоих поэтов), причем в контексте любви и соседства/слияния с цветущим плодовым деревом:

Вишennyй цвет принявши/ За своего лица — / Цвет.../ «Седины»? Но яблоня — тоже/ Седая, и сег под ней — / Младенец... Всей твари божьей / <...>/ От лютика до кобылы — / Роднее сестры была!

Как отметил О. Ронен, обмен «гастрономическими» репликами на этом не закончился. В стихах «Памяти Марины Цветаевой» (1943) Пастернак перевел разговор из чисто кулинарного плана в по-христиански одухотворенный — кутьи и причастия:

... В твою единственную честь
Я жизнь в стихах собью так туго,
Чтоб можно было ложкой есть.

Я наподобье евхаристий
Под вкус бессмертья подберу
Промерзшие под снегом листья
И мандаринов кожуру.

Зима — как пышные поминки:
Средь нашего житья-бытья
Прибавить к сумеркам коринки,
Облить вином — вот и кутья.

Тем интереснее, что в этом «ответе» фигурируют мотивы как «сестры», так и «белой яблони»:

Мне так же трудно до сих пор
Вообразить тебя умершей,
Как скопидомкой-миллионершей
Средь голодающих сестер. <...>

Крыши зданий и яблони в крепе
Были белы, как мебель в чехлах. <...>

Пред домом яблоня в сугробе.
И город в снежной пелене —
Твое огромное надгробье...

В контексте поэтической работы Пастернака с собственной фамилией примечательно, что Цветаева подыгрывает ему и в этом. За лейтмотивным отстаиванием всего *цветного, цветущего, цветно-капустного*, а также *цвета*, перенимаемого лицом героини у вишни/яблони, прочитывается собственный, пусть полуиронический, растительно-колористический автограф Цветаевой. На фоне ее игры со значением слова *марина*, «морская» (...*мне имя — Марина, / Я брeнная пeна морская...*; «Кто создан из камня...», 1920; *Я, выношенная в чреве / Не материнском, а морском*; «Две песни», 1920) это не так уж неправдоподобно. Вообще, семиотизация авторского имени — вещь в литературе не новая, как свидетельствует, например, «гордый гоголь» в последнем абзаце «Тараса Бульбы».

5

Особенный интерес с точки зрения сестринской образности представляет симптоматичная связь между «родством» и «приспособлением». В частности — в контексте хорошо известной по «Доктору Живаго» (и постоянно обсуждаемой в критике) пастернаковской установки на «отказ от еврейства» с целью родственного укоренения в России, ее языке, почве, женщинах, литературе, социализме, православии. Вспомним еще раз красноречивые строки *О, если б я прямой возник! /.../ Родным войду в родной язык* из «Второго рождения».

«Братательные» уравнения применяются Пастернаком ко всем возможным партнерам: к людям — любимым женщинам, женам, друзьям, братьям по искусству; и к экзистенциальным категориям — дали, саду, природе, городу, жизни, поэзии, Революции (*Ты рядом, даль социализма. / Ты скажешь — близь?...; «Волны»*). В качестве поэтических фигур речи подобные формулы носят переносный и преувеличенный характер, представляя собой, по определению, заведомо ложные, часто нереальные или попросту ошибочные суждения. Но в то же время они выражают сильнейшее, сокровенное, ценностно важное желание, а потому заявляются, утверждаются и поддерживаются вопреки своей неосуществимости. Именно такова, на мой взгляд, природа сестринской метафоры Пастернака.

В ней кристаллизовалась самая суть его литературного и жизнетворческого мифа как еще одного проявления общей установки романтизма и символизма: настояния на двойничестве Художника с Реальностью. Мифологичность — произвольность и культурную условность — этой соблазнительной программы можно кратко пояснить ссылкой на набоковское «Отчаяние» (1931), сюжетом которого последовательно опровергается «двойничское» мировоззрение героя-жизнетворца.

Для Пастернака братско-сестринское родство не было чисто литературной категорией. Он вырос в семье с братом и двумя сестрами и охотно шутил по поводу этого наложения литературы на жизнь: «Моя сестра — не *Сестра моя — жизнь*, а живая моя сестра — Жоня...» — бросает он в разговоре с будущей мемуаристкой (Е. Куниной). Более того, одно из его ранних платонических увлечений — его двоюродной сестрой Ольгой Фрейденберг — было, с нееврейской точки зрения, на грани инцеста. Это осознавалось участниками и констатируется биографами.

«Его двоюродная сестра Оля Фрейденберг вспоминала: „Боря очень нежный, но я его не люблю. Тетя всегда шепчется с дядей и мамой, и есть слух, что мне придется выйти за него замуж. Это меня возмущает. Я не хочу за него, я хочу за чужого!.. Мы играем в саду... Сколько близости с травой и цветами!.. Там — первый театр... Мы играем, и Боря и я — одно...“» (Е. Б. Пастернак; дело происходит на даче Пастернаков под Одессой, году в 1897-м).

«[Я] влюбился в Петербург и в вашу смешанную семью, особенно в тебя и в [твоего] папу... Это какая-то редкая близость, как если бы мы вдвоем, ты и я, любили одно и то же... И тогда, Боже, что это было за сектанство вдвоем!.. ...подавленный... посвященностью, принадлежностью жизни... высшей темой, своеобразно посвященной городу и природе — всему, я в этом чувстве так же женственен, т. е. зависим, как и ты» (письмо к О. М. Фрейденберг, 23 июля 1910 г.).

«Все, что у меня произошло с Борей... было большой страстью сближения и встречи двух, связанных кровью и духом, людей... Никогда Боря не переставал быть для меня братом, как бы ни был он горячо и нежно любим. Какая-то черта лежала за этим... Да, братом... [Влюбленный,] он становился мне труден... неприятен... отвратителен, — конечно, бессознательно... где-то внутри, в темноте чувств, в крови... Я была ему страстно преданной, любящей сестрой» (О. М. Фрейденберг, примечания к письмам августа 1910 г.).

Два десятка лет спустя, согласно З. Н. Пастернак, ее рассказ о ранней любовной связи с намного более старшим кузеном (Николаем Милитинским) произвел на Пастернака сильнейшее впечатление, одновременно отталкивающее и завораживающее. В дальнейшем этот факт ее биографии — с дополнительной опорой на аналогичные смешанные чувства Пастернака по поводу взаимоотношений Елены Виноград со Штихом (он был «влюблен» в их ранний роман в 1910 году и на время поссорился со Штихом во время собственного увлечения Еленой в 1917-м), — отразился в истории Лары и Комаровского (Е. В. Пастернак). При этом существенно, что роковая роль Комаровского в жизни как Юрия, так и Лары «роднит» их друг с другом: «Так он был и твоим злым гением? Как это роднит нас!» (ч. 13, гл. 12).

Три важнейшие влюбленности Пастернака связывали его с еврейками из его круга — Идой Высоцкой, Еленой Виноград и Евгенией Лурье — и потому до какой-то степени были, так сказать, эндогамными (ср. примеч. 12). Вообще, родственная близость с ближайшими родственниками, а также с двоюродными ответвлениями семьи Пастернаков, составляла для него идеальный образец подлинно человеческого и художественного общения. Однако эти отношения и представления были чреватые противоречиями.

Как было показано Б. М. Гаспаровым, эволюция Пастернака как личности и художника была почти непрерывной цепью отторжений прежних самообразов, умонастроений и партнерств. Вот далеко не полный список всех тех и всего того, что он на протяжении своей жизни так или иначе перерос, бросил, «предал» (по его собственному выражению) или кем был сам отвергнут: это родители, сестры, его еврейство, Скрябин и музыка, Коген и философия, Высоцкая, Фрейденберг, Виноград, Анисимов, Бобров, Асеев, футуризм и Маяковский, Цветаева, Сталин и социализм, две жены, Ивинская, многие друзья последних лет (Борис Ливанов, Генрих Нейгауз). Как подчеркивает в своем мемуарном эссе Л. А. Озеров, Пастернак умер непримиренным с жизнью — своей сестрой. Действительно, по воспоминаниям З. Н. Пастернак,

«...последние его слова были такие: „Я очень любил жизнь и тебя, но расстанусь без всякой жалости: кругом слишком много пошлости, не только у нас, но во всем мире. С этим я все равно не примирюсь“».

Важно, однако, понять, что эти «предательства» были неотъемлемой чертой не только диалектики всякого роста вообще, но и специфической логики развития самого сестринского тропа. Каждый раз как Пастернак старался выйти из своих собственных рамок и собственного круга для того, чтобы завязать более открытые, ассимиляционные, «экзогамные» отношения с окружающим миром, — будь то с социалистической действительностью, далью, должествующей вот-вот превратиться в близь, русской, сталинистски настроенной Зинаидой Николаевной, или лароподобной «девочкой из другого круга» в лице той же Зинаиды Николаевны, а позднее Ольги Ивинской, — он пытался сделать это на «семейственных», «еврейских», «эндогамных» основаниях, объявляя «чужие» сущности своими сестрами и программно братаясь со своими соперниками (например, мужем Цветаевой Сергеем Эфроном и мужем Зинаиды Николаевны Нейгаузом), чтобы облегчить себе трудный экзогамный союз. Поразительно, в частности, систематическая переадресация столь «новой» для него Зинаиде Николаевне «старой» сестринской (и иной) образности «Сестры моей — жизни»¹⁷.

Красноречивые свидетельства пастернаковской экзогамности в вопросе о вхождении «родным» в большую русскую и мировую культуру, причем сформулированные в почти буквально племенных терминах, есть в переписке с О. М. Фрейденберг конца 40-х годов — времени интенсивной работы над романом.

«Боря, дорогой! Еще только тебе одному на целом свете я могу сказать — родной! ... Но ведь я не читатель тебя. Я не знаю, читают ли брата. Тут та стихия родственных встреч, семейных поделуев... Много родового, кровного, как будто ты обязан говорить за всех нас...» (Фрейденберг, 11 октября 1946 г.).

«Я в нем [романе] свожу счеты с еврейством, со всеми видами национализма (и в интернационализме), со всеми оттенками антихристианства...» (Пастернак, 13 октября 1946 г.).

«...я до безумия... счастлив открытою, широкою свободой отношений с жизнью, таким мне следовало... быть в восемнадцать или двадцать лет, но тогда я был скован, тогда я еще не сравнялся в чем-то главном со всем на свете и не знал так хорошо языка жизни, языка неба, языка земли, как их знаю сейчас» (Пастернак, 29 июня 1948 г.).

«[Твой роман —] это жизнь в самом широком и великом значении... Это особый вариант книги Бытия... [Я] читаю книгу и тебя, и нашу с тобой кровь, и поэтому мое суждение не похоже на человеческое, доступное... Мне представляется, что ты боишься смерти, и что этим все объясняется — твоя страстная бессмертность, которую ты строишь, как кровное свое дело... Много близкого, родного, совершенно своего... от семейной потребности в большом и главном...» (Фрейденберг, 29 ноября 1948 г.).

«Дорогая Олюшка, родная моя!... Чего я, в последнем счете... стою, если препятствие крови и происхождения осталось непреодоленным (единственное, что надо было преодолеть¹⁸) и может что-то значить... и какое я... притязательное ничтожество, если кончаю узкой негласной популярностью среди интеллигентов-евреев, из самых загнанных и несчастных... когда с такой легкостью и полнотой от меня отворачивается небо? В искусстве надо быть победителем...» (Пастернак, 7 августа 1949 г.).

«Мамочка моя родная, сестра моя Олюшка!» (Пастернак, 31 декабря 1953 г.; вспомним гимн Св. Франциска).

Жизнетворческая воля к братанию с чужим предполагала последовательное и, возможно, сознательное игнорирование реального положения вещей — по поэтическому принципу *А ошибсь, — мне это трыв-трава, / Я все равно с ошибкой не расстанусь* («Анне Ахматовой»). Здесь уместно вспомнить свидетельство Елены Виноград, что «Сестра моя — жизнь», да и вся их любовная история были монологически сочинены, написаны и прожиты Пастернаком, так сказать, мимо нее, ради его собственных поэтических, а не ее личных человеческих нужд. Собственно, о том же свидетельствует красноречивая строчка из «Сестры»: *Разбег тех роц ракитовых, / Куда я письма слал* («Образец»). Адресатом и писем, и стихов, и любви были скорее рощи и мироздание, нежели конкретная женщина. Не случайна, по-видимому, и реальная платоничность романа, поэтическое преломление которого захватывает читателя своим чуть ли не оргастическим экстазом. Впрочем, именно таковы, как известно, законы художественной сублимации.

Аналогичный недостаток непосредственного контакта, коренящийся в самой метафоричности — утопичности, если угодно, — сестринского принципа, подтверждается отношениями Пастернака и с другими женщинами и реальностями. Общая траектория этих связей включает сначала мощное желание и кажущееся достижение идеального братства-сестринства, как бы запрограммированного где-то на платоновском или лейбницевском небе, а затем — постепенное расторжение связи, которая теперь воспринимается как бывшая исходно ложной с самого начала.

Важнейшим слагаемым этого схематического сюжета является приспособление к окружающему — задача насущная, хотя и почти неосуществимая (под именем «оборотничества» она очерчена в письме к Евгении Владимировне от 25 июня 1924 г.). Сначала «братское слияние» кажется безраздельно и непреодолимо подлинным и сопровождается восторгами по поводу того, как великолепная мощь окружающего мира сводит партнеров вместе.

«Они любили друг друга не из неизбежности, не опаленные страстью, как это ложно изображают. Они любили друг друга потому, что так хотели все кругом: земля под ними, небо над головами, облака и деревья. Их любовь нравилась окружающим еще, может быть, больше, чем им самим... Ах, вот это, это вот ведь и было главным, что их роднило и объединяло! Никогда... не покидало их самое высокое и захватывающее: наслаждение общей лепкою мира, чувство отнесенности их самих ко всей картине, ощущение принадлежности к красоте всего зрелища, ко всей вселенной» (ч. 15, гл. 15).

На следующем этапе братательного сюжета связь с окружением поддерживается уже с помощью сознательных усилий и даже жесткого самопринуждения. Примерами могут служить: задачи на самоперевоспитание и самодисциплину, которые Пастернак ставил себе, чтобы заслужить уважение кузины Ольги (Фрейденберг) и всего ее солидного семейства, а позднее Евгении Владимировны — в ответ на ее критику его нарциссизма; рассуждения о возможностях адаптации «овоща пастернака» к неблагоприятной пустынной среде советского литературного истеблишмента; и приятие упряжи социализма в «Мне хочется домой, в огромность...» («Второе рождение»)¹⁹.

Наконец, на третьей и последней стадии сюжета Пастернак задним числом признается себе и другим, что братание-приспособление было постыдной уступкой вредному внешнему давлению. Таковы ретроспективные отречения Пастернака от своих прежних любовей и браков, от усложненной ранней поэтики и от коллаборационистски просоветских произведений.

«— На моей первой жене я женился как-то случайно и бездумно. Она мне нравилась, но мы даже не успели сблизиться, как вмешались родители. Я думал: ну, ладно, женюсь, что тут особенно страшного, там видно будет. Нет, я и тогда сознавал, что это что-то мерзкое, отвратительное» (Зоя Масленикова).

«— ...в первый же год соединения с Зинаидой Николаевной я обнаружил свою ошибку, — я любил на самом деле не ее, а Гаррика [Нейгауза]... И «в этом аду» [он] живет уже более десяти лет» (О. В. Ивинская).

«Всю зиму [в „Центрифуге“] я только и знал, что играл в групповую дисциплину, только и делал, что жертвовал ей вкусом и совестью. Я приготовился снова предать что угодно, если придется. Но на этот раз я переоценил свои силы... Надо ли прибавлять, что я предал совсем не тех, кого хотел» (о первой встрече с Маяковским в 1914 г.; «Охранная грамота», ч. 3, гл. 3).

«Принято было задирать нос... и нахальничать, и, как это мне ни претило, я против воли тянулся за всеми, чтобы не упасть во мнении товарищей» (о том же времени; «Люди и положения»).

«— „1905 год“ и „Лейтенант Шмидт“ — это два сборника, которые я хотел бы забыть» (Варлам Шаламов).

Интереснейшую раннюю параллель к этим ассимиляционным сюжетам образует эпизод из берлинской жизни юного Бориса (начало 1906 г.), запомнившийся его брату Александру.

«...брат... страдал от предполагаемого к нам презрения... [как] к неполноценным чужакам... ...с первых же дней... [он] поставил себе... задачей добиться полной идентичности с немцами, вернее с той разновидностью немцев, которая называлась даже самими немцами „германцы“, имея в виду особый жаргон и особые ухватки истых берлинцев... ...на наше ухо... он добился очень многого...»

Раннее утро... ..приближавшийся к нам мальчик... насвистывал что-то бодрое... Мой брат... машинально... похвалил — истинно берлинским манером... — „здорово свистишь!“, но покровительственный тон старшего... учуянный мальчишкой, или не совсем берлинский лад и акцент, и желание изобразить берлинца, вызвали в этом гамэне Берлина реакцию неожиданную и быструю: среди общей тишины, особенно вызывающе резко и кратко, прозвучало: „Besser wie du!“ [„Получше твою!“ — не совсем правильно по-немецки, но типично по-берлински]...

...прежде чем брат пришел в себя, гордого победой мальчишки и след простыл... Он смолчал... С этого утра брат — как с ним всегда в таких случаях бывало — сразу перестал „берлинничать“...»

Комментируя этот эпизод, А. Л. Пастернак отмечает у брата постоянное «стремление к превосходству», то, как ему обгчно «чертовски везло», и как остро реагировал он на неудачи, стараясь навсегда похоронить в себе память о них (ту же черту скрытой «обидчивости и даже злопамитства» Пастернак выделяет в своих воспоминаниях Н. Н. Вильмонт). «Не воспринимал ли он, уже и тогда, свои ребячьи поражения... как указания свыше на „неудобность судьбе и небу“?» (ср. письмо к Фрейденберг от 7 августа 1949 г.).

Мотив братания-приспособления существенным образом соотносится с важным художественным принципом, который Пастернак горячо отстаивал уже в 1914 году в полемике с безудержным щеголянием метафорами у Вадима Шершеневича.

«...только явлениям смежности [лежащим в основе метонимии]... присуща та черта принудительности и душевного драматизма, которая может быть оправдана метафорически. Самостоятельная потребность в сближении по сходству просто немыслима. Зато такое, и только такое сближение может быть затребовано извне... непроницаемое в своей окраске слово не может заимствовать своей окраски от сравниваемого... окрашивает представление только болезненная необходимость в сближении, та чересполодность, которая царит в лирически нагнетанном сознании» («Вассерманова реакция»).

Этот акцент на заимствовании метафорической окраски извне поразительным образом перекликается с теми местами в романе, где доктор Живаго задумывается о творческом потенциале мимикрии:

«...бабочка... села на то, что больше всего походило на ее окраску, на коричнево-красчатую кору сосны, с которой она и слилась совершенно неотличимо... как бесследно теряясь Юрий Андреевич для постороннего глаза под игравшей на нем сеткой солнечных лучей и теней... Привычный круг мыслей овладел Юрием Андреевичем. О воле и целесообразности как следствии совершенствующегося приспособления... О мимикрии... О выживании наиболее приспособленных, о том, что [это]... и есть путь выработки и рождения сознания... Он думал о творении, твари, творчестве и притворстве» (ч. 11, гл. 8).

«— Я помещаю на вопросе о мимикрии, внешнем приспособлении организмов к окраске окружающей среды. Тут, в этом цветовом подлаживании, скрыт удивительный переход внутреннего во внешнее» (ч. 13, гл. 16).

Недаром потребность в оправдании метафорики метонимикой, сравнений по сходству — связями по соседству Роман Якобсон еще в 1935 году объявил единым нервом всего пастернаковского творчества.

Действительно, согласно Пастернаку, идеальный троп основан и на сходстве, и на смежности; идеальная любовь — это любовь к чуждой женщине, которая какой-то магической силой окружающего дается тебе в сестры; идеальный сюжет — это цепочка случайностей, которые чудесно, но неуклонно осуществляют упрямый замысел Провидения. В плаче над гробом Юрия Лара повторяет именно эту излюбленную мысль Пастернака, и отклонение ею идеи «опаленности страстью» звучит как эхо давних пастернаковских выпадов по адресу буйных, но произвольных, ибо не мотивированных контекстом, метафор Шершеневича.

В стремлении взаимодействовать с жизнью на братских началах просматриваются как эдиповские (то есть антиотцовские), так и инфантильные черты. С одной стороны, начиная с заглавного стихотворения «Сестры», заметна вызывающая оппозиция к «старшим»: *У старших на это свои есть резоны...;* и многое в истории взаимоотношений Пастернака с родителями, в особенности с отцом (в частности, по линии иудаизм/ христианство), ее подтверждает. С другой, — не менее отчетливо регрессивное желание остаться, по крайней мере фигурально, в семейном кругу юных сверстников, равноправных детей некоего невидимого небесного Отца, и таким образом продолжать, вопреки реальности, хотя бы в порядке поэтической идиллии, наслаждаться вечным братством, сестринством, отро-

чеством, детством. О желании «впасть в детство» Пастернак проговаривается неоднократно; приведу соответствующее место из «Повести» (1929):

«Вперед же, на всех дорожках, куда они вступали, росло всем бором нечто подобное присутствию старшего. Это превращало их в детей. Они то брались за руки, то растерянно их опускали» (4: 117).

Затянувшееся чуть ли не на всю жизнь детство-отрочество Пастернака как поэта и человека отмечалось многими, начиная с Ахматовой (*Он награжден каким-то вечным детством...*; «Борис Пастернак», 1936). В сущности, о том же писала ему Фрейденберг, говоря о его боязни смерти. Будучи детской мечтой, райское состояние всегда чревато падением. За падением же следуют попытки заменить утраченный Эдем новым, припав к каким-нибудь очередным авторитетам — вроде бы по-прежнему «семейным», сестринско-материнско-отцовским, но одновременно и «чужим», смежным, окружающим, далеким, «вселенским» и потому принудительно приемлемым и даже — на время — окончательным.

* * *

Три четверти века спустя после своего появления «Сестра моя — жизнь» законно воспринимается как одна из вершин — едва ли не главная — творчества Пастернака. И это несмотря на то, что в ретроспективе все более пронизательным представляется его замечание, что в ней «хорошо только заглавие» — что все, что он хотел сказать ею, да и последующими книгами, он сказал ее названием.

Это не парадокс. Есть особый род заглавий, которые в качестве имен нарицательных поступают в распоряжение даже тех, кто лишь понаслышке знаком с самими произведениями: «Гамлет», «Дон-Кихот», «Обломов», «Бесы», «Герой нашего времени», «Тришкин кафтан», «Анна на шее», «Горе от ума», «Кому на Руси жить хорошо». Произведение искусства вызывается к жизни мыслью, витающей перед внутренним взором художника, воплощает эту мысль и укореняет ее в сознании читающей публики. Но затем оно как бы постепенно убирается, подобно строительным лесам, оставляя память по себе лишь своим заглавием, успешно внесенным в язык культуры в качестве условного сокращения, «стенограммы духа»²⁰. К лику таких ставших общепонятными новых аббревиатур, по-видимому, может быть причтена и «Сестра моя — жизнь».

Что же именно хотел Пастернак сказать этим броским заглавием? Вернее, что же он сказал, независимо от того, что хотел сказать?

Спрессованными в «Сестре моей — жизни» оказались чуть ли не все излюбленные темы Пастернака: его колебания между романтической приподнятостью и ориентацией на «каждую малость», между пантеизмом, иудейством и христианством, между Франциском Ассизским и «Песней песен», между нарциссической самопоглощенностью и любовью к окружающему. Эмблемой всего этого комплекса и стал образ братства с жизнью, определивший дальнейшую эволюцию Пастернака. Инфантильная противоречивость подобной установки — в конце концов, живут не с сестрой — послужила мощным генератором творческой энергии, вылившейся во вторые и третьи рождения Пастернака и в конце концов породившей не менее эмблематичного Доктора Жизнь, которому автор позволил-таки произвести потомство, пусть почти анонимное, от чудесно дарованной ему ненадолго медсестры из другого круга.

Утопичность этой программы — еще одна вариация на центральный проект русской культуры XX века. Называя жизнь сестрой, поэт как бы одновременно и объявляет близость к ней априори данной, и заранее отказывается от обладания ею²¹. Попытки же практически реализовать утопию неизбежно кончатся приспособлением, а то и насилием (в данном, во всех смыслах вегетарианском, случае — над самим собой). Поэтому в образе жизни-сестры виртуально уже присутствуют и будущее коллаборационистское «оборотничество», и жажда вселенской популярности вместо признания узким кругом загнанных интеллигентов.

По иронии судьбы и механизмов литературной канонизации, поддержка со стороны именно этого, действительно узкого, но влиятельного, в частности за границей, протодиссидентского круга в конце концов и принесла Пастернаку Нобелевскую премию и мировую славу, сделав его роман всеобщим достоянием²². Более того,

«...успех романа... пове[л] к тому, что везде бросились переводить и издавать все, что я успел пролететь и надарать... в... годы дурацкого одичания, когда я не

только не умел еще писать и говорить, но из чувства товарищества и в угоду царившим вкусам старался ничему этому не научиться... ..какое отсутствие чего бы то ни было, кроме чистой и совершенно ненужной белиберды!... ..среди огорчений едва ли не первое место занимают ужас и отчаяние по поводу того, что везде выволакивают на свет и дают одобрение тому, что я рад был однажды забыть и что думал обречь на забвение» (письмо к Н. В. Сологуб, 29 июля 1959 г.).

Непосредственно столь убийственная авторецензия относилась к двум первым поэтическим книгам Пастернака, но рикошетом и к третьей, поскольку «...в пятидесятые годы Пастернак стал лучше отзываться о своих ранних стихах сравнительно с „Сестрой моей — жизнью“» (Е. Б. Пастернак). Впрочем, как раз этого главного тропя, на плечах «доктора Живаго» вошедшего в словарь мировой культуры, стесняться не приходило.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См. воспоминания Н. Н. Вильмонта, А. К. Гладкова, Зои Маслениковой, З. Н. Нейгауз-Пастернак, Е. Б. Пастернака и многие другие (в частности, собранные в увесистом томе «Воспоминаний о Борисе Пастернаке» под ред. Е. В. Пастернак и М. И. Фейнберг), переписку Пастернака с О. М. Фрейденберг, родителями, Мариной Цветаевой, Е. В. Лурье-Пастернак, З. Н. Нейгауз-Пастернак, работы Е. Б. и Е. В. Пастернаков, Лазаря Флейшмана, Кристофера Барнса, В. Альфонсова, И. П. Смирнова, Кэтрин О'Коннор, К. М. Поливанова, В. М. Борисова, В. С. Баевского и мн. др.

² «Va ton chemin, sans plus t'inquieter...» («Иди своей дорогой и больше не тревожься...») — 21-е стихотворение I части книги. Пастернак даже переписал начальные строфы этого стихотворения и постоянно носил с собой в последние годы жизни.

³ Это стихотворение известно под несколькими итальянскими и латинскими названиями: «Il Cantico di Frate Sole», «Il Cantico delle Creature», «Laudes Creaturarum». Слово *cantico* можно перевести как «песнь», «песнопение», «гимн», «славословие».

⁴ «Мудрость», кстати, является заглавным словом всей книги притч и одной из двух персонифицированных в женском облике героинь ее первых семи глав, содержащих советы следовать Мудрости — сестре и отвергать соблазны Глупости — чужой жены.

⁵ Согласно О. Ронену, другой источник эпатажного сопоставления — мотив священного культа железнодорожных расписаний (в частности, английского — Брайшоу), восходящий к Честертону («Человек, который был Четвергом»; 1908; рус. пер. 1914) и отразившийся также в «Мы» Замятина.

⁶ Как сказал в ответ на эти мои соображения А. Д. Синявский, «пищали они, конечно, от злобы, что еще нельзя было кусать».

⁷ Заслуживает упоминания, что жанровая часть названий гимна Франциска и «Песни песней» в романских языках совпадает: «Il Cantico di Frate Sole» — «Il Cantico dei cantici»; ср. название ренановской книги. Кстати, в корпусе пастернаковских текстов есть и «Песнь песней» (1953) — перевод стихотворения Акакия Церетели (написанного между 1882 и 1900 гг.).

⁸ Привожу текст, сообщенный Е. В. Ивановой И. П. Ярковым.

⁹ Кстати, мотив Адамова ребра проходит у Пастернака неоднократно.

¹⁰ Эта сцена (задним числом прокомментированная Е. А. Виноград: «А „ты вырвалась“ сказано слишком сильно... Я просто сказала с укоризной: „Боря“, и дверь тут же открылась») могла иметь еще одним источником классическую картину Фрагонара «Засов» (1777), разумеется, хорошо знакомую Пастернаку как сыну художника.

¹¹ Этот эпизод «Песни» интенсивно дебатруется ее комментаторами, причем преобладает буквальное понимание «руки» и «скважины», а не скабрёзно-эвфемистическое.

¹² Классическим русским воплощением подобной проблематики является несовместимость планируемых браков Наташи с князем Андреем и Николая с княжной Марьей в «Войне и мире». Интересно, что мотив «атмосферы» вокруг Наташи Ростово-вой¹ проходит у Пастернака в связи с дружбой между его сестрой Жоней и Идой Высоцкой (1912 г.; письмо А. Л. Штиху) и в других рассуждениях на семейно-сестринскую тему (например, в письмах к Дм. Петровскому; 1920 г.). А трансстированный элемент левирата можно усмотреть в женитбе на Зинаиде Николаевне, взятой у живого «брата», как называл Нейгауза Пастернак.

¹³ Этот текст из собрания Киреевского сообщен мне Г. А. Левинтоном.

¹⁴ В истории европейской кухни пастернак (по форме напоминающий морковь, а по цвету и вкусу — картошку) был вытеснен привезенным из Америки картофелем. В этом, если угодно, можно усмотреть подтекст известного замечания Пастернака, что после сталинской резолюции о лучшем, талантливейшем поэте советской эпохи «Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине», освободив Пастернака от «раздувания [его] значения» («Люди и положения»; 1956).

¹⁵ На эту тему существуют специальные исследования, в частности В. М. Борисова и И. П. Смирнова.

¹⁶ Продолжая разговор о каламбурно-латинских корнях формулы «сестра моя — жизнь», можно обратить внимание на сходство слов *vita*, «жизнь», и *vitis*, «виноградный куст, виноградная лоза, вино» (оба — женского рода); тогда «сестра моя жизнь = сестра моя лоза/Виноград». Дополнительный «божественный» элемент вносится в эту потенциально паронимасию перекличкой двух слов в латинском Евангелии от Иоанна: *Ego sum... vita*, «Я есмь... жизнь» (11: 25) — *Ego sum vitis*, «Я есмь лоза» (15: 1). (Подсказано О. Роненом.)

¹⁷ См. предисловие К. М. Поливанова к изданию писем Пастернака к Зинаиде Николаевне.

¹⁸ Ср. в воспоминаниях О. В. Ивинской: «Он... заговорил, вздыхая, какой, мол, счастливый Шолохов с такой анкетой, где нет ничего „спорного“. В другой раз он пошутил (и повторял потом эту шутку не раз), что неплохо было бы поменяться с Шолоховым национальностями».

¹⁹ Скрещение «приспособленческих» и «семейных» мотивов в жизни и творчестве Пастернака — огромная тема. Здесь ограничусь несколькими цитатами.

«Все были в сборе: родители, сестры, брат. Я ощутил их всех, но... странно! не было той слитной семьи, в которой я находил себя постоянно... Все были в сборе — но отдельными клеточками!... ..что-то во мне самом... а может быть, и во всех нас — сломалось! Я ощутил в окружающем меня что-то совсем новое, непонятное, исходящее не от нас. Это могло быть как вступление в новую, нам необычную жизнь. Вполне возможно, что подобные ощущения испытало множество и других семей страны» (А. Л. Пастернак о дне победы большевистского восстания в Москве, 31 октября 1917 г.; десятью страницами раньше он с восторгом описывает братание солдат и народа летом 1917 г.). Этот распад эндогамной семьи и поведет в дальнейшем к поискам экзогамных.

«— Борис Леонидович, а вы никогда не жалели, что не поехали с отцом [в эмиграцию, в 1921 г.]? — Писатель должен жить жизнью своего государства, даже если со многим не согласен. Он должен жить напряженной, естественной жизнью, и тогда в творчестве будет напряженная естественность, а если вырвать человека из родной среды, то к нему не поступают новые соки. Ведь эмигрантская литература ничего значительного не дала» (Зоя Масленикова; разговор 12 октября 1958 г.).

«[Я], хоть и поздно, взялся за ум. Ничего из того, что я написал, не существует. Тот мир прекратился, и этому, новому, мне нечего показать... Я поспешно переделываю себя в прозаика диккенсовского толка, а потом, если хватит сил, в поэта — пушкинского... Я стал частицей своего времени и государства, и его интересы стали моими» (Пастернак, письмо к отцу 25 декабря 1934 г.).

«Нам надо будет это [семейный быт] иначе, не по-мещански устроить, не так, как представляла ты себе [две прислуги]. Опереться надо будет на организацию, на Кубу [Государственная Комиссия по Улучшению Быта ученых]» (письмо к Е. В. Пастернак, 20—21 мая 1924 г.).

«Я непременно напишу свои „Geschichten vom lieben Gott“ [„Рассказы о господе Боге“]. Ну конечно же, не теперь, а когда заслужу доверие. Я уже знаю чем. Я придерусь к двадцатой годовщине революции Пятого года. И тогда мне, может быть, позволят писать и такое» (Н. Н. Вильмонт; разговор в 1923 г.).

«— Мои родители жили в то время [1935 г.] в Мюнхене и ждали, что я проеду через Мюнхен, чтобы с ними повидаться. Но я не поехал из глупого самолюбия. Мне не хотелось, чтоб они видели меня в таком жалком, раскисшем состоянии» (Зоя Масленикова, разговор 17 августа 1958 г.). За глухими словами о «самолюбии» слышится отзвук неспособности признаться родителям в постыдной ошибке «приспособленчества».

«Держись, насколько возможно, за детдом и столовую, за как бы то ни было... плохо, но чем-то снабженные коллективы...» (письмо З. Н. Пастернак, конец сентября 1942 г.).

²⁰ «Метафоризм — естественное следствие недолговечности человека... и... огромности его задач. При этом несоответствии он вынужден... объясняться мгновенными и сразу понятными озарениями... Метафоризм — стенография большой личности, скорпись ее духа» («Замечания к переводам из Шекспира»; 1956).

²¹ «„Сестра моя — жизнь“ была посвящена женщине... Она вышла за другого» (письмо к Цветаевой, 25 марта 1926 г.); другому достается и Лара.

²² «За две недели до смерти С. Есенина Н. Асеев разговаривал с ним о призвании поэта... Есенин защищал право поэта на написание ширпотребной лирики романского типа... ..на фунт помолу нужен фунт навозу — вот что нужно. А без славы... тебя не услышат. Так, вот, Пастернаком и проживешь!»... Для Есенина в середине двадцатых годов имя Пастернака являлось нарицательным примером непопулярности. За тридцать с лишним лет изменилось немного. Известность Пастернака по-прежнему не выходила за узкие пределы околосредовой среды, студенчества, некоторой части интеллигенции. Но за эти два дня: 25 и 26 октября [1958 г.] имя Пастернака стало известно буквально всем» (А. К. Гладков).

АЛЕКСАНДР ДОЛИНИН

ЗАГАДКА НЕДОПИСАННОГО РОМАНА

— Кое-что дописать, — прошептал полувопросительно Цинциннат, но потом сморщился, напрягая мысль, и вдруг понял, что, в сущности, все уже дописано.

В. Набоков. «Приглашение на казнь»

Семидесятый номер «Современных записок», вышедший в свет в апреле 1940 года, открывался новой публикацией В. Сирина. Заголовок и подзаголовок над текстом гласили:

S O L U S R E X

Романь.

Единственное, что отличало форму публикации от всех предшествующих романов Набокова, печатавшихся в журнале, — это отсутствие какой-либо маркировки, делящей текст на главы; можно было подумать, что начало романа представляет собой нечто вроде вступления или пролога, за которым должна последовать его основная часть. На такую возможность указывал и неожиданный, немотивированный перебив в последовательном рассказе о безымянном короле некоей фантастической островной страны — авторское отступление, открывающееся местоимением «Мы» и кончающееся единичным — никак не мотивированным — упоминанием о персонаже, находящемся в иной, «неостровной» реальности:

«Мы склонны придавать ближайшему прошлому (вот я только что держал, вот положил сюда, а теперь нету) черты, роднящие его с неожиданным настоящим, которое на самом деле лишь выскочка, кичащийся купленными гербами. Рабы связности, мы тщимся призрачным звеном прикрыть перерыв.

<...> Так, между прочим, думалось несвободному художнику, Дмитрию Николаевичу Синеусову, и был вечер, и вертикально расположенными рубиновыми буквами горело слово «GARAGE»¹».

Публикация завершалась традиционным для толстых журналов редакционным уверением на странице 36: «Продолжение следует».

Увы, обещанного продолжения не последовало. Семидесятый номер «Современных записок» оказался последним в истории журнала. В середине мая 1940 года немецкие войска, прорвав линию Мажино, ворвались во Францию, но Набокову, к счастью, не пришлось стать свидетелем их победоносного вступления в Париж. 20 мая на пароходе «Шамплен» он с семьей отплыл в США.

Сведения о предшествующей и последующей судьбе «Solus Rex», которыми мы располагаем, чрезвычайно скудны и противоречивы. Как справедливо замечает биограф Набокова Брайан Бойд, невозможно себе представить, чтобы писатель начинал публикацию романа в «Современных записках», не написав хотя бы

Александр Алексеевич Долинин (род. в 1947 г.) — историк литературы; автор книги «История, одетая в роман» (М., 1988) и многочисленных публикаций в научных и периодических изданиях; составитель и комментатор ряда изданий Набокова. В настоящее время работает в США.

вчерне достаточно большую часть текста и не имея четких планов его завершения². Однако в русских архивах писателя, находящихся в Библиотеке Конгресса и Нью-Йоркской публичной библиотеке, нет никаких материалов, связанных с ранним этапом работы над «Solus Rex»³. Через год после переезда в Америку, 29 апреля 1941 года, Набоков пишет Эдмунду Вильсону:

«Единственное, что меня по-настоящему беспокоит, — это то, что я, за исключением нескольких мимолетных свиданий украдкой, не имел регулярных сношений с моей русской Музой, и я слишком стар, чтобы переменитьсь конрадикально (шутка недурна), и уехал из Европы посередине большого русского романа, который скоро начнет сочиться из какой-нибудь части моего тела, если я оставлю его внутри»⁴.

Из слов Набокова явствует, что в это время он еще не отказался от мысли закончить свой роман, написанный, судя по всему, примерно наполовину. В конце октября 1941 года, в ответ на настойчивые просьбы Марка Алданова, затевающего издание русского журнала в США, Набоков посылает ему фрагмент романа, озаглавленный «Ultima Thule», и в сопроводительном недатированном письме поясняет:

«<...> посылаю вам «статью», как говорил некто Арбатов, который все называл «статьей», будь то рассказ или кусок романа, или даже стихи. Простите, что задержал, — я добыл машинку только в субботу.

Я не поместил на манускрипте, но хорошо бы сделать сноску, как бывало:

Отрывок из романа «Solus Rex», начало которого см. в (последнем, — каком именно?) No. «Современных записок»⁵.

«Ultima Thule» была напечатана в первом номере «Нового журнала», вышедшем в свет в январе 1942 года, но без сноски, первоначально предложенной Набоковым. Из этого факта можно заключить, что в период между концом октября 1941 года и началом января 1942 года Набоков принял решение не продолжать работу над незаконченным романом «Solus Rex» и потому снял упоминание о нем из «Нового журнала». Не упомянул о романе Набоков и при повторной публикации «Ultima Thule», которую он включил как самостоятельный рассказ в сборник «Весна в Фиальте» (1956). Лишь в 1973 году он предварил публикацию английского перевода обоих известных нам фрагментов романа в сборнике «A Russian Beauty and Other Stories» вступительной заметкой, где рассказал о неосуществленном замысле следующее:

«Зима 1939—40 годов оказалась последней для моей русской прозы. Весной я уехал в Америку, где мне предстояло двадцать лет подряд писать исключительно по-английски. Среди написанного в эти прощальные парижские месяцы был роман, который я не успел закончить до отъезда и к которому уже не возвращался. За вычетом двух глав и нескольких заметок [a few notes] эту незаконченную вещь я уничтожил. Первая глава появилась в печати под названием «Ultima Thule» в 1942 году («Новый журнал», 1, Нью-Йорк), глава вторая «Solus Rex» вышла раньше нее в начале 1940 года («Современные записки», LXX, Париж) <...> о его незавершенности меня заставляет сожалеть то, что, судя по всему, он должен был решительно отличаться от всех остальных моих русских вещей качеством расцветки, диапазоном стиля, чем-то не поддающимся определению в его мощном подводном течении (перевод Г. А. Левинтона)»⁶.

Разумеется, не все, сказанное здесь Набоковым, следует полностью принимать на веру. Так, его сообщение о последовательности первых двух глав написанного романа, которое до сих пор никогда не ставилось под сомнение исследователями⁷, опровергается самой формой публикации в «Современных записках» и скорее всего представляет собой намеренную мистификацию. Поскольку в начале 1940 года никто еще не мог знать наверняка, что существование «Современных записок» подходит к концу и что через полгода Франция проиграет войну, Набоков, отдавая «Solus Rex» в журнал, явно намеревался печатать его из номера в номер, и едва ли у него были основания выдавать вторую главу романа за его начало, никак это особо не оговаривая. Следовательно, «островной» фрагмент, которому в английском переводе Набоков присвоил заглавие всего романа «Solus Rex», вопреки позднейшим утверждениям писателя, следует считать не второй главой, а начальной частью текста, как он был задуман и отчасти написан в то время. Что же касается «Ultima Thule», то и она, как явствует из письма Набокова Алданову, по первоначальному замыслу не была ни отдельной главой, ни продолжением первого фрагмента, но представляла собой некий отрывок, место которого в романной композиции автор не считал возможным указать. Очевидно, что Набоков а posteriori выстраивает два фрагмента в простой хронологической последовательности, объясняющей фабульную связь между ними: в

«Ultima Thule» художник Синеусов, у которого недавно умерла любимая жена, пытается вызнать тайну жизни и смерти у безумца Фальтера и собирается приняться за работу над серией иллюстраций к поэме о каком-то северном короле «в тумане моря, на грустном и далеком острове», заказанных ему (как, по легенде, «Реквием» Моцарту) странным незнакомцем, «известным писателем» из неизвестной далекой страны; в «Solus Rex» мы попадаем в мир, созданный фантазией Синеусова, на остров «Ultima Thule», «родившийся в пустынном и тусклом море» его тоски. Сюжетное же построение недописанного романа, его общее композиционное устройство так и остаются загадкой. Набоков лишь смутно намекает на то, что по своему стилю и структуре «Solus Rex» должен был отличаться от всего написанного им ранее.

Значительно более важным представляется мне указание Набокова на то, что, уничтожив черновики романа, он сохранил, помимо двух фрагментов, еще и несколько заметок к нему. К 1973 году основная часть русского архива писателя, тщательно отобранная и рассортированная им самим, находилась в Библиотеке Конгресса, и потому упоминание о сохранных заметках можно рассматривать как приглашение к архивным разысканиям, обращенное к будущим исследователям. Однако изучение набоковского архива показывает, что писатель не оставил нам не только никаких записей, связанных с известными нам фрагментами романа «Solus Rex», но и вообще никаких предварительных заметок, набросков, планов, относящихся к какому-либо его русскому тексту. Единственное исключение из этого неукоснительно соблюдавшегося правила составляет школьная тетрадка в розовой обложке — «розовая тетрадь», как называет ее Джейн Грейсон, подробно описавшая содержащиеся в ней уникальные материалы⁸. Они полностью подпадают под набоковское определение: «a few notes», ибо это, действительно, несколько заметок, которые относятся примерно к тому же времени, что и «Solus Rex». Однако связь их с известными нам фрагментами незаконченного романа отнюдь не очевидна, так как все записи в «розовой тетради», на первый взгляд, представляют собой рудимент другого неосуществленного замысла Набокова конца тридцатых годов — второй части или второго тома романа «Дар».

Если не считать нескольких коротких заметок, «розовая тетрадь» содержит материалы трех типов:

1) наброски нескольких сцен, в которых появляются или упоминаются персонажи «Дара»: Федор Годунов-Чердынцев и Зина (теперь они женаты), сестра Федора, мать Зины и ее муж Щеголев;

2) окончание пушкинской «Русалки», которое должно было войти в текст романа как сочинение Годунова-Чердынцева⁹;

3) план или, вернее, краткий конспект предполагаемой последней главы книги.

Действие второй части «Дара» должно было происходить в конце тридцатых годов в Париже, куда Федор Годунов-Чердынцев и его жена Зина «недавно приехали из Германии». Постаревший Федор — известный писатель, автор нескольких романов. «Каков бы он ни был в молодости, это был теперь крупный, чуть что не дородный сорокалетний мужчина с густыми жесткими, коротко стриженными волосами и шероховатой розовостью на шее и по щекам. Тяжелый, рассеянный, по-волчьему пер<е>ливчатый и уклончивый блеск в темных глазах, странно натянутая кожа на лбу, диковатая белизна зубов и горб тонкокрылого носа — а главное<,> общее выражение усилия, надменности и какой-то насмешливой печали, — обыкновенно произв<оди>ли впечатление почти отталкивающее на свежее человека, и особенно почему-то, на таких, кто был без ума от его книг, от его дара. В его облике находили что-то старомодное, крамольно-бойское в грубом забытом смысле, и в совмещении с силой его движений, с писательской сутуловатостью, с неряшливой одеждой, с легкой поступью<,> которую можно было бы назвать спортивной, если бы это слово не спорило с угрюмой русскостью его лица, эта его осанка была тоже с первого взгляда неприятна и даже несносна. Его отношения с Зиной далеко не безоблачны — в Париже они бедствуют, живут в крохотной однокомнатной квартире, и он бывает раздражен и даже груб. В нескольких отдельных набросках Набоков описывает мимолетное, но очень сильное увлечение Федора молодой парижской проституткой, о которой он не может забыть даже через год после двух их коротких встреч.

Для понимания авторского замысла особо важное значение приобретает план окончания романа, начинающийся со следующей заметки:

«Встречи с (воображаемым) Фальтером (навеянные встречей с П., говорившей) <м> о «jogger'e»<»). Почти дознался».

Именно эта заметка и являет собой единственное связующее звено между «розовой тетрадью» и известными нам фрагментами «Solus Rex», поскольку в

ней упоминается Фальтер — безумец из «Ultima Thule», случайно разгадавший «тайну мира». По всей видимости, во второй части «Дара» Фальтер — это персонаж, воображенный Федором под впечатлением какого-то рассказа (ср. сходство значений у английского глагола «fold» — складывать, гнуть, сгибать и немецкого «falten» — складывать, а также их связь с одной из центральных набоковских метафор искусства как «складывания» частей узора или «накладывания» нескольких реальностей друг на друга); с ним герой (или его «представитель»?) ведет воображаемые беседы о «тайне мира», пока в них не вторгается жестокая реальность жизни. Согласно плану Набокова, диалог с Фальтером прерывала следующая череда событий:

«Вышел вместе с Зиной, расстался с ней на углу (шла к родителям); зашел купить папиросы (русские шоферы играют стоя у прилавка в поставляемые кабаком кости), вернулся домой, увидел спину жилицы, уходящей на улицу, у телефона нашел записку: только что звонили из полиции (на такой-то улице), просят немедленно явиться, вспомнил драку на улице (с пьяным литератором) на прошлой неделе, и немедленно пошел. Там на кожаном диване завернутая в простыню (откуда у них простыня?) лежала мертвая Зина. За эти десять минут она успела сойти с автобуса прямо под автомобиль. Тут же малознакомая дама, случайно бывшая на том автобусе. Теперь в вульгарной роли утешительницы. Отделался от нее на углу. Ходил, сидел в скверах. (Фальтер распался.) Пошел к одним, там ничего не знали. Посидел. Пошел к θ , посидел; когда оказалось, что уже знают, ушел. Пошел домой к сестре, не застал, встретил ее потом внизу. Пошел с ней домой за вещами (главным образом хотел избежать тещи и тещу). Поехал к ней, у нее ночевал в одной постели. (Чепуха с деньгами.) Рано утром уехал на юг. Ее нет, ничего не хочу знать, никаких похорон, некого хоронить, ее нет.

В St (придумать: смесь Freijus и Cannes. Или просто Mentone?) бродил и томился. Как-то (дней через пять) встретил Музу Благовещенскую (или Благово?). Зимой что-то быстрое и соблазнительное — но ничего особенного — минутное обаяние — ни в чем не откажет — было ясно. Тут сидела в пляжном полукупалье с другими в кафе. Сразу оставила их — и к нему. Долго не говорила, что знает (из газеты), а он гадал, знает ли. Сонно, мерзко. У меня в пансионе есть свободная комната. Потом лежали на солнце. Отвращение и нежность. Ледяная весна, мимозы, потом стало вдруг тепло (сколько — неделю длилась эта связь — и стыдно, и все равно вся жизнь к черту), случайно в роще увидел С. <allorhrys> avis, о которой так в детстве мечтал. Страстный налив. Все лето совершенно один (муза занималась сыском <sic!>) провел в Moulinet. 1939. Осенью «грязнула война», он вернулся в Париж. Конец всему, «трагедия русского писателя». А погода...

Последние страницы: к нему зашел Концев <sic!> (тот с которым все не мог поговорить в «Даре» — два воображаемых разговора, теперь третий — реальный). Между тем завывали сирены, мифологические звуки. Говорили и мало обратили внимания. Г.: Меня всегда мучил оборванный хвост «Русалки», это повисшее в воздухе, опереточное восклицание «откуда ты, прекрасное дитя» (А-а! Что я вижу... как ласково и похабно тянул Х в полпыяна, завидя хорошенькую). Я продолжил и закончил, чтобы отделаться от этого раздражения. К.: Брюсов и Ходасевич тоже. Куприн обозвал В. Ф. нахальным мальчишкой — за двойное отрицание.

Г.: читает свой конец. К.: мне только не нравится насчет рыб.

Оперетка у вас перешла в аквариум¹⁰. Это наблюдательность двадцатого века. Отпускные сирены завывали ровно. К. потянулся: пора домой. Г., держа для него пальто: Как вы думаете, — *донесем*, а? К. напряженным русским подбородком прижимая шарф, исподлобья <sic!> усмехнулся: Что ж, все под немцем ходим. (Он не совсем до конца понял то, что я хотел сказать.)

Все.

Тематическая связь этого плана с незавершенным романом «Solus Rex» не вызывает сомнений. У обоих героев — Федора Годунова-Чердынцева и художника Синеусова умирает жена; оба не могут прийти в себя после ужасной потери и сначала маются в тоске на Лазурном берегу, а затем возвращаются в Париж; для обоих спасением оказывается творческий импульс, полученный от чужого текста — от незавершенной «Русалки» или загадочной иноязычной поэмы. Наконец, оба пытаются вызвать у Фальтера некую тайну бытия, хотя в этом случае ситуация зеркальна: в «Ultima Thule» смерть жены Синеусова *предшествует его встречам* с Фальтером, причем эти встречи изображены повествователем как *реальные*, тогда как в продолжении «Дара» *после* гибели Зины *воображаемый* Фальтер (то есть такая же фантазия Федора, как Концев или отец в первой части) «распадается».

Пытаясь объяснить переключку заметок ко второй части «Дара» с опубликованными фрагментами незавершенного романа и установить место всех этих материалов в запутанной (и, главное, крайне слабо документированной) истории писательских занятий Набокова во второй половине 1939 — начале 1940 года, Брайан Бойд предположил, что «Solus Rex» явился своего рода тематической филиацией более раннего проекта. Согласно его гипотезе, Набоков обдумывал продолжение «Дара» летом и в сентябре 1939 года, когда и были сделаны тетрадные заметки; затем он прерывает подготовительную работу, в октябре-ноябре пишет повесть «Волшебник» и после этого уже не возвращается к идее продолжить «Дар»; вместо этого он принимается за новый роман «Solus Rex», который немедленно печатает в «Современных записках», начиная почему-то не с первой, а со второй главы¹¹.

На мой взгляд, однако, эту гипотезу никак нельзя признать убедительной, ибо она не учитывает следующие обстоятельства:

1. Как явствует из вышеприведенного конспекта, разговор Годунова-Чердынцева с Кончеевым происходит во время воздушной тревоги в Париже, причем оба героя относятся к «мифологическим звукам» сирен как к вполне привычному, обыденному явлению. Следовательно, этот фрагмент мог быть написан Набоковым, самое раннее, в конце осени или, что более вероятно, зимой 1939—40 года, когда воздушные тревоги стали проводиться в Париже более или менее регулярно. На то, что заключительная сцена романа происходит поздней осенью или зимой, косвенно указывает и одежда Кончеева; во всяком случае, для сентября в Париже пальто и шарф — явный анахронизм.

2. Поскольку 70-й номер «Современных записок» вышел в свет в апреле 1940 года, напечатанное в нем начало романа «Solus Rex», как справедливо отмечает сам Бойд, должно было поступить в редакцию не позднее февраля. Но тем самым его гипотеза оставляет писателю всего-навсего два месяца (декабрь 1939 — январь 1940) на то, чтобы детально проработать сюжет и общую композицию сложнейшего, «небывалого» романа, придумать язык, географию, историю фантастического северного острова, написать вчерне изрядную часть текста и подготовить для немедленной публикации фрагмент объемом в два печатных листа — скорость, которая была не под силу даже быстро писавшему Набокову. Если для сравнения мы обратимся к творческой истории «Приглашения на казнь» — романа, который Набоков, по его собственным словам, написал быстрее всех прочих, в невероятном порыве поэтического вдохновения, — то увидим, что между началом работы над рукописью и отсылкой первой ее части (примерно те же два листа) в «Современные записки» прошло более полугода.

Из вышеизложенного следует, что Набоков начал работу над «Solus Rex» не позднее июля-августа 1939 года и что заметки ко второй части «Дара» (или, по крайней мере, конспект ее последней главы) делались одновременно с подготовкой к печати нового романа. Объяснить же это необычное для Набокова совмещение, как мне представляется, можно только если предположить, что речь шла об одном и том же замысле, об одном и том же трехплановом романе — романе, который должен был вобрать в себя и линию Годунова-Чердынцева, и историю художника Синеусова, и воображаемый мир северного острова. По-видимому, «Solus Rex» был задуман и отчасти написан как продолжение «Дара» или, парафразируя финал «Истинной жизни Себастьяна Найта», вторая часть «Дара» это и есть «Solus Rex», а «Solus Rex» это и есть вторая часть «Дара». Показательно, что, делая заметку о Кончееве в конспекте последней главы, Набоков говорит о нем как о персонаже «Дара», а не первой части или первого тома; это значит, что у второй части должно было быть собственное заглавие. «Solus Rex» вполне годится на эту роль, ибо в мире Набокова «одиноким королем» может быть назван любой истинный художник, и в первую очередь герой «Дара» Годунов-Чердынцев, который к концу книги должен был, потеряв Зину, остаться в полном одиночестве, не до конца понятый даже умным сподвижником, — наедине со своим «королевским искусством»¹².

Наше предположение, сколь бы неожиданным оно ни казалось, подтверждается одним важным документальным свидетельством. 14 апреля 1941 года Марк Алданов писал Набокову из Нью-Йорка:

«Не забудьте, что Вы твердо обещали нам новый роман — продолжение «Дара». Я сегодня получил письмо от Бунина, он сообщает, что уже выслал мне „Темные аллеи“»¹³.

Само построение фразы («обещали нам») не оставляет никаких сомнений в том, что речь идет об обещании, которое Набоков дал Алданову как члену редакционной коллегии журнала или издательства, занятой поиском материалов для

публикации. Об этом же свидетельствует и упоминание об отправке Буниным в США рукописи «Темных аллей» — последней, никому еще не известной книги писателя¹⁴. А поскольку Алданов впервые начал заниматься журнально-издательской деятельностью только в 1941 году после переезда в Америку, когда он вместе с несколькими другими эмигрантами затеял издание русского литературного журнала по образцу «Современных записок» — будущего «Нового журнала»¹⁵, то и датировать это обещание можно лишь первыми месяцами 1941 года¹⁶. Именно в это время Набоков часто встречался с Алдановым в Нью-Йорке и, по всей видимости, раскрыл ему тайну своей недописанной книги, назвав ее продолжением «Дара» и пообещав по завершении передать новому изданию. Показательно, что Набоков делится с Эдмундом Уилсоном своим беспокойством о судьбе незаконченного русского романа, не оставляющего его воображения, сразу же после получения письма от Алданова. По-видимому, напоминание о недавних планах быстро завершить работу над второй частью «Дара», как и поданная Алдановым надежда на скорое возрождение литературной жизни эмиграции под американским флагом вызвали у Набокова острое желание возобновить связь с заброшенной «русской Музой» и дописать роман — желание, которое в конце концов так и осталось неутоленным.

Разумеется, нам остается только гадать, какое место могли бы занять дошедшие до нас, разрозненные фрагменты и наброски в общей композиции романа и каким образом Набоков намеревался соединить его сюжетные линии. Однако аналогия с первой частью «Дара» все-таки позволяет нам сделать некоторые гипотетические предположения на этот счет. Как известно, «Дар» построен как роман «литературного воспитания», как история литературного становления героя, и потому его большую часть составляют вставные тексты, написанные Годуновым-Чердынцевым — его стихи, его недописанная книга об отце, его новелла о Яше Чернышевском, наконец, его «Жизнеописание Чернышевского». Все главные события романа происходят в творческом сознании начинающего писателя, когда он производит смотр русским литературным традициям, творя собственное генеалогическое древо; когда он трансформирует свой жизненный и читательский опыт во «вторую реальность» искусства; когда на наших глазах рождаются его «творческие сны», стихотворения, прозаические тексты. По сравнению с этими событиями вся внешняя, чисто биографическая сторона его существования за три года романного времени (включая даже любовь к Зине) отстает на второй план или, вернее, получает роль хранилища или накопителя информации, подлежащей творческой переработке.

Даже те небольшие наброски ко второй части «Дара», которыми мы располагаем, убедительно свидетельствуют о том, что и на этот раз в центре романа должны были оказаться литературная личность Годунова-Чердынцева и его рождающиеся на глазах читателя сочинения. Набросок сцены, где Зина беседует с докучным визитером по фамилии Кострицкий, племянником ее отца Щеголева, апологетом силы и большим поклонником нацистского режима, начинается с упоминания о книгах Федора, осуществившего свою мечту и ставшего известным прозаиком:

«„О нет, ответила Зина. Книги, романы“.

Кострицкий или вроде Кострицкого ухмыльнулся, показав розовую дыру вместо рта: видите ли, жизнь у нашего брата так складывается, что русская книжка, как таковая, попадает не часто. Имя, конечно, слышал, но...»

Когда Федор возвращается домой и застаёт незваного и омерзительного гостя, он приходит в ярость, потому что это отвлекает его от работы:

«<...> я прихожу домой, сказал он вполголоса, после мерзкого дня у мерзких киноторгашей, я собираюсь сесть писать, я мечтал, что сяду писать, а вместо этого нахожу этого сифилитического прохвоста, которого [только] ленивый с лестницы не спускал <...>».

Группа набросков трех эпизодов, связанных с проституткой Ивонн (или Колет, как первоначально назвал ее Набоков) и озаглавленных «Встречи с Колет», открывается стихотворным отрывком, в котором Федор, по-видимому, пытается передать шок узнавания в вульгарной уличной девке своей «прекрасной дамы»:

все в ней — ударило, рвануло,
до самой глубины прожгло,
все по пути перевернуло,
еще глагольное на -гло,
на гладком и прямоугольном
— на чем? на фоне мглы моей.

Описания обычных прелиминарий в комнате отеля и самого совокупления пронизаны словесной игрой, метаописаниями, литературными реминисценциями. Годунов-Чердынцев цитирует, например, лицейское стихотворение «смуглого подростка» Пушкина «Князю А. М. Горчакову» («Спеши любить и, счастливый вчера, / Сегодня вновь будь счастлив осторожно»), «Каменного гостя» («Ты молода и будешь молода...»), пушкинское «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением...» («торопит миг последних содроганий»), «Сияла ночь. Луной был полон сад...» Фета («И так хотелось жить, чтоб звука не роняя...»), «Своенравное прозвание...» Баратынского, «Воспоминание» Жуковского; он пародирует «максимально горького» Максима Горького и Блока; он благодарит русскую словесность за то, что она и ее «соловое слово» спасают его от искушения банальностью: «Русская словесность, о русская словесность, ты опять спасаешь меня. Я отвел наваждение лубочной жизни посредством благородной пародии слова». Как и в первой части «Дара», проза тут незаметно перетекает в стихи, а стихи, как пишет Набоков на полях рукописи, постепенно переходят в прозу. Завершающее «Встречи с Колет» стихотворение, по замыслу автора, должно было быть написано в строчку:

«<...> О русское слово, соловое слово, о западные импрессионисты!

И мимо столиков, железный
все пьющих рюмочками губ
сок завсегдаев полезных —
за светлым трупом темный труп
и мимо палевых бананов
рекламных, около живых
и многоногих барабанов
твоих уборных угловых,
Париж! я ужоу без гнева
с небывшего свиданья в мир,
где дева не ложится слева...

Разумной рифмы не оказалось при переключке, и собрание было распущено, — а сколько раз он давал себе зарок не соблазняться возможностью случайного сброда образов, когда вдохновение только раб на поверхности, а внутри не тем занят, совсем не тем».

Наконец, последняя глава романа, как мы видели, должна была включать в себя некие воображаемые беседы Федора (или его героя?) со всезнающим Фальтером; после смерти Зины и короткой связи с Музой Благово Федор уединяется с другой, подлинной своей музой в Moulinet и все лето что-то пишет (ср.: «муза (слово написано с маленькой буквы) занималась ссыском»); возможно, некоторые результаты этого «ссыска» он и демонстрирует Кончееву в Париже, когда читает ему завершение «Русалки». Как и финал первой части «Дара», финал всей книги снова отсылал к Пушкину, причем не только прямо — через «Русалку», но и косвенно — через скрытую реминисценцию в странном вопросе Федора: «Донесем?» Ключ к его разгадке, не замеченный Кончеевым, содержится в первых четырех строках стихотворения Пушкина «Акафист Екатерине Николаевне Карамзиной», где мотив провиденциального спасения напрямую связывается с главным для Набокова понятием ДАРА:

Земли достигнув наконец,
От бурь спасенный Провиденьем,
Святой владычице плавец
Свой дар несет с благоговеньем.

Спасет ли Провиденье русскую литературу «от бурь»? Донесем ли мы до «святой владычицы» — вечности — дар, завещанный нам от Пушкина? — вот вопросы, которые тревожат Годунова-Чердынцева и его создателя перед лицом «конца всему».

Демонстративная литературность и металитературность набросков к продолжению «Дара» (как и насыщенность их стихотворными вставками и пародиями) заставляют предположить, что «Solus Rex», как и собственно «Дар», не мог не включать и вставных прозаических текстов, написанных или задуманных Федором, — скорее всего, фрагментов романа или романов (едва ли случайно эпизод с Кострицким открывался упоминанием о Федоре как романисте), а быть может, и некоего целостного «текста в тексте», наподобие «Жизнеописания Чернышевского». Как явствует из набросков, основное действие второй части должно было охватывать весьма длительный промежуток времени; возможно, те же три с небольшим года, что и собственно «Дар». Разговор Зины с Кострицким происходит

летом 1936 или 1937 года, вскоре после переезда Годуновых-Чердынцевых в Париж; встречи Федора с проституткой относятся к более позднему времени, когда Зина находится на Лазурном берегу, хотя датировать эпизоды точнее, к сожалению, не представляется возможным; еще год спустя Федор приходит на то же место, надеясь снова встретить там Ивонн; Зина погибает в 1939 году, ранней весной; финальная беседа с Кончеевым — это конец того же 1939 года. Таким образом, в общей конструкции романа было оставлено достаточно свободных ячеек, которые могли заполнить сочинения его главного героя. Вероятно, начало «Solus Rex», напечатанное в «Современных записках», и отрывок «Ultima Thule», переданный Алданову в «Новый журнал», как раз и представляют собой единственные дошедшие до нас фрагменты некоего «романа в романе» — той главной книги, которая занимала писательское воображение Федора Годунова-Чердынцева в предвоенные годы.

Известно, что, задумав в 1933 году «Дар», Набоков начал осуществление замысла именно со «вставных текстов». На раннем этапе работы он как бы перевоплощается в своего героя и сочиняет за него серию стихов (некоторые из которых впоследствии не вошли в роман), «Жизнеописание Чернышевского», рассказ о Яше Чернышевском (опубликованный как отдельная новелла под названием «Треугольник в круге») и только после этого «обстраивает, завешивает, окружает» их «чащей жизни» Годунова-Чердынцева. В связи с этим уместно предположить, что, задумав продолжение «Дара», Набоков применил тот же метод и написал вначале ряд сочинений за Федора¹⁷, отдельные осколки которых успели попасть в печать до того, как он принял решение прекратить работу над романом. Что же касается основной сюжетной линии романа, то он, видимо, планировал завершить ее разработку позднее, и потому никаких ее следов, за исключением набросков в тетради, не сохранилось.

Напомню, что сюжетный механизм «Дара» приводит в движение тема благосклонной судьбы: подобно хитроумному художнику, преодолевающему косность своего материала, судьба с помощью разнообразных «приемов» сводит героя и героиню, и в конце книги, разгадав этот замысел, Федор собирается положить его в основу будущего «замечательного романа» — воображенного и воображаемого текста, который изоморфен собственно «Дару», но не тождествен ему. О попытках ретроспективно выявить в собственном прошлом связный «текст судьбы», подготавливающий и предвосхищающий настоящее, размышляет в самом начале «Solus Rex» художник Синеусов. «Оглядываясь, мы видим дорогу и уверены, что именно э т а дорога нас привела к могиле или к ключу, близ которых мы очутились, — думает он. — Дикие скачки и провалы жизни переносимы мыслью только тогда, когда можно найти в предшествующем признаки упругости или зыбучести»¹⁸. Упоминание о могиле и ключе как альтернативных вариантах настоящего прямо отсылает к финалам обеих частей «Дара»: собственно «Дар» заканчивался тем, что Федор и Зина направлялись домой, не подозревая, что у них нет ключа от квартиры¹⁹, тогда как продолжение должно было завершиться смертью Зины.

Судя по плану последней главы продолжения «Дара», судьба в нем уже не награждает героя и не беззлобно подшучивает над ним, оставляя без ключей, а сурово карает его (за измену? за иссякание любви? за попытки «дознаться?»), отбирая у него Зину, и потому вся композиция «Solus Rex», вероятно, должна была инвертировать построение первой части. Если в «Даре» «маневры судьбы» предшествуют роману Федора, то в «Solus Rex», по-видимому, роман, написанный или задуманный героем, предвосхищает и предугадывает удар, который наносит ему судьба. В воображенных Федором двух «реальностях» умирает жена Синеусова и, как сообщил Набоков, должна погибнуть жена короля на «северном острове»²⁰; потери вымышленные отзываются потерей действительной, на которую герой отвечает символическим литературным актом: он диктует незавершенную драму Пушкина о человеке, мучимом раскаянием, — драму, которая, по предположению Ходасевича, «должна была стать трагедией возобновившейся любви к мертвой»²¹.

Прекратив работу над «Solus Rex» и уничтожив большую часть написанного, Набоков тоже совершил символический литературный акт, но только противоположный по смыслу. Отречением от романа, герой которого находит последнее прибежище в русской словесности и надеется, вопреки всем ударам судьбы, «донести» ее дары, русский писатель В. Сирин заявлял о том, что он слагает с себя подобную «ношу» и прекращает собственное существование. После долгих, мучительных колебаний Набоков все-таки решил выйти из прибежища русской литературы и положить конец «истинной жизни» В. Сирина: она оставалась позади,

в довоенной Европе, и ее логично завершал итоговый роман «Дар», который в таком случае не требовал продолжения. На смену Сирину пришел американский писатель Vladimir Nabokov, развивший главные темы недописанного по-русски романа «Solus Rex» в написанных по-английски романах «Bend Sinister» и «Pale Fire»²². Отдельные отголоски того же замысла слышны и в «Лолите»²³. Однако сохранившиеся фрагменты вместе с черновыми заметками и неясными, намеренно двусмысленными указаниями самого писателя возвращают продолжение «Дара» в русскую литературу, где оно попадает в особый класс фантомных или полуфантомных текстов, которые входят в ее основной состав в качестве нереализованных потенций. Загадка недописанного романа Набокова сродни загадкам второго тома «Мертвых душ» и «Братьев Карамазовых», пушкинской незавершенной прозы и «Русалки», лермонтовского «Штосса», романа Толстого о декабристах или романа, о котором мечтал Чехов, — одним словом, всех тех книг, отсутствие которых нам дано ощутить как потерю, но не дано восполнить. Недописанные тексты суть упущенные возможности литературы, свидетельствующие о многовариантности ее путей. Они постоянно ставят перед нами сакраментальный вопрос: «Что было бы, если?», на который нет и не может быть окончательного ответа, ибо ушедший писатель, как Пушкин в ремарке, завершающей набоковское окончание «Русалки», всегда будет недоуменно пожимать плечами из своего инобытия.

¹ «Современные записки». 1940, № 70. С. 9.

² Boyd, Brian. *Vladimir Nabokov. The Russian Years*. Princeton, N.J., 1990. P. 517.

³ Я искренне благодарю Д. В. Набокова, который разрешил мне ознакомиться с этими архивами и процитировать некоторые документы в этой работе.

⁴ *The Nabokov-Wilson Letters. Correspondence between Vladimir Nabokov and Edmund Wilson, 1940—1971*. Edited, annotated and with an Introductory Essay by Simon Karlinsky. New York, Hagerstown, San Francisco, London, 1979. P. 44.

⁵ Цит. по публикации Андрея Чернышева: «Как редко теперь пишу по-русски...». Из переписки В. В. Набокова и М. Алданова. // Октябрь, 1996, 1. С. 129 (подчеркнуто в подлиннике).

⁶ Цит. по: *The Stories of Vladimir Nabokov*. The New York, 1995. P. 653—654.

⁷ См., например: Johnson, D. Barton. *Worlds in Regression: Some Novels of Vladimir Nabokov*. Ann Arbor, Michigan. 1985. P. 206—223; Boyd, Brian. *Vladimir Nabokov. The Russian Years*. P. 517—520.

⁸ См.: Grayson, Jane. «Washington's Gift: Materials Pertaining to Nabokov's Gift in the Library of Congress». // *Nabokov Studies*. 1994, vol. 1. P. 21—68. В этой работе исправлены существенные неточности, допущенные Брайаном Бойдом, который первым упомянул о существовании черновых заметок к продолжению «Дара», но описал их весьма небрежно (см.: Boyd, Brian. *Vladimir Nabokov. The Russian Years*. P. 516—517). Грейсон, в отличие от Бойда, верно передает общее содержание набросков, хотя некоторые предложенные ею прочтения рукописного текста вызывают возражения. Благодаря любезному разрешению Д. В. Набокова, я получил возможность самостоятельно ознакомиться с «розовой тетрадкой» (*Nabokov Papers in the Library of Congress*. Box 6, file 6d) и все выдержки из нее, приводимые ниже, являются результатом изучения рукописи.

⁹ Набоков напечатал заключительную сцену «Русалки» под своей подписью во втором номере «Нового журнала» (1942) без каких-либо указаний на ее связь с незаконченным романом. Как отметила Джейн Грейсон, журнальный текст существенно отличается от неотделанного черновика. Прежде всего обращают на себя внимание разные финалы сцены: если в опубликованном варианте Русалочка уводит Князя на речное дно, где над ним склоняется Царица-Русалка, то в черновом наброске Князь с криком «О смерть моя!.. Сгинь, страшная малютка» убегает и вешается, а Царица «лютой мукой дочку мучит / Упустившую отца» (см.: Grayson, Jane. «Washington's Gift: Materials Pertaining to Nabokov's Gift in the Library of Congress». P. 31—32).

¹⁰ Кончееву не понравилось следующее место из монолога Русалочки: «В младенчестве я все на дне сидела / И вокруг остановившиеся рыбки / Дышали и глядели (...). Набоков исключил эти строки из опубликованного в «Новом журнале» варианта.

¹¹ Boyd, Brian. *Vladimir Nabokov. The Russian Years*. P. 516—520.

¹² Преображение действительности художником уподоблено в «Даре» «мгновенной алхимической перегонке» или «*королевскому опыту*» (Набоков Владимир. Избранное. М., 1990. С. 183; курсив автора), как называли алхимики получение философского камня. Метафора, по-видимому, восходит к «Защите поэзии» Шелли, где говорится о «тайной алхимии» поэзии, которая «превращает в жидкое золото, пригодное для питья, отравленные воды, текущие из смерти через жизнь». (Я благодарен Омри Ронену, указавшему мне на эту цитату.)

¹³ «Как редко теперь пишу по-русски...». С. 128.

¹⁴ Публикация «Темных аллей» началась в первом номере «Нового журнала» с рассказа «Руся».

¹⁵ О своих попытках создать русский литературный журнал Алданов упоминает в письме Бунину из США, датированном 1 февраля 1941 года. «Если журнал создастся, — пишет он, — то мы хотим в первой же книге поместить начало «Темных аллей» <...>» См.: «Октябрь», 1996, № 3. С. 128.

¹⁶ Понимая, что письмо Алданова противоречит выстроенной им гипотезе, Бойд произвольно относит упомянутое в нем обещание, данное Набоковым, к 1939 году (см.: Boyd, Brian. *Vladimir Nabokov. The Russian Years*. P. 505). Однако в 1939 году Алданов не входил ни в одну из редакций русских журналов и потому едва ли мог вести переговоры с Набоковым от лица какого-то редакционного коллектива или издательства. Более того, Набоков в то время был связан обязательствами перед двумя журналами — «Современными записками» и «Русскими записками», где немедленно печатались все его новые произведения, и, следовательно, никогда не стал бы обещать продолжение «Дара» кому-то другому. Тот факт, что Алданов упоминает о «Темных аллеях» Бунина без пояснений, как о новинке, известной адресату, позволяет предположить, что он обсуждал с Набоковым портфель редакции будущего «Нового журнала».

¹⁷ Не исключено, что к ним относится и повесть «Волшебник», написанная осенью 1939 года.

¹⁸ «Современные записки». 1940, № 70. С. 9 (курсив мой. — А. Д.).

¹⁹ О тройственном мотиве ключей в «Даре» — потерянный или забытый ключ от дома, ключ как отгадка и ключ как источник — см.: Johnson, D. Barton. *Worlds in Regression: Some Novels of Vladimir Nabokov*. P. 93—111.

²⁰ Искусство Синеусова, пишет Набоков в предисловии к английскому переводу «Solut Rex» и «Ultima Thule», помогает ему «воскресить покойную жену в облике королевы Белинды — жалкое свершение, которое не приносит ему торжества над смертью даже в мире вольного вымысла. В главе III ей предстояло снова погибнуть от бомбы, предназначавшейся ее мужу, на Эгельском мосту буквально через несколько минут после возвращения с Ривьеры. Вот, пожалуй, и все, что удается разглядеть в пыли и мусоре моих давних вымыслов» (перевод Г. А. Левинтона) (*The Stories of Vladimir Nabokov*. P. 654).

²¹ Ходасевич Владислав. «Поэтическое хозяйство Пушкина». Л., 1924. С. 148 (курсив автора).

²² См. об этом: Johnson, D. Barton. *Worlds in Regression: Some Novels of Vladimir Nabokov*. P. 206—223; Field, Andrew. *VN: The Life and Art of Vladimir Nabokov*. New York, 1986. P. 340—342.

²³ Как отмечают Б. Бойд и Дж. Грейсон, Набоков перенес целый ряд деталей из набросков сцен, описывающих встречи Федора с Ивонн, в тематически близкий эпизод «Лолиты» (глава 6 первой части), где Гумберт Гумберт вспоминает о своих свиданиях с парижской проституткой Моникой (см.: Boyd, Brian. *Vladimir Nabokov. The Russian Years*. P. 517; Grayson, Jane. «Washington's Gift: Materials Pertaining to Nabokov's Gift in the Library of Congress». P. 40—41). Следует отметить, однако, что в русской версии «Лолиты» нарративная часть эпизода почти полностью лишена стилистических и лексических совпадений с черновыми набросками «Встреч с Колет». Обыгрываются в «Лолите» и мотивы пушкинской «Русалки»: Гумберт Гумберт называет Шарлотту «ундиной» (Набоков Владимир. «Лолита». Перевел с английского автор. Анн Арбор, 1976. С. 74—75), а после ее смерти видит во сне «русалкой в зеленоватом водоеме» (117); Лолита движется словно «под водой» (107) и получает в подарок «Русалочку» Андерсона (156); по определению Гумберта Гумберта, нимфетка — «прекрасное демонское дитя» (155; ср. последние строки у Пушкина, упомянутые Набоковым в плане последней главы «Откуда ты, прекрасное дитя?»), а ее опекун отращивает «пару сизых крыл» (155; ср. слова безумного старика-мельника у Пушкина: «<...> два сильные крыла / Мне выросли внезапно из-под мышек»); в одной из ключевых сцен романа герой замечает «миллионы мотельных мотылей, называемых „мельниками“» (222) и т.п. В известном смысле в «Лолите» можно усмотреть проекцию сюжета «Русалки»: Гумберт Гумберт совмещает в себе черты преступного князя и безумного Старика-отца, обманутая Шарлотта, как Русалка, с того света использует свою дочь, чтобы отомстить обидчику, герой пытается скрыть свой грех, свою вину и раскаяние за «ожерельями» затейливого слога, но в конце концов угрызения совести увлекают его в «глубокие и темные воды» (286).

ФИЛОСОФСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

БОРИС ПАРАМОНОВ

ПОТОМКИ ДОСТОЕВСКОГО

Существует тема об учительстве Достоевского, даже о пророчестве его. Бердяев говорил, что у Достоевского был дар пророчествования. Пример, из наиболее известных, — проникновение его в метафизику русской революции в «Бесах». С этим невозможно, да и не нужно спорить. Это действительно было так: русская революция оказалась не благой и благостной, как надеялись поколения свободолюбивых русских людей, а явила картину бесовского разгула смертоносных исторических стихий. Когда, после чуть ли не тридцатилетнего перерыва, в Советском Союзе снова стали издавать Достоевского, режим обрел в нем самого своего авторитетного дискредитатора. Впрочем, Достоевский если и не всегда издавался, то никогда по-настоящему и не запрещался, в библиотеках достать его всегда было можно. В тени большевизма существовал Достоевский, и это помогло жить. Это было шило в мешке большевицкого режима. Твердо верилось, что не может кончиться на большевизме страна, давшая миру Достоевского.

Но вот странное дело, вот парадокс: Достоевский перестает ощущаться учителем. Впрочем, ничего странного и парадоксального здесь нет, если подумать. Это значит, что миновали, исполнились времена и сроки. Исчез главный объект критики Достоевского — проект так называемого окончательного устройства, пресловутый хрустальный дворец, оказавшийся колоссальной тюрьмой. Изжит тип мышления, культурная парадигма, порождавшие такие проекты и выливавшиеся в такую практику: априорное социальное конструирование, основанное на одностороннем рационалистическом подходе к проблемам человеческого бытия, утопическое представление о том, что, опираясь на чистый разум, человек может построить здание идеального общества. Это была очень древняя, из античных еще времен, от Платона идущая традиция. И вот сейчас она кончилась — в двадцатом веке, после двух мировых войн и тоталитаристских опытов. Но при этом оказалось, что Достоевский чуть ли не целиком был в той эпохе, что он кончился вместе с коммунизмом. Конечно, не только непосредственно социалистические проекты девятнадцатого века вызывали его критику, но и вся эта чрезвычайно авторитетная и чрезвычайно древняя традиция рационалистического мышления. Социалистические проекты Достоевский критиковал как раз за переоценку ими рациональных потенций человечества, критика его была не только социально-историческая, но и философски-экзистенциальная, Достоевский забирал предельно глубоко для своего времени. Но — еще раз — для *своего* времени. Темы Достоевского-мыслителя ныне, думается, утратили актуальность. И слава Богу, что так. Новые времена вряд ли будут менее проблематичными, но будут, несомненно, другими.

Констатация этого общего положения — преходящести дум гениев человечества — ставит и несколько других, менее масштабных вопросов в отношении идейного наследия Достоевского. Вспомним хотя бы, что западным, европейским перспективам развития, в которых он видел неминуемое торжество социализма и «сто миллионов голов», которые принесет ему в жертву европейское человечество, — что этой трагической перспективе он противопоставлял русские возможности, видевшиеся им в светлых тонах христианского братства. Слов нет, Достоевский пророчесственно увидел картину будущего тоталитарного человечества, и даже дал в «Бесах» специфически русский вариант этой темы, но он был в то же время уверен, что его страну минует чаша сия. Уверен ли? По крайней мере, надеялся. Кто знает, проживи Достоевский еще с десяток лет, и он, может быть, утратил бы этот оптимизм в отношении России, как утратил его соратник Достоев-

ского, Н. Н. Страхов, черным по белому написавший после цареубийства 1 марта 1881 года, что Россию затянуло-таки колесо времени и что надежды на ее особый путь исчезают. А ведь Достоевский был человеком и мыслителем куда крупнейшим Страхова.

Как бы там ни было, Достоевский до этого времени не дожил — умер за месяц до цареубийства. И он остается в истории русской мысли одним из виднейших, если не самым крупным представителем своеобразного славянофильства (в его варианте носившего название почвенничества). Его вклад в так называемую русскую идею колоссален. Русской идеей я здесь называю миф об особом предназначении России и об особом, высшем ее положении в исторических судьбах человечества — русский messiаниззм.

Одна из составляющих этого мифа, чрезвычайно льстящая национальному самолюбию, — мысль Достоевского о всечеловечности русских, о мировом их призвании, о способности их развязать и разрешить узел мировых проблем, каким он виделся в то время Достоевскому. Эта тема ярче всего была разработана Достоевским в его знаменитой Пушкинской речи, и речь эту сейчас тяжело читать. Откуда такие ошибки у гениального человека?

Здесь вспоминается поэт: «Мирозданье — лишь страсти разряды, Человеческим сердцем накопленной». Какие страсти обуревали сердце Достоевского? Ответить на этот вопрос нетрудно: биография и психологический облик великого писателя хорошо известны. Здесь мне хочется привести высказывание о Достоевском одного прочно забытого, но в свое время очень известного литературоведа — В. Ф. Переверзева, талантливого исследователя, несколько увлекшегося социологизацией литературы, но, как покажет приводимая цитата, проникновенно понимавшего Достоевского и в психологической его глубине, и в социальной проекции таковой:

«Чувства обиды, унижения, оскорбления клокочут в душе разлагающегося мещанства, разрешаясь истерической борьбой за честь, принимающей болезненные патологические формы... Вот эта катастрофичность и накладывает на все творчество Достоевского печать трагизма, делает его творчество таким мучительным, мрачным, его талант — «жестоким талантом»... Мотивы его творчества складываются из многообразных проявлений патологической борьбы бытия. Дикие, нелепые формы принимает эта борьба: чтобы почувствовать себя настоящим полным человеком, которого никто не смеет обидеть, герой Достоевского должен посметь сам кого-нибудь обидеть... Но это еще — только начало: кто умеет только обидеть, развязно наступить ногой на чужое самолюбие, тот еще мелко плавает. Человек в полном смысле независим, стоит выше всяких обид и унижений, когда он все может, смеет переступить все законы, все юридические преграды и нравственные нормы. И вот, чтобы доказать, что ему все позволено, что он все может, герой Достоевского пойдет на преступление. Правда, преступление неизбежно влечет за собой наказание, мучительство неизбежно влечет за собой страдание, но это — страдание уже оправданное. Это — законное возмездие, не оскорбляющее достоинство человека. Не бежать нужно от такого страдания, а смиренно нести его. Даже искать его нужно, любить его, как признак высшего достоинства человека. Так патологическое влечение обидеть, преступить уживается с таким же болезненным влечением пострадать, претерпеть обиду. Униженный и оскорбленный, рвущийся унижить и оскорбить, мученик, жаждущий мучить, мучитель, ищущий страдания, оскорбитель и преступник, ищущий оскорбления и наказания, — вот стержневой образ, вокруг которого вращается все творчество Достоевского, образ мещанина, корчащегося под двойным прессом сословного бесправия и капиталистической конкуренции».

Конечно, эти слова слишком принадлежат своему времени — двадцатым годам, но в этом качестве они приобретают несомненную коллекционную ценность. Во всяком случае, сейчас намного интереснее читать это, нежели обонять елей, проливаемый на Достоевского воскресшими из мертвых ценителями православия, самодержавия и народности. Конечно, слова о мещанстве под двойным гнетом, будучи фактически верны и нелишни, не раскрывают Достоевского; тут напрашивается в противопоставление известный аргумент: если Достоевский и был мещанином, страдающим от аристократии и капитализма, то почему не каждый такой мещанин — Достоевский? Но Переверзев очень хорошо — кратко и почти исчерпывающе — объяснил психологию героев Достоевского, да и самого автора. Прочитайте в знаменитом письме Страхова к Толстому, как Достоевский в Швейцарии измывался над официантом, и вы увидите, что гений в этом отношении недалеко ушел от продуктов своей творческой фантазии. Но, и еще раз но, — в том-то и заключался гений Достоевского, что был он не только «мещанином», не только носителем психологии определенного социального слоя — а народным, национальным писателем. Достоевский вскрыл психологию русских как нации. В приведенном описании, как это ни больно признать, мы узнаем не мелкобуржуазные, а национальные русские комплексы. Это комплексы людей, живущих в стране, обреченной на так называемое догоняющее развитие. А если мы вспомним при

этом пресловутый российский-советский империализм, то разве не возникнет тот же образ униженного, находящего компенсацию в унижении других? Думский коммунист Лукьянов сказал однажды, в интервью английской газете «Файнэншл Таймс», что советские люди, конечно, жили хуже европейцев и американцев, но им помогало жить сознание принадлежности великой державе. Величие советской державы заключалось в том, что она была до зубов вооружена и захватила много чужих земель. И ведь Достоевскому, при всей его глубине, тоже были свойственны такие мелкие чувства. Чего стоит только лозунг его публицистики: «Константинополь должен быть наш». Этот Константинополь, пресловутый Царьград вовлек Россию в первую мировую войну и привел в конечном счете к катастрофе 1917 года. Поистине, на каждого мудреца довольно простоты.

Впрочем, сам Достоевский хорошо понимал и описал эту ситуацию: когда высокие мысли становятся достоянием толпы. Об этом остроумно рассуждает С. Т. Верховенский в «Бесах». Маркс бы в этом случае сказал: идея, овладевшая массами, становится материальной силой. Многие идеи Достоевского стали в России такой материальной — и неправой — силой. Еще точнее: исторический опыт показал опасность психологического склада, столь впечатляюще описанного Достоевским, — униженных и оскорбленных, которые селятся отомстить миру. Ницше называл это *ressentiment*. Эту опасность, конечно же, понимал Достоевский. Он сам, в чем совершенно прав не очень вульгарный социолог Переверзев, был человеком такого психического склада. В художественном творчестве своем Достоевский эту черту, что называется, сублимировал, или, как сказали бы в старину, объективировал ее в художественном образе, тем самым достигнув некоего катарсиса. Но в идеологии Достоевского, в созданном им русском мифе этот психический склад сохранился, продолжая оказывать свое патогенное действие. Дело было, однако, не так просто, тут тоже наличествовала некая сублимация.

Не любивший Достоевского, недоброжелательный Набоков, очень плохо написавший о «Записках из подполья», извративший глубокую философию этой вещи, тем не менее остро подметил одно свойство у героев Достоевского, мимо которого прошел Переверзев. Не только *ressentiment*, жажда мести у обиженных, характеризует этих героев, но еще что-то, открывается тут некая интересная тонкость, загадочный психологический завиток. У протагониста «Записок из подполья», говорит Набоков, «неудовлетворенные желания, страстная жажда отомстить, сомнения, полуотчаяние, полувера — все это сплетается в один клубок, порождая ощущение странного блаженства в униженном существе».

Сам же герой — антигерой — «Записок из подполья» говорит о себе:

«Я ... всех презирал, а вместе с тем как будто их и боялся. Случалось, что я вдруг даже ставил их выше себя. У меня как-то это вдруг тогда делалось: то презираю, то ставлю выше себя».

Здесь мы вступаем в тему, представляющую одну из интереснейших особенностей психологии Достоевского. Можно смело сказать, что многие идеологемы Достоевского растут на этом психологическом фундаменте. Это особенность, это свойство у Достоевского принято называть христианским дионисизмом. Миротворящая фигура, репрезентирующая это явление, — святой Франциск Ассизский. С известной долей вероятности русским аналогом Франциска можно назвать феномен юродства. Но тут важнее не русские, а древнегреческие параллели. Дионисизм, религия Диониса, Дионисово действо — феномен античной духовности, если, конечно, можно это назвать духовностью. Скорее это экстаз, выходение из себя в некоем коллективном радении и кружении, «священное безумие», охватывающее принимающих участие в действе вакхантов, приобщение к элементарным силам земли. В современных терминах мы бы сказали — культивированный уход в бессознательное, причем не индивидуальное, а коллективное. Участник Дионисова действия теряет свое «я» и в этой утрате усваивает нечто высшее и сильнейшее, сливается с бытийными стихиями, обретая в этом невозможную в индивидуальном существовании мощь и блаженство. Это оргийное, оргиастическое состояние. В христианском опыте — и тут прежде всего следует говорить о Святом Франциске — подобное состояние, считается, не ведет к утрате личности ни самого носителя этих свойств, ни окружающих, здесь сохраняется индивидуализированная любовь, уникальность лика — как человека, так и низших тварей.

Персонажем Достоевского, наиболее полно воплотившим эту установку, следует назвать старца Зосиму из «Братьев Карамазовых». Она у него осознана и артикулована. Только один пример из бесед старца:

«Господа, посмотрите кругом на дары Божии: небо ясное, воздух чистый, трава нежная, птички, природа прекрасная и безгрешная, а мы, только мы одни безбожные и глупые и не понимаем, что жизнь есть рай, ибо стоит только нам захотеть, и тотчас же он настанет во всей красоте своей, обнимем мы и заплачем...»

Это «Цветочки» Святого Франциска в русском варианте. У Достоевского эти цветочки назывались клейкими листочками в тех же «Карамазовых». Но приглядимся к оригиналу, к подлиннику — к самому Франциску Ассизскому. Здесь нео-

ценимую помощь окажет Гилберт Кит Честертон. Наша цель: найти в святом Франциске — Достоевского. Вот как описывает и толкует Честертон один эпизод из ранней молодости святого:

«...когда он вернулся с позором из похода, его называли трусом. Во всяком случае, после ссоры с отцом его называли вором ... над ним подсмеивались. Он остался в дураках. Всякий, кто был молод, кто скакал верхом и грезил битвой, кто воображал себя поэтом и принимал условности дружбы, поймет невыносимую тяжесть этой простой фразы. Обращение святого Франциска, как и обращение святого Павла, началось, когда он упал с лошади. Нет, оно было хуже, чем у Павла, — он упал с боевого коня. Все смеялись над ним. Все знали: виноват он или нет, он оказался в дураках. ... Он увидел себя крохотным и ничтожным, как муха на большем окне, увидел дурака. И когда он смотрел на слово «дурак», написанное огненными буквами, слово это стало сиять и преображаться. ... когда Франциск вышел из пещеры откровения, он нес слово «дурак» как перо на шляпе, как плюмаж, как корону. Он согласился быть дураком, он был готов стать еще глупее — стать придворным олухом Царя Небесного».

Не ясно ли, что в истории обращения святого Франциска мы встречаемся с концентрированной формой основополагающих переживаний Достоевского? Это опыт унижения, ведущий к некоему экзистенциальному озарению: ненависть, внезапно становящаяся любовью. *Во мгновение ока*: эти слова, ставшие расхожей поговоркой, — из истории обращения Савла в Павла. С глаз человека спадает некая пелена, и он начинает видеть мир по-новому.

Вот ведь во что может обернуться «психоидеология» мещанина, раздавленного двойным прессом старой аристократии и нового капитализма.

От этих психологических кульбитов нетрудно уже перейти к идеологии — увидеть, как несомненный шовинизм Достоевского, не знавшего для европейцев других имен, кроме полячишки, французишки и прочие немцы, обращается в проповедь любви к Европе, в очередную «исповедь горячего сердца». Говорит Иван Карамазов:

«Я хочу в Европу съездить, Алеша, отсюда и поеду; и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вот что; дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, заранее знаю, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, — в то же время убежденный всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище, и никак не более. И не от отчаяния буду плакать, а лишь просто потому, что буду счастливы пролитыми слезами моими. Собственным умилением упьюсь. Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что!»

Не случайно здесь появление этих клейких листочков: идеологическое построение, в данном случае исповедание западничества у воинствующего русского почвенника Достоевского, фундировано этим психологическим состоянием экзистенциальной влюбленности в мир. Или, как говорил еще герой «Записок из подполья»: кого презираю — того ставлю выше себя. Но презрения уже нет — есть торопящаяся сказать, какая-то захлебывающаяся любовь.

Еще раз Честертон:

«Если человек в особом, мистическом смысле находится по ту сторону вещей, он видит, как выходят они из Божьего лона, словно дети из теплого дома, а не просто встречает их, как все мы, на путях мира сего. ... он воспекает сам переход от небытия к бытию».

Теперь понятно, откуда взялись у Достоевского слова о «всемирной отзывчивости» русских: это проекция на исторический фон глубоко индивидуальных психологических особенностей самого писателя. Сугубо личные «комплексы» сублимированы в проповедь любви к миру. Амплификация, расширение индивидуального опыта до масштаба целостного восприятия мира. Всечеловечность русских, о которой говорил Достоевский в своей Пушкинской речи, — это его собственная готовность обнять мир, настолько жестокий, настолько невыносимый, что происходит уже некое мистическое сальто-мортале, и черное становится белым. Достоевский становится тем, что были в Средневековье так называемые жонглеры Богоматери. Став на голову, по-другому видишь мир, пишет Честертон, — уже сам мир представляется висащим на волоске, и вот эта беззащитность мира перекрывает в сознании святого собственные его беды. Происходит проекция вовне, на мир, собственного унижения и беззащитности, и тогда понимаешь, что не себя нужно жалеть и любить, а других, всех. Это и произошло с Достоевским — как за много веков до него с Франциском Ассизским. И тогда прозвучал его гимн любви к Европе:

«О, знаете ли вы, Господа, как дорога нам, мечтателям-славянофилам, по-вашему ненавистникам Европы, эта страна «святых чудес». Знаете ли вы, как дороги нам эти «чудеса» и как любим и чтим, более чем братски любим и чтим мы великие племена, населяющие ее, и все великое и прекрасное, совершенное ими. Знаете ли вы, до каких слез и сжатия сердца мучают и волнуют нас судьбы этой дорогой и родной нам страны, как пугают нас эти мрачные тучи, все более заволакива-

ющие ее небосклон? Никогда вы, господа, наши европейцы и западники, столь не любили Европу, сколько мы, мечтатели-славянофилы, по-вашему исконные враги ее.

Назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только стать братом всех людей, всечеловеком. О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимым, для настоящего русского Европа и удел всего великого Арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел всей родной земли, потому что наш удел и есть всемирный».

Это не столько идеологические тезисы, сколько личный эмоциональный аффект. В этих и многих подобных словах Достоевского ощущается некая форсированность, повышенная экзальтированность, если угодно — истеричность. Это та самая любовь, которую, по слову поэта, «вместить не могут жизни берега». И действительно, он не вмещал: отсюда, есть соблазн думать, эпиплексия Достоевского, болезнь, бывшая у него не органического, а истерического происхождения. Неоднократно описывая эпилептические припадки, Достоевский всякий раз говорил, что самому припадку предшествует мгновение ни с чем не сравнимого блаженства, какого-то взнезаемого осияния, когда кажется, что вот-вот поймешь последнюю тайну бытия. Это неземное блаженство и срывается в припадок: человеку не дано удержаться на такой высоте.

Интересно сопоставить это с описанием эпилепсии, «падучей» у Томаса Манна в романе «Волшебная гора», в котором соответствующую трактовку этого феномена дает доктор Круковский, представитель венской делегации, как сказал бы Набоков:

«...этот психоаналитик, рассуждая о любви как болезнетворной силе, коснулся падучей; пользуясь то поэтическими образами, то беспощадно точной научной терминологией, он принялся доказывать, что эта болезнь, в которой доаналитическое человечество видело и священный, даже пророческий дар, и дьявольскую одержимость, является как бы эквивалентом любви, своего рода мозговым оргазмом...»

Определив таким образом происхождение любимых идеологом великого писателя, мы не чувствуем потребности видеть в них связанное теоретическое построение. Это только отблеск и тени неких экстраординарных состояний, которые, что называется, не даны в опыте: по крайней мере в повседневном опыте. И вряд ли нужно стремиться к приобретению такого опыта. Истина, открывавшаяся Достоевскому, не обладала имманентными всякой истине качествами всеобщности и необходимости, и вряд ли стоит жалеть об этом.

Так хотелось бы закончить этот разговор о Достоевском. Если вместо коллективной идеологии мы встречаемся с индивидуальной психологией, с уникальной судьбой, то вполне понятна сегодняшняя ситуация, когда влияние Достоевского — не художества его, а идей — кажется убывающим. Однако события самых последних лет дали еще один незабываемый пример укорененности тем Достоевского, живучести в русской психее самого эмоционального состава, им описанного и явленного. Мы недавно наблюдали триумф и падение человека, вышедшего прямо и целиком из лаборатории Достоевского. Я говорю о Горбачеве.

Ни в коем случае не намереваясь опаривать благой смысл произошедших за это время перемен, я хочу только сказать, что мотивация Горбачева-реформатора вряд ли была столь уж осознанно демократической и либеральной. В его деятельности узнается стихия того самого хлыстовства, сублимированная, на манер Достоевского, в любви к человечеству. Горбачев опьянел и закружился, как на радении в хлыстовском «корабле». Ему захотелось слиться с миром в донисийском хороводе. Уступки миру, которые сделал Горбачев, были чем угодно, только не политикой. Говорят, что Маргарет Тэтчер схватила за голову, узнав, что Горбачев согласился на объединение Германии за просто так. Его понесло, как Блока в 18-м году: «Товарищи! Мы станем — братья!.. В последний раз на светлый братский пир Сзывает варварская лира!» Слов нет, Запад был впечатлен. Я помню книгу Джона Лукача, американца венгерского происхождения, влиятельного в католических кругах США: он написал, что Россия Горбачева действительно начинает напоминать любимый русский миф: страна христианского братства, которую населяет народ-богоносец. На Западе, однако, живут люди, не слишком склонные ни к донисийскому опьянению, ни к францисканскому любвеобилию, и достаточно скоро новая Россия получила ответ на свои призывы к братству: проект расширения НАТО на Восток. Я полагаю, что это событие если еще и не оказало, то окажет травмирующее действие на русское коллективное бессознательное. Сейчас, за повседневными хлопотами прокормления, не до этих высоких материй, но со временем это может сказаться, и русские начнут видеть в Западе — предателя.

Это будет избыточной реакцией, конечно: соблюдение собственных интересов и осторожность по отношению к окружающим называются не предательством, а коммерцией и политикой. Но этому как раз и не обучали в школе Достоевского. Вопрос: кого винить — отнюдь не братский мир или эту самую школу?

БЕСЕДЫ О НОВОЙ СЛОВЕСНОСТИ

АЛЕКСАНДР ГЕНИС

БЕСЕДА ДЕСЯТАЯ: ПОЛЕ ЧУДЕС. ВИКТОР ПЕЛЕВИН

Прозаика Виктора Пелевина, чья книга рассказов «Синий фонарь» удостоилась малой Букеровской премии 93-го года, можно назвать наиболее характерным представителем собственно постсоветской словесности. Несмотря на то, что Пелевин появился на литературной арене всего несколько лет назад, его первую же крупную вещь — повесть «Омон Ра» — уже успели перевести на немецкий, французский, голландский, японский. А сейчас он выходит и в Америке, причем в одном из самых престижных издательств, в сопровождении хвалебного отзыва, где Пелевина сравнивают с самим Джозефом Хеллером, автором легендарной «Уловки-22». Такая лестная параллель оправдана не стилем, а размахом сатирических обобщений. В «Омон Ра» Пелевин разрушил фундаментальную антитезу тоталитарного общества: «слабая личность — сильное государство». Он разжаловал режим из могучей «империи зла» в жалкого импотента, который силу не проявляет, а симулирует. В посвященной «героям советского космоса» повести эту симуляцию разоблачают комические детали, вроде пошитого из бушлата скафандра, мотоциклетных очков вместо шлема или «лунохода» на велосипедном ходу. Однако коммунизм, неспособный преобразовать, как грозился, бытие, еще надеется преобразовать сознание. Об этом важном для поэтики и метафизики Пелевина аспекте в повести говорит комиссар космического городка: «Пока есть хоть одна душа, где наше дело живет и побеждает, это дело не погибнет. Ибо будет существовать целая вселенная... Достаточно даже одной чистой и честной души, чтобы наша страна вышла на первое место в мире по освоению космоса».

Чтобы ощутить стратегическую новизну прозы Пелевина, его удобно сравнить с героем предыдущей беседы Владимиром Сорокиным.

Сорокин предлагает читателю объективную картину психической реальности. Это — портрет души, без той радикальной ретуши, без тех корректирующих искажений, которые вносят разум, мораль и обычай.

Пелевин сознательно деформирует изображение, подчиняя его своим дидактическим целям.

Сорокин показывает распад осмысленной, целеустремленной, телеологической вселенной «совка». Его тема — грехопадение советского человека, который, лишившись невинности, низвергся из соцреалистического Эдема в бессвязный хаос мира, не подчиненного общему замыслу. Акт падения происходит в языке. Герои Сорокина, расшибаясь на каждой стилистической ступени, обрушиваются в лингвистический ад. Путешествие из царства необходимости в мир свободы завершается фатальным неврозом — патологией захлебнувшегося в собственной бессвязности языка.

Пелевин не ломает, а строит. Пользуясь теми же обломками советского мифа, что и Сорокин, он возводит из них фабульные и концептуальные конструкции.

Сорокин воссоздает сны «совка», точнее — его кошмары. Проза Пелевина — это вещие сны, сны ясновидца. Если у Сорокина сны непонятны, то у Пелевина — непонятны.

Погружаясь в бессознательное, Сорокин обнаруживает в нем симптомы болезни, являющейся предметом его художественного исследования.

Пелевина интересуют сами симптомы. Для Пелевина сила советского государства выражается вовсе не в могуществе его зловещего военно-промышленного комплекса, а в способности материализовать свои фантомы. Хотя искусством «наводить сны» владеют отнюдь не только тоталитарные режимы, именно они создают мистическое «поле чудес» — зону повышенного мифотворческого напряжения, внутри которой может происходить все, что угодно.

Окружающий мир для Пелевина — это череда искусственных конструкций, где мы обречены вечно блуждать в напрасных поисках «сырой», изначальной действительности. Все эти миры не являются истинными, но и ложными их назвать нельзя, во всяком случае до тех пор, пока кто-нибудь в них верит. Ведь каждая версия мира существует лишь в нашей душе, а психическая реальность не знает лжи.

Проза Пелевина строится на неразличии настоящей и придуманной реальности. Тут действуют непривычные правила: раскрывая ложь, мы не приближаемся к правде, но и умножая ложь, мы не удаляемся от истины. Сложение и вычитание на равных участвуют в процессе изготовления вымышленных миров. Рецепт создания таких миражей заключается в том, что автор варьирует размеры и конструкцию «видоискателя» — раму того окна, из которого его герой смотрит на мир. Все главное здесь происходит на «подоконнике» — на границе разных миров.

Всякая граница подчеркивает, а иногда и создает различия. При этом она не только разделяет, но и соединяет. Чем больше границ, тем больше и пограничных зон, где возникают условия для такого смежного сосуществования, при котором не стираются, а утрируются черты и своей, и чужой культуры. Граница порождает особый тип связи, где различия, даже непримиримый антагонизм, служат скрепляющим материалом. Вражда, что доказывает самый беглый взгляд на политическую карту или свежую газету, объединяет крепче дружбы.

Пелевин — поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты — одна картина мира, накладываясь на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, он населяет свои рассказы героями, обитающими сразу в двух мирах. Так, советские служащие из рассказа «Принц Госплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпен из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом, китайский крестьянин Чжуань — кремлевским вождем, советский студент оборачивается волком.

Изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Ее героини — валютные проститутки Люся и Нелли — в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Одна из девушек — Нелли — признается другой, что раньше служила секретарем райкома комсомола и звалась Василием Цырюком. В ответ звучит встречное признание. Оказывается, в прошлой жизни Люся тоже была мужчиной и служила в том же учреждении под началом того же не признавшего ее Цырюка:

«— Усы, значит, были, — сказала Люся, и откинула упавшую на лицо прядь. — А помнишь, может, у тебя зам был по оргработе? Андрон Павлов? Еще Гнидой называли?»

— Помню, — удивленно сказала Нелли.

— За пивом тебе ходил еще? А потом ты ему персональное дело повесила с наглядной агитацией? Когда на агитстенде Ленина в перчатках нарисовали и Дзержинского без тени?»

Эпизод с коммунистами-оборотнями — лишь частный случай более общего мотива превращений. В «Миттельшпиле» важно, не кем были герои и не кем они стали, — важен сам факт перемены. Граница между мирами непреступна, ее нельзя пересечь, потому что сами эти миры есть лишь проекция нашего сознания. Единственный способ перебраться из одной действительности в другую — измениться самому, претерпеть метаморфозу. Способность к ней становится условием выживания в стремительной чехарде фантомных реальностей, сменяющих друг друга.

Собственно, граница — это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. Дело в том, что у Пелевина есть «message», есть символ веры, который он раскрывает в своих сочинениях и к которому хочет привести читателей. Вопреки тому, что принято говорить о бездуховности новой волны, Пелевин склонен к спиритуализму, прозелитизму, а значит, и к дидактике. Считают, что он пишет сатиру, скорее — это проповедь или басня.

В поздних фильмах Феллини самое интересное происходит в глубине кадра — действия на переднем и заднем плане развиваются независимо друг от друга. Так, в фильме «Джинджер и Фред» трогательный сюжет разворачивается на фоне спе-

циально придуманных режиссером безумных рекламных плакатов, мимо которых, их не замечая, проходят герои.

К такому же приему, требующему от читателя повышенной alertности, прибегает и Виктор Пелевин. Важная странность его прозы заключается в том, что он упрямо вытесняет на повествовательную периферию центральную «идею», концептуальную квинтэссенцию своих сочинений. Обо всем по-настоящему серьезном здесь говорится вскользь. Глубинный смысл происходящего раскрывается всегда неожиданно, якобы невпопад. Наиболее существенные мысли доносят репродуктор на стене, обрывок армейской газеты, цитата из пропагандистской брошюрки, речь парторга на собрании. Так, в рассказе «Вести из Непала» заводской репродуктор бодрым комсомольским языком пересказывает тибетскую «Книгу мертвых»: «Современная наука установила, что сущностью греха является забвение Бога, а сущностью воздушных мытарств является бесконечное движение по суживающейся спирали к точке подлинной смерти. Умереть не так просто, как это кажется кое-кому...»

Информационный мир у Пелевина устроен таким образом, что чем меньше доверия вызывает источник сообщения, тем оно глубокомысленнее. Объясняется это тем, что вместо обычных причинно-следственных связей тут царит синхронический, как назвал его Юнг, принцип. Согласно ему явления соединены не последовательно, а параллельно. В таком единовременном мире не объяснимые наукой совпадения не случайны, а закономерны.

Пелевин использует синхронический принцип, чтобы истребить случай как класс. В его тексте не остается ничего постороннего авторской цели. Поэтому все, что встречается на пути героя, заботливо подталкивает его в нужном направлении. Как в хорошем детективе или проповеди, каждая деталь тут — предзнаменование, подсказка, веха.

В поэтике Пелевина не может быть ничего постороннего замыслу потому, что в его мире случайность — непознанная (до поры, до времени) закономерность. Текст Пелевина не столько повествование, сколько паломничество. Тут все говорит об одном, а значит, и автору, в сущности, безразличен предмет разговора: не материал важен, а его трактовка. Глубинный смысл обнаруживается в любом, в том числе и самом тривиальном сюжете; чем более он избит, тем ярче и неожиданнее оказывается скрытое в нем эзотерическое содержание.

На этом приеме построено много произведений Пелевина, включая и энтомологическую мистерию «Жизнь насекомых», пересказывающую самую, наверное, известную басню Крылова «Стрекоза и муравей». Однако настоящим шедевром такой поэтики представляется мне его новая книга «Чапаев и Пустота». Этот замечательный роман вырос из одной остроумной предисылки. Пелевин, взяв фольклорные фигуры «чапаевского цикла» — Василия Ивановича, Петьку, пулеметчицу Анку и Котовского, превратил их в персонажей дзен-буддистской притчи. Так, Чапаев в его романе стал аббатом, хранителем дхармы, мастером дзена, учителем, который в свойственной восточным мудрецам предельно эксцентрической манере ведет к просветлению своего любимого ученика — петербургского поэта Петра со странной фамилией Пустота. Впрочем, нам он больше известен в качестве чапаевского адъютанта Петьки.

Исходным материалом для такой метаморфозы Пелевину послужили бесчисленные чапаевские анекдоты, в которых он увидел дзеновские коаны, буддийские вопросы без ответа, вроде знаменитого — «как услышать хлопок одной ладони?». Коаны призваны остановить безвольное брожение мысли по наезженной колее логичных, а значит, поверхностных решений. К правильному решению коана можно прийти только духовным прыжком. Совершить такой ментальный кульбит и помогает ученику учитель, часто прибегая при этом к самым диким выходкам. В романе Пелевина каждый такой коан с сопутствующим объяснением служит Петьке очередной ступенью на пути к просветлению. Вот как это звучит в тексте:

«— Петька! — позвал из-за двери голос Чапаева. — Ты где?»

— Нигде! — пробормотал я в ответ.

— Во! — неожиданно заорал Чапаев. — Молодец! Завтра благодарность объявлю перед строем. <...> Все, что мы видим, находится в нашем сознании, Петька. Поэтому сказать, что наше сознание находится где-то, нельзя. Мы находимся нигде просто потому, что нет такого места, про которое можно было бы сказать, что мы в нем находимся. Вот поэтому мы нигде».

Безусловный комизм этого чапаевского апокрифа ни в коем случае не отменяет серьезности первого в России настоящего дзен-буддистского романа. Глубокомыслие его только выигрывает от того, что автор ведет разговор о высших истинах в разных стилиевых регистрах. Вот, например, теологический диспут о природе отечественной религии на фоне «новых русских»: «Может, не потому Бог у нас

вроде пахана с мигалками, что мы на зоне живем, а наоборот — потому на зоне живем, что Бога себе выбрали вроде кума с сиреной».

Каждая из десяти глав романа написана на своем языке, отражающем тот или иной уровень реальности, в рамках которой автор проводит испытание своей правды. Стилистический метемпсихоз, перевоплощение идеи в разные языковые формы не меняет ее не выразимой словами сути. При этом Пелевин обращает всю свою книгу в коан — как написать роман о том, о чем написать вообще нельзя?

Судить о том, удалось ли ему разрешить этот парадокс, Пелевин предоставляет читателю. Себе же, автору, он отводит более скромную роль разрушителя иллюзий: «Боже мой, да разве это не то единственное, на что я всегда только и был способен — выстрелить в зеркальный шар этого фальшивого мира из авторучки?»

Самое примечательное в постсоветской литературе — то, что она все еще не позаботилась найти себе новое имя. Память о предшествующем этапе помогает ей сохранять преемственность с тем прошлым, с которым она, вопреки всем ожиданиям, вовсе не торопится расстаться. Поэтому и обычный спор поколений в литературном процессе сегодня часто принимает форму борьбы за советское наследство. Впрочем, раздел его уже произведен: «отцам» — шестидесятиникам отошла рациональная, а «детям» — иррациональная часть советского прошлого. Пользуясь обычным жаргоном, можно сказать, что первым досталось сознание «совка», вторым — его подсознание.

Осваивая эту новую тему, сегодняшняя литература решает двоякую задачу. С одной стороны, определяя советскую власть как отечественную форму коллективного бессознательного, она выполняет оздоровляющую для общества роль: установление диагноза уже терапия. С другой стороны, выявление и описание национального подсознания и есть главная задача всякого искусства. Не удивительно, что именно с ее выполнением связаны первые успехи авторов постсоветской литературы. В области советского бессознательного они находят источник мифотворческой энергии. Поэтому для многих из них важна традиция социалистического реализма. Выполняя роль снов, она позволяет «проболтаться» коллективному подсознанию советского общества — в соцреализме важно не то, что он говорит намеренно, а то — что случайно. Впрочем, здесь же проходит и граница между соцартом как последним этапом советской культуры и началом нового витка. Соцарт эксплуатирует материал соцреализма, постсоветская культура — его методы.

История последнего десятилетия показала, что если незыблемость советского режима оказалась иллюзорной, то вполне реальными стали его призраки. Получается, что по-настоящему свою власть над действительностью он проявляет после смерти. Зачарованная силой этих некроэффектов, сегодняшняя культура стремится освоить механизмы, при помощи которых режим творил, причем куда успешнее, чем казалось раньше, собственную реальность.

Как лучше всего использовать этот ценный опыт в мире, все острее осознающем свою искусственность?

Этот вопрос предстоит решить нынешнему поколению российских писателей, которые, балансируя на краю пропасти в будущее, обживают узкое культурное пространство самого обрыва.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

6.7.97

Многоуважаемый г-н Редактор,

позвольте обратить Ваше внимание на следующее: в Вашем журнале «Звезда» 1996 (11), посвященном моему брату Владимиру Набокову, в статье В. Старка я обнаружила ошибки и неточности.

На стр. 152 (абзац, начинающийся «Цветаева сменила в Чехии множество квартир...») сказано, что мы переехали в ее квартиру из предыдущей квартиры, которую сняла моя мать. Дело в том, что такой квартиры не было. Моя мать и я прямо из Берлина приехали в квартиру, очевидно, до этого там жила Цветаева. Адрес был: třída (улица) Svornosti (номера не помню) в предместье Smíchov. Через некоторое время туда приехал мой брат из Берлина вместе с оставшимися там маленьким братом Кириллом, сестрой Ольгой, домработницей и собакой. Никто не знал, что эта пражская квартира была раньше Цветаевской.

Кроме того, мой брат видел один раз Цветаеву в 1923. Мы уже не жили в предместье Smíchov, а поселились в районе Karlín, где мой брат встретился с Цветаевой (он ее ждал то ли у трамвая, то ли у дома) и они совершили прогулку по горе за нашим домом, под названием Zižkov. Это было единственное их свидание.

Еще хочу Вам передать мое возмущение по поводу статьи И. Толстого, который настаивает на том, что мой брат в романе «Дар» хотел изобразить в лице Чернышевского нашего отца (?). Мой брат, да и все мы (нас было еще четверо) боготворили нашего отца, а после его страшной гибели вспоминали его с благоговением<...>

О себе могу Вам сказать, что я живу в Швейцарии 50 лет, что мне 91 год. У меня один сын и двое внуков и племянник Дмитрий Набоков.

Примите мои наилучшие пожелания.

Уважающая Вас

Елена Сикорская

P.S. Очевидно, «убогая» квартира, из которой моя мать со мной переехала в квартиру Цветаевой, была вилла Карела Крамаржа, который пригласил мою мать и меня на то время, которое понадобится, чтобы снять квартиру. Я забыла Вам это написать.

Errata

В материале к 110-летию Георгия Федотова (1996, № 10) допущены неточности. На с. 118 (стр. 11 сверху) вместо „Н. Кюльман“ следует читать „Н. Кульман“, на с. 128 (стр. 17 сверху) вместо „Храповский“ — „Храповицкий“, на с. 144 (прим. 3) вместо „о. Кассиан“ — „еп. Кассиан“, на с. 151 (стр. 4 снизу) вместо „В. В. Зеньковского“ — „Г. Флоровского“.

Приносим извинения читателям.

ПОЭЗИЯ

Аносова Саша. Из цикла, посвященного А. Ахматовой, «В тот светлый миг...», «В этой жизни мы все короли...», «Зачем живешь на свете ты...». IV-99.

Бек Татьяна. «Как элегия — огненный тополь...», «Не была ни пряхой, ни прачкой...», «Судьба? И безудержный конь...», «Фиолетовый факел люпина...». III-3. **Бобышев Дмитрий.** Ночь после Рождества, в конце тысячелетия. IX-47. **Бушкин Александр.** «Когда белая эта комета...», Одиссей. VIII-45.

Вдовина Раиса. «Ну наконец-то зажали всерьез...», «Жгут „Современник наш“ и старый „Новый мир“...», «Я рождена была для интернета...», «Опять как в интернете...», «Как живется — так и дышится...». VI-82. **Вольская Татьяна.** «Серый камень спит...», Китайские зонтики. II-74. **Вольф Сергей.** Мотивы Терву. II-3. «Лавровый лист...», «Я не умею у Невы стоять...», «Влюбиться в бармена!..», «Пропеллер между пальчиков...», «Жеманный вор с карманным словарем...», «Канавы за сиреневым кустом...», «Одна, но трепетная лань...», «Рутный столбик у забора...». X-38.

Гандельсман Владимир. Две песни, «Лучшее время — в потемках...», «Я жил в чужих домах неприбранных...», «когда из двух углов...», Шахматы. VIII-42. **Гуревич Александр.** «Сухой сосны — как выдумка ткачих...», «Лунный доллар над входом...», «И опять валиться на койку с книгой...». X-70.

Датешидзе Денис. «Мы говорим и обнимаем...», «Нарушаешь какие-то правила...», «В небе — растворяющем, бесполом...», «Мы боремся с грустью в постели...», «Пили водку, брали сигареты...». V-96.

Елагина Елена. «Не войти в эту реку дважды...», Меланхолическое сожаление о несостоявшихся романах, «Так приходит в негодность отжитый век...», Стая, «Этот голос, долгий...», «Ну и пусть себе спит со своими девками...». V-93.

Иванова Светлана. Три весенних стихотворения о подземных реках, День рождения, Весна в Москве. IX-65.

Кирдянов Алексей. Прощание, В переулках, «И молитвы все...», «Сок смарагдовым был...», Ярославский январь, Флейтист, Пирожковая, «Я в последний случайный троллейбус...». IX-48. **Королева Нина.** «Смотреть, как чужая страна...», В городе Эммерст, «Когда-то мне сказал мой старый друг...», «Скоро будет шестьдесят...», «Александрит в моем кольце...». X-3. **Крутилина Вера.** «Банален месяца ущерб...», «Так дождь пальширует слепой...», «Монотонно, петитом...», «...к приставшей родинке приник...», Поцелуй. III-93. **Кушнер Александр.** Ноченька, «Безумьем жизнь со всех сторон...», «Знаешь ли ты, что Радичев, которого...», «Смерть и есть привилегия...», «Я за то глубоко презираю себя...», «Написал бы портрет негодя...», «Взгляд с расстоянья страшен близкого...», «Он и флейту за то осудил...». IX-3.

Марк Григорий. «Как мост над одиночеством — стихи...», «Вылезает из книг человекости...», Сверху, ТТГ. IV-112. **Машевский Алексей.** Месяджеслов. XII-103.

Найман Анатолий. Dies domini, «Осип-Эмильич — стиглет, Мандельштам — доска...», Коломенская часть, Песенка, Дорога 95, В Париже, «Надеваю на сердце, на грозди желез...», «День оттаивает на моей щеке...», Немного химии. XII-3.

Померанцев Игорь. Сценарий короткометражки, Возвращение дракона. II-70. **Портнов Владимир.** Жестокий романс, Возвращение, Зима-магушка, Позиция автора. VI-18. **Пурин Алексей.** Сентиментальное путешествие. III-107.

Рейн Евгений. Пушкинский Дом, Рим в феврале, Танкер, У «Флориана», Флоренция, «После смерти превратишься в бога...», «На старом Арбате...». VIII-3. **Рыжий Борис.** «Зависло солнце над заводами...», «Ночь. Каптерка. Домино...», «Отделали что надо, аж губа...», «Серж эмигрировать мечтал...», Поцелуй, «Мы проводили вечер на даче...», «Оставь мне небо темно-синее...». IX-63.

Сратановский Сергей. «Гляди: громады туч...», «Акт агрессии тела...», «Окрестных деревень...», «Были клубы на задворках...», «Числа в календаре...», «Служба самобуйств...», Ангелу-хранителю, «Говорили „впечатись“...», «Где ты петлю накинешь, Веревкин?...». II-72.

Ушакова Елена. «Не люблю театр, не люблю фантастику...», «На бумаге веленовой это письмо по-французски...», «Новый март пришел...», «И когда читала о том, что терминальные тоны...», «В саду Таврическом, в Таврическом саду...», «Я как-то проснулась, сова...». V-40.

Черноброва Сусанна. «Набросок пылью и туманом...», «Не понял ты, куда вела...», «Видеть фары в крапиве...», Окно, Трамвай. III-16.

Шаталов Александр. Неприятные воспоминания о Париже, Крымский пейзаж, Ода бритве Stanley, «Я с тобой буду рядом...». X-46. **Шварц Елена.** «Я не пойду на Страшный Суд...», «Отчего глазницы ее черны...», Ковчег, Музей атеизма, «О боьсые звезды Палестины...», Война роз, Зима читает при свече, Звезды утонувших, В самолете, Замок на замке. VI-45.

ПРОЗА

Агеева Людмила. Два рассказа. X-49.

Давыдова Елена. Рассказы. XII-108.

Замешаев Илья. Рассказы. IV-101.

Катерли Нина. Пошлая история. Рассказ. III-5. V-4-52-21. *Рассказ.* X-41. **Кисина Юлия.** Рассказы. *Послесловие И. П. Смирнова.* III-95. **Козырева Марияна.** Из цикла «Портреты». VI-49. **Крышук Николай.** Стая бабочек. *Способ моего проживания.* IX-6.

Ласкин Семен. Роман со странностями. XII-7.

Нежный Александр. Князь Ухтомский. Епископ Андрей. X-5.

Панэ Виктор. Танцевальный шаг. *Повесть.* V-43.

Рохлин Борис. Переписка Бенито де Шарона и Якоба фон Баумгартена. *Маленькая повесть.* VI-21.

Семячко Анатолий. Большая охота. *Повесть.* VIII-6. • **Слаповский Алексей.** Анкета. Тайнопись открытым текстом. *Роман.* II-7; III-18.

Цыганков Борис. Котиковый котик. *И другие юмористические рассказы.* X-71.

Шарова Е. В. Безмолвный шум реки жизни. *Рассказ.* IX-51. **Штерн Людмила.** Из цикла «Парижские знакомства». XII-115.

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Брод Макс. Франц Кафка. Биография. *Главы из книги. Вступительная заметка и примечания С. В. Белова. Перевод с немецкого Е. С. Кибардиной.* VI-118.

Гил Джеймс В. «Панар». *Воспоминание. Перевод с английского Н. А. Рахмановой.* III-109.

Зингер Исаак Башевис. Браги. История любви. Роман. Перевод с английского и послесловие С. С. Свердлова. VIII-46, IX-67.

Ренделл Рут. Один по вертикали, два по горизонтали. Роман. Перевод с английского Е. А. Коротнян. IV-114, V-98, VI-84. Роман-оли Габриэле. Успеть на небо. Роман. Перевод с итальянского С. К. Бушуевой. II-77.

Шаторейно Жорж-Оливье. К черту Ньютона! Рассказ. Перевод с французского Н. А. Тихонова. X-82. Шимборска Вислава. Стихи. Перевод с польского А. Цивьяна. X-78.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Кураев Михаил. Чехов посередине России. III-116.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ

Мелихов Александр. Честность против праведности. Папа или мама? X-226.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОМЕРА

ИОСИФ БРОДСКИЙ. НЕИЗДАННОЕ В РОССИИ. I

Бродский Иосиф. Речь в Шведской королевской академии при получении Нобелевской премии. Перевод с английского Елены Касаткиной. 3.

Уолкотт Дерек. Итальянские эклоги. Перевод с английского Андрея Сергеева. 5.

Монологи

Бродский Иосиф. Поклониться тени. Перевод с английского Елены Касаткиной. 8. «С миром державным я был лишь ребячески связан...». 21. Девяносто лет спустя. Перевод с английского А. Сумеркина. 27. Место не хуже любого. Перевод с английского Елены Касаткиной. 57. Речь на стадионе. Перевод с английского Елены Касаткиной. 62.

Посвящается Бродскому

Кушнер Александр, Рейн Евгений, Векслер Ася, Ушакова Елена. Стихи. 68.

Диалоги

Волков Соломон. О Марине Цветаевой: диалог с Иосифом Бродским. 72.

Интервью с Иосифом Бродским Свена Биркертса. Перевод с английского и примечания И. Комаровой. 80. Интервью с Иосифом Бродским Людмилы Болотовой и Явиги Шимака-Рейфера для польского еженедельника «Пшекруй». Катовице, 23 июня 1993 года. 99.

Эпоха

Чуковская Лидия. Памяти Фриды. Публикация Е. Ц. Чуковской. Предисловие Евгения Ефимова. 102. Смирнов И. П. Урна для табачного пепла. 145. Степанова А. Г. Неудавшаяся комиссия, или История одного автографа. 148. Катилус Рамунас. Иосиф Бродский и Литва. 151. Уфлянд Владимир. Традиция и новаторство в поэзии Иосифа Бродского. 155.

Отражения

Новое представление о поэзии. Интервью с Львом Лосевым Валентины Полухиной. 159. Благородный труд Дон Кихота. Интервью с Роем Фишером Валентины Полухиной. Перевод с английского Виктора Кулаз. 173. Верхейл Кейс. Иосиф Бродский и Мартинус Нейхоф. 184. Нейхоф Мартинус. Стихи. Перевод с голландского Кейса Верхейла. 193. Иванов Вячеслав В. Бродский и метафизическая поэзия. 194. Курганов Ефим. Бродский и Баратынский. 200. Кудрова Ирма. «Это ошеломляет...» Иосиф Бродский о Марине Цветаевой. 210. Петрушанская

Елена. «Слово из звука и слово из духа». Приближение к музыкальному словарю Иосифа Бродского. 217.

Поэты не умирают

Иоффе Элеонора, Битов Андрей, Машинская Ирина, Михайлова Ия, Венцлова Томас, Шейнина Галина, Вантрусова Ирина, Гривнина Ирина, Леонтьев Александр. 230.

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ. VII

Шестидесятые: поэзия и проза

Бродский Иосиф. Песенка о Свободе. Послесловие Бенгта Янгфельдта. 3. Ефимов Игорь. Зрелища. Роман. 4. Уфлянд Владимир. Уморительные шестидесятые. 94. Стихи. 96. Вольф Сергей. Как-никак лето. Рассказ. 98. Иванов Борис. Стихи. 106. Битов Андрей. Азарт, или Неизбежность ненаписанного. 108. Рейн Евгений. Шестидесятые. Стихи. 155.

Наши публикации

Мандельштам Розальд. Стихи. Публикация и вступительная заметка Б. Рогинского. 156.

Закрытый мир

Фурсенко А. А. Георгий Большаков — связной Хрущева с президентом Кеннеди. 161.

Человек и власть

Пименов Р. И. Один политический процесс (Отрывки). Публикация Р. Р. Пименова. Вступительная заметка В. А. Пименовой. 184. Иофе В. Политическая оппозиция в Ленинграде 50—60-х. 212.

Литература и власть

Блюм А. В. Поэт и цензор. По «оттпельным» документам Ленгорлита. 216.

Вспомнивая 1960-е

Столович Леонид. Смех против тоталитарной философии. Советский философский фольклор и самодельность. 222. Никольская Татьяна. Из воспоминаний об Андрее Николаевиче Егунове. 231.

1917 ГОД В ИСТОРИИ РОССИИ. XI

Революция и демократия

Колоницкий Б. И. Язык демократии: из истории перевода на русский. 3. Парамонов Борис. Коммунизм как произведение искусства. 8.

Свидетельства

Сазонова А. Б. Записки заложницы. Главы из книги. Публикация А. П. Гагарина. Вступительная заметка В. А. Емеца. 13. Свинына Е. А. Письма в Париж (1922—1938). Публикация А. Б. Дуровой. Вступительная заметка и примечания В. Станкевича. 40.

Венок

Болохов Владимир. Почти молчанье. Венок сонетов. 80.

Вариант

Форсайт Фредерик. Икона (Фрагменты романа). Перевод с английского Сергея Сухарева. 85.

Последствия

Город Архангельск в начале 30-х гг. XX ст. Из записок иностранца. Публикация и послесловие Юрия Дойкова. 138. Сновский Александр. Подневольное путешествие длиной в шесть лет. 152. Нарича М. А. После реабилитации. (Невыдуманные истории из жизни «пог колпаком»). Публикация, всту-

пительная заметка и примечания Ф. М. На-
рицы. 174.

Действующие лица

Власов А. В. Революционный 1917 год.
(Глава из книги «Маннергейм — царский ге-
нерал»). 186.

В зеркалах культуры

Эткинд Александр. Фауна революции.
201. **Кларк Катерина.** Петербург — горни-
ло революции. (Глава пятая). Перевод с ан-
глийского Н. Жутовской. 206. «Удар, ее осво-
бодивший...» Судьба поэтессы Элеоноры
Буржинской в переписке Максимилиана Воло-
шина. Публикация и вступительная заметка
А. Сергеева и А. Тюрина. 219.

**К 10-летию смерти
Дмитрия Панина**

Панин Дмитрий. Из бесед о литературе.
Публикация и вступительная заметка И. Па-
ниной. 235.

К 100-ЛЕТИЮ ЖОРЖА БАТАЯ. IX

Фокин С. А. К истории ненаписанной
книги. 138. **Батай Жорж.** Счастье, несча-
стье и мораль Альбера Камю. Эротизм как
оплот морали. Перевод с французского С. А.
Фокина. 145.

**К 100-ЛЕТИЮ М. А. СЛОНИМСКОГО.
VIII**

Из записок Михаила Слонимского. Пуб-
ликация и вступительная заметка Владимира
Бахтина. 113.

**К 60-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА
ВАМПИЛОВА. VIII**

Вампилова Ольга. Неизданный Вампилов.
120. **Вампилов Александр.** Ранней весной.
122. Все шло как полагается. 123. В сутро-
бах. 124. Рассказ о белом снеге. 127. А. Т.
Твардовский. 128. Письма Вампилова. Пуб-
ликация, вступительная заметка и Примеча-
ния **Илирий Граковой**. 133. **Сергеев Дмит-
рий.** Женитьба Вампилова. 139.

Любимов Юрий. О Вампилове. 140.

Сергеев Марк. Вокруг «Утиной охоты».
141.

**К ЮБИЛЕЮ
БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ. IV**

Ахмадулина Белла. 19 октября 1996 года.
Стихи. 3. **Бродский Иосиф.** Зачем россий-
ские поэты?.. Перевод с английского Викто-
ра Кулза. 4.

АНДРЕЮ БИТОВУ — 60. V

Битов Андрей. ГУЛАГ как цивилизация.
3. **Волков Соломон.** Азбука Битова. 31.

ИГОРЮ ЕФИМОВУ — 60. VIII

Панн Лила. Две одиссеи Игоря Ефимова. 145.

ЛБВУ ЛОСЕВУ — 60. VI

Лосев Лев. Стихи 1996 года. 3. Пьяный
Ленин, голый Сталин, испуганный Хру-
щев. Тынянов, Шкловский, Эйхенбаум, Зо-
щенко, Ахматова, Пастернак, Поль Робсон,
Роберт Фрост, Элизабет Тейлор и др. Из
книги «Меандр». 6. **Земляная Ольга.** Хай-
деггер и Лосев. 11.

БОРИСУ ПАРАМОНОВУ — 60. V

Арьев Андрей. Нескучные песни земли. 35.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Письма К. Д. Бальмонта к Дагмар Шахов-
ской. Публикация, вступительная заметка и
примечания Ж. Шерона. VIII-154, IX-151.

Британишский Лев. Дневник 1913—1915

годов. Публикация, вступительная заметка и
примечания Владимира Британишского. VI-
160.

Тимофеев Александр. Совсем другое, про-
шное солнце. **Михаил Кузмин** в Ревеле. II-
138. Письма М. А. Кузмина к Г. В. Чиче-
рину. Публикация, подготовка текста и
примечания А. Г. Тимофеева. II-143.

Старк Вадим. Воскресение Господина
Морна. IV-6. **Набоков Владимир.** Трагедия
Господина Морна. IV-9.

Горелик Петр. Фронтные письма Бориса
Слуцкого. V-161.

Белодубровский Евгений. Не фамильяр-
ные беседы. X-149. **Бережнова Ю. А.** Из
разговоров с Б. М. Эйхенбаумом. X-152
Письма Б. М. Эйхенбаума к Ю. А. Береж-
новой (1949—1959 гг.). Публикация и при-
мечания Ю. А. Бережновой. X-161.

Фрезинский Борис. Заколдованные сочи-
нения Льва Лунца. Грустная история в до-
кументах и письмах Серапионовых братьев.
XII-149.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Белодубровский Евгений. Предчувствие
Анны Ахматовой. Первоначальная редакция
стихотворения «Пока не свалюсь под забор-
ом...». VIII-178.

МЕМУАРЫ XX ВЕКА

Бок Г. П. Путешествие к звездам. Главы
из книги воспоминаний. XII-172.

Глазов Юрий. В краю отцов. Главы из кни-
ги. VIII-181.

Данин Даниил. Дневник одного года, или
Монолог-67. IV-185, V-179, VI-186, XII-
189. **Дмитриев Л. А.** Блокадный дневник.
Предгусов Д. С. Лихачева. Публикация Р. П.
Дмитриевой, послесловие Владимира Бахти-
на. II-172.

Ким Юлий. Дело Петра Якира. III-190.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

Архипов Игорь. Кривое зеркало россий-
ского парламентаризма. Традиция «полити-
ческого скандала»: В. М. Пуришкевич. X-112.

Иофе В. Первая кровь (Петроград, 1918—
1921). VIII-173.

Козлов В. Н. Провокация (Тайная опера-
ция Политбюро ЦК РКП(б) — издание смено-
веховской газеты. 1922—1924 гг.). V-155.

Фирсов Сергей. Экспроприация совести.
Хулиганство как социальное явление. IX-178.

**РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЙ АРХИВ
РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ. III**

Безносос Владимир. Покаянные письма
В. Н. Ильина, или Страсти по Бердяеву.
169. **Сазанович П. (В. Н. Ильин).** Идеологи-
ческое возвращенство. 171. Письмо в ре-
дакцию газеты «Последние новости». 173.
Ильин В. Н. Письма Н. А. Бердяеву. Пуб-
ликация Владимира Безнососова и Е. В. Броннико-
вой. Комментарии Е. В. Бронниковой. 174.
Бронникова Е. В. К истории взаимоотноше-
ний В. Н. Ильина и Н. А. Бердяева. 187.

ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО

Даниил и Вадим Андреевы: братья знако-
мятся. Письма Д. Андреева родным. Пуб-
ликация, вступительные заметки и примечания
Ольги Андреевой-Карлайл и Алексея Богдано-
ва. IV-152.

Письма Жоржа Дантеса к Екатерине Гон-
чаровой (1836—1837 гг.). Публикация и
комментарии профессора Серены Витале.
Подготовка писем к печати в России и всту-
пительная заметка В. П. Старка. Перевод
писем с французского М. И. Писаревой, ком-
ментариев с итальянского С. В. Сливинской.
VIII-106.

Движение души. Неотправленное письмо академика В. Ф. Шишмарева И. В. Сталину. Публикация, вступительная заметка и примечания М. Д. Эльзона. VI-183.

«...Говорить друг с другом, как с собой...». Глеб Семенов и Тамара Хмельницкая. Публикация, вступительная заметка и примечания Елены Кумпан. XII-122.

ИЗ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО

Вольфцун Людмила. *Amata mea*. IV-178. Кривошеин В. А. Поместный Собор Русской Православной Церкви в Троице-Сергиевой лавре и избрание патриарха Пимена (май-июнь 1971 года). По личным впечатлениям и документам. IX-188.

Лебина Н. Б. Ищите женщину, или Размышления в пустой спальне. Опыт частного историко-социологического исследования. X-125.

Максименко Нинель. Записки бывшего цензора. X-139.

РОССИЯ И КАВКАЗ

Ван-Гален Хуан. Два года в России. Вступительная заметка Я. Гордина. Перевод с испанского Леонида Цыбьяна. III-137.

Гордин Я. Что увлекло Россию на Кавказ? Заметки об идеологии Кавказской войны. X-94.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ. V.

Памяти нашего товарища. 137. Дьяков Б. Б., Френкель В. Я. Операция «Эпсилон», или Конец немецкого уранового проекта. 138.

ТАКАЯ ВОТ ИСТОРИЯ

Смирнов И. П. Памяти одного стукача. X-168.

ПУБЛИЦИСТИКА

Мартынов А. С. «Перетерпеть — пропасть!» (О статусе народа в России). VI-152.

Петров Юрий. Существует ли выход из кризиса? V-171.

Рыбаков Вячеслав. Мораль и право: день чудесный. IV-165.

Фирсов Сергей. Сектант-провокатор. Штрихи к портрету «антшгероя» на фоне его времени (Рассказ об Алексее Григорьевиче Щетинине). II-200.

ЭССЕИСТИКА И КРИТИКА

Айзенштейн Елена. После «Вершины великого треугольника» Иосифа Бродского. V-219.

Барсова Л. Г. Иван Иванович Лапшин: жизнь и труды. X-183. Бич Евгений. Дальняя правда Льва Толстого. V-205.

Блюм А. В. «Снять контрреволюционную шапку...» Пушкин и ленинградская цензура 1937 г. II-209.

Вайль Петр. Абрам Терц, русский флибустьер. VI-209.

«...Мне хватает жизни без прикрас». Беседа Сергея Гандлевского с Виктором Кулл. VI-219.

Гусейнов Гасан. Особенности речевого поведения в новых русских анклавах Германии. VIII-216.

Дмитриев Виктор. Авангардисты седьмого дня и поэт Стратановский. IX-214. Долина Александр. Загадка недописанного романа. XII-215.

Жолковский Александр. Книга книг Пастернака (к 75-летию «Сестры моей — жизни»). XII-193.

Князев Сергей. Проза жизни. II-222. Кур-

ганов Ефим. Розанов и Флоренский. Проблема мессианизма. III-211.

Лелихов Илья. Искусство быть кино. Опыт обозрения социальной эстетики. III-221. Лурье Самуил. Успехи ясновидения. IX-210.

Мелихов Александр. «Я люблю добро, я ищу его и стараю им». Правдивый реалист или неистовый гиперболизатор? Обличитель или фантаст? Или, может быть, пророк-правдоискатель? III-204.

Нелин Иосиф. «И горний ангелов полет, и гад морских подводный ход». X-208.

Пономарев Евгений. Опрошение сознания. О продолжении «Войны и мира». VI-202.

Рубинчик Ольга. В поисках потерянного Орфея: композитор Артур Лурье. X-198. Рубинштейн Лёва. Алик Ривин — бродячий поэт. II-216.

Царькова Татьяна. «И в эпитафии напишут...». X-172.

Шубинский Валерий. Гнев живых на живых. IV-213.

Эшштейн Михаил. Путь ангельской плоти. IV-219.

Янгфельдт Бенгт. Комнаты Иосифа Бродского. Перевод со шведского Б. Янгфельдта и В. Азбеля. V-225.

ФИЛОСОФСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

Кузнецов Павел. Метафизический Нарцисс и русское молчание (П. Я. Чаадаев и невозможность философии в России). VIII-223.

Парамонов Борис. Губернатор едет к тете (О романах Федорова-Сахалинского). II-227. Скромное обаяние буржуазии (По поводу «Мифологий» Ролана Барта). IV-223. Солдатка. VI-230. «Кто виноват?» и «Что делать?»: психологический подтекст русских вопросов. X-214. Потомки Достоевского. XII-225.

БЕСЕДЫ О НОВОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Генис Александр. Курган сопреализма. II-232. Правда дурака. Андрей Синявский. III-231. Прикосновение Мидаса. Владимир Маканин. IV-228. Пейзаж зазеркалья. Андрей Битов. V-229. Благая весть. Венедикт Ерофеев. VI-227. Сад камней. Сергей Довлатов. VII-235. Горизонт свободы. Саша Соколов. VIII-236. Рисунок на полях. Татьяна Толстая. IX-228. «Чужны и жидо». Владимир Сорокин. X-222. Поле чудес. Виктор Пелевин. XII-230.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КНИЖНОМУ МИРУ

Воронина Э. А. Зарубежная фантастика и ее читатели (По материалам исследования РНБ «Чтение в библиотеках России»). V-232.

Лебедева Г. А. Чтение зарубежной литературы в Опочининской библиотеке города Мышкина. III-235.

Фирсов В. Р. Чтение в новой реальности на исходе эпохи. X-236.

НАМ ПИШУТ

Залесова-Докторова Лариса. Искусство во времена диктаторов. II-236. Роман Фредерика Форсайта «Икона», или Россия глазами иностранца. Интервью с Фредериком Форсайтом Ларисы Залесовой-Докторовой. IX-231.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

IV-231, V-236, XII-234.

Тамара Юрьевна Хмельницкая (некролог). IV-236.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

АНАТОЛИЙ НАЙМАН. Стихи	3
СЕМЕН ЛАСКИН. Роман со странностями	7
АЛЕКСЕЙ МАШЕВСКИЙ. Месяцеслов. <i>Стихи</i>	103
ЕЛЕНА ДАВЫДОВА. Рассказы	108
ЛЮДМИЛА ШТЕРН. Из цикла «Парижские знакомства»	115

ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО

«...Говорить друг с другом, как с собой...». Глеб Семенов и Тамара Хмельницкая (Переписка 1962—1965 гг.). Публикация, вступительная заметка и примечания Е. Кумпан	122
--	-----

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

БОРИС ФРЕЗИНСКИЙ. Заколдованные сочинения Льва Лунца. <i>Грустная история в документах и письмах Серрапионовых Братьев</i>	149
--	-----

МЕМУАРЫ XX ВЕКА

Г. П. БОК. Путешествие к звездам. <i>Главы из книги воспоминаний</i>	172
ДАНИИЛ ДАНИН. Дневник одного года, или Монолог-67 (отрывок)	189

ЭССЕИСТИКА И КРИТИКА

АЛЕКСАНДР ЖОЛКОВСКИЙ. Книга книг Пастернака (К 75-летию «Сестры моей — жизни»)	193
АЛЕКСАНДР ДОЛИНИН. Загадка недописанного романа	215

ФИЛОСОФСКИЙ КОММЕНТАРИЙ

БОРИС ПАРАМОНОВ. Потомки Достоевского	225
---	-----

БЕСЕДЫ О НОВОЙ СЛОВЕСНОСТИ

<i>Беседа десятая.</i> АЛЕКСАНДР ГЕНИС. Поле чудес: Виктор Пелевин	230
--	-----

<i>Письмо в редакцию</i>	234
------------------------------------	-----

<i>Содержание журнала «Звезда» за 1997 год</i>	235
--	-----

CONTENTS

POETRY AND PROSE

Anatoly Naiman. Poems	3
Semen Laskin. A Novel with Oddities	7
Alexei Mashevsky. Calendar	103
Yelena Davydova. Short Stories	108
Liudmila Shtern. Sketches from "Paris Acquaintances"	115

LETTERS FROM THE PAST

"To Talk to Others as if to Oneself". <i>Gleb Semionov and Tamara Khmel'nitskaya.</i> (Correspondence of 1962—65). Edited, with an introduction and commentary by Ye. Kumpun	122
--	-----

FROM THE LITERARY HERITAGE

Boris Fresinsky. Bewitched Writings by Lev Lunts. A Sad Story of Serapion Brothers in Documents and Letters	149
--	-----

XXth CENTURY MEMOIRS

G.P.Bok. Journey to the Stars. Chapters from a book of memoirs	172
D.Danin. A Diary for One Year or Monologue-67. A fragment	189

ESSAYS AND LITERARY CRITICISM

Alexander Zholkovsky. B.Pasternak's Book of Books. To the 75th anniversary of "My Sister Is Life" by B.Pasternak	193
Alexander Dolinin. Mystery of Unfinished Novel	215

PHILOSOPHICAL COMMENTARY

Boris Paramonov. Dostoevsky's Descendants	225
---	-----

DISCUSSIONS ON NEW LITERATURE

<i>The Tenth Discussion.</i> Alexander Genis. The Field of Wonders: Victor Pelevin	230
A Letter to the Editor	234
Contents (1997)	235

Сдано в набор 15.10.97. Подписано в печать 20.11.97.
Формат 70×108 1/16. Печать высокая. 21,0 усл. печ. л. 23,44 уч.-изд. л.
Тираж 8500 экз. Заказ № 1058.

Отпечатано с диапозитивов в ГПП «Печатный Двор»
Государственного комитета РФ по печати.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

**В редакции журнала «Звезда»
можно приобрести следующие издания:**

- Валентина Полухина. «Бродский глазами современников». «Малоизвестный Довлатов». Неиздававшаяся в России проза. Письма. Воспоминания о писателе.
- «Писатель Леонид Добычин». Воспоминания. Статьи. Письма.
- Владимир Ляленков. «Побочные мысли раздетого гражданина». Повести. Рассказы.
- Римма Нератова. «В дни войны». Семейная хроника.
- Юрий Гальперин. «Играем блюз». Повести.
- Юрий Гальперин. «Русский вариант». Роман.
- Борис Рохлин. «Превратные рассказы».
- «Ричард III - «отродье сатаны» или «добрый король». — У. Шекспир. «Король Ричард III». Трагедия. Перевод Г. Бена. — Татьяна Берг. «Ричард III — "отродье сатаны" или "добрый король"». Эссе. Генеалогическая таблица Ланкастеров и Йорков.
- Георгий Бен. «Последнее песнопение». Избранные переводы. 1977 — 1994.
- Самуил Лурье. «Разговоры в пользу мертвых». Эссе.

Готовятся к выпуску:

- Аннотированный указатель журнала «Звезда» с 1924 по 1978 г. (К 75-летию журнала «Звезда»).
- Леонид Добычин. «Полное собрание сочинений и писем».
- Артур Конан-Дойль. «История спиритизма».
- «Письма барона Жоржа Дантеса». К истории дуэли А. С. Пушкина.
-
-

1997 - год 80-летия газеты

Вечерний **ПЕТЕРБУРГ**

«Вечерний Петербург» — издание традиционной демократической ориентации, стремящееся быть влиятельным, информативным и неожиданным.

Нетривиальные интерпретации известных политических, экономических, культурных событий — обязательная составная часть газеты.

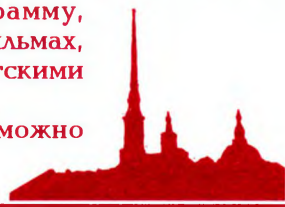
Критика действий президентской администрации и правительства справа — с позиций рыночного капитализма — основная идея политико-экономической редакции.

В «Вечернем Петербурге» лучший среди городских газет гуманитарный раздел.

С декабря 1996 года у газеты новый дизайн и приложение «Этажерка», выходящее по пятницам на шестнадцати полосах. Здесь вы найдете аннотированную телепрограмму, информацию о выставках, спектаклях, фильмах, список новых книг, выпущенных петербургскими издательствами.

Подписаться на «Вечерний Петербург» можно на почте с любого месяца.

Наш индекс 54980



В первом полугодии 1998 года в журнале «Звезда» печатается проза Н. Толстой, А. Битова, В. Всеволодова, И. Доляняка, В. Ларина, А. Торина, Викки Баум, Кейса Верхейла, Джеймса Боларда, Умберто Эко, «Разговоры с Иосифом Бродским» Соломона Волкова. Публикуются воспоминания жены А. Ф. Керенского — Ольги Керенской; вдовы Н. Эйдельмана — Юлии Эйдельман; письма А.А. Ухтомского, Георгия Иванова, Юрия Тынянова, Максимилиана Волошина, Николая Асеева, материалы из наследия Владимира Набокова и Сергея Довлатова; мемуары Николая Набокова «Багаж».

В следующем номере журнала читайте:

- Валерий Ларин. Нейронный шок. Роман.
- Наталья Толстая. Рассказы.
- Соломон Волков. Разговоры с Иосифом Бродским.
- Лорен Айзли. Тайна жизни. Рассказ. С английского.